

ISSN 1728-1938

# СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2017 \* Том 16 \* № 2

RUSSIAN SOCIOLOGICAL  
REVIEW

2017 \* Volume 16 \* Issue 2

# СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2017  
Том 16. № 2

---

---

ISSN 1728-1938

Эл. почта: [puma7@yandex.ru](mailto:puma7@yandex.ru)

Адрес редакции: ул. Старая Басманская, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Веб-сайт: [sociologica.hse.ru](http://sociologica.hse.ru)

Тел.: +7-(495)-772-95-90\*12454

## Редакционная коллегия

### Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

### Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

### Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

### Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

### Литературные редакторы

Каринэ Акоповна Щадилова

Перри Франц

### Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

### Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

## Международный редакционный совет

Николя Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожье (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

## Учредители

- Национальный исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»
- Александр Фридрихович Филиппов

## О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

## Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

## Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присыпать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнometодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

## Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

## Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: [farkhatdinov@gmail.com](mailto:farkhatdinov@gmail.com).

# RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2017  
Volume 16. Issue 2

---

---

ISSN 1728-1938

Email: [puma7@yandex.ru](mailto:puma7@yandex.ru)

Web-site: [sociologica.hse.ru/en](http://sociologica.hse.ru/en)

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90\*12454

## Editorial Board

*Editor-in-Chief*

Alexander F. Filippov

*Deputy Editor*

Marina Pugacheva

*Editorial Board Members*

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

*Internet-Editor*

Nail Farkhatdinov

*Copy Editors*

Karine Schadilova

Perry Franz

*Russian Proofreader*

Inna Krol

*Layout Designer*

Andrei Korbut

## International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Saveliyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshtayn (RANEPA, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

## Establishers

- National Research University Higher School of Economics

- Alexander F. Filippov

## About the Journal

*The Russian Sociological Review* is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

*The Russian Sociological Review* publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

## Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

## Scope and Topics

*The Russian Sociological Review* invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

*The Russian Sociological Review* covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

## Our Audience

*The Russian Sociological Review* aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

## Subscription

*The Russian Sociological Review* is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

# Содержание

## ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Studies on Governmentality: Six Epistemological Pitfalls . . . . . 9  
*Lika Rodin*

Конец «стабильности»: политическая экономия пересекающихся кризисов  
в России с 2009 года . . . . . 29  
*Илья Матвеев*

«Почему уходят в ИГИЛ?»: дискурс-анализ нарративов молодых дагестанцев 54  
*Надежда Васильева, Алина Майборода, Искэндер Ясавеев*

## СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ

Le flâneur comme lecteur de la ville contemporaine . . . . . 75  
*Anna Borisenkova*

Механизмы крушения государств (макросоциологический подход) . . . . . 89  
*Дмитрий Шевский*

Концепт культурной сцены как теоретическая перспектива и инструмент  
анализа городских молодежных сообществ . . . . . 111  
*Елена Омельченко, Святослав Поляков*

Социология общения в поле социальных наук . . . . . 133  
*Андрей Резаев, Наталья Трегубова*

Сетевой подход: между топологиями пространства и формы . . . . . 163  
*Раиса Заякина, Марк Ромм*

Фирс vs Труффальдино: зарисовки европейской и русской культуры . . . . . 180  
*Александр Скиперских*

## WEBER-PERSPEKTIVE

Предисловие к открытию новой рубрики . . . . . 195

Старые понятия — новые проблемы: социология Макса Вебера в свете  
актуальных вызовов . . . . . 198  
*Томас Швинн, Герт Альберт*

## ХАННА АРЕНДТ: НОВОЕ НАЧАЛО

Почему Арендт? . . . . . 218  
*Алексей Саликов*

«Слепое пятно» политического мышления Ханны Арендт . . . . . 221  
*Иван Кузин*

**РУССКАЯ АТЛАНТИДА**

Модерный традиционализм против модерна: критика прогресса в России  
 второй половины XIX в. (случай архиепископа Никанора [Бровковича]  
 и К. Н. Леонтьева) . . . . . 253  
*Артем Соловьев*

**СОЦИОЛОГИЯ СПОРТА**

Спорт помогает ответить на фундаментальные вопросы: интервью  
 с Робертом Эдельманом . . . . . 275  
*Роберт Эдельман, Сергей Бондаренко, Олег Кильдюшов*

Советская социология спорта: старт и... еще раз старт (субъективные  
 заметки с претензией на объективность) . . . . . 284  
*Ирина Быховская, Олег Мильштейн*

Национальные модели физического воспитания и сокольская гимнастика  
 в России . . . . . 320  
*Ирина Сироткина*

**РЕЦЕНЗИИ**

Гендер, нация и класс как ресурсы социальной мобильности . . . . . 340  
*Ирина Тартаковская*

От макроистории — к исторической макросоциологии: к эвристике нового  
 исследовательского направления . . . . . 348  
*Олег Богуславский*

«Екатерина III» . . . . . 354  
*Андрей Тесля*

Рецензия: Герман Люbbe. В ногу со временем: сокращенное пребывание  
 в настоящем (М.: НИУ ВШЭ, 2016) . . . . . 360  
*Александр Сувалко*

# Contents

## POLITICAL SOCIOLOGY

Studies on Governmentality: Six Epistemological Pitfalls . . . . . 9  
*Lika Rodin*

“Stability’s” End: The Political Economy of Russia’s Intersecting Crises since 2009 . . . 29  
*Ilya Matveev*

“Why Do They Go to ISIL?”: A Discourse Analysis of Young Dagestanians’ Narratives . . . . . 54  
*Nadezhda Vasilieva, Alina Maiboroda, Iskender Yasaveev*

## SOCIOLOGICAL THEORY AND METHODOLOGY

Le flâneur comme lecteur de la ville contemporaine . . . . . 75  
*Anna Borisenkova*

The Mechanisms of State Collapse (a Macro-Sociological Approach) . . . . . 89  
*Dmitry Shevskiy*

The Concept of Cultural Scene as Theoretical Perspective and the Tool of Urban Communities Analysis . . . . . 111  
*Elena Omel’chenko, Sviatoslav Poliakov*

The Sociology of Social Intercourse in the Social Sciences . . . . . 133  
*Andrey Rezaev, Natalia Tregubova*

Network Approach: Between Topologies of Space and Form . . . . . 163  
*Raisa Zayakina, Mark Romm*

Fiers vs Truffaldino: Sketches of Russian and European Culture . . . . . 180  
*Aleksandr Skiperskikh*

## WEBER-PERSPEKTIVE

Preface to New Section . . . . . 195

Old Concepts — New Problems: Max Weber’s Sociology in the Light of Current Challenges . . . . . 198  
*Thomas Schwinn, Gert Albert*

## HANNAH ARENDT: NEW BEGINNING

Why Arendt? . . . . . 218  
*Alexei Salikov*

The “Blind Spot” of the Political Thinking of Hannah Arendt . . . . . 221  
*Ivan Kuzin*

#### RUSSIAN ATLANTIS

Modernist Traditionalism against Modernity: Criticism of Progress in Russia  
 in the Second Half of the 19th Century (the Case of Archbishop Nikanor  
 [Brovkovich] and K. N. Leontiev) . . . . . 253  
*Artem Soloviev*

#### SOCIOLOGY OF SPORT

Sport Helps to Answer Fundamental Questions: Interview with Robert Edelman . . 275  
*Robert Edelman, Sergey Bondarenko, Oleg Kildyushov*

The Soviet Sociology of Sport: Start and . . . Start Once Again (Subjective Notes  
 with a Claim to Objectivity) . . . . . 284  
*Irina Bykhovskaya, Oleg Milstein*

National Models of Physical Education and the Sokol Gymnastics in Russia . . . . . 320  
*Irina Sirotkina*

#### BOOK REVIEWS

Gender, Nation, and Class as Social Mobility Resources . . . . . 340  
*Irina Tartakovskaya*

From Macrohistory to Historical Macrosociology: Toward the Heuristics  
 of the New Research Approach . . . . . 348  
*Oleg Boguslavsky*

“Catherine III” . . . . . 354  
*Andrey Teslya*

Review: Hermann Lübbe, *V nogu so vremenem: sokrashchennoe prebyvanie  
 v nastojashhem* [In Step with Time: The Abridged Presence in the Present]  
 (Moscow: HSE, 2016) (in Russian) . . . . . 360  
*Alexander Suvalko*

## Studies on Governmentality: Six Epistemological Pitfalls

*Lika Rodin*

PhD, Lecturer in Social Psychology, University of Skövde, Sweden  
Address: Högskolevägen, Box 408, Högskolan i Skövde, Sweden 54128  
E-mail: [lika.rodin@his.se](mailto:lika.rodin@his.se)

The notion of governmentality, developed in the works of Michel Foucault, is actively employed across academic disciplines. Reviewing the secondary literature, this paper specifies and systematizes some particularities of Foucault's theoretical account which are reflected in contemporary studies on governmentality. Six latent epistemological obstacles in research on governmentality are described—the essentialization of power; the impossibility of agency and counteraction; latent idealism; the inconsistent presentation of governmentality; the shortage of explanatory perspective on the micro-macro linkage; and a vanishing critical standpoint—to stimulate an academic discussion on possible methodological insights capable of overcoming some of those difficulties. Those limitations are seen to be immanent in Foucault's overall theoretical account rather than the effects of deviation from it. Examples of studies associated with the fields of international relations and sociology support the central arguments of the paper. As demonstrated, the regrounding of a Foucault-inspired analysis of power in the updated version of historical materialism might have the potential to ensure rigor in governmentality research and redefine its critical intent. Further, a consensus is needed on the fundamental notions of governmentality studies to stabilize the research agenda. Recognizing the importance of Foucault's overall contribution to the understanding of contemporary phenomena and practices, scholars need to acknowledge its conceptual and social limitations.

*Keywords:* Foucault, power, resistance, Marxism, biopolitics, idealism, discourse analysis

### Introduction

Two and a half decades have passed since the first publication of Foucault's writings on governmentality in English; we are now witnessing the rise of "governmentality studies," a new cross-disciplinary domain of scientific inquiry (Walters, 2012). Contributions to the research on governmentality come from the fields of economics, organizational studies, political geography, criminology, policy research, organizational studies, research in education and healthcare, social movement and resistance studies, and international affairs (see also *ibid.*). Governmentality-inspired projects are addressing contemporary social-political phenomena and practices.

Governmentality is defined as a regime of power operating at the intersection of rule and self-management (Foucault, 1997). The term is derived from the notion of "govern-

ment" loosely associated with "the right disposition of things, arranged so as to lead to a convenient end" (La Perriere in Foucault, 1991: 94). It highlights the plurality of power agencies and methods actualized in a nonviolent manner with purposeful but contingent effects (Dean, 2010). Building on Foucault's ideas, governmentality scholars are developing a substantive analytical approach. They increasingly broaden the scope of the research by subjecting to examination previously unacknowledged provinces of power relationships and apply the notion of governmentality to non-Western contexts (Walters, 2012). These attempts require workable research strategies and procedures. Recently, a corresponding body of critical literature has emerged pointing out both the strengths of the governmentality approach (Collier, 2009; Thomas, 2014; Walters, 2012) and certain obstacles to its usage in empirical work (Joseph, 2010a, 2010b; McKee, 2009; O'Malley, Weir, Shearing, 1997; Rutherford, 2007; Solomon, 2011; Stenson, 2008; Stern, Hellberg, Hansson, 2015). Some commentators associate the difficulties of employing the governmentality concept with deviations from Foucault's theorizing (Collier, 2009; Hamann, 2009; O'Malley, Weir, Shearing, 1997; Rutherford, 2007), while others find those problems to be immanent in it (Barnett et al., 2008; Stern, Hellberg, Hansson, 2015; Thörn et al., 2015).

This paper concerns the epistemology of research on governmentality. Systematizing the critiques of Foucault's theoretical account and the secondary, empirically oriented, literature on governmentality, I identify obstacles that governmentality researchers may face, as streaming from Foucault's conceptual framework. The paper will proceed with a brief outline of fundamental premises of studies on governmentality followed by a discussion on six epistemological pitfalls:

- 1) the essentialization of power;
- 2) the impossibility of agency and counteraction;
- 3) latent idealism;
- 4) the inconsistent presentation of governmentality;
- 5) the shortage of explanatory perspective on the micro-macro linkage; and
- 6) a vanishing critical standpoint.

It further provides a summary demonstrating the need for an academic discussion on methodological insights capable of overcoming some of those difficulties.

### **Studies on the "art of government"**

Currently, studies on governmentality employ a relatively developed epistemological framework (Walters, 2012). Grounded in Foucault's elaborations, contributions by European and American scholars have sharpened the position on the study object and developed a set of fundamental methodological principles. Dean in a widely cited book *Governmentality: Power and Rule in Modern Society* (2010) adopts Foucault's mature view on power as noneconomic, decentred, multifaceted, multidirectional, less oppressive, supported by knowledge production and knowledge-effect, power as not just applied to individual subjects but operating through them, and as a complex system of relation-

ships between control, normalization, and regulation. In addition, two sides in the notion of governmentality are differentiated—government and mentality—to account for the interconnection of material and symbolic, as well as the micro and macro aspects of regulation.

In examining the first element of governmentality—government—special attention is given to heterogeneity, multiplicity, and contingency of power exercise, and power effects. As explained by Dean (2010: 18):

Government is any more or less calculated and rational activity, undertaken by a multiplicity of authorities and agencies, employing a variety of technologies and forms of knowledge, that seeks to shape conduct by working through the desires, aspirations, interests and beliefs of various actors, for definite but shifting ends and with a diverse set of relatively unpredictable consequences, effects and outcomes.

Moreover, Dean suggests examining government in terms of “assemblage” or “regime.” The notion of a “regime of practices” or an “organized ways of doing things” (Dean, 2010: 27) becomes prominent in the suggested methodological approach.

As with the classical Foucauldian view, Dean’s analysis of governmentality focuses on enactments of power rather than on its ontology. This strategy is able to address borderline manifestations of power: “where its exercise becomes less and less juridical” (Foucault, 2003: 28). Consequently, interest in the *techne* of power is central in the “analytics of government” (Dean, 2010). Tools, methods, courses of action, and terminology are recognized as forming a relatively autonomous domain, and are subjected to examination with a diagnostic rather than descriptive intent.

Government is characterized by systematicity. Its manifestations are programs aimed at various improvements. Thus, government appears as a fundamentally “Utopian” activity essentially concerned with expedient transformations toward certain ends (ibid.: 44). The related issue of axiology is resolved in favour of the principle of eventuality: “Values, knowledge, technologies, are all part of the mix of regimes of practices but none alone acts as a guarantor of ultimate meaning” (ibid.: 46). This understanding leads governmentality studies to dissociate themselves from a direct emancipatory ethos. Though, as a form of criticism, governmentality studies are hoped to increase individual reflexivity toward the effects of power, including those shaping the practices of self-fashioning.

The second element of governmentality—mentalities of government—is associated with the rationalities which provide an epistemic and moral environment for practices, being simulations irreducible to them (Dean, 2010). Authorized knowledge claims are not the only source of governmental rationalities. Paradoxically, similar to the collective consciousness, mentalities of government are said to carry elements of social-political imagery that might be unrecognized by social actors (ibid.: 25; see also Rodin, 2015). “Mentalities of rule” are central to understanding the mechanisms of subjection and the complex relationships between the exercise of power and individual experiences, as well as self-management. Acknowledging the absence of the immediate shaping of identities

by power, governmentality studies zoom in to the indirect facilitation of individuals in assuming themselves as subjects. The affirmation of freedom embedded in the notion of government as the “conduct of conduct” is central in sustaining the effects of the rationalities of rule (Dean, 2010: 24).

These fundamental premises artfully summarized by Dean (2010) have been informing the empirical research on governmentality through the last decade with distinctive outcomes. As the initial fascination with Foucault’s approach started to calm down, critical writings emerged addressing the applicability of the governmentality framework in empirical research. Currently, the main body of critique comes from the scholarship associated with studies on international relationships and sociology. While the former seems to be more concerned with macro level manifestations of governmentality, the latter focuses on the micro level of governing and practices of self-management. I will employ examples from the two academic fields that accommodate studies on governmentality to exemplify the claimed limitations of governmentality approach as part of the Foucauldian tradition itself.

## **Epistemological pitfalls**

In this section, I outline six hidden obstacles that governmentality researchers may face: the essentialization of power; the impossibility of agency and counteraction; latent idealism; the inconsistent presentation of governmentality; the shortage of explanatory perspective on the micro-macro linkage; and a vanishing critical standpoint.

### *The essentialization of power*

The conceptualization of power in Foucault’s writings is frequently associated with an effort to overcome the issue of economic determinism in orthodox Marxism (Barrett, 1991). According to some commentators, this resulted in the degrounding of power and its essentialization (Poulantzas, 1978; Resch, 1992). As specified by Resch (1992: 251):

Power precedes structure and therefore cannot be deduced from it. Power is thus some kind of undifferentiated force or energy that circulates through social formations and is basic to them. It is ultimately unimportant (as well as impossible) to distinguish ideological, political, economic, or theoretical practice, for such distinctions don’t really matter: they are all merely forms of power. It is never, with Foucault, a question of what power and for what purpose, since power is always already there, obeying its own laws, and its only purpose is its own expansion.

As argued, Foucault built on the explanation of “society in terms of power,” rather than “power in terms of society” (ibid.: 249). This “totalizing” view restricted his analysis of the relationships between distinctive power forms (e.g., between biopower and economic domination) and an explanation of resistance mechanisms. Eventually, the overall

theoretical promise to account for the “real’ complexity” of social–political life was left unfulfilled due to an unsophisticated power ontology (*ibid.*: 250–251).

Barrett (1991: 152) adds on the issue of “false universalising” in Foucault’s approach, warning against a reduced analytical sensitivity to the relationships between different power forms. The universalising approach can moreover result in Eurocentrism. Building theory on the history of Western civilization, Foucault latently “reterritorized” power (Solomon, 2011) and left aside, it is argued, the colonial aspects of rule and subjugation (Barrett, 1991; Joseph, 2010a; Walters, 2012). As Said famously noted:

[H]e does not seem interested in the fact that history is not a homogeneous French speaking territory. . . . He seems unaware of the extent to which the ideas of discourse and discipline are assertively European and how . . . discipline was always used to administer, study and reconstruct—then subsequently to occupy, rule and exploit—almost the whole of the non-European world. (Said in Barrett, 1991: 152)

Eurocentrism is frequently found in the empirical analysis of the art of government (Joseph, 2010a; Rutherford, 2007; Walters, 2012). In the field of international relationships, it manifests in the “scaling up” problem associated with a direct ascription of Western notions to non-Western phenomena (Walters, 2012; see also Joseph, 2010a). The governmentality approach appears blind to differences between countries and to the classical issue of “combined and uneven development” (Joseph, 2010a). To overcome this difficulty, Joseph (2010a, 2010b) suggests focusing on the actual asymmetries in the economic and social–political conditions of different societies, and on the ways in which Western institutions promote neoliberalism in different parts of the globe. The question then emerges of whether, or to what extent, “governmentality” can be helpful in understanding non-Western semi-liberal power orders.

Collier (2009) misrecognizes the totalizing tendency in the overrepresentation of “power/knowledge” logic—an idealistic element of Foucauldian theorizing (Rehmann, 2013) discussed below—in contemporary examinations of governmentality. Power/knowledge is said to undermine the view of social–political relationships as contingent and unfixed, and therefore limiting the explanatory potential of governmentality research. Collier’s alternative suggestion is to resort to a “topological” analysis, which can uncover “a heterogeneous space, constituted through multiple determinations” (Collier, 2009: 99). He tests this approach in a study on power regime in Russia. Other scholars advocate for ontology “in becoming.” Walters (2012: 57) highlights a less (pre)determined “historical ontology” and “the regime of truth, the practices and strategies that ontologize the world in the first place.” Barnett et al. (2008: 9) calls for assuming rationalities not as given, but arising out of social interactions, to account for the “communicatively mediated, normatively oriented interaction through which such emergent cooperative rationalities can develop.” In the analysis of the consumer narrative on ethical consumption, Barnett and colleagues argued that dominant consumer-oriented rationalities do not necessarily turn individuals into subjects of neoliberal power. Identity appears as

a more complex and contradictory entity, embodied in the social reality and produced through nearly symmetrical interactions with others and social institutions.

However, dissatisfaction with the essentialistic definition of power, the “flat” or unspecified ontology continues to grow. Critical commentators, as mentioned above, point out the shortage of its explanatory potential without reference to local and global structures (Hartsock, 1989; Joseph, 2010a, 2010b). In regard to the Russian case examined by Collier (2011), the failure of budgetary and heating system reforms in a middle-size city in South Russia in the 1990s might be less puzzling. According to him, the reforms were inspired and facilitated by transnational agencies, which determined their neoliberal character. However, the centralized hardware developed in Soviet times, the related ideology, and habitus prevented the intervention being effective. Following Foucault’s tradition, Collier looked for an explanation in the modalities of neoliberalism and its relationships with sovereignty and biopower. An alternative to such a topological view is the recognition of the remaining material and discursive regularities. In this way, the construction of the heating system embodied the socialist principle of collective consumption, which restricted the individualization of the heating provision. The collective principle was furthermore supported by the remaining elements of the official ideology of social justice and related institutional routines. Jointly, these features limited deregulation attempts. Joseph (2010a) adds an international perspective on the governmentalization of developing societies. In the context of insufficient national authority, the import of governmental technologies, as those presented in the Russian case, should be viewed as a specific type of “imperialism,” signalling a structural operation on a global level (*ibid.*: 238).

The flexibility and fragmentation of power—one of Foucault’s central claims adopted by governmentality studies (Dean, 2010)—is yet another important element in the discussion on essentialization. Power diversity is frequently associated with the “decentring” of the state and an emphasis on an “apparatus” and/or “dispositive.” The apparatus and/or dispositive is a “heterogeneous ensemble” and a “system of relations” between diverse material and symbolic aspects of social reality, and a “formation” serving the “dominant strategic function” (Foucault, 1980: 194–195). Contemporary research on the art of government frequently finds apparatus/dispositive to be a useful conceptual and methodological tool. Rehmann (2013: 207), being overly critical toward Foucault’s framework, emphasizes an empirical validity of the concept of dispositive interpreted as the “arrangement of an apparatus” and in terms of “an institutionally fixed spatial–temporal composition which subjugates the subject to the technologies of power,” including, for example, the architectural arrangements of a prison system. This interpretation dissociates from Foucault’s rather Nietzschean view on apparatus/dispositive (Foucault, 1980) focusing on its material dimension.

Some scholars, however, are more sceptical to the concept of apparatus/dispositive. First, the concept is criticized for the puzzling claims of systematicity and the programmatic nature in the absence of any specific point of power concentration. Barrett (1991) suggests that “strategies” and “technologies” appeared in Foucault’s writings as both deliberate and lacking a specific subject employing the force (see also Foucault, 1980).

Moreover, “effect”—an outcome of power application—was hard to imagine in the context of Foucault’s overall disregard of the very idea of causality. Second, relations of force presuppose struggle, but “who is doing the struggle and against whom” (Miller in Foucault, 1980: 207) in the context of absent structures? Responding to this question, Foucault (1980: 208) resorted to abstract inter- and intra-subjective contradictions: “There are not immediately given subjects of the struggle, one the proletariat the other the bourgeoisie. Who fights against whom? We all fight each other. And there is always within each of us something that fights something else.”

As we will see later, the discussion on power ontology fundamentally informs other aspects of Foucault’s theorizing on governmentality and, eventually, governmentality research. When ontology is not acknowledged or is refused to be acknowledged, it does not necessary imply that it is “in becoming,” but rather that it is unreflected by the researcher him/herself. This may lead to a shortage of explanatory propositions in the analysis of social-political phenomena and processes, and a focus primarily on an “objective” description of power mechanisms undermining the diagnostic intent of the “analytics of government” (Dean, 2010). A clear ontological position would moreover allow the limitations of the governmentality framework, contexts, and situations where its relevance is problematic to be seen (Joseph, 2010a).

### *The impossibility of agency and counteraction*

The issue of individual self-directedness and social antagonism is highlighted in regard to the concept of power underlying the analysis of governmental rule. The first concern is with the very possibility of agency and resistance. Poulantzas (1978) problematizes Foucault’s famous claim of the “relationality” of power, pointing out its all-inclusive nature. “For if power is always already there, if every power situation is immanent, *why should there ever be resistance? From where would resistance come, and how would it be possible?*” (ibid.: 149, original emphasis). If we assume power as “relations of force” and explain the related struggle, where would this struggle be grounded in? For Poulantzas, resistance, when collapsed with power itself, appears rather as a declaration. As he explained further with a reference to Marxism, “If struggle has primacy over apparatuses, this is because power is a relation between struggles and practices (those of the exploiters and the exploited, the rulers and the ruled) and because the State above all is the condensation of a relationship of forces defined precisely by struggle” (ibid.: 151). Discussing other paradoxes of Foucault’s argumentation, Palmer (2001: 335) provocatively applies the notion of power relations—“instances of actions of one party changing the behaviour of another party” necessarily presupposing a type of “resistance” or counteraction—to human-animal interactions. Could it be argued, he asks, that a situation in which a man attacks a cat and the cat actively defends itself presents power relations, while another context in which the man beats a tied up cat is simply violence, because the animal does not/cannot respond? According to this logic, sovereignty, for example, cannot be accepted as a “proper” power form.

“Since power is everywhere, everything is contestable” (Resch, 1992: 253). Following this Foucault’s proposition, researchers keep looking for resistance in all contexts where power is exercised, and they can be puzzled when they do not find clear evidence of it. The Swedish sociologist and social movement researcher Håkan Thörn presented this type of situation in one of his interviews. Examining the experiences and responses of civil society organizations involved in international AIDS aid programs in Africa, the scholar had to imbue the words of the study participants with “latent” meanings. More specifically, an expression recorded during a focus group with NGO leaders: “We want . . . to be able to stand up and write a good proposal” was interpreted as a “critique of the depoliticizing effects of contemporary international aid,” while it could perfectly well mean (as a colleague of Thörn also pointed out) just a subscription of civil society activists to the discourses of Western benefactors (Thörn et al., 2015: 97). Thörn, however, refuses a “reductionist” view of the situation as a simple ideological interpellation looking for manifestations of agency. The question, however, remains, if this approach risks becoming a new reductionism by excluding other explanations.

Gradually, the notion of a “submerged critique”—latent resistance elements in non-resistance—became the unit of analysis. It organizes a “space of agency” signalling the possibility of a deliberate choice (ibid.: 98). In this context, individual sovereignty appears to be reactive and the overall perspective of an emancipatory project driven by a “transformative agency” remains rather unclear. Moreover, the detection of such hidden resistance would demand “an external standpoint” (ibid.: 100), which is difficult to imagine within the Foucauldian understanding of power as an essence of the social. Not surprisingly, Thörn eventually proposes a return to a post-Marxist perspective on power as a “capacity” shaped by an agent’s contextualized positioning within the system of social regularities and institutions.

If freedom is a derivative of power, its “technical modality” (Dean in Joseph, 2010a: 228), how can we make sense of it in an empirical study? When analysing the manifestations of agency, how can we methodologically differentiate self-directedness from domination (Stern, Hellberg, Hansson, 2015)? One solution is to code social practices for markers of deviation from the imposed script. Thus, Thörn in his study on international AIDS aid in Africa identifies two examples of NGO agency. In one case, a civil society organization submitted to the funding body a critical note instead of reporting on the utilization of financial aid. In another case, NGOs formally agreed on a certain condition imposed by donors but sabotaged it in practice (Thörn et al., 2015). If such reactive acts are empirically observable and accessible to validation, the analysis of submerged critique based on an examination of discourse would be fully left to the subjective interpretation of a researcher. The externality of the interviewer to the dominant discourse would be difficult to ensure in each case, while interpretation would need to be grounded in some recognizable alternative narrative. Critical discourse analysis resolved the issue of rigor by subscribing to a combination of historical materialism and discourse theory (Jørgensen, Phillips, 2002). For governmentality studies, this problem will be more complicated due to the essentialistic noneconomic all-inclusive notion of power, the primary

focus on *techne*, and, as Foucault was charged himself, silence on a researcher's own ideological positioning (Barrett, 1991; Resch, 1992).

Special attention should be given to a rationalistic imperative that appears to shape the methodology of governmentality research. Irrational elements of mentality (Dean, 2010) that could account, for example, for ideological effects or *habitus* are mainly absent. Lemke (2013) furthermore challenged Foucault's definition of power as being built on a nonspecific notion of rationalities. Affective aspects, such as fear, are important in the recruitment of individual actors to political action: "By adhering to a rather abstract concept of rationality, studies of governmentality have tended to neglect the political significance of expressive and emotional factors in favour of conscious calculations and elaborated concepts" (Garland in *ibid.*: 40). It seems that studies employing ideas of governmentality frequently follow the "rational choice" approach in examining practices of (non)resistance: "because it involves the possibility that the absence of resistance might be the result of strategic considerations (resistance is too costly, fruitless, etc.)" (Thörn et al., 2015: 98). Barrett (1991) criticizes the rationalization of an individual as echoing the conventional discourse of economics. Moreover, with the exclusion of emotions, social movement studies lose a plausible explanation of resistance. The question of counteraction thus remains open in the Foucauldian orthodox tradition. Foucault's ethics are sensitive to a certain pull of emotions, but there is no longer power around to resist (Resch, 1992).

### *Latent idealism*

Foucault is frequently found keeping up with post-structuralism in his analysis of governmentality (Resch, 1992; Thörn et al., 2015). Resch (1992) suggests that, proceeding from archaeology to genealogy, Foucault reframed his theory of discourse with regard to a newly invented concept of power. Knowledge became dissociated from any material reality and turned into power effects constituting social identities and practices. Studies on governmentality inherited the idealistic aspiration (Barnett et al., 2008; McKee, 2009; O'Malley, Weir, Shearing, 1997; Rutherford, 2007).

Addressing this trend, Rutherford (2007) asserts that research on governmentality tends to focus on the interventionist rhetoric produced by different social and institutional actors. This approach was said to ignore the empirical aspects of implementation and thus was dissociated from the opportunity to account for possible contradictions, resistances, mishmashes, and other "messy empirical actualities" (McKee, 2009: 12, see also O'Malley, Weir, Shearing, 1997). Barnett et al. (2008) add that emphasis on the intentionality of government—its strategies and objectives of rule—imbues it with a functionalist framework and overly risks subsuming analysis under theorizing. It, moreover, leads governmentality studies toward epistemology and the methodology of discourse analysis with all the typical limitations, including a sampling quest: "which texts are to be adjudged definitive of a political rationality or programme" (O'Malley, Weir, Shearing, 1997: 514).

To resolve the problem of dematerialization, some scholars advocate the accumulation of more relevant and richer empirical data obtained by means of, for example, ethnographic methods. Such a “realist governmentality” approach (Stenson in McKee, 2009: 18) is believed to be capable of detecting and describing the incoherence and complexity of social practices (McKee, 2009). This strategy, however, can be of limited value without sufficient explanation of the relationships between the material and the symbolic. In Foucault’s early writings on discipline, discourses were seen as informing the materiality of institutions, techniques, and practices (Foucault, 1995). This linkage was weakened in his post-structuralist period when discourse reappeared as a power itself “which is to be seized” (Foucault, 1981: 53). Not surprisingly, when attending to materiality, governmentality scholars continue treating it as being separated from (dominant) rhetoric and occasionally as a source of its contestation. Thomas (2014) studied the implementation of the Unique Identification program in India and attempted to explain its failure: the program was of limited use due to its inability to address for individuals whose bodies are not “readable” by contemporary technological devices. The scholar acknowledged the fact that those devices seem to be constructed with some specific idea of an identifying subject—an urban well of non-manual workers detached from hazards of heavy, low-protected physical labour that dramatically affects body properties such as finger prints—but still interpreted the technical fiasco of the program as a contingent effect and a “variance between intended rationalities and concrete technologies of governance” (ibid.: 177). The interpretation of relationality in terms of tensions between the discursive and non-discursive leads some governmentality scholars to link contestation with imperfections of the subjects or the technologies which eventually undermined implementation of the program (see Miller, Rose, 1990).

### *The inconsistent presentation of governmentality*

As argued, Foucault’s account does not present a complete social theory, although studies in governmentality frequently treat it as if it did (Lemke, 2013). The focus of attention shifted dramatically in Foucault’s theorizing from a more structural approach, under the influence of Althusser, to post-structuralism and then to a peculiar combination of both (Resch, 1992). During the period of 1976–1979 alone, when the concept of governmentality emerged and obtained its shape, the focal point of Foucault’s research, vocabulary, and method changed notably (Collier, 2009). Biopolitics, introduced in *The History of Sexuality 1* (1976) as a power over life radically differentiated from both sovereignty and discipline, was developed in the series *Society Must Be Defeated* (1975–1976). Here, biopower reappeared under a new name “regulatory power” and was complemented by disciplinary technologies to comprise “normalization.” In the next lecture series *Security, Territory, Population* (1977–1978) “regulatory power” turned into “security” with a new move to dissociate it from discipline. Along with this transformative process, the role and ontology of both power and population evolved. Primarily understood as all-embracing and controlling, the power of the state was gradually reduced and decentred, giving way

to a plurality of power agents; the image of a passive and mainly homogeneous population was redefined in terms of a “principle of limitation” on state activities” (Foucault in Collier, 2009: 87). These moves demonstrated Foucault’s abandonment of the linear progressive logic of power development (the correspondence of each form of power with a specific historical period) and his refocus on the composition and interactive articulation of different power forms (ibid.). Foucault’s attention was then occupied by the phenomenon of (neo)liberalism as a form of governmentality in the series of lectures *The Birth of Biopolitics* (1978–1979). Finally, during the early 1980s, his writing became concerned with yet another new theme—the technologies of the self—for which power re-emerges as a “social background” (Resch, 1992: 254). Rehmann (2013: 306–307) differentiates four meanings of governmentality found in Foucault’s writings—“the particular conception of political leadership,” “political governmentality”/“*raison d’Etat*,” and “the liberal art of government”—wondering about any possibility of a shared foundation for governmentality studies. Some scholars go further, suggesting that the affinity of research presented under the umbrella of governmentality studies is grounded generally in “reference to Foucault” (Wallenstein, 2013: 8).

Given the perception of Foucault’s account as incoherent and at times contradictory, the wide diversity of interpretations of the main concepts among governmentality scholars is understandable. This feature, however, might limit the acceptance of the analytics of government as a substantive research field. Four tracks can be differentiated in the research utilizing Foucault’s ideas from the late 1970s to the early 1980s: government as a discipline, government as biopolitics, neoliberalism as governmentality, and governmental self-management. To exemplify the various interpretations and the related research directions, an anthology *Prevent and Tame: Protest Under (Self)control* edited by Froian Hessdöter, Andrea Pubs, and Peter Ullrich (2010) looks at the condition of (neo)liberal society through the lens of discipline. “Preventism” is defined by one of the editors as a technology of government, a “panopticon without a centre, an omnipresent panopticon ‘embodied’ in the individuals’ minds as well as in discourses and social practices” (Ullrich, 2010: 20). Another anthology, *Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance* (2012) edited by Bengt Larsson, Martin Letell, and Håkan Thörn, builds on the notion of “governing from a distance.” It finds a legacy of neoliberal governmentality in modern programs of social engineering (biopolitics) but goes beyond it. The book’s contributors examine the contexts and practices of social-political steering and regulation in the spheres of healthcare, urban planning, labor market, and other areas with special attention paid to the role and (dis)positioning of the state. A special edition of the international journal *Ephemera* “Governing Work through Self-Management” (2011) examines the diverse practices of self-management in work life. Finally, Read (2009) explores governmentality as neoliberalism and the related process of the formation of the self. Barnett et al. (2008) add to the discussion of the production of subjectivity on the analysis of consumer attitudes in relation to ethical consumption. The authors are interested in the phenomenon of “subjectivization” and the role of norms in shaping consumer subjectivities. Power is rather loosely presented in this discussion;

instead, the major concern is with horizontal interactive processes occasionally competing with vertical ideological effects.

Taking into account the variability of interpretations, Solomon (2011) defines governmentality as an element of the wider phenomenon of biopolitics. Similarly, Joseph (2010a) views biopolitics as an inclusive term, while associating governmentality with the interplay between liberty and discipline. The combination of those is sometimes accommodated under the name biopolitics. The idea of “global governmentality” is rejected as lacking empirical evidence. In contrast, Wallenstein (2013) interprets governmentality as a synonym of government applicable to a variety of historical contexts. He links the widely assumed association of governmentality with (neo)liberalism to the order of the release of Foucault’s lectures for the academic public. Other scholars are less concerned with a need for precise terms (e.g., Rutherford, 2007).

Several proposals emerged to resolve the confusion in Foucault’s terminology. Joseph (2010a: 227) suggests a differentiation between governmentality in a “generic sense” and “special (neoliberal) governmentalities.” The first was initially concerned with population management and gradually started to obtain neoliberal characteristics; the later ones deal more with liberty as a mechanism of governance. Joseph warns analysts of international relationships about mixing together all the power modes (including sovereignty and discipline) without an understanding of how each of them contributes to a specific power regime. Lemke (2002) advocated a more radical reading of Foucault with the help of a continuum of power stretching between “a strategic game” and “domination” with government situated in between those two poles occasionally leaning toward one or the other: “technologies of government account for the systematization, stabilization and regulation of power relationships that may lead to a state of domination” (ibid.: 53).

If government as a strategic rule is a part of the milieu composed, among others, by more oppressive power forms, how can one analyse resistance? Lilja and Vinthagen (2014) made an outstanding attempt to map the various forms of resistance associated with distinctive power forms. The question, however, arises: to what extent can these strategies and practices specifically targeting sovereignty, discipline, and biopower be studied in the context of the complex interweaving and interrelated articulation of different power modalities? As Lemke (2013: 40) specified: “Especially since 9/11, the intimate relationship between governmentality and sovereignty, between neoliberalism and discipline, freedom and violence, can no longer be ignored.” Foucault’s resolution of the issue was the removal of power from the picture of the neoliberal order along with the very idea of resistance, and the move toward what Resch (1992: 254) termed “neo-liberal humanism.”

### *The shortage of explanatory perspective on the micro-macro linkage*

The issue of the interconnection between distinctive levels of sociality—structural and individual—has always been a central concern in social sciences (Ritzer, 2008). Foucault’s diverse projects claimed to provide insights into the operation of power at both

the micro and macro levels, in association with discipline and biopolitics, respectively. Moreover, his late elaborations attempted simultaneously to address the power dynamic and subjectivity in the concept of governmentality. Despite such an all-encompassing claim, empirical studies on the art of government may find Foucault's framework neither micro enough, with a need to add concepts and methodologies of actor network analysis (Edwards, Nicoll, 2004) or ethnography (McKee, 2009), nor sufficiently macro (Joseph, 2010a). Furthermore, certain confusion can be found in Foucault's overall discussion on the mechanism of consent which would explain the macro-micro linkage. As Foucault (1990: 38) put it, a mechanism of "how the reflexivity of the subject and the discourse of truth are linked."

In the conceptualization of government, Foucault turned away from the disciplinary mode of consent constituted via insocialization of certain courses of thought and action by individuals being subjected to hierarchical observation and examination (Foucault, 1995). Instead, emphasis was put on techniques of self-examination and self-disclosure; confession replaced training. Confession is described as a technology of power to construct the subject by means of 1) self-exposure that enables control and 2) the framing of the subject's own cognitive and psychological states in line with the discourses of power (Foucault, 1997; see also Fejes, Dahlstedt, 2013; Rodin, 2016). The metaphor of a moneychanger who verifies and weighs coins to confirm their value is used to explain the "Christian hermeneutics of the self"; one has to monitor continuously his/her own thoughts in regard to one's duties to God. Eventually, the liberating potential of "technologies of the self" appeared to be mediated by technologies of domination.

With the vanishing of power from Foucault's later writings, concern with subject (and consent) was replaced by attention to subjectivity (and self-management). Barrett (1991: 91–92) explains the difference between the notions of "individual," "subject" and "subjectivity" in contemporary theoretical practice. The term "individual" highlights "personal existence" as distinct from a more traditional "functionalistic" view of a person. It may signify one's presocial state, the meaning assigned to Althusser's interpellation process, though this connotation is frequently seen to be problematic. "Subject" signifies "the model of cognitive security and confident agent"; it is discussed in relation to the notion of an object and related effects of subjection. "Subjectivity" comprises both reflective and unreflective elements, and cognitive and emotional aspects to describe the "private sense that individuals make of their experience and how this varies from content to context" (*ibid.*). In Foucault's early texts, we find an individual subject; confession deals with the interplay between subject and subjectivity, as earlier an Althusserian interpellation, based on a feeling of guilt (Butler, 1995). With the disappearance of power in Foucault's later writings the "hermeneutics of the self" focused entirely on subjectivity, feelings of pleasure and the aesthetization of life. This move resonated with the expanding discourse of individualism and personal welfare (Barrett, 1991). It can be argued that Foucault earned his popularity among an academic audience not only by the detailed description of the micromechanics of power but by his attention to the phenomenon of subjectivity, requested by the new social movements and related research (*ibid.*, see also Newton, 1998).

However, the understanding of consent, a crucial element of a liberal order (Poulantzas, 1978), has become problematic. Focus has shifted toward the issue of relations with the self, echoing Giddens' (1991) elaborations on identity as a reflexive project.

Currently, the notion of “subjectivization” is becoming salient in research on the art of government. As explained by Barnett et al. (2008), it reimagines an individual social actor as constituted via social interactions. The notion of “lay normativity” mediating grand ideologies is used to explain variations in framing conduct among ethical consumers. It remains, however, unclear where this normativity can be grounded in and what exactly the relationships between macro- and micro-norms, meaning, action, and identity (see the related discussion on the Habermasian approach in Haferkamp, 1985). Can it just be assumed that lay normativity brings “noise” into the process of ideological interpellation without radically undermining its preprogrammed effects? An acknowledgment of the cognitive and interactive aspects of social life is helpful in increasing the possibilities of individual self-directedness. However, self-reflexivity or “the narrative construction of the self” that is said to mediate subjection and subjectivization can hardly be taken as prehistorical/preideological. As is known, micro-sociological traditions such as symbolic interactionism finally resolved the issue of the micro-macro linkage by recognizing the complexity of the structural/institutional organization of society and introducing a structural view of identity (Stryker, 1982). Within the Marxist tradition, Therborn (1982) corrected Althusser's functionalist and totalizing view of ideology by acknowledging the interaction (and at times competition) between a multiplicity of structurally grounded ideologies which contribute to the complexity of individual identities and forms of subjection. This move might be especially important in the understanding of how collective (counter)identities and (counter)actions are possible. The promise made by the analytics of government to account for the complexity of relationships between power and liberty frequently remains unfulfilled due to a shortage of explanatory resources in Foucault's theoretical doctrine. In practice, one part of the dyad becomes muted in empirical studies, producing a one-dimensional picture of social-political phenomena and processes.

### *Vanishing critical standpoint*

One of the most persistent criticisms of Foucault's theorizing is the absence of a discussion on his own position in relation to political power (Barrett, 1991). Despite Foucault's early concern with exposing oppressive apparatus of power and his personal engagement in the social activism of the 1960s, elaborations of Foucault's own ideas are found overtly facilitating the existing power order (Behrent, 2010, see also Hartsock, 1989; Polauntzas, 1978; Rehmann, 2013; Resch 1992; Stern, Hellberg, Hansson, 2015). A disregard of Marxism and socialist aspirations, the discredit of the state (Behrent, 2010), and the support of individualization (Resch, 1992) are seen as contributing to the neoliberal agenda. As Resch (1992: 255) put it referring to Foucault's American period:

Foucault's new attention to the subject, coupled with his fragmentation of social structures into autonomous spheres, does provide a coherent defense of neo-liberal micro-politics, but it offers no analysis of the complexity of political problems or the obstacles standing in the way of their resolution. . . . Foucault's new methodology signifies nothing more than the capitulation of postmodern dissidence to the liberal capitalist status quo.

Behrent (2010) highlights the rise of "Right Foucauldianism," a phenomenon exemplified by the case of Foucault's former assistant and editor of his publications, François Ewald, who abandoned academia and became a successful businessman. Foucault's ideas, Ewald argued, helped on this way by liberating him from revolutionary theory and vocabulary. While Foucault's constant return to the issue of resistance created an aura of radicalism, it undermined his critical agenda, redirecting attention away from the analysis of class oppression and the related struggle (Resch, 1992). Not surprisingly, governmentality scholars reject the very idea of transformative political action, because "[t]he imposition of yet another programme of rule might only add to the array of possible oppressions" (O'Malley, Weir, Shearing, 1997: 504), a move which would lead away from the initial concern of governmentality studies with "opportunities for difference and contestation" (*ibid.*). To imagine those deviations and contestations, a robust conceptual foundation explaining the possibility of counterstructures of counternarratives would be needed. Otherwise, the notion of struggle frequently employed by governmentality literature will remain a Marxist ghost rather than a workable concept. Critique as a stimulator of reflexivity (Dean, 2010) may eventually be substituted by diagnostics for their own sake (O'Malley, Weir, Shearing, 1997) or even benefit power becoming an essential element of (neo)liberalism itself (Rehmann, 2013). As Rehmann (2013: 309) specified, Foucault's theorizing "uncritically identifies with the object and remains on the level of an intuitive and empathetic retelling."

Thus, the analytics of government inherited the trend of depoliticization and "liberal bias" (Walters, 2012: 50). Hamann (2009) observes that focusing research agendas on the practices of self-fashioning might be seen as echoing the discourses promoted by neoliberal governmentality. In regard to studies on international affairs, Joseph (2010a) warns that an uncritical application of the notion of governmentality may facilitate the promotion of views on global order as a neoliberal one. Walters (2012), with reference to Lemke, finds resemblances between the governmentality approach and liberal theory of governance. Moreover, the image of "productive" power that had championed in Foucault's writings the idea of oppressive and coercive rule risks narrowing the research agenda (Hamann, 2009).

## **Discussion and Conclusion**

The concept of governmentality has enlivened a variety of academic fields with a growing amount of research addressing the art of government in distinctive spheres of social-

political life. Some scholars, however, still doubt that it is effective to talk about governmentality studies as a substantial branch of scientific inquiry considering the absence of a coherent theory of governmentality in Foucault's account. As Wallenstein (2013: 10) proposed: "If there is a unity, it must rather be sought on the level of questioning, in the necessity of never remaining satisfied with the answer just given, and of constantly returning to the starting point in order to frame the investigation differently." As demonstrated in the current paper, the shortage of explanation on power ontology and the continuous transformation of the focus of Foucault's research provided unstable ground for the conceptualization of both power and agency and the relationships between them. In this context, Foucault's account is frequently considered as a "toolbox" (Hamann, 2009: 47) from which scholars can pick what they please. The notion of governmentality then risks being employed for the explanation of very different phenomena, and without a discussion on the possible limitation of the governmentality framework (Joseph, 2010a, 2010b). The operation of structures as "conditions of possibility" are typically excluded in research on the art of government in favour of a topological approach or "empiricism of the surface" (Rose in Joseph, 2010a: 241).

Two major conclusions come from this observation. First, there is an increasing demand for the reimagining governmentality as a methodology (Joseph, 2010a). This approach may avoid the over-application of the term and a differentiation between governmentality as rhetoric and the context of its application. For studies in international affairs, such a move might help improve the sensitivity to articulations of imported or externally imposed neoliberal discourses and technologies in nonliberal parts of the globe. Second, there is a need to reground studies on the art of government in an updated version of historical materialism (Joseph, 2010a; Selby, 2007; Thörn et al., 2015), reinterpret (Rehmann, 2013) or substitut by a renewed Marxism (Resch, 1992). Some elements of Marxism are continuously found in Foucault's work (Resch, 1992) and Foucault's ideas are actively employed by Marxists. Hardt and Negri (2000) borrowed the decentralization frame, regrounded and termed anonymous power "capital", thus reinstalling the idea of class interests behind the mechanisms of oppression and discipline in an increasingly globalized world. Therborn (1982) utilized Foucault's characteristics of discourse to enhance the Althusserian view on ideology. Poulantzas (1978) effectively used the idea of decentralization in an attempt to re-establish the role of the state. Empirical studies on governmentality tend to return, consciously or not, to the importance of social interest in the production of relations of power (e.g., Findlay, Newton, 1998; Thörn et al., 2015). The recognition of social conflict and social struggle as "constitutive to the social" (Thörn et al., 2015: 93) will allow the identification of plausible explanations for the incoherence, inconsistencies, and occasional failures of governmental programs. The reintroduction of the nonessentialistic notion of interest would provide a deeper explanation of social-political processes (*ibid.*: 94).

Descriptive discourse analysis, frequently employed in governmentality research, was found to be reductionist (O'Malley, Weir, Shearing, 1997; Thörn et al., 2015). However, Fairclough's three-dimensional model of critical discourse analysis covers both domains

of discourse: production and consumption (Jørgensen, Phillips, 2002). In such an analysis, a variety of articulations of power relationships, and a variety of interpretations and responses from the side of individual social actors can be reached.

The concept of governmentality is currently enjoying wide popularity in several disciplines. Dissatisfaction with its capacity to account meaningfully for the mechanisms of power and subjection is, however, growing. This paper outlines some of the issues in the application of governmentality in empirical research as being immanent to the very theoretical tradition it is grounded in. Increasingly, scholars claim to be complementing the governmentality concept by macro level theoretical constructs, or, simply, for putting governmentality “in its proper place” (Joseph, 2010a: 224). Recognizing the importance of Foucault’s overall contribution to the understanding of contemporary phenomena and practices, critical scholarship acknowledges a need to recognize its conceptual and social limitations (*ibid.*).

## References

Barnett C., Clarke N., Cloke P., Malpass A. (2008) The Elusive Subjects of Neo-liberalism. *Cultural Studies*, vol. 22, no 5, pp. 624–653.

Barrett M. (1991) *The Politics of Truth: From Marx to Foucault*, Oxford: Polity Press.

Behrent M. (2010) A Seventies Thing: On the Limits of Foucault’s Neoliberalism Course of Understanding the Present. *A Foucault for the 21st Century: Governmentality, Biopolitics and Discipline in the New Millennium* (eds. S. Binkley, J. Capetillo), Cambridge: Cambridge Scholars, pp. 16–29.

Butler J. (1995) Conscience Doth Make Subjects of Us All. *Yale French Studies*, vol. 88, pp. 6–26.

Collier S. (2011) *Post-Soviet Social: Neoliberalism, Social Modernity, Biopolitics*, Princeton: Princeton University Press.

Collier S. (2009) Topologies of Power: Foucault’s Analysis of Political Government Beyond “Governmentality”. *Theory, Culture, Society*, vol. 26, no 6, pp. 78–108.

Dean M. (2010) *Governmentality: Power and Rule in Modern Society*, Los Angeles: SAGE.

Edwards R., Nicoll K. (2004) Mobilizing Workplaces: Actors, Discipline and Governmentality. *Studies in Continuing Education*, vol. 26, no 2, pp. 159–173.

Fejes A., Dahlstedt M. (2013) *The Confessing Society: Foucault, Confession and Practices of Lifelong Learning*, London: Routledge.

Foucault M. (1990) Critical Theory/ Intellectual History. *Michel Foucault: Politics, Philosophy, Culture: Interviews and Other Writings, 1977–1984* (ed. L. Kritzman), New York: Routledge, pp. 17–47.

Foucault M. (1995) *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, New York: Vintage Books.

Foucault M. (1991) Governmentality. *The Foucault Effect: Studies in Governmentality with Two Lectures by and Interview with Michel Foucault* (eds. C. Burchell, C. Gordon, B. Miller), Chicago: University of Chicago Press, pp. 87–104.

Foucault M. (2003) *Society Must be Defended: Lectures at the College de France, 1975–76* (eds. M. Bertani et al.), New York: Picador.

Foucault M. (1997) *The Essential Works of Michel Foucault, 1954–1984. Vol. 1* (ed. P. Rabinow), New York: The New Press.

Foucault M. (1980) The Confession of the Flesh. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977* (ed. C. Gordon), New York: Vintage Books, pp. 194–228.

Foucault M. (1981) The Order of Discourse. *Untying the Text: A Post-structuralist Reader* (ed. R. Young), London: Routledge & Kegan Paul, pp. 48–78.

Giddens A. (1991) *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, Stanford: Stanford University Press.

Haferkamp H. (1985) Critique of Habermas's Theory of Communicative Action. *Social Action*, vol. 43, pp. 197–205.

Hamann T. (2009) Neoliberalism, Governmentality, and Ethics. *Foucault Studies*, no 6, pp. 37–59.

Hardt M., Negri A. (2000) *Empire*, Cambridge: Harvard University Press.

Hartsock N. (1989) Foucault on Power: A Theory for Women? *Feminism/Postmodernism* (ed. L. Nicholson), New York: Routledge, pp. 157–175.

Hessdöter F., Pubs A., Ullrich P. (2010) Prevent and Tame: Protest Under (Self)control. Rose-Luxemburg-Stiftung Manusktipie 88. Berlin: Karl Deitz Verlag. Available at: [https://www.rosalux.de/fileadmin/rls\\_uploads/pdfs/Manuskripte/Manuskripte\\_88.pdf](https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Manuskripte/Manuskripte_88.pdf) (accessed 12 June 2016).

Jørgensen M. W., Phillips L. (2002) *Discourse Analysis as Theory and Method*, London: SAGE.

Joseph J. (2010a) The Limits of Governmentality: Social Theory and the International. *European Journal of International Relations*, vol. 16, no 2, pp. 223–246.

Joseph J. (2010b) What Can Governmentality Do to IR? *International Political Sociology*, vol. 4, no 2, pp. 202–205.

Larsson B., Letell M., Thörn H. (eds.) (2012) *Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lemke T. (2002) Foucault, Governmentality, and Critique. *Rethinking Marxism*, vol. 14, no 3, pp. 49–64.

Lemke T. (2013) Foucault, Politics, and Failure: A Critical Review of Studies of Governmentality. *Foucault, Biopolitics and Governmentality* (eds. J. Nilsson, S.-O. Wallenstein), Stockholm: Södertörn University, pp. 35–52.

Lilja M., Vinthagen S. (2014) Sovereign Power, Disciplinary Power and Biopower: Resisting What Power with What Resistance? *Journal of Political Power*, vol. 7, no 1, pp. 107–126.

McKee K. (2009) Post-Foucauldian Governmentality: What Does It Offer Critical Social Policy Analysis? *Critical Social Policy*, vol. 29, no 3, pp. 465–486.

Miller P., Rose N. (1990) Governing Economic Life. *Economy and Society*, vol. 19, no 1, pp. 1–29.

Newton T. (1998) Theorizing Subjectivity in Organization: The Failure of Foucauldian Studies? *Organization Studies*, vol. 19, no 3, pp. 415–447.

O’Malley P., Weir L., Shearing C. (1997) Governmentality, Criticism, Politics. *Economy and Society*, vol. 26, no 4, pp. 501–517.

Palmer C. (2001) “Taming the Wild Profusion of Existing Things?” A Study of Foucault, Power, and Human/Animal Relationships. *Environmental Ethics*, vol. 23, pp. 339–358.

Poulantzas N. (1978) *State, Power, Socialism*, London: NLB.

Read J. (2009) A Genealogy of Homo-Economics: Neoliberalism and the Production of Subjectivity. *Foucault Studies*, vol. 6, pp. 25–36.

Rehmann J. (2013) *Theories of Ideology: The Powers of Alienation and Subjection*, Boston: Brill.

Resch R-P. (1992) *Althusser and the Renewal of Marxist Social Theory*, Berkley: University of California Press.

Ritzer G. (2008) *Sociological Theories*, New York: McGraw-Hill.

Rodin L. (2015) “Governmentality” in the Clinical Context: The Paradoxes of Humanization of Healthcare in Sweden. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 13, no 4, pp. 643–656.

Rodin L. (2016) “Developmental Talk” as Confession: The Role of Trade Union in Workplace Governance. *Ephimera: Theory and Politics in Organization*, vol. 16, no 2, pp. 53–75.

Rutherford S. (2007) Green Governmentality: Insights and Opportunities in the Study of Nature’s Rule. *Progress in Human Geography*, vol. 31, no 3, pp. 291–307.

Selby J. (2007) Engaging Foucault: Discourse, Liberal Governance and the Limits of Foucauldian IR. *International Relationships*, vol. 21, no 3, pp. 325–345.

Solomon J. (2011) Saving Population from Governmentality Studies: Translating Between Archaeology and Biopolitics. *Biopolitics, Ethics and Subjectivation* (eds. A. Brossat, C. Yuan-Horng, R. Ivezkovic, J. C. H. Liu), Paris: L’Harmattan, pp. 190–205.

Stenson K. (2008) Beyond Kantianism: Response to Critiques. *Social Work and Society*, vol. 6, no 1, pp. 42–46.

Stern M., Hellberg S., Hansson S. (2015) Studying the Agency of Being Governed? An Introduction. *Studying the Agency of Being Governed* (eds. M. Stern, S. Hellberg, S. Hansson), New York: Routledge, pp. 1–18.

Stryker S. (2002) *Symbolic Interactionism: A Social Structural Version*, Caldwell: Blackburn Press.

Therborn G. (1982) *The Power and the Power of Ideology*, London: Verso.

Thörn H., Stern M., Hellberg S., Hansson S. (2015) How to Study Power and Collective Agency: Social Movements and the Politics of International Development Aid: Interview with Håkan Thörn. *Studying the Agency of Being Governed* (eds. M. Stern, S. Hellberg, S. Hansson), New York: Routledge, pp. 85–102.

Thomas O. D. (2014) Foucaultian Dispositifs as Methodology: The Case of Anonymous Exclusions by Unique Identification in India. *International Political Sociology*, vol. 8, no 2, pp. 164–181.

Ullrich P. (2010) Preventionism and Absticles for Protest in Neoliberalism: Linking Governmentality Studies and Protest Research. *Prevent and Tame: Protest Under (Self) control* (eds. F. Hessdöter, A. Pubs, P. Ullrich), Berlin: Karl Deitz, pp. 14–23.

Wallenstein S.-O. (2013) Introduction: Foucault, Biopolitics and Governmentality. *Foucault, Biopolitics and Governmentality* (eds. J. Nilsson, S.-O. Wallenstein), Stockholm: Södertörn University, pp. 7–34.

Walters W. (2012) *Governmentality: Critical Encounters*, London: Routledge.

## Исследования правительства: шесть «подводных камней» эпистемологии

Лика Родин

Кандидат социологических наук, преподаватель социальной психологии Университета Шёвдэ

Адрес: Högskolevägen, Box 408, Högskolan i Skövde, Sweden 54128

E-mail: lika.rodin@his.se

Понятие правительства, разработанное в работах Мишеля Фуко, активно используется в различных академических дисциплинах. На основе анализа вторичной литературы, настоящая статья выделяет и систематизирует некоторые особенности теоретического подхода Фуко, которые находят отражение в современных исследованиях правительства. Я описываю шесть скрытых эпистемологических препятствий (эссенциализации власти, невозможность сопротивления, латентный идеализм, непоследовательное представление государственности, недостаточное обоснование микро-макросвязи и исчезающая критическая позиция) с целью стимулировать академическую дискуссию о возможных методологических прозрениях, способных преодолеть некоторые из этих трудностей. Представленные ограничения рассматриваются как имманентные общей теоретической концепции Фуко, а не как следствия отклонения от нее. Примеры исследований из сферы международных отношений и социологии используются для поддержки основных аргументов в тексте. Как показано, поиск дополнительного обоснования аналитики власти Фуко в обновленной версии исторического материализма может иметь хороший потенциал для обеспечения точности исследований правительства и переопределения его критической направленности. Кроме того, потребуется определенный консенсус по фундаментальным понятиям исследований правительства, что может помочь стабилизировать повестку дня исследований. Признавая общий важный вклад Фуко в понимание современных феноменов и практик, критическая наука должна учитывать его концептуальные и социальные ограничения.

**Ключевые слова:** Фуко, власть, сопротивление, марксизм, биополитика, идеализм, дискурс-анализ

# Конец «стабильности»: политическая экономия пересекающихся кризисов в России с 2009 года

*Илья Матвеев*

Кандидат политических наук, доцент факультета сравнительных политических исследований  
Северо-западного института управления Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы при Президенте РФ  
Докторант Европейского университета в Санкт-Петербурге  
Адрес: Средний пр., В.О., д. 57/43, Санкт-Петербург, Российская Федерация 199178  
E-mail: [matveev.ilya@yahoo.com](mailto:matveev.ilya@yahoo.com)

В статье прослеживается взаимосвязь кризисных процессов, пришедших на смену «стабильности» 2000-х годов в России. Период с 2009 года характеризуется стремительным накоплением и наложением друг на друга противоречий в различных сферах: речь идет об экономическом кризисе 2009 года, политическом кризисе 2011–2012 годов, «геополитическом» кризисе 2014 года и, наконец, новом витке экономического кризиса, начавшемся в 2014 году. Эти процессы трактуются в статье как взаимно обусловленные. Выявляется их связь с политико-экономическим порядком, сложившимся в России в 2000-е годы и предполагавшим, с одной стороны, воспроизведение периферийного капитализма, с другой — консолидацию политического режима, который сочетал в себе неопатриотические практики и доминирование бюрократических элит, характерное для бонапартизма. Кризис 2009 года продемонстрировал уязвимость этого политico-экономического порядка. В свою очередь, массовые протесты 2011–2012 годов изменили характер отношений между властью и обществом и запустили процесс трансформации режима, все больше опиравшегося на идеологию и репрессии. Идеологическая мобилизация, характерная для третьего срока В. Путина и усиленная российскими действиями в Украине в 2014 году, происходит на фоне экономической стагнации и спада, свидетельствующих об исчерпанности модели российского периферийного капитализма. Статья завершается анализом противоречий и потенциальных точек напряжения в российском обществе на фоне продолжающихся экономических проблем.

**Ключевые слова:** инволюция, периферизация, неопатриотализм, бонапартизм, кризис, государство

Старое умирает, а новое не может родиться.  
Антонио Грамши

В 1991 году Клаус Оffe точно предсказал, что сама природа «тройного транзита» в посткоммунистических странах (одновременный переход к демократии, рыночной экономике и национальному государству) породит многочисленные противоречия (Offe, 1991). По-видимому, нигде правота Оffe не была столь очевидна, как

в России, где десятилетие 1990-х годов было отмечено беспрецедентными политическими, экономическими и социальными потрясениями. Однако в 2000-е годы напряжение и противоречия, казалось, ослабли. Под знаком «стабильности» само время в путинской России как будто замедлило свой ход: отсюда частые параллели с брежневским застоем, еще одной эпохой «исторической паузы, блуждания в пустоте» (Prozorov, 2009: 93).

К концу десятилетия искусственное спокойствие начало рассеиваться. В 2008 году министр финансов Алексей Кудрин все еще утверждал, что Россия — «остров стабильности» в океане мирового кризиса (Вести.Ру, 2008); однако уже год спустя экономический кризис добрался до России и нанес большой урон. В 2011 году экономические проблемы дополнились политическими: десятки тысяч людей вышли на улицы Москвы и других городов, протестуя против электоральных фальсификаций и тем самым объявив, что «пакт о невмешательстве» между государством и обществом, характерный для 2000-х годов, более недействителен. Поступь истории продолжилась на российских границах: украинский Евромайдан 2013–2014 годов спровоцировал резкую реакцию властей, которая привела к новому, «геополитическому» кризису, оказавшему огромное влияние на российское государство и общество. Наконец, в 2014 году Россия вновь погрузилась в экономический кризис, первые признаки завершения которого появились лишь в конце 2016 года. Как объяснить это стремительное накопление и наложение друг на друга кризисов в различных сферах с 2009 года? Задача настоящей статьи — проанализировать взаимную обусловленность (сверхдeterminацию) экономического, политического и «геополитического» кризисов в указанный период. Особое внимание уделяется трансформации государства, выступающей как следствием кризиса, так и реакцией на него. Наконец, циркулирующие в обществе нарративы о кризисе рассматриваются как его составная часть.

### **Кризис, противоречие и сверхдeterminация**

Концептуальной рамкой для изучения пересекающихся кризисов в статье служит теория сверхдeterminации, разработанная Луи Альтюссером в 1960-х годах. Альтюссер, известный марксистский теоретик, критиковал сведение социальной сложности к одному-единственному противоречию на уровне «базиса», т. е. экономики. Каждую конкретную социальную формацию он рассматривал как «сложное структурированное целое», единство противоречий, каждое из которых разворачивается отдельно, но в то же время сверхдeterminировано, т. е. взаимно обусловлено другими (Альтюссер, 2006: 296). По словам Стивена Калленberга, «сверхдeterminация — это теория существования, утверждающая, что ничто не существует изолированно, независимо от всего остального, и, следовательно, каждый аспект жизни общества существует исключительно в результате взаимной determinации всех остальных его аспектов» (Cullenberg, 1999: 812). Таким образом, использование понятия «сверхдeterminация» по отношению к кризисам предпо-

лагает изучение конкретных способов, которыми они определяют и учреждают друг друга в рамках данной исторической конъюнктуры.

Природа сверхдeterminации в политической сфере предполагает анализ государства и его изменений. Марксистские теоретики неоднократно указывали на то, что в капиталистических обществах государство выполняет стратегическую роль по отношению к кризисам. Так, по мнению Юргена Хабермаса и Клауса Оффе, государство обладает (принципиально ограниченной) способностью ослаблять эффект экономических кризисов, которые «вытесняются» в государственный аппарат (Habermas, 1975: 46; Offe, 1976). В более широкой перспективе, согласно Никосу Пуланзасу, государство, с одной стороны, обеспечивает условия для воспроизводства капиталистической социальной формации, с другой — сосредотачивает в себе противоречия и конфликты «в необходимо специфичной форме», т. е. в форме, характерной именно для государства (Poulantzas, 1978: 132). Таким образом, трансформация государства — это и отражение социальных противоречий, и ответ на них.

Опираясь на различные теории государства, в том числе вдохновленные марксизмом, Колин Хэй выявляет еще одно, дискурсивное измерение в отношении между кризисом и государством. По мнению Хэя, кризис — не объективное состояние; скорее, это дискурсивный конструкт, создающий необходимые условия для радикальной трансформации государства (в терминологии Хэя, нового «государственного проекта»). Хэй четко разделяет «проблемную ситуацию [failure] (накопление и наложение друг на друга противоречий) и кризис (момент решительного вмешательства, в который эти противоречия опознаются как явные)» (Hay, 1999: 324). С точки зрения Хэя, «между кризисом как нарративом о проблемной ситуации и природой противоречий, или „симптомов“, становящихся частью кризисного нарратива, нет однозначного соответствия. В рамках такой концептуальной схемы проблемная ситуация и кризис относительно независимы друг от друга» (Hay, 1999: 324). Иными словами, кризис — это мобилизуемый той или иной политической силой нарратив, который интегрирует в себя существующие в обществе противоречия в качестве «симптомов» острого недуга, требующего безотлагательного вмешательства. Радикальное реформирование государства (новый «государственный проект») и становится таким вмешательством.

Для концептуализации кризиса как момента решительного вмешательства Хэй обращается к идеи Оффе о «структурном режиме политической рациональности», понимаемом как «ответ на проблемную ситуацию, в рамках которого сама институциональная форма системы, в данном случае государства, подвергается фундаментальным изменениям» (Hay, 1999: 328). В противоположность этому «конъюнктурный режим политической рациональности» является «ответом на проблемную ситуацию, при котором принимаемые меры остаются в рамках существующих и практически не измененных структур государственного режима, как правило, в отсутствие нарратива о кризисе» (Hay, 1999: 329). В то же время, как утверждает Хэй, даже такой «мелкий ремонт» может сыграть решающую роль, в

случае если наступает переломный момент [tipping point]: относительно небольшое вмешательство может или сделать систему более стабильной, или, наоборот, резко обострить ее скрытые противоречия (Hay, 1999: 325).

Наблюдения о сверхдетерминированном характере кризисов, отношении между кризисом и государством, а также о кризисе как дискурсивно опосредованном феномене послужат теоретической рамкой для последующего анализа. Однако их необходимо уточнить с учетом тенденций, характерных для постсоветского периода в истории России. Анализу этих тенденций посвящен следующий раздел.

### **Инволюция, периферизация и бонапартизм: Россия в 1991–2008 годы**

Исследования постсоветской России, хотя и достаточно разнообразные, все же были долгое время захвачены идеями «транзитологии» с присущими ей телеологическими установками. Появлялись все новые теории, которые Майкл Буравой обозначил как «дефицитные модели», поскольку они выявляли причины «неудачи» России в построении демократии или либерального капитализма; при этом сами демократия и либеральный капитализм как конечные точки транзита не подвергались сомнению (Burawoy, 2001: 270). Буравой предложил свою теорию *инволюции* для того, чтобы выявить специфику исторического развития России в постсоветский период, не измеряя при этом степень ее «успеха» или «неудачи» в достижении определенной цели, конечной точки транзита.

По мнению Буравого, российская «великая инволюция» — противоположность «великой трансформации» Карла Поланьи. С точки зрения экономики она означала возникновение веберовского «спекулятивного, авантюристического, грабительского капитализма» в сфере обмена, который вытягивал ресурсы из сферы производства, не инвестируя в нее (Burawoy, 2001: 279). С точки зрения социальной жизни она означала «декоммодификацию» труда в форме невыплат зарплаты и переход к стратегиям выживания в «обществе сетей», в котором существовали взаимные связи между домохозяйствами, но отсутствовали институты (Burawoy, 2001: 281, 284). Наконец, с точки зрения политики она означала «превращение партийного государства в неофеодальное образование» (Burawoy, 2001: 270)<sup>1</sup>.

Еще одну целостную теорию развития России с 1991 года, в большей степени ориентированную на политику и государство, предложил Георгий Дерлугьян. В то время как Буравой вдохновлялся Поланьи, Дерлугьян использовал идеи Валлер-

1. К схожим выводам приходит Лоуренс Кинг: по его мнению, российский «патримониальный капитализм», в отличие от западного либерального капитализма, был лишен полной коммодификации экономики из-за распространенности бартера; он также был лишен свободного труда (в том смысле, что выживание привязывало работников к их предприятиям, пусть даже там не платили зарплату); наконец, он был лишен разделения между экономической и политической сферой вследствие широко распространенных клиентелистских связей между бизнесом и чиновниками (King, 2002). О «патримониальном капитализме» в России см. также: Robinson, 2011, 2014. Альтернативный, марксистский анализ российского капитализма, основанный на понятии «инсайдерской ренты», можно найти в: Dzarasov, 2013.

стайна и других мир-системных теоретиков (хотя они оба многим обязаны Веберу). С точки зрения Дерлугьяна, ослабление и дезинтеграция советского «государства развития» [developmental state] привели к откату на периферию, или *периферизации* России (Derluguian, 2005: 15–16, 222–228). Движущей силой этого процесса был неопатримониализм, понимаемый как «реактивная стратегия бюрократических элит и новых политических игроков», состоящая в «практике коррумпированного патронажа, который опирается на частное присвоение государственных должностей» (Derluguian, 2005: 15). По мнению Дерлугьяна, характерные черты постсоветских неопатримониальных государств включают в себя: возникновение «компрадорских олигархий, монополизирующих точки пересечения глобальных экономических потоков и местных ресурсодобывающих отраслей»; ослабление государства под влиянием неопатримониальных практик; экономическую деградацию; «поражение и деморализацию обладающих самосознанием социальных групп, которые принято относить к «гражданскому обществу»; манипулируемые выборы и «периодические всплески политического насилия» (Derluguian, 2005: 15–16)<sup>2</sup>.

Инволюция и периферизация имеют объективный характер в качестве тенденций развития постсоветской России; в то же время они ограничивают, но не полностью предопределяют траекторию этого развития. Под влиянием конкретных событий агенты способны менять свои стратегии, что может привести к изменению тех структур, которые ограничивают и задают их действия. Характерный пример такого события — кризис 1998 года, запустивший процесс изменений в природе российского капитализма, что в конечном счете привело также и к трансформации российского государства.

Это был кризис экономической системы, возникшей в России в 1990-е годы. В соответствии с предложенным Буравым анализом авантюристо-спекулятивного капитализма в сфере обмена, вытягивавшего ресурсы из сферы производства, влиятельные экономические игроки избегали инвестиций в реальную экономику, вместо этого занимаясь финансовыми спекуляциями, в частности, покупая государственные краткосрочные облигации (ГКО) (см.: Nesvetailova, 2005: 246–247). В свою очередь, государство вынужденно брало в долг именно потому, что неспособно было обеспечить эффективное налогообложение крупного бизнеса. В результате возник порочный круг из слабости государства, спекуляций и роста государственного долга. В 1998 году вся система обрушилась, заставив выживший крупный бизнес изменить стратегию накопления.

С одной стороны, после кризиса 1998 года олигархи больше не могли зарабатывать на ГКО. С другой стороны, те из них, кто в предыдущий период завладел промышленными активами в экспортных отраслях, извлекли большую выгоду из

2. Процесс дезинтеграции государства и частного присвоения государственных должностей проанализирован, исходя из различных теоретических установок, в следующих работах: Solnick, 1996, 1998; Ganev, 2005, 2009. Александр Фисун предложил свою классификацию олигархического, бюрократического и сultанистского неопатримониализма на постсоветском пространстве (Фисун, 2007).

девальвации рубля и растущих цен на сырье. В целом кризис «завершил процесс перехода практически всех [олигархов] в реальную экономику в качестве приоритетной сферы ведения бизнеса» (Fortescue, 2006: 107; см. также: Clarke, 2007: 62). Это привело к новому витку борьбы за промышленные активы в 1998–2002 годах, когда бизнес-группы при помощи региональных властей добивались контроля над наиболее привлекательными компаниями (Volkov, 2008; Yakovlev, 2014). Однако это же привело к переоценке олигархами своих интересов в отношении центральной власти.

По мнению Андрея Яковлева, бизнес-игроки поняли, что «экономика не может существовать без государства, а государство не может существовать без налогов» (Yakovlev, 2014: 13). Это вылилось в успешные переговоры между бизнесом и чиновниками, в результате которых в 2001 году был принят новый Налоговый кодекс (Luong, Weintal, 2004). В целом, утверждает Яковлев, крупный бизнес осознал необходимость в сильном государстве, которое могло бы защитить его от возможных негативных последствий будущих экономических кризисов, таких как «значительное перераспределение власти и собственности» в стране (Yakovlev, 2006: 1054; см. также: Yakovlev, 2014: 13)<sup>3</sup>. Таким образом, запрос на усиление государства был результатом развития российского капитализма после кризиса 1998 года. По словам Уильяма Томпсона, «заработав огромные состояния при Ельцине во многом благодаря успешной эксплуатации слабости государства, [олигархи] могли извлечь большую выгоду из путинского проекта по его усилению... Для российских новых собственников государственное строительство и структурные реформы призваны были закрепить победы, завоеванные ими в 1990-е годы» (Thompson, 2005: 188).

Владимир Путин, избранный президентом России в 2000 году, считал усиление государства своей главной задачей. Его президентство имело черты бонапартизма — в том смысле, который Карл Маркс вкладывал в это понятие в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Это проявлялось в путинской антиреволюционной риторике «восстановления порядка», опоре на пассивную поддержку атомизированных масс, но прежде всего — в борьбе за автономию государства. «Только при втором Бонапарте, — писал Маркс, — государство как будто стало вполне самостоятельным» (Маркс, Энгельс, 1957: 207). Более того, «многочисленная расшитая галунами и упитанная бюрократия» и была главной «наполеоновской идеей», *idée napoléonienne* (Маркс, Энгельс, 1957: 2012). По Марксу, при Луи Бонапарте французская бюрократия наконец стала автономной по отношению к обществу и послужила основой его личной власти. Параллель с путинским проектом усиления государства очевидна<sup>4</sup>.

3. Кроме того, бизнесмены, заработавшие свои состояния благодаря клиентелистским связям с чиновниками, были не единственными экономическими игроками в 1990-е годы: были и те, кто занимался бизнесом и создавал новые компании без коррупционных связей по модели, обозначенной Андреем Яковлевым как «свободное предпринимательство» (Yakovlev, 2006: 1054). Это «неолигархическое бизнес-сообщество» также нуждалось в сильном государстве, которое установило бы четкие правила игры (Yakovlev, 2006: 1054).

4. О путинском «государственном строительстве» см.: Hashim, 2005; Taylor, 2011.

С другой стороны, как утверждал Маркс, правление Луи Бонапарта, пусть и опиравшееся на автономную бюрократию, в то же время было выгодно буржуазии: «...для сохранения в целости ее социальной власти должна быть сломлена ее политическая власть... для спасения ее кошелька с нее должна быть сорвана корона» (Маркс, Энгельс, 1957: 161). Эта логика применима и к путинскому правлению. По словам Саймона Пирани, «государство дисциплинировало олигархов в интересах класса собственников в целом и вернуло себе функции, потерянные в хаосе 1990-х годов. Государственная власть — не самоцель, а средство управления постсоветским российским капитализмом и его интеграции в мировую систему» (Pirani, 2010: 1). Как утверждает Якоб Риги, «правление Ельцина было правлением олигархов, тогда как правление Путина — это правление для олигархов» (Rigi, 2005: 202). О точности данной формулировки свидетельствует число российских миллиардеров, увеличившееся, по данным «Форбс», с нуля в 2000 году до 87 в 2008 году, когда Россия по этому показателю уступала лишь США (Kroll, 2008)<sup>5</sup>.

Путинское правление обладало и другой чертой бонапартизма. Говоря о парцельных крестьянах, основе поддержки Луи Бонапарта, Маркс указывал на то, что они образуют класс лишь в смысле общих условий существования, но не образуют его политически: «...тождество их интересов не создает между ними никакой общности, никакой национальной связи, никакой политической организации» (Маркс, Энгельс, 1957: 208). Поэтому, как утверждал Маркс, «они... неспособны защищать свои классовые интересы от своего собственного имени, будь то через посредство парламента или через посредство конвента. Они не могут представлять себя, их должны представлять другие» (Маркс, Энгельс, 1957: 208). Насколько российское общество соответствует Марксову описанию парцельных крестьян во Франции Луи Бонапарта — спорный вопрос. Однако ясно, что «бонапартистский» режим политического представительства был сознательно — и в конечном счете успешно — сформирован в России вокруг фигуры «путинского большинства», т. е. большинства населения, лишенного своего голоса, которое может быть представлено лишь Путиным<sup>6</sup>. Черты этого режима представительства различимы в анализе «делегативной демократии» в России (Hale, 2009) и «плебисцитарной» природы путинского правления (Hanson, 2011).

В 2000–2008 годы новая система, казалось, успешно работала — при поддержке высоких цен на нефть. Экономика росла высокими темпами (в среднем на 7% в год). Открытые социальные противоречия легко разрешались, как в случае с протестами против «монетизации льгот» в 2005 году. И все же, хотя изменения по сравнению с десятилетием 1990-х годов были вполне реальными, тенденции, ко-

5. Следует добавить, что Маркс учитывал противоречивое положение буржуазии в бонапартистском государстве: «...защищающий ее меч должен вместе с тем, как дамоклов меч, повиснуть над ее собственной головой» (Маркс, Энгельс, 1957: 161). То же можно сказать и о путинской России: хотя российское государство явно имеет классовый характер, т. е. является капиталистическим государством и, в частности, государством крупного капитала, оно также действует как «хищническое государство» (Gans-Morse, 2012), особенно в отношении малого и среднего бизнеса.

6. О фигуре «путинского большинства» см.: Рогов, 2001; Павловский, 2014а, 2014б.

торые Буравой обозначил как инволюцию и Дерлугъян — как периферизацию, в 2000-е годы были модифицированы, но не преодолены.

В экономической сфере инвестиции в промышленность выросли по сравнению с крайне низким уровнем 1990-х годов, однако большая их часть направлялась на «частичное переоснащение и реконструкцию существующих предприятий для поддержания или расширения уже имеющихся производственных мощностей при благоприятной рыночной конъюнктуре, а не на создание новых предприятий, которые активно расширяли бы рынок и чья продукция соответствовала бы мировым стандартам цены и качества» (Clarke, 2004: 420). По мнению Саймона Кларка, это свидетельствует о том, что «движущая сила капиталистического развития в России все еще не стала эндогенной» и по-прежнему зависела от внешнего фактора: высоких цен на нефть (Clarke, 2004: 420). В отличие от других быстро-растущих экономик, таких как Китай и Индия, экономический рост в России не был основан на инвестициях (Tabata, 2009: 684). Валовое накопление капитала в 2000–2008 годы в среднем составляло 21,5% ВВП, тогда как в Китае этот показатель равнялся 40,3%, в Индии — 30,8%<sup>7</sup>. С другой стороны, объем «незаконных финансовых потоков» из России в 2000–2008 годы достиг 427 млрд долл. — по этому показателю Россия уступала лишь Китаю, при огромной разнице в населении и ВВП (Kar, Curcio, 2011). Низкий уровень инвестиций, гигантский отток капитала и сохраняющаяся центральная роль сырьевого экспорта указывают на устойчиво периферийный характер российского капитализма<sup>8</sup>.

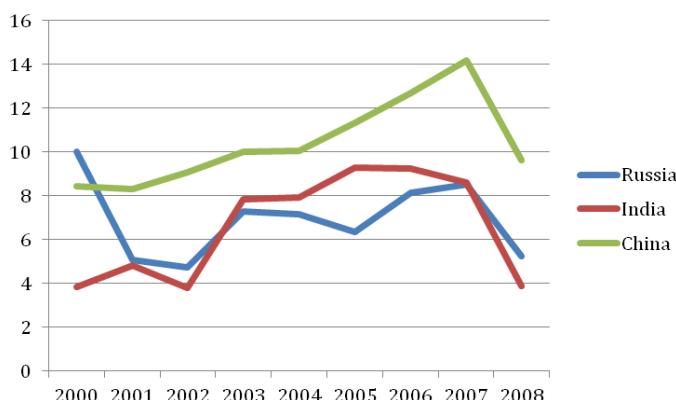


Рис. 1. Ежегодный прирост ВВП в %. Данные World Bank

7. По данным World Bank: <http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=NY.GDP.MKTP.KD.ZG&country=RUS,IND,CHN#>.

8. Анастасия Несветайлова указывает на такой симптом продолжающейся экономической периферизации, как сокращение занятости в НИОКР. По данным Росстата, численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, сократилась с 890 718 человек в 2001 году до 745 978 человек в 2009 году; речь идет о потере 56,717 исследователей ([http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat\\_main/rosstat/ru/statistics/science/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science/)).

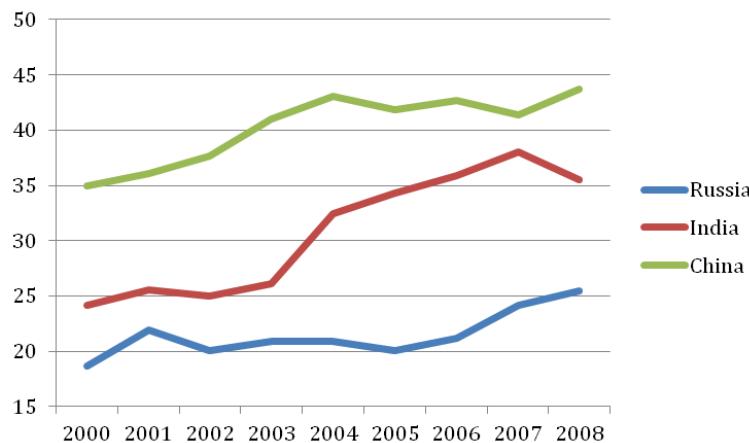


Рис. 2. Доля валового накопления капитала в ВВП. Данные World Bank

В политической сфере усиление государства привело к воспроизводству неопатrimonиальных практик, а не их преодолению. Декларированной целью Путина было создание эффективной «вертикали власти». Однако, как показывает Владимир Гельман, новая система отличалась не столько армейской дисциплиной, сколько созданием материальных стимулов на всех уровнях «вертикали». Коррупция была не побочным эффектом, а движущей силой ее функционирования (Гельман, 2015а: 13–19)<sup>9</sup>. При этом было бы упрощением сводить всю путинскую экономическую политику (к примеру, расширение госсектора в 2004–2008 годы) к простой логике патронажа и коррупции — но следует признать, что и новая версия «государства развития» в России в этот период не возникла: об этом свидетельствует неспособность трансформировать экономику и преодолеть зависимость от сырьевого экспорта (Robinson, 2011: 435). Скорее, речь идет об элементах девелопментализма в контексте бюрократического/бонапартистского неопатри monialного режима<sup>10</sup>.

9. В анализе путинской «системы» (общее обозначение для всей совокупности неформальных, сетевых практик управления) Алена Леденева перечисляет действующие в ней материальные стимулы: откаты, зарплаты в конвертах, приобретение собственности по сниженным ценам, различные привилегии, связанные с госслужбой (Ledeneva, 2012: 41).

10. Такое гибридное определение уже было предложено Роджером Д. Марквиком по отношению к ельцинскому режиму: «Характерный для третьего мира патримониализм с бонапартистскими тенденциями» (Markwick, 1999: 127). Бонапартизм, в случае Ельцина бывший лишь тенденцией, которая проявилась в подавлении парламента и принятии суперпрезидентской конституции в 1993 году, в случае Путина обрел черты заключенности: его личная власть опиралась на государственный аппарат, который достиг независимости и доминирования над альтернативными центрами силы, такими как олигархи и региональные лидеры. Следуя схожей логике, Александр Фисун обозначил путинизм как «бюрократический неопатримониализм», в основе которого лежит «монополизация и полупринудительная централизация неопатримониального господства, значительная роль милитарных структур и спецслужб, популистская и патриотическая мобилизация и плебисциты» (Фисун, 2007).

В социальной сфере благодаря экономическому росту удалось добиться быстрого и заметного улучшения многих показателей. Так, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 29% в 2000 году до 13,4% в 2008 году. Кроме того, в этот период возникли новые формы солидарности, такие как жилищное движение и профсоюзный активизм на предприятиях, принадлежащих ТНК (Clément, 2015). Однако многие негативные тенденции, проявившиеся в 1990-е годы, сохранились и в следующее десятилетие. Естественный прирост населения был впервые зафиксирован только в 2013 году: все 2000-е годы население России сокращалось. Средняя продолжительность жизни превысила уровень 1990 года (69,2 года) только в 2011 году. ВВП на душу населения вырос, но выросло и неравенство: коэффициент Джини увеличился с 0,395 в 2000 году до 0,421 в 2008 году. Неравенство богатства было еще более впечатляющим, чем неравенство доходов.

Несмотря на искусственное спокойствие «стабильности», период 2000–2008 годов был столь же полон противоречий, что и предыдущее десятилетие. С 2009 года эти противоречия стали явными.

### **От экономического кризиса до «зимы протеста»: «медведевский пересменок»**

Мировой кризис затронул Россию сильнее, чем другие страны: в 2009 году ВВП сократился на 7,8%, тогда как в среднем по ОЭСР этот показатель составил 4% (OECD, 2014). Причины лежат в характере российского капитализма, каким он сформировался в 2000-е годы. Анастасия Несветайлова выделяет его основные черты, не ограничиваясь обычной отсылкой к зависимости от сырьевых доходов. С ее точки зрения, российский капитализм в 2000–2008 годы характеризовался не только (1) центральной ролью нефтегазового экспорта, финансировавшего «модель импортированного роста», но и (2) финансализацией, которая подогревала внутренний спрос, а также (3) офшоризацией как способом интеграции российского капитала в мировые рынки (Nesvetailova, 2015: 5). Если в 2000–2008 годах эти три фактора поддерживали высокие темпы роста, то в 2009 году они же способствовали резкому сокращению экономики. Спад был вызван не только обрушением экспорта, но и высоким уровнем внешней долговой нагрузки крупных компаний и банков (Robinson, 2013: 456).

Реакция российских властей на кризис была во многом аналогична реакции других стран: правительство резко увеличило государственные расходы, чтобы ослабить эффект экономического спада. Общий объем мер стимулирования экономики составил 12–13% ВВП в 2009 и 2010 годы (Robinson, 2013: 459). Эти меры можно было считать эффективными: несмотря на глубокий спад в 2009 году, Россия вскоре возобновила рост: в 2010 году он составил 4,5%, в 2011-м — 4,4%. Однако в 2011 году, несмотря на продолжающийся рост, начались беспрецедентные политические протесты. Была ли связь между экономическим и политическим кризисом, и если да, то как ее можно охарактеризовать?

Степень непосредственного влияния кризиса 2009 года на политические установки россиян неясна и является предметом дискуссии (см.: Chaisty, Whitefield, 2013). К тому же движущей силой протестов 2011–2012 годов были не экономические требования: по словам Дэниела Трейсмана, протестующие были «мотивированы идеями, а не материальными проблемами, желанием отстоять достоинство и справедливость, а не повысить зарплаты» (Treisman, 2014: 384). Тем не менее связь между экономическим кризисом 2009 года и протестами 2011–2012 годов можно установить, если обратиться к теории Хэя о нарративной природе кризисов. Основу для такой интерпретации заложил в своей статье Нил Робинсон. С его точки зрения, причиной сдержанного ответа [на возобновление роста] может быть тот факт, что циркулирующие в обществе нарративы об антикризисных мерах и последствиях кризиса представляли действия правительства как неуспешные и предупреждали, что в будущем кризис повторится. Каким бы ни был индивидуальный опыт кризиса у каждого россиянина, дискурсивная рамка, используемая политическими элитами для объяснения кризиса, была негативной. Подобная интерпретация озвучивалась на всех уровнях российского общества и политической системы, людьми, входившими в правительство и не входившими в него, экспертами, политиками и социальными акторами (Robinson, 2013: 463–464).

Действительно, нарративы о кризисе исходили не только от критиков режима. Недавно избранный президент Дмитрий Медведев сам интерпретировал экономические проблемы, проявившиеся в 2009 году, как симптомы кризиса всей российской политической и экономической системы — системы, которую, как он настаивал в своей программной статье, необходимо изменить, а не просто воспроизводить в будущем (Медведев, 2009). Нарратив о кризисе связывался Медведевым с его масштабным проектом «модернизации» (который, используя терминологию Хэя, можно обозначить как новый «государственный проект»). Таким образом, Медведев и его команда попытались переопределить кризис как «момент решительного вмешательства».

Однако это вмешательство так и не последовало — не в последнюю очередь из-за политической слабости Медведева в тени Путина и его неспособности проводить широкие реформы<sup>11</sup>. Таким образом, своей критикой российской политической и экономической системы Медведев и члены его команды помогли утвердиться идее, что Россия «в кризисе», — но так и не предприняли решительных мер для выхода из него. По мнению Робинсона, это объясняет падение рейтинга Путина и Медведева, а также сокращение доли тех, кто считал, что страна движется в правильном направлении, в период 2009–2011 годов, несмотря на начало восстановления экономики в конце 2009 года (Robinson, 2013: 461). Недовольство действиями властей, в свою очередь, стало фоном для протестов 2011–2012 годов<sup>12</sup>.

11. См., например, расследование неудачи полицейской реформы, инициированной Медведевым: Taylor, 2014.

12. Оценка Валентины Феклюниной и Стивена Уайта оказалась весьма точной: «Связав свою легитимность с повышенными ожиданиями изменений, российские власти могут столкнуться с еще боль-

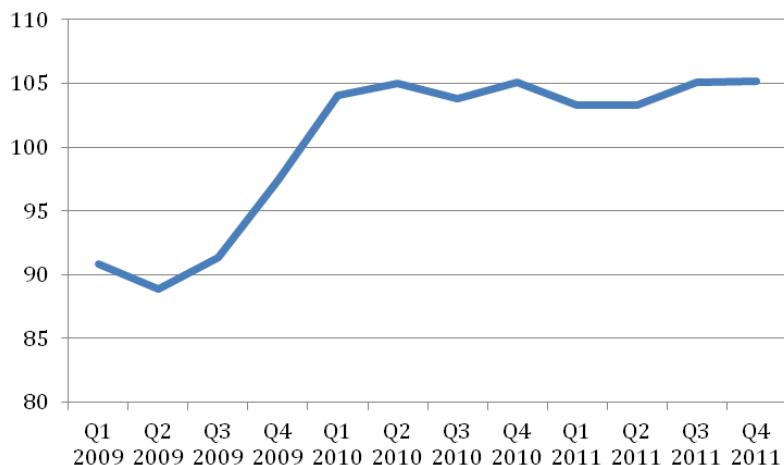


Рис. 3. Ежеквартальный рост ВВП. Данные Росстата

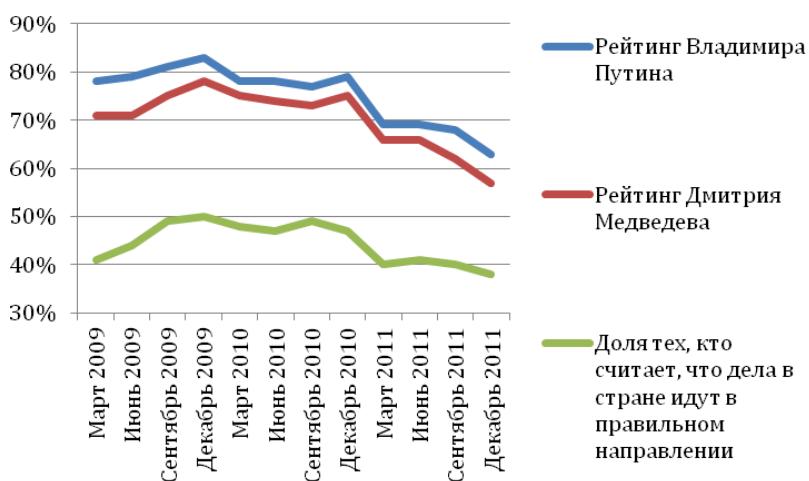


Рис. 4. Данные опросов («Левада-центр»)

Новое движение протеста было вызвано к жизни и другими факторами. Маргарита Завадская и Наталья Савельева перечисляют важнейшие из них: 1) «рокировка» Путина и Медведева на съезде «Единой России» в ноябре 2011 года, когда Путин внезапно объявил о своем намерении снова выдвинуться в президенты, шокировав и разочаровав заметную часть населения, 2) тенденция к сокращению

шим дефицитом легитимности в будущем, если обещанные изменения не наступят или же если масштаб изменений не будет воспринят как достаточными ключевыми группами в обществе» (Feklyunina, White, 2011: 402).

поддержки «ЕР» среди молодежи и образованных избирателей, 3) появление новых контрпублик, в частности в социальных сетях (Завадская, Савельева, 2014). К этому списку Завадская и Савельева добавляют эффект самих парламентских выборов 2011 года: общий опыт электоральных фальсификаций вывел людей на улицы<sup>13</sup>. Роль протестов 2011–2012 годов в формировании политики путинского третьего срока будет проанализирована в следующем разделе.

### От политического к «геополитическому» кризису: третий срок Путина

Хотя массовые протесты 2011–2012 годов и не достигли поставленных целей, они привели к серьезным изменениям в функционировании режима, определив контуры путинского третьего срока. Период 2000–2011 годов прошел под знаком деполитизации, тщательно охраняемой самим режимом, — однако протесты изменили характер отношений между властью и обществом: первая больше не могла полагаться на апатию и равнодушие последнего (Petrov et al., 2014; см. также: Журавлев, 2014). В ответ власти инициировали собственную волну политизации, перейдя в идеологическое наступление в духе консерватизма и традиционализма<sup>14</sup>. Новый, «идеологический» способ функционирования режима проявился в реорганизации государства на всех уровнях. Так, в рамках администрации президента, фактического центра государственной системы, было создано новое Управление общественных проектов (УОП), задачей которого стала «патриотическая» индоктринация населения. Новое управление координировало идеологическую работу правительства, НКО, школ, вузов, культурных институций, а также других управлений АП (Сурначева, 2013). В августе 2016 года замглавы УОП, историк отношений церкви и государства Ольга Васильева была назначена министром образования.

Помимо идеологии режим все больше полагался на репрессии: Владимир Гельман назвал это «политикой страха» (Гельман, 2015б). Репрессивный поворот также проявился в реорганизации государства: повысилось значение силовых ведомств вроде Следственного комитета.

Действия России в Украине в 2014 году были ответом на конкретные события в соседней стране, однако сам этот ответ был в значительной степени определен политикой третьего срока. С одной стороны, демонтаж «тандемократии», существовавшей в 2008–2012 годах, привел к ослаблению Медведева и его команды и усилению различных фракций силовиков (Treisman, 2013). Последние имели решающее влияние на российскую стратегию как в Крыму, так и на востоке Украины. С другой стороны, идеологический поворот приблизил к власти таких людей, как Константин Малофеев. Этот бизнесмен и, по собственному признанию, право-

13. Схожим образом Илья Будрайтис утверждает, что парламентские выборы дали старт непарламентской политике (Budraitiskis, 2014).

14. Подробнее об этом см.: Lipman, 2013; Robinson, 2014.

славный патриот оказался связан с ключевыми участниками украинских событий с российской стороны (Weaver, 2014).

Будучи продолжением тенденций, характерных для путинского третьего срока, российская политика в Украине еще усилила эти тенденции. В Послании к Федеральному собранию в 2014 году Путин использовал крайне идеологизированную национал-популистскую риторику, чтобы описать «историческое воссоединение Крыма и Севастополя с Россией» (Путин, 2014). Контролируемые государством СМИ усилили эффект этой риторики. Путинский рейтинг, а также доля тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, после периода стагнации в 2012–2013 годах резко пошли вверх (Левада-Центр, 2017б). Политическая оппозиция была маргинализована в качестве «национал-предателей» и «пятой колонны». Таким образом, режим обрел новую стабильность, но это была своего рода стабильность кризиса. Как отметил Глеб Павловский в серии статей, новая система нуждалась в постоянном производстве медиатизированных конфликтов (Павловский, 2014а, 2014б). Эмоции, ранее вытесненные из публичной сферы, были возвращены в нее. Вместо того чтобы замалчивать кризис или, подобно медведевской администрации, переопределять его как момент для реформ, посткрымский идеологический аппарат сосредотачивает внимание на кризисе, но в то же время стремится вытеснить его за пределы страны: это всегда кризис Украины, Евросоюза, международного порядка, но никогда — самой России. Однако такое символическое вытеснение никак не способствует разрешению вполне реальных противоречий, которые накапливаются в российском государстве и обществе.

## Постоянство кризиса

Политические изменения в период путинского третьего срока происходили на фоне экономической стагнации и спада. После двухлетнего восстановительного роста его темпы снизились во втором квартале 2012 года. В 2013 году ВВП вырос всего на 1,3%, несмотря на высокие цены на нефть. Модель капитализма, основанная на экспорте сырья, низких инвестициях и активном оттоке капитала, исчерпала себя. Как указывают аналитики Standard & Poor's, «быстрый рост в 1998–2008 годах был результатом возобновления использования производственных мощностей, созданных еще до распада СССР. Коэффициент использования производственных мощностей, который резко снизился в переходный период, увеличился с 55% в 1998 году до 80% в 2008 году. Темпы его роста снизились в период кризиса, но затем коэффициент использования производственных мощностей стабилизировался на уровне примерно 79%» (Standard & Poor's, 2013). Таким образом, «в российской экономике существует проблема нехватки производственных мощностей, которая обусловлена длительным периодом недоинвестирования в новые мощности» (Standard & Poor's, 2013; см. также: IMF, 2013).

Замедление роста в 2012–2014 годах сочеталось с хрупкостью финансовой системы. По мнению Анастасии Несветайловой, признаки банковского кризиса на-

блюдались уже в начале 2014 года (Nesvetailova, 2015: 11). Антироссийские санкции и блокирование доступа российских банков к международным рынкам капитала, а также падение цен на нефть в последнем квартале 2014 года привели к коллапсу рубля и превратили стагнацию в полноценный кризис. Рецессия продолжалась семь кварталов подряд; минимальный рост в 0,3% был зафиксирован лишь в конце 2016 года. При этом сами власти признают, что кризис в лучшем случае сменяется стагнацией, которая продлится многие годы, если не десятилетия (Кувшинова, 2016). Важно подчеркнуть, что нынешние экономические проблемы не сводятся к эффекту антироссийских санкций и падения цен на нефть: российская модель капитализма демонстрировала явные признаки исчерпанности задолго до начала конфронтации с Западом и падения нефтяных цен в 2014 году.

Экономический спад 2014–2016 годов обернулся ростом социального напряжения. По данным Центра социально-трудовых прав, ежемесячное число трудовых протестов, включая забастовки, удвоилось с 2014 года (Бизюков, 2016). Рабочие промышленных предприятий протestуют против невыплат зарплаты. Меры жесткой экономии в социальной сфере приводят к протестам бюджетников, таким как голодовка работников скорой помощи в Уфе и «итальянская забастовка» московских врачей в 2015 году. Пытаясь восстановить бюджетные поступления, власти вводят новые налоги и сборы. Это, в свою очередь, также приводит к протестам, таким как всероссийские акции дальнобойщиков в 2015–2017 годах. В целом есть признаки того, что посткрымский эффект «сплочения вокруг флага» [rallying around the flag] ослабевает. Рейтинг поддержки Путина остается высоким, однако доля тех, кто считает, что «события ведут нас в тупик», увеличилась с посткрымского минимума в 22% до 33% в марте 2017 года (Левада-Центр, 2017а).

Столкнувшись с длительным экономическим кризисом, власти остаются в рамках «конъюнктурного режима политической рациональности», не пытаясь проводить масштабные реформы, которые отражали бы «структурный режим политической рациональности» (Hay, 1999: 329). Существует два таких проекта реформ: один поддерживается Алексеем Кудриным, сторонником неолиберальных преобразований, другой — Сергеем Глазьевым, выступающим за ускоренную модернизацию при ведущей роли государства. Оба экономиста имеют влияние на власть: Кудрин был назначен зампредседателя президентского Экономического совета, тогда как Глазьев занимает должность советника президента по экономике. Однако оба лишены возможности последовательно воплощать свои проекты в жизнь. Ситуация напоминает то, что Хэй обозначил как «катастрофическое равновесие», при котором «проблемы очевидны и заметны многим, однако кризисный нарратив не мобилизуется и решительное вмешательство не производится»; словами Грамши, «старое умирает, а новое не может родиться» (Hay, 1999: 327).

В политическом плане режим выглядит хорошо подготовленным к новой экономической реальности: пространство для оппозиции, а также для потенциально го внутриэлитного раскола максимально сужено, тогда как националистическая мобилизация заменяет экономическое развитие в качестве источника легитим-

ности режима. Тем не менее отсутствие экономических перспектив способствует накоплению противоречий, которые могут иметь непредсказуемые последствия. Столкнувшись с сокращением бюджетных поступлений, правительство вынуждает регионы нести основную нагрузку по финансированию образования и медицины, что приводит к жесткой экономии в этих сферах. По словам аналитика из Высшей школы экономики, «федеральный бюджет все последние годы (с 2013–2014 гг.) последовательно самоустранился от финансирования указанных сфер» (Акиндинова, 2016: 3). Кроме того, влиятельные эксперты и члены правительства продолжают готовить почву для «неизбежного» повышения пенсионного возраста. Эта мера в сочетании с непрерывным сокращением доступности государственного образования и медицины может спровоцировать волну недовольства.

Еще один, потенциально даже более важный источник протестов — наступление властей на неформальный сектор. Так, в октябре 2016 года министр труда и социального развития Максим Топилин сообщил об идее ввести специальный сбор для неработающих граждан в объеме 20 тыс. рублей в год. Сумма получена путем сложения подоходного налога и выплат в социальные фонды с МРОТ за год (РИА Новости, 2016б). Правительство оправдывает необходимость нового сбора тем, что миллионы россиян заняты неформально, при этом у них сохраняется право пользования государственным образованием и медициной, а значит, они должны участвовать в их финансировании<sup>15</sup>. Предложение Топилина — лишь одна из мер, направленных на дополнительное налогообложение российской «гаражной экономики», которая, по некоторым оценкам, охватывает до 30 млн человек, или 40% экономически активного населения (Pismennaya, Arkhipov, 2016). Реализация таких мер способна привести к взрыву недовольства — при этом бюджетный дефицит может сделать их неизбежными. В сочетании с жесткой экономией в социальной сфере и общей экономической слабостью это может вызвать новый виток политического кризиса, на этот раз совмещенного с социальными требованиями.

Первые признаки такого кризиса различимы в антикоррупционных выступлениях, прокатившихся по стране 26 марта 2017 года. В отличие от движения 2011–2012 годов, нынешние протесты направлены уже не просто на соблюдение демократической процедуры, а на изменение самой сути политico-экономического порядка, сложившегося в России в 2000-е годы и «скрепленного» коррупционными практиками. Протестующие в 2017 году вступают в прямую конfrontацию с бенефициарами этого порядка: коррумпированной бюрократической и олигархической элитой. Трудно предсказать будущее этого движения, однако уже сейчас ясно, что оно отражает сдвиг в общественных настроениях и тактике оппозиционных лидеров.

15. В соседней Беларуси похожая мера уже привела к массовым протестам.

## Заключение

Комментируя итоги парламентских выборов в сентябре 2016 года, Путин заявил, что россияне выбрали «так называемую стабильность» (РИА Новости, 2016а). Эта странная оговорка была символичной: сам Путин не смог назвать стабильность иначе, как «так называемой». По-видимому, в 2016 году слово, определившее российские 2000-е годы, уже нельзя произнести вслух без невидимых кавычек. Это хороший показатель изменений с 2009 года.

В 1990-х годах российское государство и общество были пронизаны противоречиями. Однако в последующие годы действительно была достигнута определенная стабилизация. Окрепшее бонапартистское государство перераспределяло доходы от сырьевого экспорта, позволяя и олигархам, и собственным чиновникам накапливать состояния в офшорных юрисдикциях, — при этом жизненные стандарты населения устойчиво росли. Поддержка режима была основана на деполитизации. Политика стала виртуальной: «управляемая демократия» оказалась постановочной демократией, политическим театром под контролем администрации президента, не вызывавшим особого энтузиазма у публики.

Первый удар по этому политico-экономическому порядку нанес кризис 2009 года. Экономический спад в России оказался наихудшим среди стран «Большой двадцатки». Хотя государство вскоре добилось возобновления роста благодаря использованию накопленных резервов, общество не поверило, что кризис по-настоящему закончился. В какой-то степени это объясняется риторикой самих властей: Дмитрий Медведев, на тот момент — президент России, — подчеркивал, что экономические проблемы, проявившиеся в 2009 году, были симптомом кризиса всей российской политico-экономической системы, и связывал выход из этого кризиса со своим проектом «модернизации». Однако обещанные им изменения не последовали. Медведев и его команда помогли утвердиться идее, что Россия «в кризисе», но так и не предприняли решительных мер по выходу из этого кризиса.

Недовольство властями стало фоном для протестов 2011–2012 годов. При этом политический кризис был сверхдетерминирован экономическим, но не сводился к нему. Протесты были вызваны серией событий: внезапным выдвижением Путина на третий срок, фальсификациями на парламентских выборах в декабре 2011 года. Новое массовое движение вернуло политику в страну, охваченную деполитизацией. Однако после недолгого периода нерешительности власти ответили репрессиями и идеологическим наступлением. Переломный момент наступил в 2014 году с аннексией Крыма и вмешательством в ситуацию на востоке Украины. В России эти действия усилили тенденции, характерные для путинского третьего срока в целом, такие как укрепление позиций силовиков и идеологическая мобилизация.

В то же время третий срок Путина стал не только периодом политических изменений — он также оказался периодом экономической стагнации и спада. Нил Робинсон точно предсказал в 2011 году, что международный кризис 2008–2009 годов «в России может оказаться предвестником кризиса ее собственной экономиче-

ской модели» (Robinson, 2011: 452). Российский периферийный капитализм исчерпал потенциал роста. Западные санкции и падение цен на нефть в 2014 году были последней каплей, но реальные причины экономических проблем куда глубже.

Пытаясь стабилизировать ситуацию, режим действует тактически, но не стратегически — как во внутренней, так и во внешней политике (хотя с 2014 года эти сферы тесно взаимосвязаны). Вызов протестов 2011–2012 годов был успешно преодолен, однако отсутствие экономических перспектив способствует накоплению противоречий, которые могут иметь непредсказуемые последствия для властей.

## Литература

Акиндинова Н. В. (2016). «Нужны ли России образование и здравоохранение?» // Комментарии о государстве и бизнесе. № 121. С. 2–4.

Альтюссер Л. (2006). За Маркса / Пер. с франц. А. В. Денежкина. М.: Практис.

Бизюков П. (2016). Трудовые протесты в России в 2008–2015 гг. Аналитический отчет по результатам мониторинга трудовых протестов ЦСТП. URL: <http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1588> (дата доступа: 10.06.2017).

Вести.Ру. (2008). Кудрин в Давосе: интерес к России как к острову стабильности будет возрастать». URL: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=158548> (дата доступа: 10.06.2017).

Гельман В. Я. (2015а). Модернизация, институты и «порочный круг» постсоветского неопатриотизма. СПб.: Изд-во ЕУСПб.

Гельман В. Я. (2015б). Политика страха: как российский режим противостоит своим противникам // Контрапункт. № 1. С. 1–11.

Журавлев О. М. (2014). Инерция постсоветской деполитизации и политизация 2011–2012 годов // Ертылева С. В., Магун А. В. (ред.). Политика аполитичных: гражданские движения в России 2011–2013 годов. М.: Новое литературное обозрение. С. 27–70.

Завадская М. А., Савельева Н. В. (2014). «А можно я как-нибудь сам выберу?»: выборы как «личное дело», процедурная легитимность и мобилизация 2011–2012 // Ертылева С. В., Магун А. В. (ред.). Политика аполитичных: гражданские движения в России 2011–2013 годов. М.: Новое литературное обозрение. С. 219–270.

Кувшинова О. (2016). Десятилетие, которое уже потеряно // Ведомости. № 4167. URL: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/23/658204-desyatiletie-poteryano> (дата доступа: 10.06.2017).

Латухина К. (2016). Аванс нужно отработать // Российская газета. № 7079. URL: <https://rg.ru/2016/09/19/putin-rezulatty-vyborov-horoshie-no-eto-avans-so-storony-naroda.html> (дата доступа: 10.06.2017).

Левада-Центр. (2017а). Одобрение органов власти. URL: <http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/> (дата доступа: 10.06.2017).

Левада-Центр. (2017б). Положение дел в стране. URL: <http://www.levada.ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane/> (дата доступа: 10.06.2017).

Маркс К., Энгельс Ф. (1957). Сочинения. Т. 8. М.: Политиздат.

Медведев Д. А. (2009). «Россия, Вперед!». URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/5413> (дата доступа: 10.06.2017).

Павловский Г. О. (2014а). Власть, эмоции и протесты в России. URL: <http://gefter.ru/archive/12661> (дата доступа: 10.06.2017).

Павловский Г. О. (2014б). Инерция большинства. URL: <http://gefter.ru/archive/12661> (дата доступа: 10.06.2017).

Путин В. В. (2014). Послание президента Федеральному Собранию. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/47173> (дата доступа: 10.06.2017).

РИА Новости. (2016а). Путин: люди доверяют правительству, которое опирается на «Единую Россию». URL: <https://ria.ru/election2016/20160919/1477323286.html> (дата доступа: 10.06.2017).

РИА Новости. (2016б). Топилин назвал возможную сумму сбора с неработающих граждан. URL: <https://ria.ru/society/20161021/1479710679.html> (дата доступа: 10.06.2017).

Рогов К. (2001). «Путинское большинство», гримаса демократии, или Юбилейная деконструкция Павловского. URL: <http://polit.ru/article/2001/03/28/479316/> (дата доступа: 10.06.2017).

Сурначева Е. (2013). Тянут идеалы на себя // Коммерсантъ-Власть. № 48.

Фисун А. А. (2007). Постсоветские неопатримониальные режимы: генезис, особенности, типология // Отечественные Записки. Т. 39. № 6. С. 8–28.

Standard & Poor's. (2013). Экономический рост в России сдерживается как внутренними, так и внешними факторами. URL: <http://rusipoteka.ru/files/analytics/sandp/2013/2509.pdf> (дата доступа: 10.06.2017).

Budraitiskis I. (2014). The Weakest Link of Managed Democracy: How the Parliament Gave Birth to Nonparliamentary Politics // South Atlantic Quarterly. Vol. 113. № 1. P. 169–185.

Burawoy M. (2001). Transition without Transformation: Russia's Involutionary Road to Capitalism // East European Politics & Societies. Vol. 15. № 2. P. 269–290.

Chaisty P., Whitefield S. (2013). Forward to Democracy or Back to Authoritarianism? The Attitudinal Bases of Mass Support for the Russian Election Protests of 2011–2012 // Post-Soviet Affairs. Vol. 29. № 5. P. 387–403.

Clarke S. (2004). A Very Soviet Form of Capitalism? The Management of Holding Companies in Russia // Post-Communist Economies. Vol. 16. № 4. P. 405–422.

Clarke S. (2007). The Development of Capitalism in Russia. London: Taylor & Francis.

Clément K. (2015). Unlikely Mobilisations: How Ordinary Russian People Become Involved in Collective Action // European Journal of Cultural and Political Sociology. Vol. 2. № 3–4. P. 211–240.

Culleberg S. (1999). Overdetermination, Totality, and Institutions: A Genealogy of a Marxist Institutional Economics // Journal of Economic Issues. Vol. 33. № 4. P. 801–815.

*Derluguian G. M. (2005). Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography.* Chicago: University of Chicago Press.

*Dzarasov R. (2013). The Conundrum of Russian Capitalism: The Post-Soviet Economy in the World System.* London: Pluto Press.

*Feklyunina V., White S. (2011). Discourses of «Krisis»: Economic Crisis in Russia and Regime Legitimacy // Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 27. № 3–4. P. 385–406.*

*Fortescue S. (2006). Russia's Oil Barons and Metal Magnates: Oligarchs and the State in Transition.* Basingstoke: Palgrave Macmillan.

*Ganev V. I. (2005). Post-Communism as an Episode of State Building: A Reversed Tillyan Perspective // Communist and Post-Communist Studies. Vol. 38. № 4. P. 425–445.*

*Ganev V. I. (2009). Postcommunist Political Capitalism: A Weberian Interpretation // Comparative Studies in Society and History. Vol. 51. № 3. P. 648–674.*

*Gans-Morse J. (2012). Threats to Property Rights in Russia: From Private Coercion to State Aggression // Post-Soviet Affairs. Vol. 28. № 3. P. 263–295.*

*Habermas J. (1975). Legitimation Crisis / Transl. by Th. McCarthy.* Boston: Beacon Press.

*Hashim S. M. (2005). Putin's Etablization Project and Limits to Democratic Reforms in Russia // Communist and Post-Communist Studies. Vol. 38. № 1. P. 25–48.*

*Hay C. (1999). Crisis and the Structural Transformation of the State: Interrogating the Process of Change // British Journal of Politics and International Relations. Vol. 1. № 3. P. 317–44.*

*IMF. (2013). Russian Federation: 2013 Article IV Consultation. Country Report No. 13/310.* URL: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13310.pdf> (дата доступа: 10.06.2017).

*Kar D., Curcio K. (2011). Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000–2009.* Washington: Global Financial Integrity.

*King L. (2002). Postcommunist Divergence: A Comparative Analysis of the Transition to Capitalism in Poland and Russia // Studies in Comparative International Development. Vol. 37. № 3. P. 3–34.*

*Kroll L. (2008). Billionaires 2008 // Forbes. March 6.* URL: <http://www.forbes.com/forbes/2008/0324/080.html> (дата доступа: 10.06.2017).

*Ledeneva A. V. (2013). Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance.* New York: Cambridge University Press.

*Lipman M. (2013). The Kremlin Turns Ideological: Where This New Direction Could Lead // Lipman M., Petrov N. (eds.). Russia 2025: Scenarios for the Russian Future.* Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 220–239.

*Luong P. J., Weinthal E. (2004). Contra Coercion: Russian Tax Reform, Exogenous Shocks, and Negotiated Institutional Change // American Political Science Review. Vol. 98. № 1. P. 139–152.*

*Markwick R. D. (1999). What Kind of State Is the Russian State if There Is One? // Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 15. № 4. P. 111–130.*

*Nesvetailova A.* (2005). Globalization and Post-Soviet Capitalism: Internalizing Neoliberalism in Russia // *Soederberg S., Menz G., Cerny P.* (eds.). Internalizing Globalization: The Rise of Neoliberalism and the Decline of National Varieties of Capitalism. Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 238–254.

*Nesvetailova A.* (2015). The Offshore Nexus, Sanctions and the Russian Crisis. IAI Working Papers 15.

*Offe Cl.* (1976). «Crisis of Crisis Management»: Elements of a Political Crisis Theory // International Journal of Politics. Vol. 6. № 3. P. 29–67.

*Offe Cl.* (1991). Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe // Social Research. Vol. 58. № 4. P. 865–892.

*Petrov N., Lipman M., Hale H. E.* (2014). Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance: Russia from Putin to Putin // Post-Soviet Affairs. Vol. 30. № 1. P. 1–26.

*Pirani S.* (2010). Change in Putin's Russia: Power, Money and People. London: Pluto Press.

*Pismennaya E., Arkhipov I.* (2016). Putin Peers Into Shadows Where 30 Million Toil on Fringes // Bloomberg. July 13. URL: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-13/putin-peers-into-shadows-where-30-million-toil-in-fringe-economy> (дата доступа: 10.06.2017).

*Poulantzas N.* (1978). State, Power, Socialism. London: New Left Books.

*Prozorov S.* (2009). The Ethics of Postcommunism: History and Social Praxis in Russia. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

*Rigi J.* (2005). State and Big Capital in Russia // Social Analysis. Vol. 49. № 1. P. 198–205.

*Robinson N.* (2011). Russian Patrimonial Capitalism and the International Financial Crisis // Journal of Communist Studies and Transition Politics. Vol. 27. № 3–4. P. 434–455.

*Robinson N.* (2013). Russia's Response to Crisis: The Paradox of Success // Europe-Asia Studies. Vol. 65. № 3. P. 450–472.

*Robinson N.* (2014). The Political Origins of Russia's Culture Wars. Oxford: Oxford University Press.

*Solnick S. L.* (1996). The Breakdown of Hierarchies in the Soviet Union and China: A Neoinstitutional Perspective // World Politics. Vol. 48. № 2. P. 209–238.

*Solnick S. L.* (1998). Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions. New York: Cambridge University Press.

*Tabata Sh.* (2009). The Impact of Global Financial Crisis on the Mechanism of Economic Growth in Russia // Eurasian Geography and Economics. Vol. 50. № 6. P. 682–698.

*Taylor B. D.* (2011). State Building in Putin's Russia: Policing and Coercion after Communism. New York: Cambridge University Press.

*Taylor B. D.* (2014). Police Reform in Russia: The Policy Process in a Hybrid Regime // Post-Soviet Affairs. Vol. 30. № 2–3. P. 226–255.

*Thompson W.* (2005). Putin and the «Oligarchs»: A Two-Sided Commitment Problem // *Pravda A.* (ed.). Leading Russia: Putin in Perspective: Essays in Honour of Archie Brown. Oxford: Oxford University Press. P. 179–202.

*Treisman D.* (2013). Can Putin Keep His Grip on Power? // Current History. Vol. 112. P. 251–258.

*Treisman D.* (2014). Putin's Popularity since 2010: Why Did Support for the Kremlin Plunge, Then Stabilize? // Post-Soviet Affairs. Vol. 30. № 5. P. 370–388.

*Volkov V.* (2008). Standard Oil and Yukos in the Context of Early Capitalism in the United States and Russia // Demokratizatsiya. Vol. 16. № 3. P. 240–264.

*Weaver C.* (2014). Malofeev: The Russian Billionaire Linking Moscow to the Rebels // Financial Times. July 24. URL: <https://www.ft.com/content/84481538-1103-11e4-94f3-00144feabdco> (дата доступа: 10.06.2017).

*Yakovlev A.* (2006). The Evolution of Business: State Interaction in Russia: From State Capture to Business Capture? // Europe-Asia Studies. Vol. 58. № 7. P. 1033–1056.

*Yakovlev A.* (2014). Russian Modernization: Between the Need for New Players and the Fear of Losing Control of Rent Sources // Journal of Eurasian Studies. Vol. 5. № 1. P. 10–20.

## “Stability’s” End: The Political Economy of Russia’s Intersecting Crises since 2009

*Ilya Matveev*

Candidate of Political Sciences, Associate Professor, Department of Comparative Political Studies NWIM

RANEPA, doctoral student, EUSPb

57/43 Sredniy pr. V.O., 199178 St Petersburg, Russia

Email: matveev.ilya@yahoo.com

The article explores the mutual determination of crises that replaced the “stability” of the 2000s in Russia. The period since 2009 witnessed a rapid accumulation and condensation of contradictions in different spheres, from the economic crisis of 2009 to the political crisis of 2011–2012, to the “geopolitical” crisis of 2014, and finally, to the new cycle of the economic crisis that started in 2014. The author establishes the connection between these crises and the political-economic order that emerged in Russia in the 2000s. This order is characterized by the reproduction of peripheral capitalism under the aegis of the regime that combines neo-patrimonial practices with the dominance of bureaucratic elites characteristic of Bonapartism. The 2009 economic crisis revealed the vulnerability of this political-economic order. In turn, the mass protests of 2011–2012 changed the terms of the relationship between society and the state, and triggered the transformation of the regime that increasingly relied on ideology and repression. The ideological mobilization characteristic of Putin’s third term was reinforced by Russia’s actions in Ukraine in 2014. This “patriotic” mobilization has taken place against the background of economic stagnation and decline that have testified to the exhaustion of Russia’s model of peripheral capitalism. The article ends with an analysis of the contradictions and potential points of tension in Russian society generated by continuing economic problems.

*Keywords:* involution, peripheralization, neopatrimonialism, Bonapartism, crisis, state

## References

Akandinova N. (2016) Nuzhny li Rossii obrazovanie i zdravooхранение? [Does Russia Need Education and Healthcare?]. *Kommentarii o gosudarstve i biznese*, no 121, pp. 2–4.

Althusser L. (2006) *Za Marksą* [For Marx], Moscow: Praksis.

Bizukov P. (2016) Trudovye protesty v Rossii v 2008–2015 gg.: analiticheskij otchet po rezul'tatam monitoringa trudovyh protestov CSTP [Labour Protests in Russia in 2008–2015: Analytic Report Based on the Results of the Monitoring Conducted by CSLR]. Available at: <http://trudprava.ru/expert/analytics/protestanalyt/1588> (accessed 10 June 2017).

Budraitksis I. (2014) The Weakest Link of Managed Democracy: How the Parliament Gave Birth to Nonparliamentary Politics. *South Atlantic Quarterly*, vol. 113, no 1, pp. 169–185.

Burawoy M. (2001) Transition without Transformation: Russia's Revolutionary Road to Capitalism. *East European Politics & Societies*, vol. 15, no 2, pp. 269–290.

Chaisty P., Whitefield S. (2013) Forward to Democracy or Back to Authoritarianism? The Attitudinal Bases of Mass Support for the Russian Election Protests of 2011–2012. *Post-Soviet Affairs*, vol. 29, no 5, pp. 387–403.

Clarke S. (2004) A Very Soviet Form of Capitalism? The Management of Holding Companies in Russia. *Post-Communist Economies*, vol. 16, no 4, pp. 405–422.

Clarke S. (2007) *The Development of Capitalism in Russia*, London: Taylor & Francis.

Clément K. (2015) Unlikely Mobilisations: How Ordinary Russian People Become Involved in Collective Action. *European Journal of Cultural and Political Sociology*, vol. 2, no 3–4, pp. 211–240.

Cullehberg S. (1999) Overdetermination, Totality, and Institutions: A Genealogy of a Marxist Institutional Economics. *Journal of Economic Issues*, vol. 33, no 4, pp. 801–815.

Derlugian G. M. (2005) *Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography*, Chicago: University of Chicago Press.

Dzarasov R. (2013) *The Conundrum of Russian Capitalism: The Post-Soviet Economy in the World System*, London: Pluto Press.

Feklyunina V., White S. (2011) Discourses of "Krisis": Economic Crisis in Russia and Regime Legitimacy. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, vol. 27, no 3–4, pp. 385–406.

Fisun A. (2007) Postsovetskie neopatrimonial'nye rezhimy: genezis, osobennosti, tipologija [Post-Soviet Neopatrimonial Regimes: Genesis, Features, Typology]. *Otechestvennye zapiski*, vol. 39, no 6, pp. 8–28.

Fortescue S. (2006) *Russia's Oil Barons and Metal Magnates: Oligarchs and the State in Transition*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Ganev V. I. (2005) Post-Communism as an Episode of State Building: A Reversed Tillyan Perspective. *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 38, no 4, pp. 425–445.

Ganev V. I. (2009) Postcommunist Political Capitalism: A Weberian Interpretation. *Comparative Studies in Society and History*, vol. 51, no 3, pp. 648–74.

Gans-Morse J. (2012) Threats to Property Rights in Russia: From Private Coercion to State Aggression. *Post-Soviet Affairs*, vol. 28, no 3, pp. 263–295.

Gelman V. (2015) *Modernizacija, instituty i "porochnyj krug" postsovetskogo neopatrimonializma* [Modernization, Institutions and the "Vicious Circle" of Post-Soviet Neopatrimonialism], Saint Petersburg: EUSPb Press.

Gelman V. (2015) Politika straha: kak rossijskij rezhim protivostoit svoim protivnikam [Politics of Fear: How Russian Regime Resists Its Enemies]. *Kontrapunkt*, no. 1, pp. 1–11.

Habermas J. (1975) *Legitimation Crisis*, Boston: Beacon Press.

Hashim S. M. (2005) Putin's Ettatization Project and Limits to Democratic Reforms in Russia. *Communist and Post-Communist Studies*, vol. 38, no 1, pp. 25–48.

Hay C. (1999) Crisis and the Structural Transformation of the State: Interrogating the Process of Change. *British Journal of Politics and International Relations*, vol. 1, no 3, pp. 317–344.

IMF (2013) Russian Federation: 2013 Article IV Consultation. Country Report No 13/310. Available at: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2013/cr13310.pdf> (accessed 10 June 2017).

Kar D., Curcio K. (2011) *Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000–2009*, Washington: Global Financial Integrity.

King L. (2002) Postcommunist Divergence: A Comparative Analysis of the Transition to Capitalism in Poland and Russia. *Studies in Comparative International Development*, vol. 37, no 3, pp. 3–34.

Kroll L. (2008) Billionaires 2008. *Forbes*, March 6. Available at: <http://www.forbes.com/forbes/2008/0324/080.html> (accessed 10 June 2017).

Kuvshinova O. (2016) Desyatiletie, kotoroye uzhe poteryano. *Vedomosti*. Available at: <https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/09/23/658204-desyatiletie-poteryano> (accessed 10 June 2017).

Latukhina K. (2016) Avans nuzhno otrabotat [Advance Should Be Worked Off]. Available at: <https://rg.ru/2016/09/19/putin-rezulatty-vyborov-horoshie-no-eto-avans-so-storony-naroda.html> (accessed 10 June 2017).

Ledeneva A. V. (2013) *Can Russia Modernise? Sistema, Power Networks and Informal Governance*, New York: Cambridge University Press.

Levada Center (2017) Odobrenie organov vlasti [Approval of State Institutions]. Available at: <http://www.levada.ru/indikatory/odobrenie-organov-vlasti/> (accessed 10 June 2017).

Levada Center (2017) Polozhenie del v strane [State of the Country]. Accessed October 16. Available at: <http://www.levada.ru/indikatory/polozhenie-del-v-strane/> (accessed 10 June 2017).

Lipman M. (2013) The Kremlin Turns Ideological: Where This New Direction Could Lead. *Russia 2025: Scenarios for the Russian Future* (eds. M. Lipman, N. Petrov), Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 220–239.

Luong P. J., Weinthal E. (2004) Contra Coercion: Russian Tax Reform, Exogenous Shocks, and Negotiated Institutional Change. *American Political Science Review*, vol. 98, no 1, pp. 139–152.

Markwick R. D. (1999) What Kind of State Is the Russian State If There Is One? *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, vol. 15, no 4, pp. 111–130.

Marx K., Engels F. (1957) *Sochinenija. Tom 8* [Collected Works, Vol. 8], Moscow: Politizdat.

Medvedev D. (2009) Rossija, Vpered! [Go Russia!]. Available at: <http://kremlin.ru/events/president/news/5413> (accessed 10 June 2017).

Nesvetailova A. (2005) Globalization and Post-Soviet Capitalism: Internalizing Neoliberalism in Russia. *Internalizing Globalization: The Rise of Neoliberalism and the Decline of National Varieties of Capitalism* (eds. S. Soederberg, G. Menz, P. Cerny), Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 238–254.

Nesvetailova A. (2015). The Offshore Nexus, Sanctions and the Russian Crisis. IAI Working Papers 15.

Offe Cl. (1976) "Crisis of Crisis Management": Elements of a Political Crisis Theory. *International Journal of Politics*, vol. 6, no 3, pp. 29–67.

Offe Cl. (1991) Capitalism by Democratic Design? Democratic Theory Facing the Triple Transition in East Central Europe. *Social Research*, vol. 58, no 4, pp. 865–892.

Pavlovsky G. (2014) *Vlast', jemocii i protesty v Rossii*. [Power, Emotions and Protests in Russia]. Available at: <http://gefter.ru/archive/12661> (accessed 10 June 2017).

Pavlovsky G. (2014) Inercija bol'shinstva [Inertia of the Majority]. Available at: <http://gefter.ru/archive/12661> (accessed 10 June 2017).

Petrov N., Lipman M., Hale H. E. (2014) Three Dilemmas of Hybrid Regime Governance: Russia from Putin to Putin. *Post-Soviet Affairs*, vol. 30, no 1, pp. 1–26.

Pirani S. (2010) *Change in Putin's Russia: Power, Money and People*, London: Pluto Press.

Pismennaya E., Arkhipov I. (2016) Putin Peers Into Shadows Where 30 Million Toil on Fringes. Available at: <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-13/putin-peers-into-shadows-where-30-million-toil-in-fringe-economy> (accessed 10 June 2017).

Poulantzas N. (1978) *State, Power, Socialism*, London: New Left Books.

Prozorov S. (2009) *The Ethics of Postcommunism: History and Social Praxis in Russia*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Putin V. (2014) Poslanie prezidenta Federal'nomu Sobraniju [President's Address to the Federal Assembly]. Available at: <http://kremlin.ru/events/president/news/47173> (accessed 10 June 2017).

RIA Novosti (2016) Putin: Ijudi doverjajut pravitel'stvu, kotoroe opiraetsja na "Edinuju Rossiju" [Putin: People Trust the Government That Relies on the United Russia Party]. Available at: <https://ria.ru/election2016/20160919/1477323286.html> (accessed 10 June 2017).

RIA Novosti (2016) Topilin nazval vozmozhnuju summu sbora s nerabotajushhih grazhdan [Topilin Named the Possible Sum of the Tax on the Unemployed]. Available at: <https://ria.ru/society/20161021/1479710679.html> (accessed 10 June 2017).

Rigi J. (2005) State and Big Capital in Russia. *Social Analysis*, vol. 49, no 1, pp. 198–205.

Robinson Neil. (2011) Russian Patrimonial Capitalism and the International Financial Crisis. *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, vol. 27, no 3–4, pp. 434–455.

Robinson N. (2013) Russia's Response to Crisis: The Paradox of Success. *Europe-Asia Studies*, vol. 65, no 3, pp. 450–472.

Robinson N. (2014) *The Political Origins of Russia's Culture Wars*, Oxford: Oxford University Press.

Rogov K. (2001) "Putinskoe bol'shinstvo", grimasa demokratii, ili Jubilejnaja dekonstrukcija Pavlovskogo [“Putin's Majority”, the Grimace of Democracy, or the Anniversary Deconstruction of Pavlovsky]. Available at: <http://polit.ru/article/2001/03/28/479316/> (accessed 10 June 2017).

Solnick S. L. (1996) The Breakdown of Hierarchies in the Soviet Union and China: A Neoinstitutional Perspective. *World Politics*, vol. 48, no 2, pp. 209–238.

Solnick S. L. (1998) *Stealing the State: Control and Collapse in Soviet Institutions*, New York: Cambridge University Press.

Standard & Poor's (2013) Jekonomicheskij rost v Rossii sderzhivaetsja kak vnutrennimi, tak i vneshnimi faktorami [Both Internal and External Factors Inhibit Economic Growth in Russia] (2013). Available at: <http://rusipoteka.ru/files/Analytics/sandp/2013/2509.pdf> (accessed 10 June 2017).

Surnacheva E. (2013) Tjanut idealy na sebja [Pulling the Ideals On]. *Kommersant-vlast*, no 48.

Tabata Sh. (2009) The Impact of Global Financial Crisis on the Mechanism of Economic Growth in Russia. *Eurasian Geography and Economics*, vol. 50, no 6, pp. 682–698.

Taylor B. D. (2011) *State Building in Putin's Russia: Policing and Coercion after Communism*, New York: Cambridge University Press.

Taylor B. D. (2014) Police Reform in Russia: The Policy Process in a Hybrid Regime. *Post-Soviet Affairs*, vol. 30, no 2–3, pp. 226–255.

Thompson W. (2005) Putin and the "Oligarchs": A Two-Sided Commitment Problem. *Leading Russia: Putin in Perspective: Essays in Honour of Archie Brown* (ed. A. Pravda), Oxford: Oxford University Press, pp. 179–202.

Treisman D. (2013) Can Putin Keep His Grip on Power? *Current History*, vol. 112, pp. 251–258.

Treisman D. (2014) Putin's Popularity since 2010: Why Did Support for the Kremlin Plunge, Then Stabilize? *Post-Soviet Affairs*, vol. 30, no 5, pp. 370–388.

Vesti.Ru (2008) Kudrin v Davose: interes k Rossii kak k ostrovu stabil'nosti budet vozrastat [Kudrin in Davos: Interest in Russia as an Island of Stability Will Only Grow]. Available at: <http://www.vesti.ru/doc.html?id=158548> (accessed 10 June 2017).

Volkov V. (2008) Standard Oil and Yukos in the Context of Early Capitalism in the United States and Russia. *Demokratizatsiya*, vol. 16, no 3, pp. 240–264.

Weaver C. (2014) Malofeev: The Russian Billionaire Linking Moscow to the Rebels. Available at: <https://www.ft.com/content/84481538-1103-11e4-94f3-00144feabdco> (accessed 10 June 2017).

Yakovlev A. (2006) The Evolution of Business: State Interaction in Russia: From State Capture to Business Capture? *Europe-Asia Studies*, vol. 58, no 7, pp. 1033–1056.

Yakovlev A. (2014) Russian Modernization: Between the Need for New Players and the Fear of Losing Control of Rent Sources. *Journal of Eurasian Studies*, vol. 5, no 1, pp. 10–20.

Zavadskaya M., Savelieva N. (2014) "A mozhno ja kak-nibud' sam vyberu?": vybory kak "lichnoe delo", procedurnaja legitimnost'i mobilizacija 2011–2012 [“May I Decide for Myself?”: Elections as a “Private Matter”, Procedural Legitimacy and the Mobilization of 2011–2012]. *Politika apolitichnyh: grazhdanskie dvizhenija v Rossii 2011–2013 godov* [Politics of the Apolitical: Civic Movements in Russia in 2011–2013] (eds. S. Erpyleva, A. Magun), Moscow: New Literary Observer, pp. 219–270.

Zhuravlev O. (2014) Inercija postsovetskoj depolitizacii i politizacija 2011–2012 godov [Inertia of Post-Soviet Depoliticization and the Politicization of 2011–2012]. *Politika apolitichnyh: grazhdanskie dvizhenija v Rossii 2011–2013 godov* [Politics of the Apolitical: Civic Movements in Russia in 2011–2013] (eds. S. Erpyleva, A. Magun), Moscow: New Literary Observer, pp. 27–70.

# «Почему уходят в ИГИЛ<sup>1</sup>»: дискурс-анализ нарративов молодых дагестанцев<sup>\*</sup>

*Надежда Васильева*

Стажер-исследователь Центра молодежных исследований  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)  
Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 192148  
E-mail: [nvvasileva\\_2@edu.hse.ru](mailto:nvvasileva_2@edu.hse.ru)

*Алина Майборода*

Стажер-исследователь Центра молодежных исследований  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)  
Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 192148  
E-mail: [avmaiboroda@gmail.com](mailto:avmaiboroda@gmail.com)

*Искэндер Ясавеев*

Старший научный сотрудник Центра молодежных исследований  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)  
Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 192148  
E-mail: [yasaveyev@gmail.com](mailto:yasaveyev@gmail.com)

В статье представлены результаты исследования, в фокусе которого — риторика участников молодежных сообществ в Дагестане в отношении тех, кто присоединился к ИГИЛ. Авторы реконструируют повседневный молодежный дискурс «ухода в ИГИЛ» в регионе, который часто упоминается в России в связи с действиями этой террористической организации, и сосредоточиваются на том, каким образом молодые дагестанцы проблематизируют «уход в ИГИЛ». Исследование проводилось на основе строгой версии конструкционистского подхода к социальным проблемам, исключающей предположения о наличии и величине «террористической угрозы». Терроризм рассматривался как одно из «условий-категорий», относительно которых разворачиваются дискурсы проблематизации и депроблематизации. Особенность представляющего исследования заключается в сосредоточении не на публичных, а на повседневных формах конструирования социальных проблем, в частности, высказываниях в ходе глубинных интервью. В соответствии с конструкционистской исследовательской программой Питера Ибарры и Джона Китсьюза, в дискурсе дагестанской молодежи были выявлены риторические идиомы, используемые в отношении «ухода» и «ушедших». В высказываниях молодых дагестанцев по поводу «ухода в ИГИЛ» отсутствовала драматичная риторика бедствия. Эпизодически молодые дагестанцы использовали

---

© Васильева Н. В., 2017

© Майборода А. В., 2017

© Ясавеев И. Г., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: [10.17323/1728-192X-2017-2-54-74](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-2-54-74)

\* Статья подготовлена по материалам исследования, которое проводится за счет гранта Российского научного фонда (проект «Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодежные культурные сцены российских городов» № 15-18-00078) в Центре молодежных исследований НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург).

1. ИГИЛ — «Исламское государство Ирака и Леванта», запрещенная в России террористическая организация.

риторику опасности, включающую в себя метафору «вируса», однако доминирующей была риторика неразумности. Слова, используемые участниками молодежных сообществ в отношении тех, кто «ушел в ИГИЛ»: «глупые», «слабые», «марионетки», «неопытные», «легко внушиаемые» и прочее, соответствуют словарю этой риторической идиомы. Образ манипуляции, центральный для риторики неразумности, детализируется посредством конструирования образа «вербовщика». Одной из выявленных черт нарративов молодых дагестанцев на тему «ухода в ИГИЛ» было эпизодическое, отличающееся от предыдущих и последующих высказываний проговаривание темы в соответствии с официальным дискурсом предположительно для того, чтобы обезопасить себя от возможных подозрений в симпатии к ИГИЛ. Однако доминирующая в объяснениях «ухода» риторика неразумности указывает на отсутствие социальной дистанции между молодыми дагестанцами и теми, кто «ушел». Информанты выражали сожаление и сочувствие по отношению к родственникам «ушедших» и связывали «уход в ИГИЛ» с безработицей. Высказывания информантов предполагают необходимость развития социальной политики в Дагестане, возможностей образования и занятости, а не усиления репрессивных мер.

*Ключевые слова:* конструкционизм, социальные проблемы, терроризм, дискурс, молодежь, молодежная политика

ИГИЛ как угроза является в настоящее время одним из ключевых пунктов повестки дня российских спецслужб и медиа. Число сообщений об «Исламском государстве» на федеральных телеканалах за последние четыре года увеличилось в десятки раз. В фокусе информационных материалов оказываются террористические атаки в различных странах, операции сирийских и российских вооруженных сил на территории Сирии, спецоперации в отношении «главарей бандподполья, присягнувших на верность ИГИЛ» на территории России, обнаружение тайников с оружием. Репортажи представляют дискурс того, что в социологии социальных проблем называется контролируемой проблемой, — ситуации, которая, с одной стороны, является угрожающей, а с другой — находится под контролем (Becker, 1963: 157; Ясавеев, 2016). При этом сама проблема представляется как имеющая не только «общемировую» значимость, но и конкретную локализацию на территории России — на Северном Кавказе.

В потоке сообщений силовых ведомств и медиа можно выделить отдельное направление, посвященное «уходу в ИГИЛ» российских граждан, в частности жителей Дагестана. По данным МВД за 2015 год, среди приверженцев ИГИЛ насчитывалось около двух с половиной тысяч россиян, из которых 900 человек приехали из Дагестана (Интерфакс, 2015а, 2015б). В начале 2017 года Владимир Путин сообщил, ссылаясь на данные спецслужб, что на территории Сирии находятся до 4 тысяч боевиков из России (Путин, 2017). Сообщения российских медиа касаются особенностей личности тех, кто «ушел», причин, по которым они это сделали, а также методов, способствующих уменьшению потока «уходящих». В таких репортажах ключевыми фигурами являются политики, эксперты, представители силовых ведомств, а голоса самих жителей республики практически отсутствуют.

Академических работ, посвященных рассмотрению данной тематики, немного. Поскольку сторонники ИГИЛ являются труднодоступной для исследователей и журналистов группой, чаще всего анализу подвергаются данные, имеющие косвенное отношение к присоединению к ИГИЛ. Так, Зиберт, Винтерфельдт и Джон обратились к ресурсам (интервью с лидерами и т. д.), находящимся в открытом доступе, а также к мнениям экспертов. Авторы пришли к выводу о том, что сторонники ИГИЛ движимы тремя типами целей: удовлетворение потребностей, связанных с отношением к другим (совершить что-то, по их мнению, хорошее, помочь суннитам), удовлетворение религиозных потребностей (испытать духовное удовлетворение, сражаться за бога, способствовать утверждению «чистой и строгой» версии ислама) и удовлетворение персональных потребностей (улучшить материальное положение, показать/реализовать свою маскулинность, насладиться братскими отношениями, воевать против Запада и Израиля) (Siebert, von Winterfeldt, John, 2015).

Ахмет Ярлыкапов отмечает, что молодых мусульман на Северном Кавказе, присоединяющихся к «Исламскому государству», привлекают обещания социальной справедливости. «Коррупция, клановость, отсутствие социальных лифтов и перспектив толкают молодежь к поискам выхода в исламистской идеологии, в утопических проектах введения шариата для решения всех проблем общества, в котором она живет» (Ярлыкапов, 2016: 117).

Данная работа представляет собой попытку рассмотреть «уход в ИГИЛ» с иного ракурса. В фокусе статьи находятся не объективные причины присоединения жителей Дагестана к движению, а повседневное дискурсивное пространство, которое складывается вокруг ИГИЛ и его сторонников. Объектом исследования являются молодые дагестанцы. Предметом — дискурсы, посредством которых молодежь объясняет присоединение своих соотечественников к данной организации, проблематизирует или депроблематизирует такого рода «уход», выражает свое отношение к этому. Это позволяет, во-первых, описать настроения, существующие в молодежной среде, выявить наличие или отсутствие страхов и паники по поводу присоединения к международной террористической организации, во-вторых, понять, какие дискурсы/риторики в отношении «уходящих» преобладают среди молодежи, какие смыслы они производят.

Речь идет о серьезных социальных проблемах. Но что такое социальные проблемы? Существует два основных подхода к рассмотрению и анализу социальных проблем. В рамках первого утверждается, что они являются совокупностью объективных обстоятельств, представляющих собой угрозу для общества. Здесь исследователи обращаются к таким концептам, как «социальная патология», «социальная дезорганизация», «девиация», «дисфункция», «структурное противоречие» (см., например: Merton, Nisbet, 1971). Второй подход основан на идее о том, что «проблема» не имеет онтологического статуса, это языковая конструкция, риторика, содержащая требования изменений. Он развивается в рамках социального конструкционизма (Spector, Kitsuse, 1977; Holstein, Miller, 2003; Loseke, 2003;

Holstein, Gubrium, 2008; Полач, 2010). Здесь предметом особого интереса являются способы конституирования социальной проблемы через дискурс, или же, в терминах, предложенных Малькольмом Спектором и Джоном Китсьюзом, процессы «выдвижения требований» (claims-making). Главный фокус их внимания — «методы, используемые людьми для определения (и институциализации) чего-либо в качестве социальной проблемы, поскольку именно эти методы и составляют, в сущности, сам феномен социальных проблем» (Ибарра, Китсьюз, 2007: 55).

В анализе терроризма конструкционисты тоже исходят из того, что объект их исследования — это социальный конструкт, который включает в себя множество образов и стереотипов, сформированных под воздействием различных агентов — бюрократических структур, научного сообщества, экспертов, массмедиа и самих террористов (Jenkins, 2003). Приверженцы строгой версии этого подхода Якоб Стамп и Прия Диксит в анализе конструкта терроризма требуют вообще отказаться от каких-либо отсылок к реальному явлению. Важно лишь то, каким образом социальные акторы используют категорию «терроризм», осмысляют ее и действуют на основе своей интерпретации. Стамп и Диксит полагают, что терроризм приобретает значение только в процессе артикуляции, когда он прямо или косвенно оказывает влияние на социальные практики, вовлекается в конструирование границ и идентичностей (Stump, Dixit, 2012). В результате внимание исследователей сосредоточивается на анализе языковых конструкций: метафор, предположений, форм знаний и грамматических форм, которые, в свою очередь, формируют дискурс. По мнению ученых, официальный дискурс является мощным политическим инструментом и проявлением власти, оказывающим огромное воздействие как на политические процессы, так и на повседневность людей (Jenkins, 2003; Jackson, 2005). Среди конструкционистов сильна традиция анализа именно таких политических и медиийных конструктов терроризма (Jenkins, 2003; Jackson, 2005; Hülsse, Spencer, 2008; MacDonald, Hunter, 2013; Banke, Kalnæs, Holm, 2015; Johansen, 2016). Например, Ричард Джексон на основе анализа языка «борьбы с терроризмом», который используется государственными структурами США для описания и нормализации контртеррористической кампании, показал, как с помощью лингвистических средств создается новая реальность для американских граждан (Jackson, 2005).

Однако сама реальность за пределами медиийного дискурса редко попадает в поле зрения ученых, в частности, очень немного исследований посвящено анализу повседневных интерпретаций терроризма. Одна из попыток такого рода — работа Класа Борелла, в которой описываются повседневные практики и представления людей, живущих на территории, подверженной террористическим атакам (Borell, 2008). На основе качественных данных автор анализирует то, как жители Бейрута воспринимают риск и справляются с ним. Борелл не опирается в своей работе на конструкционистскую парадигму и не ставит перед собой цель проанализировать артикулируемые информантами конструкты. Тем не менее в его тексте присутствует описание повседневных интерпретаций «опасности» и «безопасности», а

также связанных с этими представлениями практик. Полученные данные позволяют проследить, как публичный дискурс трансформируется под воздействием личного опыта и изменяет повседневные практики.

Наша работа основывается на конструкционистской исследовательской программе Питера Ибарры и Джона Китсьюза (Ибарра, Китсьюз, 2007), ключевым моментом которой является упомянутое выше понятие «выдвижение требований». Для обозначения предмета требований, выдвигаемых индивидами, Ибарра и Китсьюз используют понятие «условия-категории», подчеркивая тем самым, что они «никогда не покидают область языка» (Ибарра, Китсьюз, 2007: 64). Условия-категории — это языковые конструкты, результаты типизации социально определяемых активностей и процессов: «дискриминация людей, живущих с ВИЧ», «жестокое обращение с детьми», «насилие в армии», «терроризм» и т. д. Риторические идиомы представляют собой способы, с помощью которых условия-категории проблематизируются. Ибарра и Китсьюз описывают такие риторические идиомы, как риторика утраты, риторика наделения правом, риторика опасности, риторика неразумности и риторика бедствия (Ибарра, Китсьюз, 2007: 72–84). Контр-риторика, напротив, включает в себя дискурсивные стратегии противодействия определению «условия-категории» как проблемы, то есть стратегии депрограммации (Ибарра, Китсьюз, 2007: 84–93). Конструкционисты указывают: «Процесс социальной проблемы — это своего рода игра, ходы в которой всегда подвержены интерпретации и переинтерпретации, цели и стратегии которой являются предметом полемики и пересмотра, игроки постоянно меняются, среда различна, а номинальные темы так же разнообразны, как и система классификации общества, обеспечивающая участников типизациями явлений, которые могут стать объектами восприятия и, следовательно, недовольства» (Ибарра, Китсьюз, 2007: 66).

В последние годы в рамках конструкционистского подхода совершается поворот к повседневной сфере. Как отмечают Ибарра и Китсьюз, «дискурс социальных проблем встречается во всех видах форумов и среди самого широкого круга лиц» (Ибарра, Китсьюз, 2007: 106). Исследователей все больше интересует непубличное выдвижение требований — в рамках разговоров, споров, интервью. Если в прошлом конструкционисты сосредоточивались главным образом на активности в рамках публичных арен (Хилгартнер, Боск, 2007; Maratea, 2008), то в настоящее время вслед за Лесли Миллер (Miller, 2003) их внимание все чаще фокусируется на повседневной коммуникации. С этой точки зрения социальные проблемы конструируются не только тогда, когда требования изменить ситуацию (условие-категорию) выдвигаются в форме пикета, митинга, шествия, пресс-конференции, статьи, телепередачи, поста в блогосфере или социальных сетях, стрит-арта и пр., но и в повседневных разговорах. Таким образом, конструкционисты пересматривают и проблематизируют вопрос «что есть требование?» и пытаются анализировать конструирование социальных проблем, которое является «менее заметным, различным образом замаскированным — например, вследствие использования субкультурного стиля, — но не менее вовлеченным в выражение своей позиции

по отношению к моральному порядку или комментированию позиций других» (Ibarra, Adorjan, 2017). Мы исходим из того, что исследовательские интервью также являются формой конструирования социальных проблем. Разговор с интервьюером включает в себя риторику и контрриторику, выдвижение требований и ихнейтрализацию, но не в публичном пространстве, а в повседневном.

Поскольку строгий конструкционистский подход сосредоточивается исключительно на дискурсе социальных проблем, оставляя за рамками вопросы о существовании «оснований» для выдвижения требований, мы в рамках данной работы не касаемся явления «Исламское государство» как феномена самой социальной реальности, как «угрозы». Мы не оцениваем его серьезность и масштаб. Наша цель — реконструировать повседневный дискурс «ухода в ИГИЛ» среди молодежи в регионе, который в России оказался одним из наиболее часто упоминаемых, когда речь идет об этой организации.

### Эмпирическая база и методология исследования

Статья основана на материалах проекта «Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодежные культурные сцены российских городов». Проект осуществлялся в 2015–2016 гг. в четырех городах: Санкт-Петербурге, Ульяновске, Казани и Махачкале. В каждом городе проводились количественный и качественный этапы исследования. Количественная часть включала в себя опрос студентов средних учебных заведений и вузов (800 анкет в каждом городе). В рамках качественного этапа исследования были взяты глубинные интервью с участниками молодежных сообществ.

В данной работе использовались материалы качественного этапа исследования в Махачкале. Эмпирическая база — 49 глубинных интервью длительностью от одного до трех часов с молодыми дагестанцами (от 17 до 27 лет). Интервью были проведены с представителями основных молодежных сообществ, которые мы не называем из соображений анонимности. С одной стороны, такая выборка помогла представить молодежь, включенную в различные культурные сцены города, с другой стороны, за пределами качественного этапа исследования осталась молодежь, не участвующая ни в одном из изучаемых сообществ.

Поиск информантов осуществлялся по двум траекториям: целевой поиск через сообщества в социальных сетях, а также поиск методом «снежного кома». Первая траектория отбора проходила через социальную сеть «ВКонтакте». Базовыми «платформами» поиска являлись крупные региональные группы Дагестана и группы различных сообществ города. Во время интервью информантов спрашивали о том, какие молодежные сообщества они знают и кого могут посоветовать для участия в исследовании. Таким образом, выстраивалась вторая траектория поиска.

Гайд интервью включал в себя несколько смысловых блоков, посвященных биографии, сообществу и отдельным практикам информанта. Вопросы об ИГИЛ были включены в блок об особенностях дагестанской молодежи, а также трудно-

стях, с которыми она сталкивается. Ряд информантов самостоятельно затрагивал тему ИГИЛ в своих нарративах, остальным интервьюеры задавали прямые вопросы о данной организации и тех, кто присоединился к ней. Следует отметить, что интервьюеры иногда формулировали свои вопросы в проблематизирующем ключе, что задавало определенные дискурсивные рамки для информантов и, возможно, определяло логику их ответов. Кроме того, интервьюеры, приехавшие из Санкт-Петербурга, выступали, с одной стороны, в роли гостей, а с другой — в роли чужаков, других. Поэтому следует учитывать, что нарративы информантов представляют собой репрезентации своего города, региона и самих себя.

### **«Такое есть на самом деле...»: артикуляция близости ИГИЛ в повседневности**

Присутствие условия-категории «уход в ИГИЛ» в повседневности молодых дагестанцев можно проследить через артикулируемую степень близости данной проблемы информантам и через ее пространственную и временную локализацию. В своих повествованиях информанты часто рассуждают о феномене «ухода в ИГИЛ», отмечая наличие или отсутствие у них собственного опыта (или опыта друзей, знакомых) столкновения с ним. Пережитый опыт способствует тому, что для информантов ИГИЛ из абстрактного понятия превращается в реальный факт. Акцент делается на ощущении близости данной ситуации и своей сопричастности.

Я давно занимался вот этим спортом... со школы начинал, и семьдесят процентов, с кем я начинал, уже нет в живых, они ушли на эту сторону и все погибли... Спортсменов всегда вербуют в первую очередь, как и в девяностые было, сейчас в принципе так же. (М., 24\_1)

ИГИЛ зачастую выступает как некая объяснительная схема, с помощью которой интерпретируются «сомнительные» ситуации. В частности, как опыт вербовки расцениваются разговоры с незнакомцами на религиозные темы, любые подозрительные просьбы и расспросы. За счет этого артикуляция феномена «ухода в ИГИЛ» расширяется.

Я Вам больше скажу. Ко мне подходили, меня тянули в такие круги. Да, было такое, что подходили: «Ты молишься, и я молюсь». И начали толковать свои понятия. (М., 21\_1)

Одним из измерений конструируемой близости/удаленности ИГИЛ становится ее пространственная локализация. В нарративах информантов можно выделить два варианта говорения об ИГИЛ, тесно переплетающихся друг с другом: как о боевых действиях, терактах, которые происходят в Сирии и других странах, и как о ситуации, которая существует в Дагестане. При этом в одних случаях респонден-

ты используют выражения «уйти в ИГИЛ» и «уйти в лес» как синонимичные, а в других противопоставляют эти виды «ухода» («либо в лес, либо туда»).

Такое есть на самом деле. С сел, с городов просто вербуют. Ну это те, я считаю, что это те парни, которые не нашли себя. То есть если бы ты был бы увлечен чем-то серьезно, то тебя бы этот ИГИЛ вообще не беспокоил. Я об этом ИГИЛе не думаю. Единственное, да, обидно, они разрушили Пальмиру, это историческое, это исторический просто город-музей. Как они, о чем эти люди думали? (Ж., 22\_1)

Даже вот мой колледж взять — один мальчик ушел в лес, другая девочка уехала в ИГИЛ выходить замуж за пятидесятилетнего третьей женой. (Ж., 21\_1)

Временная локализация представляет собой еще одно измерение близости артикулируемой ситуации. Высказывалось мнение, что «пик» ухода в ИГИЛ уже в прошлом:

Пик, наверное, все-таки не сейчас. Пик этой утечки в Сирию — был, ну, года два назад, когда многие уходили. Очень сильно была разработана эта тема — экстремизма, радикального ислама и прочего. Тогда был пик. Сейчас я давно не слышал, года два точно, что кто-то уехал туда. (М., 24\_3)

Однако страхи сохраняются:

Сейчас тихо все, спокойно, но ты боишься именно вот этой внутренней опасности, эти же ваххабисты, эти же террористы, ты не знаешь, что ожидать... Ты просто не знаешь, чего ждать дальше... Это как затишье перед бурей, мне кажется. Я хоть и оптимист, но в данном случае немножко пессимистически отношусь. (Ж., 22\_1)

Вместе с тем обращает на себя внимание подчеркиваемая респондентами неоднозначность категории «терроризм» и неуместность ее использования в некоторых случаях. Респонденты говорят временами не о терроризме, а о конфликтах, имеющих экономические основания.

Однажды у нас вообще череда каких-то взрывов была. На Дахадаева, например, это в той стороне, взорвали, там было несколько магазинов коньячных, взорвали коньячные магазины. Потом чуть дальше взорвали коньячный магазин. Череда коньячных магазинов. Взрывали игровые клубы. (Ж., 22\_1)

Даже вот что по новостям говорили, пост взорвали — это не теракт, далеко не теракт. Просто пост не работал 10–15 лет, а потом его открыли, и пошли разногласия. Просто этот пост очень хорошие деньги приносил. Просто столько в день машин по федеральной трассе. (М., 24\_2)

## «Уход в ИГИЛ»: дискурсивные способы проблематизации

Для большинства информантов уход соотечественников в ИГИЛ понимается как проблема. В такой перспективе можно выделить несколько способов проблематизации присоединения к террористической организации.

### *Риторика опасности*

Молодые дагестанцы в интервью не использовали риторику бедствия, которая актуализирует образ катастрофы. Вместе с тем в ряде случаев респонденты обращались к элементам сходной, но менее драматичной риторики опасности. В соответствии с риторикой опасности условия-категории проблематичны потому, что создают неприемлемые риски чьему-либо здоровью и безопасности (Ибарра, Китсюз, 2007: 78). Словарь риторики опасности включает в себя термины «патология», «болезнь», «эпидемия», «риск», «заражение», «угроза здоровью».

Примерно в этой логике ИГИЛ описывается некоторыми респондентами как «болезнь», «сообщества больных людей». Алармистская риторика говорения об ИГИЛ артикулируется через метафору «вируса»:

Клетка делится на два как бы, две клетки еще на две делятся и так далее. То есть эти люди как бы заражены этой, этим вирусом, и они начинают заражать других людей. (М., 23\_1)

Вряд ли он вернется, вроде им обратного пути нет... Их обратно не принимают, чтобы они дальше не заражали этим вирусом. (Ж., 21\_1)

Вместе с тем случаи использования таких метафор редки. Малое распространение риторики этого типа при ответах на вопросы интервьюеров не означает, что респонденты не определяют ситуацию вокруг ИГИЛ как опасность. Напротив, реакция целого ряда респондентов на вопросы об ИГИЛ (используемые тактики уклонения от вопросов, отказ отвечать на них, перевод разговора в отвлеченное, абстрактное обсуждение ситуации, переход в позицию «стороннего наблюдателя») может свидетельствовать о том, что респонденты даже разговор на тему ИГИЛ воспринимают как опасность и риск, но не всегда проговаривают это.

Мы всегда сторонимся таких тем, если даже кто-то в шутку. Я не люблю такие темы. Как все начинается, всегда все с шутки начинается, с чего-то не значительного. (М., 18\_1)

Знаешь, очень тяжелый вопрос, о котором, который я даже не хотел бы обсуждать. То есть мы все прекрасно знаем, народ знает, как это делается, кому это выгодно там. Там, там очень много есть подводных камней в этом деле, и не все так, как нам это предоставляют. То есть самые такие глупые люди,

конечно, ведутся на все это. Ну, мы знаем, как это все делается, кто хороший, кто плох там. Народ для себя знает. (М., 25\_1)

Уклонение от разговора на темы ИГИЛ, возможно, связано с отмечаемой информантами обстановкой в Махачкале и Дагестане. По их словам, в учебных заведениях часто проводятся «профилактические мероприятия», лекции и конференции на темы терроризма и экстремизма, а также осуществляется постоянный контроль за возможными проявлениями радикальных настроений. В этой связи рассуждения об ИГИЛ и «ушедших» молодые дагестанцы могли расценивать как риск вызвать интерес у силовых ведомств или подвергнуть пристальному вниманию спецслужб своих знакомых:

ИГИЛ, да, ну уходят, конечно, люди и в лес, да. Но я с этим не сталкиваюсь, даже никто ни из знакомых, ни их знакомые. Но такое действительно есть, конечно. (Ж., 18\_1)

У меня не было знакомых, но вот я знаю, что есть такие случаи. А знакомых у меня нет, не было. (Ж., 19\_1)

Подальше от такого человека стараешься держаться, потому что рано или поздно все равно он туда уйдет, либо все равно проблемы какие-то будут у тебя. Поэтому есть даже ребята, которые просто подвезли, они даже не так хорошо, близко дружили с ним, знакомые есть, которые просто кто-то кого-то по знакомству, подвез кого-то куда-то, после этого он ушел, короче, либо в лес, либо туда. После этого у них проблемы были, судебные разбирательства и так далее. (М., 27\_1)

Другой тактикой обеспечения своей безопасности могут быть подчеркнуто негативные категорические высказывания о тех, кто «ушел»:

Те, которые поехали, я считаю, что они... никогда не уважали своих родителей. Это те люди, которые предали свои семьи, свою республику, свою родину. Это те люди, у которых нет своего мнения и которые поддались чужому мнению. Так сказать, нелюди просто. Все, я по-другому не могу о них отзываться. Это позор нашей республики! (М., 21\_1)

Нельзя исключать, что высказывания с использованием таких конструкций, как: «предали свои семьи, свою республику, свою родину», «позор республики», «нелюди» — это преднамеренное следование официальному дискурсу, практика проговаривания ситуации так, «как надо», чтобы обезопасить себя, отвести какие-либо подозрения в симпатии к сторонникам ИГИЛ в связи с активными действиями спецслужб. Слово «нелюди» широко используется властями Дагестана, начиная с главы республики, и официальными медиа в контексте терроризма. Между тем один и тот же респондент может воспроизводить жесткий официальный дис-

курс и совершенно в другом ключе рассказывать о своем друге, который увлекся идеями ИГИЛ и готовился к отъезду («он уже поменял свои сим-карты»), но в последний момент остался из-за мыслей о родителях.

Практики говорения об ИГИЛ «как надо» и отказ разговаривать на эту тему могут свидетельствовать об ощущаемой респондентами опасности как со стороны ИГИЛ, так и со стороны силовых ведомств. Следование официальному дискурсу — это некий «правильный взгляд», который сигнализирует, что данный человек «свой», он не опасен. Артикуляция другой точки зрения может привести к трудностям в повседневной коммуникации, поскольку, как отмечалось ранее, любые неоднозначные ситуации и разговоры могут расцениваться как попытки вербовки или столкновения со сторонниками ИГИЛ.

Респонденты указывают, что страхи, связанные с ИГИЛ (в том числе опасения привлечь внимание силовых ведомств), изменяют повседневные практики, в частности практики ношения хиджаба и бороды:

Если раньше родители спокойно могли разрешить, хоть в хиджабе, хоть в чём, хоть в никабе ходи, то сейчас и меньше года назад с этим было сложно, боялись все... Что вот типа тебя завербуют... Ты ваххабистом станешь там, уйдешь чуть ли не в леса. Потому что, честно, это было обоснованно, потому что так же и уходили девчонки по глупости, да. (Ж., 19\_2)

Моя подруга сталкивалась с этим. Она одно время ходила в хиджабе, но потом она сняла его. Вот так вот, после этого у нас некоторые боятся носить хиджаб. На самом деле это очень-очень страшно, особенно в черном. Нас даже вот так вот избегают, даже мы сами избегаем таких людей. Мы не знаем, чего от них ожидать. (Ж., 22\_1)

У нас всех, кто, как я, даже не побрился, проверяют уже. Какой-то косяк есть, ты уже в отделении оказываешься. (М., 21\_2)

Сами силовые ведомства представляют собой в интервью своеобразные «зоны молчания». Информанты не называют их, не конкретизируют, даже в тех случаях, когда описывают их действия: «За мной бежит мужчина, военный, такой: «Девушка, вы куда идете?! Вы не видите, там стреляют?!» А там такой человек с базукой стоит, собирается стрелять» (Ж., 20\_1). Ни в одном интервью не были упомянуты ни ФСБ, ни центры по противодействию экстремизму МВД, за исключением высказывания: «Благодаря ФСБ, Президенту России, МВД удалось пресечь эту деятельность, но не полностью» (М., 21\_3). В тех редких случаях, когда информанты упоминали силовые ведомства, они использовали обозначения «спецслужбы» и «правоохранительные органы».

### *Риторика неразумности*

Анализ интервью с молодыми дагестанцами позволяет утверждать, что доминирующим способом проблематизации «ухода в ИГИЛ» является риторика неразумности. Применение этой риторической идиомы, отмечают Ибарра и Китсьюз, зависит от возможности описать условие-категорию в терминах, высвечивающих обеспокоенность по поводу эксплуатации, манипулирования, «промывания мозгов». «Призраки сообщений, действующих на подсознание, заговоров, скрытых сил и гипнотизирующего воздействия рекламы — таковы распространенные образы, актуализируемые лексиконом данной риторики» (Ибарра, Китсьюз, 2007: 80). Определенные категории людей обозначаются в рамках риторики неразумности как «доверчивые», «наивные», «невинные», «необразованные», «несведущие», «доведенные до отчаяния», «легкая добыча» (Ибарра, Китсьюз, 2007: 81).

Именно этот словарь, предполагающий уязвимость людей перед манипулированием, используется в целом ряде интервью для описания тех, кто ушел в ИГИЛ: «легко внушаемые», «ведомые», «слабые», «глупые марионетки», «не подготовлены к войне», «без мозгов», «неопытные», «не думают о последствиях», «очень слабые характером люди», «несформированный ум», «из таких семей, где тебя подавляют, тебя унижают», «неудачники», «не нашли себя», «легко зомбировать», «нет образования».

Что там нехорошо, как им говорят, то есть они едут все за какой-то сказкой, за чем-то, а, естественно, это все и гипноз, это все внушение какое-то. Поэтому что у нас большинство ребят, они легко внушаемы. И они ведутся, они ведомые. Я не знаю, почему так происходит. (Ж., 24\_1)

Это глупые, ну глупые ребята, которым внущили это... в основном молодые ребята, которые не хотят работать... Им предлагают хорошие деньги, плюс они хотят почувствовать себя сильными, но эти ребята никогда не будут нормальными, если их легко зомбировать в одну, то и в другую сторону. (М., 25\_1)

Элементом риторики неразумности является описание действий «вербовщиков» — тех, кто, по мнению информантов, оказывает непосредственное влияние на «слабых» или «глупых» и убеждает их присоединиться к ИГИЛ.

И вот эти, этих молодых людей, этих девушек всех их, за ними стоял какой-то такой человек, вот я считаю, да, который сильнее всех, умнее всех, а эти глупые марионетки, которые ради денег или ради славы, я не знаю, ради идеи навязанной, ну погибали. (Ж., 19\_2)

В нарративах такие образы присутствуют в нескольких контекстах: информанты описывают вербовщиков с точки зрения их навыков, используемых методов, способов коммуникации, а также внешних атрибутов. Доминирующим среди про-

них является образ вербовщика как хорошего психолога, который «умеет разговаривать», владеет навыками нейролингвистического программирования и «зомбирования»:

Допустим, девчонка вот, когда они ничем не занимаются, девушка, у нее нет никаких увлечений, она не усердна в школе, да, в занятиях, у нее куча свободного времени. Она тратит его в социальных сетях, там она может познакомиться с каким-нибудь НЛПишным, я не знаю, мастером, который ее на самом деле так завербует, что она от всего откажется... Эти девчонки, они в основном были вот из такой категории, таких слабых каких-то, или же из таких семей, где тебя подавляют, тебя унижают. А тут бац, ангел появляется, который тебя понимает, во всем поддерживает. (Ж., 19\_2)

Следует отметить противоречие, связанное, с одной стороны, с использованием информантами риторики неразумности по отношению к «ушедшим», а с другой — с описанием образа вербовщика как «мастера», того, перед кем не может устоять никто. Возможно, через такую объяснительную схему молодые дагестанцы пытаются рационализировать уход в ИГИЛ своих знакомых, друзей, по их мнению, неглупых, увлеченных.

Есть ребята, я лично знаю, моя подруга, ее родственник ушел, вроде хороший парень, спортсмен, не пил, не курил, в мечеть ходил, наоборот, это как-то все... вроде такой набор, который гарантирует то, что все хорошо будет. Но, к сожалению, там... была мечеть, в которой он [«вербовщик»] именно вербовал этих всех ребят, он им говорил не то, что «вы должны понимать, что нельзя убивать людей», он говорил: «Да, но вот у тех-то и у тех-то вы можете забирать жизнь. Вам, наоборот, будет хорошо убрать...» К сожалению, именно те, некоторые ребята, они ушли. (Ж., 20\_1)

Ощущение незащищенности, уязвимости возникает у самих респондентов, не исключающих, что и они могут быть завербованы:

Они даже меня могут завербовать, но я, я знаю, чего, как они это делают, то есть, например, для девушек это, они их подкупают фактически. Некоторых людей берут на деньги, например, знакомятся, узнают через кого-то, что у него сложная ситуация с деньгами, они говорят: «Мы тебе дадим деньги, и ты, типа, должен сделать нам что-то взамен». И вот так вот они забирают. Одно время было очень актуально, вот так вот к тебе подходила девушка в хиджабе: «Слушай, ты бы не мог тут один пакет передать? Отвезти туда-то, типа, я не могу». И потом, в этом пакете могло быть что-то очень опасное или законом запрещенное. А потом: «Вот ты это сделал, теперь мы можем тебя как соучастника. Ты, типа, теперь должна с нами работать». (Ж., 22\_1)

«Девушка в хиджабе» или человек в мечети, о которых говорят информанты, иллюстрируют еще один образ мастера вербовки как человека, так или иначе свя-

занного с религией. Следует отметить, что в рамках интервью молодые люди разделяли «ислам» на «правильный» и «неправильный» — тот, который артикулируется приверженцами ИГИЛ.

Информантами описываются и используемые «вербовщиками» ресурсы коммуникации. Так, основными каналами вербовки признаются социальные сети, скайп, через которые, по мнению информантов, общаются как «вербовщики» внутри республики, так и те, кто располагается за пределами Дагестана и России:

У меня даже знакомая была, моя соседка, она замуж вышла. И она не знала, что муж там... По скайпу там с кем-то на английском говорил. Она английский не понимает. С кем-то разговаривал. И просто в Турцию поедут, что-то сказал ей. И он, видимо, поехал в Сирию, и потом она узнала, ей на е-майл написали, что он умер. Она даже не знала. Она думала, он просто поехал. (Ж., 20\_2)

Респонденты отмечают возможную деятельность вербовщиков не только в социальных сетях, но и в городском пространстве. Отдельно проговариваются публичные пространства, маркируемые как «опасные» с точки зрения возможной вербовки:

Какая-то была салафитская мечеть вот и говорили, что лучше в том районе не ходить особо. (Ж., 17\_1)

Обыденное знание о «подозрительных» местах в городе дает основание для неформального социального контроля информантов за друзьями и знакомыми — теми, кто начинает посещать подобные места:

Была мечеть, которая в основном, как говорят, ваххабисты собирались... Сейчас ее закрыли. Естественно, ребята между собой общаются, знают, кто в какую мечеть пошел, когда пошел. Естественно, ребята сами с этими ребятами разговаривали, объясняли как бы. (Ж., 24\_1)

В рамках риторики неразумности те, кто «ушел в ИГИЛ», представляются не врагами, чужаками, предателями, а оступившимися, совершившими ошибку. Эти люди близки, их знают, знают их семьи и говорят о них в большинстве случаев с сожалением и сочувствием к родственникам.

Обидно, конечно, ребят жалко. Наверное, все поняли там уже, когда оказались в ИГИЛ. (М., 24\_3)

И вот он когда ушел, его мама вся убитая, буквально, ходит, потому что она знает, что он в ИГИЛе где-то, то ли он взорвется где-то, то ли он уже мертв, то ли что с ним. (Ж., 20\_1)

В Сирию, что ли... уехал на войну. И у родителей траур, вся семья горюет, потому что это так неожиданно произошло, он очень конспирировался, видимо. (Ж., 21\_1)

В целом ряде интервью «уход в ИГИЛ» связывается с отсутствием работы.

Из-за того, что у кого-то из них там нет места, где они могли бы получить достойную зарплату, они ведутся на то, что им там обещают... У нас многие ребята по глупости своей уходят туда. (Ж., 22\_2)

Безработица. Прокормить семью — первая задача. И когда у тебя стоит выбор, чего скрывать, вопрос денег. Я когда услышал, так смешно стало, чтоб поехать в армию, нужно заплатить денег. Серьезно говорю! Во всей России дают деньги, чтоб в армию не идти, а у нас — чтоб пойти, чтоб дали военный билет, чтоб куда-то на работу устроиться. Вот и все, безработица, особенно когда у человека есть ребенок, жена, ему говорят — иди воевать, и все. Возможно, ты умрешь, это от тебя зависит, но твоя семья будет в достатке. Мужчина с характером — согласится. Он пойдет зарабатывать... Да, работа. В любом случае ты пойдешь воровать либо что-то делать. Нет гарантии, что приедешь оттуда. Но в другом варианте ты просто своруешь и сядешь, и семье ничего не останется. (М., 24\_2)

Человек уезжает туда, думает обеспечивать семью, например, но они, конечно, не подготовлены к войне и умирают очень часто. (Ж., 20\_2)

Рассуждая о безработице как о факторе, способствующем уходу в ИГИЛ, информанты указывают на противоречие, связанное с тем, что работодателям, как правило, требуются люди, имеющие опыт работы, а у молодых людей этого опыта нет, и получить его они не могут.

Многие мои друзья они не могут найти себе работу даже по своей специальности. То есть нужны люди с опытом, а откуда брать опыт, если тебя не берут? (Ж., 18\_1)

Основная проблема здесь в том, что без связей довольно сложно работать. Здесь все пропихивают своих. В принципе, это нередкое явление, то есть из-за этого простым людям довольно сложно найти работу. (М., 19\_1)

Таким образом, доминирующий контекст рассуждений молодых дагестанцев об «уходе в ИГИЛ» — это скорее контекст социальной политики, занятости и образования, необходимость которого предполагается риторикой неразумности, нежели контекст репрессивности.

## Заключение

Наше исследование подтверждает возможность применения конструкционистского инструментария не только к публичным формам дискурса социальных проблем, но и к повседневной риторике, выявляемой в ходе исследовательских интервью.

Анализ повседневной конструкции «ухода в ИГИЛ» позволяет утверждать, что среди участников различных молодежных сообществ в Дагестане отсутствует паника по этому поводу, уходящие не демонизируются, не вызывают враждебность, не надеются персональной ответственностью за существующее положение дел (для сравнения см.: Мейлахс, 2004).

В то же время «уход в ИГИЛ» является проблемой для молодых дагестанцев: это условие-категория проблематизируется в интервью. Случаев депроблематизации нами выявлено не было. Однако среди дискурсивных способов проблематизации доминируют не жесткие и драматичные риторики бедствия и опасности, а риторика неразумности. Терминология, используемая участниками молодежных сообществ в отношении тех, кто «ушел в ИГИЛ», — «легко внушаемые», «ведомые», «слабые», «марионетки», «неопытные», «несформированный ум» и пр. — соответствует именно этой риторической идиоме. Респонденты, как правило, через фигуру «вербовщика» воспроизводят центральный образ, актуализируемый риторикой неразумности, — образ манипуляции.

Доминирующая в объяснениях «ухода» риторика неразумности свидетельствует о том, что между молодыми дагестанцами и теми, кто «ушел в ИГИЛ», нет социальной дистанции. Напротив, часто выражается сожаление по поводу ухода и сочувствие по отношению к их родственникам. «Уход в ИГИЛ» рядом информантов связывается с безработицей и необходимостью обеспечивать семью.

Следует отметить, что наряду со случаями проговаривания ситуации с «уходом в ИГИЛ» в соответствии с официальным дискурсом — так, «как надо», предположительно из соображений безопасности — никто из информантов не использовал карательную риторику, не высказывался о необходимости суровых наказаний в отношении тех, кто предпринял попытку присоединиться к ИГИЛ. Свообразной «зоной молчания» в интервью являлись спецслужбы. Результаты исследования указывают, что репрессивная антитеррористическая политика, затрагивающая широкий круг людей, может не пользоваться поддержкой молодых дагестанцев, участников различных молодежных сообществ, в интервью не проговаривалась ее необходимость. Напротив, значительная часть высказываний информантов соответствует идее «лучшей антитеррористической политикой является хорошая социальная политика», поскольку предполагает, что для противодействия терроризму следует в первую очередь развивать возможности образования и занятости.

К перспективам дальнейших исследований можно отнести изучение властного и медийного дискурсов «ухода в ИГИЛ», их сопоставление с повседневной риторикой как молодежи, так и родителей молодых людей и поиск ответов на вопросы

о том, каким образом и в каких контекстах воспроизводится властная риторика, как она переопределяется и какое дискурсивное сопротивление ей оказывается.

## Выражение признательности

Авторы выражают признательность сотрудникам Центра молодежных исследований НИУ «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург) — Елене Омельченко, Гюзель Сабировой, Святославу Полякову, Дмитрию Омельченко, Елене Онегиной, Юлии Андреевой, Эльвире Ариф, Альбине Гарифзяновой, Яне Крупец, Маргарите Кулевой, Наде Нартовой — за организацию проекта, проведение интервью, вопросы и предложения при обсуждении статьи, а также ведущему научному сотруднику Центра по изучению межэтнических отношений Института этнологии и антропологии РАН Дмитрию Громову за ценные замечания, которые были учтены в ходе работы над статьей.

## Литература

Ибарра П., Китсьюз Дж. (2007). Дискурс выдвижения утверждений-требований и просторечные ресурсы // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение. Казань: Изд-во Казанского ун-та. С. 55–114.

Интерфакс. (2015a). Около 2,5 тыс. россиян воюют на стороне ИГИЛ. URL: <http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=662733> (дата доступа: 12.01.2017).

Интерфакс. (2015b). Около 900 жителей Дагестана воюют в Сирии на стороне ИГИЛ — МВД. URL: <http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=681763&sec=1671> (дата доступа: 12.01.2017).

Мейлахс П. А. (2004). Дискурс прессы и пресс дискурса: конструирование проблемы наркотиков в петербургских СМИ // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 7. № 4. С. 135–151.

Полач Д. (2010). Социальные проблемы с конструкционистской точки зрения // Журнал исследований социальной политики. Т. 8. № 1. С. 7–12.

Путин В. (2017). Встреча с военнослужащими Северного флота. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/53940> (дата доступа: 24.04.2017).

Хилгарпнер С., Боск Ч. (2007). Рост и упадок социальных проблем: концепция публичных арен // Социальные проблемы: конструкционистское прочтение. Казань: Изд-во Казанского ун-та. С. 145–184.

Ярлыкапов А. А. (2016). «Исламское государство» и Северный Кавказ в ближневосточной перспективе: вызовы и уроки для России // Международная аналитика. Вып. 3. С. 112–121.

Ясавеев И. Г. (2016). Риторика контролируемого бедствия: специфика конструирования ФСКН проблемы потребления наркотиков // Журнал исследований социальной политики. Т. 14. № 1. С. 7–22.

*Banke I. G., Kalnæs T. K., Holm A. G.* (2015). Fighting an Evil Defined by the UK: A Critical Analysis of the Securitization of ISIL in the Discourse of the British Political Elite. PhD Thesis. Roskilde: Roskilde University.

*Becker H. S.* (1963). *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Glencoe: Free Press.

*Borell K.* (2008). *Terrorism and Everyday Life in Beirut 2005: Mental Reconstructions, Precautions and Normalization* // *Acta Sociologica*. Vol. 51. № 1. P. 55–70.

*Holstein J. A., Gubrium J. F.* (eds.). (2008). *Handbook of Constructionist Research*. New York: Guilford.

*Holstein J. A., Miller G.* (eds.). (2003). *Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems*. Hawthorne: Aldine de Gruyter.

*Hülsse R., Spencer A.* (2008). The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Constructivist Turn // *Security Dialogue*. Vol. 39. № 6. P. 571–592.

*Ibarra P. R., Adorjan M.* (2017). *Social Constructionism* // *Trevino J.* (ed.). *The Cambridge Handbook on Social Problems*. Cambridge: Cambridge University Press (in print).

*Jackson R.* (2005). *Writing the War on Terrorism: Language, Politics and Counter-Terrorism*. Manchester: Manchester University Press.

*Jenkins P.* (2003). *Images of Terror: What We Can and Can't Know about Terrorism*. Hawthorne: Aldine de Gruyter.

*Johansen R. A.* (2016). *Hezbollah's War on Terror: An Analysis of Discourse and Social Relations in the Lebanese Shia Community during the Syrian Conflict*. Master Thesis. Oslo: University of Oslo.

*Loseke D. R.* (2003). *Thinking About Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives*. New Brunswick: Transaction.

*MacDonald M., Hunter D.* (2013). Security, Population and Governmentality: UK Counter-Terrorism Discourse (2007–2011) // *Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines*. Vol. 7. № 1. P. 123–140.

*Maratea R.* (2008). The E-Rise and Fall of Social Problems: The Blogosphere as a Public Arena // *Social Problems*. Vol. 55. № 1. P. 139–159.

*Merton R. K., Nisbet R.* (eds.). (1971). *Contemporary Social Problems*. New York: Harcourt, Brace and World.

*Miller L.* (2003). Claims-Making from the Underside: Marginalization and Social Problems Analysis // *Holstein J., Miller G.* (eds.). *Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems*. New York: Aldine de Gruyter. P. 92–119.

*Siebert J., von Winterfeldt D., John R. S.* (2015). Identifying and Structuring the Objectives of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and Its Followers // *Decision Analysis*. Vol. 13. № 1. P. 26–50.

*Spector M., Kitsuse J. I.* (1977). *Constructing Social Problems*. Menlo Park: Cummings.

*Stump J. L., Dixit P.* (2012). Toward a Completely Constructivist Critical Terrorism Studies // *International Relations*. Vol. 26. № 2. P. 199–217.

## “Why Do They Go to ISIL?”: A Discourse Analysis of Young Dagestanians’ Narratives

*Nadezhda Vasilieva*

Research Fellow, Center for Youth Studies, National Research University Higher School of Economics Saint Petersburg

Address: Sedova str., 55/2, Saint Petersburg, Russian Federation 192148

E-mail: nvvasileva\_2@edu.hse.ru

*Alina Maiboroda*

Research Fellow, Center for Youth Studies, National Research University Higher School of Economics Saint Petersburg

Address: Sedova str., 55/2, Saint Petersburg, Russian Federation 192148

E-mail: avmaiboroda@gmail.com

*Iskender Yasaveev*

Senior Research Fellow, Center for Youth Studies, National Research University Higher School of Economics Saint Petersburg

Address: Sedova str., 55/2, Saint Petersburg, Russian Federation 192148

E-mail: yasaveyev@gmail.com

The article presents the results of the study into the rhetoric of youth in Dagestan about those who joined ISIL. The authors reconstruct the everyday discourse of the “outgo to ISIL” among the youth in the region, presented by Russian authorities and media as one of the leading regions in terms of the number of ISIL followers. The research focus is not on the public forms of the constructing of social problems, but on the everyday talk, in particular, of the claims made in the course of in-depth interviews. The study is based on the constructionist research program developed by Peter Ibarra and John Kitsuse, and focuses on the identification of the discursive ways of problematization used by Dagestan youth in relation to “outgo to ISIL” and “outgoing” young people. The young Dagestanians occasionally use the rhetoric of endangerment, including the metaphor of a “virus”. However, the dominant rhetoric is the rhetoric of unreason. The terms used in the description of those who “went to ISIL” correspond to this idiom’s vocabulary. The image of manipulation which is central for the rhetoric of unreason is detailed by constructing the image of “recruiter”. One of the identified features of the talk of the “outgo to ISIL” was episodic, that is, different from the previous and subsequent phrases and utterances of young people in accordance with the official discourse, supposedly in order to protect themselves from a possible suspicion of sympathy for ISIL. However, the rhetoric of unreason indicates a lack of social distance between young Dagestanians and those who have “went”. Informants express regret and sympathy in relation to their families, and link the “outgo to ISIL” with unemployment. The informants’ utterances suggest the need for the development of social policy, education, and employment opportunities in Dagestan, rather than the strengthening of repressive measures.

*Keywords:* constructionism, social problems, terrorism, ISIL, discourse, youth, youth policy

### References

Banke I. G., Kalnæs T. K., Holm A. G. (2015) *Fighting an Evil Defined by the UK: A Critical Analysis of the Securitization of ISIL in the Discourse of the British Political Elite* (PhD Thesis), Roskilde: Roskilde University.

Becker H. S. (1963) *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*, Glencoe: Free Press.

Borell K. (2008) Terrorism and Everyday Life in Beirut 2005: Mental Reconstructions, Precautions and Normalization. *Acta Sociologica*, vol. 51, no 1, pp. 55–70.

Hilgartner S., Bosk Ch. (2007) Rost i upadok social'nyh problem: koncepcija publichnyh aren [The Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model]. *Sotsial'nye problemy: konstruktionskoe prochtenie* [Social Problems: Constructionist Reading], Kazan: Kazan University Press, pp. 145–184.

Holstein J. A., Gubrium J. F. (eds.) (2008) *Handbook of Constructionist Research*, New York: Guilford.

Holstein J. A., Miller G. (eds.) (2003) *Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems*, Hawthorne: Aldine de Gruyter.

Hülsse R., Spencer A. (2008) The Metaphor of Terror: Terrorism Studies and the Constructivist Turn. *Security Dialogue*, vol. 39, no 6, pp. 571–592.

Ibarra P. R., Adorjan M. (2017) Social Constructionism. *The Cambridge Handbook on Social Problems* (ed. J. Trevino), Cambridge: Cambridge University Press (in print).

Ibarra P. R., Kitsuse J. I. (2007) Diskurs vydvizhenija utverzhdenij-trebovaniij i prostorechnye resursy [Claims-Making Discourse and Vernacular Resources]. *Sotsial'nye problemy: konstruktionskoe prochtenie* [Social Problems: Constructionist Reading], Kazan: Kazan University Press, pp. 55–114.

Interfax (2015) Okolo 2,5 tys. rossijan vojuyut na storone IGIL [About 2500 Russians Fight on the Side of ISIL]. Available at: <http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=662733> (accessed 12 January 2017).

Interfax (2015) Okolo 900 zhitelej Dagestana vojuyut v Sirii na storone IGIL — MVD [Ministry of Interior Affairs: About 900 Residents of Dagestan Fight in Syria on the Side of ISIL]. Available at: <http://www.interfax-russia.ru/South/news.asp?id=681763&sec=1671> (accessed 12 January 2017).

Jackson R. (2005) *Writing the War on Terrorism: Language, Politics and Counter-Terrorism*, Manchester: Manchester University Press.

Jenkins P. (2003) *Images of Terror: What We Can and Can't Know about Terrorism*, Hawthorne: Aldine de Gruyter.

Johansen R. A. (2016) *Hezbollah's War on Terror: An Analysis of Discourse and Social Relations in the Lebanese Shia Community during the Syrian Conflict* (Master Thesis), Oslo: University of Oslo.

Loseke D. R. (2003) *Thinking About Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives*, New Brunswick: Transaction.

MacDonald M., Hunter D. (2013) Security, Population and Governmentality: UK Counter-Terrorism Discourse (2007–2011). *Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines*, vol. 7, no 1, pp. 123–140.

Maratea R. (2008) The E-Rise and Fall of Social Problems: The Blogosphere as a Public Arena. *Social Problems*, vol. 55, no 1, pp. 139–159.

Merton R. K., Nisbet R. (eds.) (1971) *Contemporary Social Problems*, New York: Harcourt, Brace and World.

Meylakhs P. A. (2004) Diskurs pressy i press diskursa: konstruirovaniye problemy narkotikov v peterburgskikh SMI [The Discourse of the Press and the Press of the Discourse: Constructing of the Problem of Drugs in Saint-Petersburg Media]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 7, no 4, pp. 135–151.

Miller L. (2003) Claims-Making from the Underside: Marginalization and Social Problems Analysis. *Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems* (eds. J. Holstein, G. Miller), New York: Aldine de Gruyter, pp. 92–119.

Pawluch D. (2010) Social'nye problemy s konstruktionskoy tochki zrenija [Social Problems in Constructionist Terms]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 8, no 1, pp. 7–12.

Putin V. (2017) Vstrecha s voennosluzhashchimi Severnogo flota [Meeting with Northern Fleet Service Members]. Available at: <http://kremlin.ru/events/president/news/53940> (accessed 24 April 2017).

Siebert J., von Winterfeldt D., John R. S. (2015) Identifying and Structuring the Objectives of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL) and Its Followers. *Decision Analysis*, vol. 13, no 1, pp. 26–50.

Spector M., Kitsuse J. I. (1977) *Constructing Social Problems*, Menlo Park: Cummings.

Stump J. L., Dixit P. (2012) Toward a Completely Constructivist Critical Terrorism Studies. *International Relations*, vol. 26, no 2, pp. 199–217.

Yarlykapov A. (2016) "Islamskoe gosudarstvo" i Severnyj Kavkaz v blizhnevostochnoj perspektive: vyzovy i uroki dlja Rossii ["Islamic State" and the North Caucasus in the Middle East Perspective: Challenges to and Lessons for Russia]. *International Analytics*, no 3, pp. 112–121.

Yasaveev I. (2016) Ritorika kontroliruemogo bedstviya: spetsifika konstruirovaniya FSKN problemy potrebleniya narkotikov [The Rhetoric of Controlled Calamity: The Constructing of Drug Use Problem by Russian Federal Drug Control Service]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 14, no 1, pp. 7–22.

## Le flâneur comme lecteur de la ville contemporaine

*Anna Borisenkova*

Professionnelle de recherche, chargée de cours, Université de Saint-Boniface  
Maître de recherche, Centre for Fundamental Sociology,  
National Research University Higher School of Economics  
Address: avenue de la Cathédrale, 200, Winnipeg, Canada R2H 0H7  
E-mail: [ann.borisenkova@gmail.com](mailto:ann.borisenkova@gmail.com)

The topic of the lover of street-life, the observer, the urban stroller and the wanderer, first appeared in Edgar Allan Poe's *The Man of the Crowd*. However, it was Charles Baudelaire who introduced the concept of the flâneur to the humanities and later, owing to Walter Benjamin, the flâneur was established as a central figure of modernity. Recent studies in the humanities and the social sciences have renewed discussions about the flâneur and the urban phenomenon of the flânerie. The roles of the flâneur in a contemporary city are described with the help of the two criteria: the degree of involvement of the flâneur in the urban environment and her capacity to transform the meaning of urban space. According to these criteria, we can distinguish the flâneurs who are active researchers of the city and those who participate in political activities. On the other side, there are more passive observers of the city life and consumers who aimlessly walk in postmodern shopping malls. The aim of the article is to analyze the evolution of theories of the flânerie and introduce an alternative approach to the concept. The approach is based on the hermeneutics of Paul Ricoeur that views the flâneur as an active reader, actor-user of public space, and constructor of collective memory.

*Keywords* : flâneur, urban space, reader, memory, narrative, public space

Le concept du flâneur, comme « peintre de la vie », demeure aujourd’hui un sujet de grand intérêt en sciences humaines, en sciences sociales, ainsi que dans le domaine des études urbaines (Wrigley, 2016 ; Bankovskaya, 2014 ; Shin, 2014 ; Merzeau, 2014). On remarque que l’expérience de cet(te) ami(e) de la rue, marchant dans les villes sans raison apparente, observant tout ce qui se passe dans les quartiers et les grands boulevards, tout en portant une attention particulière aux rythmes de la vie urbaine, nous expose bien en quoi peut consister l’expérience esthétique de la ville. Ce promeneur solitaire, ce flâneur attentif, se révèle être, à sa manière, un artiste de la rue, capable d’exercer plusieurs talents, soit écrivain, soit architecte de son parcours. De même, Charles Baudelaire décrit-il le flâneur comme « le peintre de la vie moderne » (Baudelaire, 1885). Ici, Baudelaire compare le flâneur à un type d’individus, dans le monde des artistes, « qui vont au musée du Louvre, passent rapidement, et sans leur accorder un regard, devant une foule de tableaux très intéressants, puis sortent satisfaits, plus d’un se disant : « Je connais mon musée » (Baudelaire, 1885 : 52).

Dans cet article nous exposerons, dans un premier lieu, les diverses transformations subies par le concept de « flâneur », parmi les disciplines philosophique et sociologique. En second lieu, nous nous pencherons sur les caractéristiques qui peuvent être employées aujourd’hui pour décrire le flâneur postmoderne. Nous examinerons, en cela, les nombreux rôles du flâneur qui correspondent aux transformations changeantes du milieu urbain. Les rôles du flâneur, que l’on peut observer dans les villes, à partir du XIX siècle à nos jours, varient selon les deux critères suivants : la participation du flâneur dans le milieu urbain, ainsi que sa capacité de reconfigurer le sens de l'espace social. Il nous est possible d'abord de distinguer deux types de flâneurs urbains. Nous pouvons identifier un premier type, qui serait plutôt passif et qui ne contribue pas à la transformation du milieu social. Le flâneur correspond, dans ce cas-ci à, un simple observateur gardant une distance à l'endroit des enjeux sociaux et à un consommateur. À l'opposé de ce type, un autre existe, qui nous semblera plus actif, et que l'on peut reconnaître dans les rôles des chercheurs de la ville, ou des citoyens participant activement aux débats politiques municipaux. Alors que deux modèles du flâneur existent, comme nous venons de le voir, et qui sont entre eux diamétralement différents je propose, dans le présent article, de m'intéresser exclusivement au second modèle du flâneur, soit le rôle du lecteur de l'espace urbain. Pour conduire mon analyse, je vais appliquer l'approche herméneutique de Paul Ricœur qui est sous-estimée dans le cadre des études s'intéressant à la flânerie.

Il faut préciser que Ricœur n'a pas écrit beaucoup d'œuvres directement liées aux études urbaines. Ainsi, nous n'avons trouvé que deux travaux traitant de ce sujet : « Architecture et narrativité », ainsi que « Propos d'un flâneur » (Ricœur, 1998, 2000). Néanmoins, ces deux essais, à eux seuls, nous permettent d'envisager une conception théorique alternative aux théories du flâneur existant dans les travaux classiques et dans les travaux sociologiques contemporains. En effet, Ricœur se distingue des approches classiques en proposant une image du flâneur où celui-ci est un acteur-utilisateur actif de l'espace public ; le flâneur est en ce sens, un lecteur actif de la ville et un constructeur de la mémoire collective. Nous nous intéressons, dans les prochaines pages, aux fonctions du flâneur contemporain comme constructeur de mémoire, pour comprendre son rôle dans l'élaboration des espaces collectifs des villes d'aujourd'hui.

### **Le peintre de la vie moderne : les origines du concept**

Le concept du flâneur a été introduit en sciences humaines et sociales par Walter Benjamin qui, à son tour, fait référence à Charles Baudelaire. Ces deux auteurs reconnaissent toutefois ensemble s'inspirer de la tradition anglaise, et plus particulièrement de l'oeuvre d'Edgar Poe, où sont décrites, tel qu'on le retrouve dans la nouvelle « The Man of the Crowd » les rues de Londres (Coverley, 2010). Poe fut le premier à décrire la foule comme étant le symbole de l'apparition de la ville moderne et de l'anonymisation de son habitant. C'est ainsi grâce à la lecture de Poe, effectuée par Baudelaire, que le flâneur est devenu l'image de l'observateur de la ville européenne. Dès lors, ce ne fut plus Londres, mais plutôt Paris, cette grande ville de passages, qui devint l'habitat naturel du flâneur.

Baudelaire souligne que le flâneur aime « la beauté générale qui est exprimée par les poètes et les artistes classiques » (Baudelaire, 1885 : 52). Cependant, le flâneur n'est pas nécessairement un artiste. Baudelaire le décrit comme un homme singulier, un homme du monde et un homme des foules. Le point de départ du génie du flâneur est la curiosité. Le flâneur est curieux de tout ce qui se passe autour de lui, il est un observateur attentif. Pour cette curiosité, Baudelaire le nomme un « homme-enfant », un homme : « Possédant à chaque minute le génie de l'enfance, c'est-à-dire un génie pour lequel aucun aspect de la vie n'est émoussé » (Baudelaire, 1885 : 62). Baudelaire renonce à identifier le flâneur avec un autre type social de son époque : un dandy. Pour Baudelaire, le mot « dandy » implique une quintessence de caractère et une intelligence subtile, mais en même temps, le dandysme est caractérisé par une insensibilité et une attitude blasée. Par contre, le flâneur est amoureux de la vie, il expérimente une immense jouissance en regardant les mouvements de la ville et en écoutant ses rythmes. Une des caractéristiques très importantes du flâneur est ses relations ambivalentes avec la foule. Baudelaire écrit :

La foule est son domaine, comme l'air est celui de l'oiseau, comme l'eau celui du poisson. Sa passion et sa profession, c'est d'épouser la foule. Pour le parfait flâneur, pour l'observateur passionné, c'est une immense jouissance que d'élire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant dans le mouvement, dans le fugitif et l'infini. Etre hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi ; voir le monde, être au centre du monde et rester caché au monde, tels sont quelques-uns des moindres plaisirs de ces esprits indépendants, passionnés, impartiaux, que la langue ne peut que maladroitement définir. L'observateur est un prince qui jouit partout de son incognito. (Baudelaire, 1885 : 64)

Ainsi donc, le flâneur se mêle avec la foule tout en cherchant sa solitude en se détachant des autres. La référence de Baudelaire au sujet de la foule n'est pas accidentelle. En effet, la foule, selon lui, symbolise l'époque de la modernité. La ville de Paris décrite par Baudelaire [est] Paris du Second Empire, où Napoléon III régnait en tant qu'empereur, soit la période de 1852 à 1870, entre les Deuxième et Troisième Républiques. C'est dans cette période que Paris fut transformée en la capitale moderne. Cette nouvelle ville attira une libre circulation des marchandises et des personnes. À cette époque, le nombre de passagers d'omnibus augmenta jusqu'à 36 million en 1855 et 110 million en 1860 (Grotta, 2015 : 4). Afin d'expliquer ce nouveau phénomène d'urbanisation, plusieurs chercheurs se tournent vers une nouvelle intimité caractérisant la vie urbaine. Cette intimité est maintenant différente de l'intimité familiale ou des groupes d'affinités. Il s'agit de relations avec des étrangers : des personnes que nous ne connaissons pas.

Dans cet article, on utilise la notion du flâneur au masculin en suivant les travaux de Baudelaire et Benjamin. En même temps, on ne vise pas à indiquer un sexe masculin du flâneur, parce qu'on n'entend pas par là une personne physique, mais un regard spécifique. Par contre, Laura Elkin (2017) souligne l'importance du rôle de la flâneuse dans la ville. Elkin note que le terme « flâneuse » n'existe pas techniquement dans la langue française. Elle explique cette pensée, par le fait que les femmes de la ville répondent à l'image

véhiculée dans les médias. En effet, on dit que ces habitantes marchent dans les villes plus souvent avec un but, elles jouent toujours leurs rôles sociaux de mère, de femme au foyer, d'employée. Ainsi, la flâneuse est une femme qui résiste aux normes de la société, elle est un objet d'observation par les hommes, mais cependant considérée comme une actrice active (Elkin, 2017). Tout en étant d'accord avec Elkin, nous utiliserons toutefois le terme classique de « flâneur », sans lui reconnaître nécessairement un sexe défini, alors que le terme ne doit renvoyer ici qu'au type social de la personne adoptant la posture d'observateur de la vie urbaine.

Walter Benjamin, en introduisant le concept du flâneur, se tourne aussi vers la problématique des formes de vie nouvelle et des transformations économiques et techniques qui caractérisent le Paris hausmannien. En effet, ce sont ces lieux où les vieux quartiers sont remplacés par des grands boulevards, des cafés et des vitrines de grands magasins. Afin d'expliquer l'apparition du phénomène de la flânerie, Benjamin adresse la question d'une nouvelle architecture de son époque.

Il observe que l'impérialisme napoléonien favorise le capitalisme de la finance. Il note qu'à la Cité, berceau de la ville, « il n'y restait qu'une église, un hôpital, un bâtiment public et une caserne » (Benjamin, 1939 : 17). Une remarque très importante de Benjamin est que « le véritable but des travaux de Haussmann était d'assurer qu'il n'y ait pas de guerre civile. Il voulait rendre impossible à tout jamais la construction de barricades dans les rues de Paris » (Benjamin, 1939 : 17). Ainsi, la nouvelle architecture tend à bloquer la socialité dans la ville. Comme Benjamin le note « les habitants de la ville ne s'y sentent plus chez eux ; ils commencent à prendre conscience du caractère inhumain de la grande ville » (Benjamin, 1939 : 17).

À cet égard, Benjamin fait référence à Charles Fourier concernant le canon architectonique du phalanstère qui a caractérisé ce Paris moderne. Pour Fourier, les phalanstères et les ensembles de bâtiments à usage communautaire formeront le socle d'un nouvel État. Benjamin écrit : « Les passages qui se sont trouvés primitivement servir à des fins commerciales, deviennent chez Fourier des maisons d'habitation. Le phalanstère est une ville faite de passages... Dans cette "ville en passages" la construction de l'ingénieur affecte un caractère de fantasmagorie. La "ville en passages" est un songe qui flattera le regard des parisiens jusque bien avant dans la seconde moitié du siècle... La ville y adopte une structure qui fait d'elle avec ses magasins et ses appartements le décor idéal pour le flâneur » (Benjamin, 1939 : 8).

Notamment, le flâneur est né dans une ville de passages qui devient son intérieur. Toutefois, selon Benjamin, le flâneur ne se sent pas chez lui dans la ville. Il n'est pas attaché à un lieu ou à un groupe social. Georg Simmel dans « *The Metropolis and Mental Life* » adresse les conditions de la grande ville qui causent aliénation dans la consommation et la superficialité des contacts humains (Simmel, 2002). Chez Simmel, le citadin obsédé par des stimulations spécifiquement urbaines ne perçoit plus les différences qualitatives. Il devient blasé. L'analyse post-simmelienne de l'interaction de l'individu avec l'environnement urbain se retrouve dans la sociologie de l'École de Chicago. Par exemple, Robert Park remarque la rationalité et l'aliénation de l'habitant dans des grandes villes

américaines telles que Chicago. C'est ici, dans l'environnement très dynamique et changeant qu'on trouve les origines du « sujet névrose urbain » qui est indifférent face à tous ce qui se passe dans la ville (Park, 1915).

Par contre, selon Benjamin, en marchant dans les rues, le flâneur observe attentivement des événements urbains. En décrivant le portrait du flâneur, Benjamin souligne deux traits principaux. Premièrement, le flâneur est un *explorateur de la ville sociale*. Benjamin écrit : « Dans la personne du flâneur l'intelligence se familiarise avec le marché » (Benjamin, 1939 : 14). Pourtant, selon Benjamin, le flâneur n'a pas de position économique, ni de position politique dans la société moderne. Il est simplement choqué par le milieu urbain et la technologie qui changent très rapidement. C'est pour cette raison que, note Benjamin, « le flâneur cherche un refuge dans la foule. La foule est le voile à travers lequel la ville familière se meut pour le flâneur en fantasmagorie. Cette fantasmagorie, où elle apparaît tantôt comme un paysage, tantôt comme une chambre, semble avoir inspiré par la suite le décor des grands magasins, qui mettent ainsi la flânerie même au service de leur chiffre d'affaires » (Benjamin, 1939 : 14). Il est important de préciser qu'en parlant du flâneur, Benjamin n'entend pas par là une personne physique, mais un regard spécifique ; c'est un regard ou une perspective d'observateur prise par des habitants de la ville moderne.

Deuxièmement, pour Benjamin, le regard du flâneur est un *regard mélancolique et allégorique*. Benjamin explique : « Le regard que le génie allégorique plonge dans la ville trahit bien plutôt le sentiment d'une profonde aliénation. C'est là le regard d'un flâneur, dont le genre de vie dissimule derrière un mirage bienfaisant la détresse des habitants futurs de nos métropoles » (Benjamin, 1939 : 14).

Ainsi, Benjamin décrit le flâneur comme une figure conciliant trois activités : *la marche, l'observation et l'interprétation* (Nuvolati, 2009). Toutefois, le sexe du flâneur, son apparence, son éducation et son statut social n'ont pas d'importance pour nous. Le concept du flâneur peut être défini, en premier lieu, comme une optique spécifique d'une personne marchant dans la ville. Cette optique est un produit de la société moderne caractérisée par l'aliénation et la solitude. Le flâneur représente un outil privilégié pour explorer la vie urbaine dans la métropole moderne et les rapports sociaux qui deviennent plus aliénants. Mais la question qu'on veut poser : Ce flâneur est-il capable de changer le milieu urbain et de reconfigurer le sens de l'espace ?

Chez Baudelaire et Benjamin, on ne trouve pas de telles caractéristiques. Le flâneur comme acteur politique apparaît dans les travaux d'André Breton et Louis Aragon : *Nadja* et *Paris Peasant* (Coverley, 2010). Ici l'observateur urbain résiste à la destruction et à la reconstruction de Paris par le projet d'Haussmann ainsi il participe aux mouvements politiques. Paris est décrite comme un lieu de la réclamation politique et les observateurs urbains qui occupent les rues et les places publiques deviennent des figures majeures de la résistance. La question sur la capacité du flâneur, de changer le milieu urbain, est posée d'une façon plus articulée dans les discussions autour de la ville contemporaine et postmoderne.

## La figure du Flâner dans la ville contemporaine

Comme on a déjà remarqué, le concept du flâneur se déclare comme un résultat de la modernisation de la société, son aliénation et la transformation de relations sociales. Les questions que je voudrais poser sont les suivantes : Comment le concept du flâneur pourrait-il être perçu aujourd’hui ? Quel sens obtient-il dans la société postmoderne ?

Les sciences humaines et sociales du XXe siècle ont été marquées par l’intérêt envers les interactions de l’individu avec l'espace urbain qui l’entoure. Les questions telles que la dimension spatiale des relations humaines et la coexistence des gens dans l'espace limité deviennent les sujets de l'analyse profonde des penseurs sociaux. Par exemple, Michel Foucault propose l'emploi du concept d'hétérotopie, afin de décrire l'espace urbain contemporain : « Un espace qui est tout chargé de qualité, un espace, qui est peut-être aussi hanté de fantasme ; l'espace de notre perception première, celui de nos rêveries, celui de nos passions détiennent en eux-mêmes des qualités qui sont comme intrinsèques ; c'est un espace léger, éthétré, transparent, ou bien c'est un espace obscur, rocaillieux, encombré... » (Foucault, 1967 : 46) Selon Foucault, cette hétérotopie est caractérisée par les relations humaines diverses qui définissent des emplacements irréductibles les uns aux autres et absolument non superposables (Foucault, 1967 : 46). Comme le note la sociologue Svetlana Bankovskaya, la créativité de l'espace hétérotopique crée des conditions pour un mouvement quotidien sans but, c'est à dire, la flânerie (Bankovskaya, 2014).

La créativité de la ville et l’importance des pratiques quotidiennes sont soulignées aussi par Michel de Certeau qui compare la vue sur la ville de New York depuis le 110<sup>e</sup> étage du World Trade Center et la vue de l’intérieur de la vie (De Certeau, 1990). Il décrit la première perspective ainsi : « La masse gigantesque s’immobilise sous les yeux. Elle se mue en texturologie où coïncident les extrêmes de l’ambition et de la dégradation, les oppositions brutales de races et de styles, les contrastes entre les buildings créés hier, mués déjà en poubelles et les irruptions urbaines du jour qui barrent l'espace » (De Certeau, 1990 : 139). On ne peut pas comprendre la ville réelle en la regardant « en haut » parce qu'on ne peut voir « qu'un artefact optique » ou qu'un simulacre « théorique » (De Certeau, 1990 : 141). Par contre, c'est « en bas » que vivent les pratiquants ordinaires de la ville. Selon De Certeau, la forme élémentaire de cette expérience urbaine, « ils sont des marcheurs », *Wandersmänner*, dont le corps obéit aux pleins et aux déliés d'un « texte » urbain qu'ils écrivent sans pouvoir le lire (De Certeau, 1990 : 141). La flânerie ici est le moyen fondamental d'habiter la ville, de lire son texte et de comprendre son histoire.

La marche, comme la pratique fondamentale de la vie urbaine, est analysée dans les travaux des situationnistes, tels que Guy Debord, Iain Sinclair, Peter Ackroyd, Stewart Home et Will Self, qui dans les années 1950, parlent de la psychogéographie, soit une approche qui se focalise sur les effets de l'environnement géographique sur des comportements et des émotions des individus (Coverley 2010 : 3). Les situationnistes imaginent un contexte dans lequel un individu, qui n'est pas nécessairement un chercheur, laisse de côté ses motifs, ses raisons, ses explications habituelles, et ce, pendant une certaine période de temps. L'individu subordonne alors son mouvement à ceux de la ville et c'est alors

que l'environnement direct en vient à le dominer en le poussant à arrêter et à changer sa direction. Afin d'expliquer ce mouvement, Debord introduit le concept de « la dérive » qui se définit comme « une technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Le concept de dérive est indissolublement lié à la reconnaissance d'effets de nature psychogéographique, et à l'affirmation d'un comportement ludique-constructif, ce qui l'oppose en tous points aux notions classiques de voyage et de promenade » (Debord, 2017).

De récents travaux sociologiques ont accordé aussi un regain d'intérêt au flâneur. Pour Anthony Giddens, par exemple, le flâneur est le symbole de l'anonymat de l'espace urbain postmoderne (Giddens, 1991). Maintenant, le flâneur reflète l'incertitude de la société contemporaine, la mobilité des relations épisodiques et fragmentaires. À cet égard, il faut que nous examinions de nouveau le milieu du flâneur et son rôle. Tout d'abord, je voudrais considérer les deux caractéristiques de la ville postmoderne. La première est la consommation qui enveloppe les espaces publiques et historiques de la ville aujourd'hui. La deuxième caractéristique est une mobilité ainsi qu'une vitesse accélérée de la vie urbaine. Un autre sociologue, Zygmund Bauman, par contre, souligne le rôle du flâneur comme consommateur et joueur voyageant.

### Le Flaneur-consommateur

Selon Zygmund Bauman, la ville de passage, où le flâneur de Baudelaire et Benjamin est né, n'existe plus. Les passages aujourd'hui ne sont qu'attractions touristiques ; ils restent conservés par l'industrie du patrimoine dans leur authenticité (Bauman, 1994 : 148). Les passages ne comprennent que la nostalgie du passé. Pour cette raison, Bauman compare la métropole avec un désert. Il dit : « La rue est un espace mort... Il est seulement un moyen de passage » (Bauman, 1994 : 148) Dans les passages et grands boulevards il n'y a pas d'action. Les citadins marchent, traversent les rues sans arrêter, mais par rapport aux flâneurs, on remarque que les nouveaux citadins ne regardent pas autour d'eux. Pourtant, Bauman nous indique un nouveau milieu de la flânerie contemporaine — des centres commerciaux ou les « malls ». Par conséquent, les centres commerciaux, que Bauman nomme « Disneylands », deviennent l'intérieur des flâneurs. Le sociologue écrit : « Le flâneur d'hier se promenait sans but ; mais aujourd'hui, se trouve un but dans cette inutilité, il s'agit d'une fonction, d'une utilité, d'un design, qui n'ont rien du tout avoir avec la propre décision du flâneur » (Bauman, 1994 : 150). En suivant les souvenirs de Dave Hill, Bauman utilise l'exemple de *West Edmonton Mall* à l'Alberta :

*West Edmonton Mall* n'est pas tellement un centre commercial, il est plutôt comme un fantasme de consommation entièrement intégré qui réussit à être stupidement mienneuse. Ce qui est d'ailleurs tout à fait ridicule et absolument hors de ce monde. Ce bâtiment est l'étude d'une science exacte et ce panorama intérieur est rien sinon l'état-of-the-art... Le plaisir est de faire partie d'un univers alternatif tranquillement fou où la mince ligne qui sépare le shopping du divertissement à la fin du XXe siècle devient presque totalement effacé. (Bauman, 1994 : 152)

Ainsi, Bauman introduit un nouveau rôle du flâneur — *un joueur* et plus précisément, — *joueur voyageant*. Le flâneur toujours fait partie des jeux de « Disneylands », donc il devient *un acheteur* (acteur passif) préoccupé par la consommation. Le flâneur est cependant exproprié de son ancien rôle : le mystère n'existe plus, l'imagination et la réalité se croisent et la fantaisie du poète n'est plus nécessaire.

Un autre regard, très intéressant sociologiquement, sur la flânerie dans la ville contemporaine, est proposé par Jieun Shin dans son oeuvre « Le flâneur postmoderne ». Shin propose de voir le phénomène de la flânerie comme une forme de résistance silencieuse aux normes sociales existantes dans notre société. Premièrement, comme nous indique Shin, « vouloir être inutile est à l'opposé des valeurs établies dans la société moderne, dans l'actuel système économique marchand » (Shin, 2014 : 21). Le flâneur, dans la classique définition de Baudelaire, marche dans la ville sans but, de cette manière il s'oppose au rythme intense et des exigences de la ville contemporaine. Deuxièmement, dans l'époque de la mobilité automobile et post-automobile, la marche sans but est déjà une forme de résistance silencieuse. Comme Shin le dit, « L'homme contemporain a largement perdu sa naïveté pour suivre et s'adapter dans cette société de contrôle, tandis que le flâneur adopte un rythme lent, et gaspille le temps précieux comme l'or » (Shin, 2014 : 23).

Enfin, Shin renverse l'idée sur la solitude du flâneur. Selon Shin, le flâneur postmoderne ne cherche pas le refuge dans la foule mais, cependant, il s'oppose à toutes les personnes qui se cachent aujourd'hui dans leur bureau, leur maison, leur voiture et le métro. Le flâneur est libéré de la phobie du contact humain. De plus, en marchant dans la rue, l'individu solitaire peut trouver un contact avec les autres plus facilement. Shin ajoute que de cette manière le flâneur constitue un réseau avec les autres solitaires dans la rue, dans la foule ; le Flash Mob en est l'exemple.

Il est intéressant de comparer le concept classique du flâneur de Baudelaire et de Benjamin, qui le décrivent chacun comme un chercheur et un peintre de la vie moderne, tandis que le flâneur postmoderne de Bauman est moins actif, il perd sa curiosité et n'est plus capable de changer son milieu urbain. Ses promenades dans les centres commerciaux signifient son époque de consommation et de globalisation. Toutefois, mon article vise à proposer une vision alternative du rôle du flâneur dans la ville contemporaine. Je vise à analyser le flâneur postmoderne autrement ; je propose de le considérer comme un acteur actif qui contribue à la vie urbaine.

### **Acteur-utilisateur actif de l'espace public**

Une conception intéressante, relativement au phénomène de la flânerie, est proposée par les urbanistes Ash Amin et Nigel Trift. Selon ces auteurs, dans les villes en changement rapide, le flâneur, en tant qu'intellectuel vagabond, possède à la fois la sensibilité poétique et la science nécessaire pour lire la ville, brosser le portrait des multiples usages de ses rues et dépasser les stéréotypes. Le flâneur est capable de lire et interpréter la transitivité de la ville postmoderne. Selon Amin et Trift, la transitivité marque l'ouverture spatiale et temporelle de la ville, qui permet à la ville de se modeler et de se remodeler (Amin, Trift,

2002 : 184). Pour les urbanistes, le flâneur n'est pas un naïf et un impressionnable dilettante, dont parle, par exemple, Zygmunt Bauman. Par contre, ce nouveau type du flâneur dispose d'une sensibilité et d'un langage lui servant à parler et à analyser des villes. Selon Amin et Trift, le meilleur exemple de la flânerie est le souvenir de Walter Benjamin lui-même, lorsqu'il examinait la transitivité de Naples, Moscou et Marseille.

Ainsi donc, la figure du flâneur est un lecteur attentif et intellectuel de la ville. Ses lectures ne sont pas romantiques, mais, elles nous permettent plutôt de comprendre et d'expliquer les multiples usages de la ville. Sur le plan pratique, cela nous dit que les connaissances du flâneur peuvent nous aider à comprendre la transitivité de la vie urbaine concernant sa mobilité, ainsi que les changements quotidiens de sa population, sans oublier, les problèmes sociaux tels que l'inégalité, la pauvreté et le racisme. Bien évidemment, on ne conçoit pas la flânerie comme le seul moyen de la connaissance urbaine. Afin de répondre aux diverses questions sur la vie de la métropole postmoderne, on a besoin d'autres moyens comme des photos, des cartes routières, des guides historiques. Toutefois, les lectures sur le flâneur nous donnent une opportunité unique de connaître la ville à travers une expérience personnalisée et vivante. Comment pourrait-on décrire la procédure de lecture de la ville par le flâneur ? Qu'est-ce qu'il apporte dans la vie urbaine par sa lecture ?

Une conception alternative du rôle du flâneur dans la ville contemporaine, peut aussi être tirée d'un cadre théorique plus solide, nous référant ici à l'approche herméneutique de Paul Ricœur. Tout d'abord, Ricœur propose d'examiner l'espace urbain comme un texte, en montrant un parallélisme étroit entre l'architecture et la narrativité. Dans son analyse, il suggère l'idée du parallélisme entre *le construire* et *le raconter*. Le philosophe inscrit cette analyse au sein des trois rubriques successivement développées dans son œuvre *Temps et Récit*, et qu'il avait placées sous le titre très ancien de *mimesis* : un stade de « préfiguration », celui où le récit avec tout son sens est engagé dans la vie quotidienne, dans la conversation, au stade d'un récit raconté qui était la « configuration » du sens du récit. Ricœur termine sa succession des rubriques par un stade de lecture et de relecture, la « réfiguration » (Ricœur, 1983).

Ricœur suit un mouvement parallèle du côté du construire : d'un stade de la « préfiguration » qui est lié à l'acte d'habiter à un deuxième stade de l'acte de construire, pour réserver finalement un troisième stade de « refiguration », la relecture de nos villes et de nos lieux d'habitation. Le parallélisme entre narrativité et architecture est expliqué par la remarque de Ricœur qu'au stade de la préfiguration « toute histoire de vie se déroule dans un espace de vie. L'inscription de l'action dans le cours des choses consiste à marquer l'espace d'événements qui affectent la disposition spatiale des choses » (Ricœur, 1998 : 5). Au stade de la configuration, l'œuvre architecturale comme le texte est « un message polyphonique offert à une lecture à la fois englobante et analytique. Il en est de l'œuvre architecturale comme de la mise-en-intrigue, qui... ne rassemble pas seulement des événements, mais des points de vue, à titre de causes, de motifs et de hasards » (Ricœur, 1998 : 9).

En outre, Ricoeur nous indique que la façon de lier l'espace et le temps de la ville est différente de la façon de lier l'espace et le temps de la maison. Pour lire la ville, le philosophe propose de considérer un cercle qui est aussi analogique du cercle du mimesis : construction, destruction et reconstruction. Ricoeur note que « ce rythme est particulièrement approprié à certaines villes d'Europe affectées par les catastrophes du XX siècle, comme Rome, Berlin et Paris » (Ricoeur, 2000 : 11).

De même, Ricoeur nous rappelle la différence entre la configuration d'un bâtiment singulier (la maison, l'église, la banque) et la configuration de la ville : « La configuration d'une ville n'est jamais maîtrisée par un seul homme, fût-il génial et tout puissant. Un projet urbain, — dit le philosophe, — même de grande envergure, s'insère dans une longue histoire qui échappe au contrôle d'une génération » (Ricoeur, 2000 : 12). Par rapport à l'architecture, le projet urbain n'est jamais achevé. La ville peut être détruite partiellement ou complètement et sa reconstruction peut se faire à l'identique ou à nouveaux plans. Ricoeur donne des exemples de Rome et de Berlin. Rome est l'idéal type de la construction continue et de l'accumulation des styles. À l'opposé de Rome, Berlin est une ville jamais construite, mais une ville détruite.

Un argument ricœurien consiste à dire qu'avec la troisième composante de la mimesis, soit *la lecture*, le rapprochement entre le récit et l'espace urbain se fait plus étroit. Comme le lecteur vient au texte avec ses attentes propres, celles-ci peuvent être confrontées aux propositions de sens du texte dans la lecture. Le lecteur de l'espace urbain lit et relit les lieux de vie à partir de sa manière d'habiter. Ici Ricoeur parle de l'habiter comme une réponse ou comme une riposte au construire. Le philosophe note : « L'habiter réceptif et actif implique une relecture attentive de l'environnement urbain, un réapprentissage continu de la juxtaposition des styles, et donc aussi des histoires de vie dont les monuments et tous les édifices portent la trace » (Ricoeur, 2000 : 15).

Ainsi, chez Ricoeur, *le flâneur occupe le rôle de lecteur de l'espace urbain suivant les stades de la mimesis, en marchant dans la ville et en observant tout ce qui se passe autour de lui/elle*.

Il faut souligner que pour Ricoeur, l'action de lire peut devenir une action active : « Et la même palette de réponse que tout à l'heure peut être parcourue, de la réception passive, subie, indifférente, à la réception hostile courroucée — même celle de la Tour Eiffel, à son époque ! » (Ricoeur, 2000 : 15). Par rapport aux flâneurs de Benjamin, Bauman et Giddens, chez Ricoeur, le lecteur de l'espace urbain peut contribuer au développement des espaces de vie en réagissant aux processus de construction et en donnant sa critique afin d'améliorer l'ambiance urbaine.

Par ailleurs, le lecteur de l'espace urbain fait un travail de mémoire. Ricoeur nous indique que les lieux de vie sont les « lieux de mémoire » comprenant des « mémoires des époques différentes » (Ricoeur, 2000 : 15). Pour Ricoeur, le lecteur actif ne fait pas seulement le travail de la mémoire-répétition, pour laquelle rien ne vaut que le bien connu et le nouveau et odieux, mais il/elle manifeste sa capacité de faire le travail de *la mémoire-reconstruction*. Le principe de ce type de mémoire s'est basé sur l'idée que « le nouveau doit être accueilli avec curiosité et le souci de réorganiser l'ancien en vue de faire place à ce

nouveau » (Ricœur, 2000 : 15). Ainsi, le flâneur, qui lit la ville, fait plus que la procédure de l'observation. Il *défamiliarise* le familier et familiarise le non-familier dans la ville, donc, en certaine manière, le flâneur contribue aussi aux changements de l'espace urbain.

Ici, *le flâneur d'espace se fait flâneur d'histoire*, il découvre l'étonnante tolérance des styles architecturaux. Il est important de remarquer que, selon Ricœur, « *la fonction du flâneur curieux est de reconstituer le staccato de l'histoire d'une ville donnée en rythme binaire de la construction et la reconstructio* » (Ricœur, 2000 : 12).

En même temps, Ricœur souligne un autre rôle important du flâneur contemporain, c'est *apprendre l'espace urbain*. Afin de décrire cette fonction, le philosophe donne un exemple du Musée Guggenheim à Bilbao : « À l'inverse des autres monuments commémoratifs, le musée planté en pleine ville se veut anticipateur d'une histoire à faire... Le monument ne parle qu'à un entendement abstrait, structuré par l'ordinateur ; il ne réveille aucun schématisation connu, façonné par l'histoire des styles et inscrit dans l'imaginaire collectif : vous ne retrouvez ni la colonne, ni l'architrave, ni le cube, ni la sphère, ni la pyramide, ni les courbes canoniques... C'est cela l'entendement nu, sans schématisation, sans imaginaire, sans structures imagées par une mémoi.re commune » (Ricœur, 2000 : 13). La fonction du flâneur ici n'est pas de reconnaître, c'est d'apprendre. Le flâneur apprend des espaces inédits et, par ce moyen, ouvre une autre porte de la mémoire, celle de l'universel. Ainsi, le rôle du flâneur, dans ce contexte, n'est pas de reconstruire ou de reconnaître, mais d'apprendre les nouveaux symboles de la globalisation et les significations abstraites du présent et de l'avenir.

Il est important de souligner que la place du flâneur dans la pensée de Ricœur est différente de la position attribuée à l'étranger par Simmel, de même du flâneur de Benjamin. Pour Ricœur, le flâneur n'est ni aliéné ni indifférent. Au contraire, le flâneur observe et étudie l'environnement urbain et contribue aussi activement à des pratiques de commémoration et de deuil. Ricœur note que le flâneur fait non seulement interpréter l'histoire de la ville à travers la construction, la destruction et la reconstruction, mais aussi imagine la mémoire de l'habitant et tente de comprendre la ville du point de vue de ceux qui y vivent. D'ailleurs, Ricœur assigne un rôle important au flâneur : c'est à visiter les lieux qui ne sont pas fréquemment visités par les touristes, tels que les cimetières et ses sépultures qui témoignent des vivants de jadis. En disant cela, Ricœur nous indique un autre rôle du flâneur postmoderne : de « *réinscrire les cimetières dans l'enceinte imaginaire de la ville, afin qu'elle inclue les vivants et les morts dans sa grande mémoire de pierre, de bois, de béton, de verre, de tous les métaux futuristes* » (Ricœur, 2000 : 13).

Ainsi, le flâneur *réinterprète la mémoire du passé et reconfigure la mémoire de l'espace habité*. En raison de cet observateur réflexif, le passé, le présent et l'avenir deviennent unis en une seule image de la ville. Désormais, le flâneur ricœurien démontre une autre qualité qui le rend unique. Le flâneur prend la responsabilité de la mémoire de la ville. Sa fonction est de découvrir les réponses aux questions du passé et de créer une image de la ville de l'avenir.

Est-ce que nous pouvons appliquer l'approche ricœurienne aux autres formes de la flânerie ?

Aujourd’hui nous parlons beaucoup de la cyber-flânerie, parce que plutôt que de sortir et de marcher, plusieurs personnes préfèrent passer leur temps sur Internet en surfant d’un site à l’autre. D’un côté, les réseaux sociaux permettent le « partage d’expériences flâneuses, par la diffusion de textes, de photos, de vidéos d’œuvres graphiques, de captages sonores qui rassemblent des flâneurs de tous les coins du monde autour de l’idée d’une meilleure conscience de son milieu » (Rioux Soucy, 2016). Ainsi, nous pouvons considérer l'espace virtuel comme le texte rempli des symboles et des sens qu'on peut lire, traduire et interpréter. De l'autre côté, comme le sociologue David Le Breton observe, « la flânerie, dans sa royauté, implique le corps, la sensorialité, les émotions, la curiosité, elle est une posture créative devant le monde qui laisse des traces de mémoire, suscite des rencontres. L'errance sur le Web, elle, dissout la présence dans une sorte de transe qui ne laisse aucune trace de mémoire, fait-il valoir » (Rioux Soucy, 2016). Le modèle du flâneur ricœurien pourrait être appliqué, mais en même temps devrait être adapté aux réalités d'aujourd'hui. Comment peut-on « habiter » l'espace virtuel ? Est-ce qu'on peut parler de la mémoire de l'espace sans aucunes traces physiques ? Ces questions sont des défis retrouvés dans des études contemporaines sur la flânerie.

## Conclusion

La question que je voudrais poser finalement, est la suivante : Comment l'approche herméneutique transforme-t-elle l'idée de la flânerie aujourd'hui ? Il faut aussi dire que par rapport aux fondateurs de la théorie de la flânerie, Ricoeur en analysant le rôle du flâneur, ne se focalise pas sur une époque particulière. Pour le philosophe, la figure du flâneur n'est pas un produit de son époque historique, soit moderne ou postmoderne. Par contre, le flâneur ricœurien se trouve hors du temps historique. Il est vrai que Ricoeur décrit le flâneur comme un type social qui fait le travail de la mémoire, mais ce travail peut avoir lieu dans toutes les périodes de l'histoire. Ricoeur ne relie pas le flâneur aux normes sociales : le flâneur ricœurien ne soutient ni les normes existantes dans la société de certaine période ni celles qui résiste à eux. En même temps, Ricoeur souligne la contribution constructive de la flânerie à l'environnement urbain et, par rapport à autres théoriciens, il nous offre une vision positive du flâneur urbain.

En suivant Ricoeur, nous pouvons décrire le portrait du flâneur comme une personne très curieuse, attentive, ayant l'esprit avide de savoir. Toutefois, nous pouvons trouver les mêmes caractéristiques personnelles dans les descriptions de Baudelaire et Benjamin. En outre, dans ce portrait de qualité, Ricoeur ajoute les traits qu'on ne trouve pas dans les travaux sociologiques contemporains et qui créent une image unique, c'est-à-dire la responsabilité du travail de la mémoire, la capacité de répondre aux défis de l'environnement urbain. Il faut aussi ajouter que le flâneur ricœurien possède une figure sociable, à l'inverse de l'individu blasé de Simmel et du flâneur classique qui cherche un refuge dans la foule. Le flâneur, dans l'approche herméneutique ricœurienne, est proche de l'habitant de la ville, et tente de comprendre celle-ci du point de vue de ceux qui y vivent. Nous

pouvons donc conclure que le flâneur ricœurien est un utilisateur de l'espace urbain de l'avenir : curieux, actif et responsable.

## Bibliographie

Ash A., Trift N. (2002) *Cities: Reimagining the Urban*, Cambridge: Polity Press.

Bankovskaya S. (2014) A Conception of, and Experiments with, "Heterotopia" as a Condition of Stable, Unpurposive, Everyday Movement. Basic Research Program Working Papers, Moscow: HSE.

Baudelaire Ch. (1885) *Le Peintre de la vie moderne*, Paris: Calmann Lévy.

Bauman Z. (1994) Desert Spectacular. *The Flâneur* (ed. K. Tester), London: Routledge, pp. 138–157.

Benjamin W. (1939) Paris, capitale du XIXe siècle, 1939. Available at: [http://classiques.uqac.ca/classiques/benjamin\\_walter/paris\\_capitale\\_19e\\_siecle/paris\\_capitale.html](http://classiques.uqac.ca/classiques/benjamin_walter/paris_capitale_19e_siecle/paris_capitale.html) (accessed 10 June 2017).

De Certeau M. (1990) *L'invention du quotidien. Arts de faire*, Paris: Gallimard.

Debord G. (2017) Théorie de la dérive: la Revue des Ressources. Available at: <http://www.larevuedesressources.org/theorie-de-la-derive,038.html> (accessed 10 June 2017).

Elkin L. (2016) *Flâneuse: Women Walk the City in Paris*, New York: Farrar, Straus and Giroux.

Flâneuse : Women Walk the City in Paris, New York, Tokyo, Venice, Farrar, Straus & Giroux.

Foucault M. (1984) Des espaces autres. *Architecture, Mouvement, Continuité*, no 5, pp. 46–49.

Giddens A. (1991) *The Consequences of Modernity*, Cambridge: Polity Press.

Grotta M. (2015) *Baudelaire's Media Aesthetics: The Gaze of the Flâneur and 19th Century Media*, New York: Bloomsbury.

Merzeau L. (2014) Le flâneur impatient. *Médium, Rythmes*, no 41, pp. 20–29.

Nuvolati G. (2009) La flâneur dans l'espace urbain. *Géographie et cultures*, no 70, pp. 7–20.

Park R. E. (1915) The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban Environment. *American Journal of Sociology*, vol. 20, no 5, pp. 577–612.

Ricoeur P. (1998) Architecture et narrativité. *Urbanisme*, no 303, pp. 44–51.

Ricoeur P. (2000) Propos d'un flâneur. *Diagonal*, no 141, pp. 11–13.

Rioux Soucy L.-M. (2016) De la flânerie comme acte de résistance. Le Devoir. Available at: <http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/464778/un-hiver-avec-felix-leclerc-de-la-flanerie-comme-acte-de-resistance> (accessed 10 June 2017).

Shin J. (2014) *Le flâneur postmoderne: entre solitude et être-ensemble*, Paris: CNRS.

Simmel G. (2002) The Metropolis and Mental Life. *The Blackwell City Reader* (eds. G. Bridge, S. Watson), Oxford : Wiley-Blackwell, pp. 11–19.

Wrigley R. (2016) Flâneur. *Oxford Art Journal*, vol. 39, no 2, pp. 267–284.

## Фланер — читатель современного города

*Анна Борисенкова*

Исследователь, лектор Университета Сен-Бонифаса, Виннипег

Старший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: avenue de la Cathédrale, 200, Winnipeg, Canada R2H 0H7

E-mail: ann.borisenkova@gmail.com

Тема любителя уличной жизни, наблюдателя, городского бродяги и скитальца впервые появляется в работе Эдгара Аллана По «Человек толпы». Однако термин «фланер» закрепился в гуманитарных науках благодаря Шарлю Бодлеру, и впоследствии, — эссе Вальтера Беньямина, к которому фланер фигурирует в качестве центральной фигуры современной жизни. Недавние исследования в социальных и гуманитарных науках в значительной степени пересматривают роль фланера и городского явления фланирования. К описанию фланера в основном применимы два критерия: степень вовлеченности фланера в жизнь города и его способность трансформировать смысловую структуру городского пространства. Согласно данным критериям можно выделить фланеров-исследователей и фланеров, участвующих в политической жизни города. С другой стороны, мы можем отметить типы фланера, которые пассивно наблюдают происходящее или являются потребителями, бесцельно прогуливающимся по современным торговым центрам. Цель статьи — проанализировать эволюцию понятия фланирования и рассмотреть альтернативный подход к данному понятию. Теоретической основой альтернативного подхода является герменевтическая программа Поля Рикера, представляющая фланера в качестве активного читателя и актора-пользователя публичных мест города, а также создателя коллективной памяти.

*Ключевые слова:* фланер, городское пространство, публичное пространство, читатель, память, нарратив

# Механизмы крушения государств (макросоциологический подход)

Дмитрий Шевский

Магистр философии, Дальневосточный федеральный университет  
Адрес: ул. Суханова, д. 8, г. Владивосток, Российская Федерация 690950  
E-mail: [shevskiyd@mail.ru](mailto:shevskiyd@mail.ru)

В статье рассматриваются возможности применения макросоциологии к анализу закономерностей распада государств. Показано, что конечной точкой распада является полная делегитимация власти и режима в целом. Один из важнейших факторов этого процесса — наличие сильного конфликта элит, который блокирует возможности их коалиции для подавления массового недовольства. Конфликт элит, вызываемый нехваткой как символических, так и материальных ресурсов, имеет своим истоком два различных обстоятельства. Первое было определено как геополитическое напряжение государства, когда оно вынуждено тратить значительную часть ресурсов на охрану и поддержание порядка на своих территориях и для захвата новых, второй — как «деградация» и перепроизводство элит. Для наглядной демонстрации этих процессов рассмотрены конкретные исторические примеры (Новое царство Древнего Египта и Кхмерская империя). Ответ на причины расхождения в динамике автор видит в различиях в политической организации, когда элиты либо жестко контролируются государством, либо способны ему противостоять. Предполагаемые ответы на причины разных типов институционального положения элиты связаны с уровнем бюрократической развитости государства и доминирующим типом вооружения.

*Ключевые слова:* историческая макросоциология, коллапс государств, делегитимация власти, конфликт элит, геополитические теории, теория элит

Одной из важнейших тем современной социогуманитарной науки, исследующей макропроцессы, является динамика исторического процесса. Как происходит образование государств, империй, цивилизаций, что способствует их росту, что ослабляет их, но, пожалуй, один из самых главных вопросов: почему и как распадаются такие крупные образования?

После распада СССР многих интересует: не постигнет ли Россию судьба предшественника? Можно ли было сохранить Союз? Насколько его распад был закономерен? Актуальности теме распада государств придают события, происходящие с 2011 года на Ближнем Востоке и с 2014 года в Украине.

Постараемся очертить закономерности процесса распада государств: на каких уровнях социальной действительности он проходит? Как эти уровни связаны между собой? Возможно ли выделить какие-либо закономерности в этом процессе? Наиболее релевантной для наших целей является историческая макросоцио-

логия<sup>1</sup> — «междисциплинарная область исследований, в которой посредством объективных методов социальных наук изучаются механизмы и закономерности крупных и долговременных исторических процессов и явлений, таких как происхождение, динамика, трансформации, взаимодействие, гибель обществ, государств, мировых систем и цивилизаций» (Розов, 2010: 151).

Предпосылкам крушения макрообщностей посвящено большое количество работ (см., напр.: Даймонд, 2008; Нефедов, 2008б; Турчин, 2010; Kennedy, 1987; Skocpol, 1979; Tainter, 1988 и многие другие), однако не менее значим вопрос о путях крушения, его непосредственных причинах. Предварительно необходимо определить признаки, характеризующие распад (коллапс) государства. Исследователи выделяют следующие характеристики: уменьшение уровня стратификации и социальной дифференциации, снижение экономической и профессиональной специализации, уменьшение централизованного контроля и организации, снижение уровня редистрибуции (распределения) ресурсов, потеря территории и др. (Tainter, 1988: 4). К этому списку необходимо добавить отказ от предшествующей идеологии (Schwartz, 2006: 6). Идеология является последним бастионом на пути крушения государства — пока существующие порядки признаются легитимными, система не сможет быть изменена значительно<sup>2</sup>.

Соответственно, последним процессом, пиком крушения государства является делегитимация существующих порядков и идеологии в том числе. Но что такое легитимность власти и ее делегитимация? Известный американский макросоциолог Г. Дерлугьян дает такое определение: легитимность — это «способность править без эксцессов, в пределах даже низкой нормы потребления и есть наиболее элементарная форма легитимности власти», правда, замечает, что это ближе к аграрным государствам (Дерлугьян, 2010: 82). Французский ученый, специалист в области сравнительной политологии, М. Доган, разбирая сущность легитимности, отмечает: «Нельзя утверждать, что режим является легитимным только потому, что он открыто не оспаривается», ведь выражение недовольства можно жестко подавить силой, так что определение Дерлугьяна нельзя применить даже для аграрных государств. Доган дает следующее определение: «Если граждане убеждены, что существующие в стране институты являются оправданными, то они рассматриваются как легитимные» (Доган, 1994: 147). Н. С. Розов пишет, что «смысл легитимности — это признание законности власти, признание ее права управлять на подведомственной территории...» (Розов, 2014: 91). Определение схоже с определением Догана, однако, как нам кажется, признание права управления не есть признание права использовать все рычаги власти: иногда делегитимация и усугубляется невозможностью использования всех законных средств при неоспоримости самого права руководства.

1. Более подробно об истории и целях этой науки см.: Лахман, 2014; Розов, 2009; Smith, 1991 и др.

2. Даже при захвате государства иностранными интервентами идеология будет давать обоснование для борьбы с ними.

Идеология представляет собой в этом контексте тот самый дискурс «лояльности и признания законности власти». Для более полной картины значимости идеологии как таковой (не все это признают, см. напр.: Goldstone, 1991: 27) стоит остановиться на ее роли в государственности более подробно.

Традиционно, выделяя разнообразные формы политий<sup>3</sup>, используют два измерения социальной действительности (особенно это выражено у современных марксистов): экономика и политика. Под экономикой мы здесь понимаем традиционное разграничение на типы собственности частная/государственная<sup>4</sup>, а под политикой: централизованная/децентрализованная формы управления. В итоге можно составить такую таблицу:

Политика \ Экономика	Доминирование государственных форм собственности	Доминирование частных форм собственности
Централизованная политическая система	Азиатский способ производства	Европейские империи Нового времени
Децентрализованная политическая система	Вассальная система (напр., Западное Чжоу)	Конфедерация (напр., современная Швейцария)

Под вассалитетом мы предлагаем понимать только политический аспект управления государством, а под феодализмом весь социально-экономико-политический комплекс, который был в Европе в Средние века.

Но если мы рассмотрим политически децентрализованные политии, сохранив бинарное экономическое измерение, и добавим идеологическое измерение по признаку наличия/отсутствия общепризнанной идеологии, то получим примерно следующее:

Общеприз-нанная идеология \ Экономика	Доминирование государственных форм собственности	Доминирование частных форм собственности
Присутствует	Мегаобщина (напр., Бенин)	Мультиполития (напр., Йеменская Саба)
Отсутствует	Феодализм	—

Некоторые пояснения: «мегаобщина» — термин, введенный отечественным политантропологом Д. М. Бондаренко для характеристики африканского государства<sup>5</sup> Бенина в Новое время (Бондаренко, 2002: 125). Дело в том, что центральная

3. В современной науке активно используется термин «полития» для обозначения любых форм политической организации, включая и государство (см, например: Крадин и др., 2000; Бочаров, 2007; Гринин и др., 2006 и многие другие).

4. Для удобства мы обозначили все виды нечастных форм собственности как государственные, но в них входят и другие формы, как, например, храмовое хозяйство в Шумерской Месопотамии.

5. Или его аналога — об этом ведутся споры.

власть не проникла глубоко в социальные отношения, и общины, по сути, оставались локальными, доминировали родовые связи, но стабильность сохранялась благодаря сакрализации верховного правителя правящей династии Оба (Бондаренко, 2002, 2005).

«Мультиполития» — термин, который предложил также отечественный историк А. В. Коротаев в процессе изучения политических образований Йемена до захвата его арабами. Мультиполития — это «высокоинтегрированная система, состоящая из разнородных политий» (Коротаев, 2002: 221). Нетипичность динамики Сабы (именно эта полития была в центре внимания Коротаева) заключалась в том, что государственность там распалась на вождества, которые позже превратились и вовсе в племена. Однако такое упрощение политической структуры сопровождалось ростом экономических и культурных связей, включая даже относительно развитую законодательную систему, благодаря наличию единой идеологии (Коротаев, 1993, 2002).

Опираясь на вышесказанное, нам кажется очевидным, что роль идеологии должна учитываться отдельно, что, как упоминалось, не всегда происходит в современной социогуманитарной науке.

Исходя из понимания, что идеология является легитимизирующим дискурсом власти, остановимся на понятии делегитимации.

Итак, делегитимация — «это... условие, которое преобладает, когда деятели политической элиты разделены и нерешительны, тогда как массы переходят от отчужденного недовольства и нелояльности к оппозиционным действиям» (Коллинз, 2000: 241).

Делегитимацию вызывает множество факторов, главным из которых является относительная депривация — «обманутые ожидания» (Davis, 1962). Но самих по себе обманутых ожиданий недостаточно для крушения режима (и/или государства), здесь не менее важен фактор единства/раскола элит. Если элиты смогут объединиться против недовольных или бунтующие не найдут поддержки среди хотя бы части элиты, то восстание будет подавлено, как это было показано известным историческим социологом Р. Лахманом на примере восстания Чомпи в 1378 году, в Венгрии в 1956 году и в Чехословакии в 1968 году (Lachmann, 1997). Очевидно, что для успешности крушения существующей системы необходим раскол и поляризация элит (Голдстоун, 2006: 72; Goldsone, 1991: 10, 383).

Еще один важный аспект значимости конфликта элит заключается в том, что в некоторых типах политических режимов, построенных на авторитете и единстве верховной власти, конфликт элит может сам стать фактором делегитимации, что обнаруживается с древнейших письменно зафиксированных времен — начиная с Древнего Египта и заканчивая СССР.

Так, например, в Египте на исходе Древнего царства (2686–2160 гг. до н. э.) в результате распада страны на две части, появления «параллельных» фараонов, которые до того были предельно сакрализованы, произошли изменения в религиозных верованиях. Прекратилось связывание загробной жизни с благодатью

фараона, его статус в последующей жизни был даже приравнен к обычным людям (Ладынин, 2005: 73-74) и более того, ритуальные формулы на гробницах, которые ранее были доступны только представителям царского рода, стали общедоступными (Moreno García, 2015: 86). Конечно, связывать это только с расколом правящего аппарата не совсем корректно, учитывая экосоциальный кризис (Прусаков, 2000: 91)<sup>6</sup>, однако, возможно, такой сильной делегитимации не было бы, если бы существовал один фараон, контролирующий все земли Египта.

Раскол среди правящей элиты закономерно вызывает недоверие среди подчиненных, а потому в случае угрозы извне население может не поддержать того или иного правителя или поддержать в недостаточной мере. Именно этим «первый историограф» Н. М. Карамзин объясняет причины поражения русских княжеств от нашествия монголов<sup>7</sup> (Карамзин, 1991: 19).

Папство в Средние века при всем своем моральном несовершенстве демонстрировало колоссальный авторитет — достаточно вспомнить Генриха IV, могущественного германского императора, который несколько дней стоял перед крепостью в Каноссе, выпрашивая прощение у папы Григория Великого, или Иоанна Безземельного, короля Англии, который по воле папы лишился своих земель. Однако позже, еще до начала реформации, авторитет папства резко упал. Одной из причин этого стало появление на престоле сразу трех пап (1409 г.). Даже марксистские историки, описывая «...времена церковного раскола, столь подорвавшего убеждение средневекового человека в святости наместника Бога на земле», вынуждены отметить, что «деморализованное папство, восстанавливая против себя даже фанатически верующих и представителей низшего духовенства, расшатывало самые основы общества» (Лозинский, 1986: 197, 188).

И в XX веке можно обнаружить те же тенденции, например в СССР: после XX съезда КПСС, на котором был обозначен курс на отказ от предшествующей политики, можно утверждать, что был четко выражен конфликт элит. Грузия сразу отказалась принимать эти решения, что вылилось в достаточно массовые и кровавые столкновения с властью, сопровождавшиеся даже требованиями выхода из состава СССР (Козлов, 2009: гл. 7). Менее заметно проходили расколы в 1957 году и отстранение Н. С. Хрущева в 1964 году, но все это явно не способствовало возрастанию авторитета власти. Пиком делегитимации власти в СССР в результате внутриэлитного конфликта стал Съезд народных депутатов в 1989 году, когда четко обозначились как минимум три враждующих лагеря: консервативный (большой частью представляющий силовые структуры), либеральный (возглавляемый

6. Здесь следует сделать одно важное замечание: не все историки признают, что в распаде Древнего царства и последующем переходном периоде виноват экологический кризис, так как не находятся подтверждения значительного ухудшения жизни простого населения, более того, археология свидетельствует о росте богатства, что косвенно подтверждает роль делегитимации власти в процессе коллапса (см. подробнее: Moreno García, 2015).

7. Но сводить причины поражения только к расколу элит тоже не совсем корректно, так как монгольское оружие, в частности лук, значительно превосходил все известные к тому времени аналоги и в силу сложности обращения с ним не мог быть с легкостью заимствован (Нефедов, 2008а).

разнородными элементами) и «центровой» (горбачевская команда), и советский режим прекратил свое существование. Применительно к СССР нужно отметить, что однопартийные режимы, существующие изначально с возникновением государства (Мексика или СССР), могут оказаться не в состоянии пережить соперничество элит (Харитонова, 2012: 13).

Возникает закономерный вопрос: а почему происходит конфликт элит? Ответ очевиден: острая борьба за властные позиции в политической иерархии вызвана стремлением к получению дополнительных ресурсов, как символических, так и материальных. Но в истории есть продолжительнейшие периоды, когда существенных внутриэлитных столкновений не происходит или они носят некритический для стабильности характер. Потому необходимо понять, что вызывает недостаточность ресурсов в определенные периоды. Причин нехватки ресурсов можно выделить две — экзогенную и эндогенную.

Под экзогенной причиной мы понимаем геополитическое перенапряжение, которое уже достаточно проанализировано в мировой макросоциологии (см., напр.: Kennedy, 1987; Skocpol, 1979). Но наиболее комплексно, на наш взгляд, последствия геополитического перенапряжения сформулированы в теории Р. Коллинза (Коллинз, 2000).

На основе веберовского понятия государства (монополия на легальное насилие) выводятся геополитические принципы, суть которых сводится к следующему: государство, находясь на территориальной либо социальной окраине, имеет меньше фронтов для ведения войн, что способствует возможности сосредоточения ресурсов для более эффективного захвата определенных территорий. Но в связи с расширением государство теряет свое окраинное преимущество и вынуждено тратить все большее количество ресурсов на охрану своих территорий. Более того, расширение может пройти ту точку, когда ресурсы от вновь присоединенных земель становятся недостаточными для поддержания существующего порядка. Усугубить положение может даже незначительная война, которая окончательно перенапрягает силы государства — «чрезмерное расширение ведет к ресурсному напряжению и государственной дезинтеграции» (Коллинз, 2000: 241). Сам механизм распада Коллинз видит в потере легитимности власти, что, как считает автор, является дополнением к другим моделям распада государств (Там же: 249). Распад государства в этой теории представляет собой петлю обратной связи: геополитическое перенапряжение вызывает нехватку ресурсов, в результате чего начинается элитный конфликт за эти ресурсы, который в итоге усугубляет фискальный кризис. Происходит «мобилизация оппозиционных классовых сил снизу» в поддержку одной из элит, и государство прекращает свое существование в прежнем виде<sup>8</sup>.

В современной науке имеется и критика данной теории (Евангелиста, 2002; Турчин, 2010: гл. 2). М. Евангелиста оспаривает тезис Коллинза о том, что пагуб-

8. Многое в этой теории взято из «структурно-демографической теории», о которой см. ниже.

ную роль сыграло чрезмерное перевооружение, так как было атомное оружие и, соответственно, реальной угрозы не существовало. Трудно согласиться с Евангелистой, и вряд ли СССР смог бы использовать столь серьезное оружие. В целом убедительна его критика о том, что не только одна война играет главную роль в подрыве авторитета власти, однако Коллинз акцентирует внимание не на войне, а на более комплексной легитимации.

П. Турчин, основываясь на математическом моделировании, утверждает, что при отказе от нерентабельных территорий экономическое благополучие возвращается, однако он не учитывает фактор потери престижа государством — легитимацию (Турчин, 2010: 58–59), которую он разбирает отдельно; к тому же совсем не разбирается важный в теории Коллинза конфликт элит и т. д. Итак, первая, экзогенная, причина нехватки ресурсов, приводящая к конфликту элит, — это геополитическое перенапряжение.

Эндогенная причина — это «деградация» правящего класса — процесс, который описан множеством исследователей. В современной макросоциологии эту причину ставят во главу угла «структурно-демографическая теория». Построенная на идеях классического мальтизианства о перенаселенности как главном факторе нестабильности, данная теория анализирует корреляцию между фактором перенаселенности и действиями элит. Рост населения ведет к малоземелью в сельской местности, а миграции в города для разрешения этой проблемы — к падению реальной заработной платы из-за роста незанятой рабочей силы. Соответственно, вызванная инфляция уменьшает поступления в казну, вынуждая государства увеличивать налогообложение, что вызывает недовольство как среди простого населения, так и среди элиты (Goldstone, 1991: 24–25, 459). Более того, численность элиты также увеличивается, дополнительно усиливая нагрузку на государственный бюджет из-за необходимости ее содержать. Это вызывает раскол и борьбу среди элит за убывающие ресурсы и одновременно усиливает эксплуатацию низших слоев населения (Goldstone, 1991: 459–460)<sup>9</sup>.

9. Дж. Голдстоун разработал эту теорию на примере «общего кризиса середины семнадцатого века», когда не было политической стабильности практически во всех регионах Афроевразии. Но есть и другая трактовка, предложенная Д. Паркером, которая ставит во главу угла климатические изменения (Parker, 2013). Не отрицая значимость фактора перенаселенности (Parker, 2013: 23, 56), он указывает, что низкие урожаи (из-за засух, наводнений или резких похолоданий, особенно усилившимися в середине XVII века) оставляли крестьян не только без продуктов питания, но и без основного источника доходов (продажа излишков урожая), что уже, в свою очередь, приводило к последствиям, ранее описанными Голдстоуном. Для нас дебаты о причинах как кризиса XVII века, так и целом политических кризисов не являются главенствующими в данном исследовании, однако отметим, что даже если признать «антинометическую» точку зрения Паркера, то это не отменяет и не замещает два упомянутых фактора причин нехватки ресурсов для элиты. Геополитическое перенапряжение и перепроизводство элит являются тем фундаментом, на который уже накладываются климатические изменения (ведь в отсутствие выделенных нами факторов элита имеет возможность найти выход в преодолении экологического кризиса, как это произошло в ранее упомянутой Сабе). Более того, кризис в различных регионах имел разные последствия (опять же не в отсутствие элит), что явно говорит о том, что климатические изменения не носили фатальный характер в крушении государственности (Parker, 2013: 590).

Многие представители данного подхода отмечают, что это напоминает «концепт асабии Ибн Хальдуна», который сейчас достаточно популярен как в отечественной науке (см. напр.: Коротаев, 2006; Нефедов, 2008б; Розов, 2006; Цирель, 2008), так и в зарубежной (см., напр.: Турчин, 2010; Anderson, Chase-Dunn, 2005).

Что же понимается под понятием «асабия»? Разные исследователи трактуют данное понятие по-разному, поэтому стоит остановиться на этом подробнее. Н. С. Розов склоняется к определению, что это есть «воинственная сплоченность» (Розов, 2006), Коротаев говорит о «коллективной солидарности» (Коротаев, 2006). Турчин дал иной перевод — «способность к коллективному действию» (Турчин, 2010: 89). Остановимся на среднем — коллективная солидарность. Есть несколько переводов важной с социологической точки зрения частей работы Хальдуна, из них наиболее доступны два: А. В. Смирнова (Ибн Халдун, 2008) и А. В. Коротаева (Коротаев, 2006). Учитывая, что перевод Коротаева сознательно адаптирован под современную социологическую науку, в изложении теории будем пользоваться им.

Суть теории заключается в том, что некая группа захватывает власть, у этой группы высок уровень асабии (коллективной солидарности), что и обеспечивает успех. Однако позже лидер этой группы, который ранее воспринимался как первый среди равных, решает удалить своих соратников и набирает людей из низов, которые непосредственно в захвате власти не участвовали. На примере СССР это выразилось в «ленинском призывае в партию» в 1924 году (набор новой элиты) и последующих широкомасштабных репрессиях (устранение старой элиты).

После смерти лидера элиты не желает терять свои места и быть строго подконтрольной, а потому начинает подчинять себе в той или иной степени новых лидеров. Это наглядно видно, когда Хрущев попытался реорганизовать политическую систему и ввести ротацию кадров, чем вызвал сильное недовольство партийной элиты (Даниэлс, 2011: 338; Пихоя, 2000: 211). Элиты, испытав блага новой и спокойной жизни, начинают стремиться к роскоши, что также разлагает асабию.

Правительство, чувствуя свою слабость, начинает монументальное строительство и внешнеполитические акции с целью повышения своего авторитета. Если продолжить на примере СССР, то к этому периоду можно отнести правление Л. И. Брежнева — это попытки повернуть вспять сибирские реки, строительство БАМа, Олимпиада-80, переговоры об ОСВ и проч.

Все описанные явления происходят в течение нескольких поколений. Затем, в силу потери авторитета и контроля над налогами, правительство теряет реальную политическую власть, давая простор для борьбы элит.

Таким образом, концепт асабии Ибн Хальдуна оказывается тесно переплетен с перепроизводством элит в «структурно-демографической теории», где одним из ключевых аспектов государственного кризиса является недовольство существующими государственными институтами как со стороны элиты, так и со стороны населения (Goldstone, 1991: 8). Важно отметить, что иногда ресурсная недостаточность у элиты может быть вызвана не столько перенаселенностью и, соответственно, нехваткой пропитания для самого населения, сколько значительно опе-

режающим ростом самой элиты. Так, например, в средневековом Египте несущая способность земли была не на пределе, населения было не так много, урожаи были обильными, но происходила частая смена власти, сопровождавшаяся массовыми восстаниями. Как показал отечественный востоковед Коротаев, это было связано со все возрастающим количеством элиты и все большим стремлением к роскоши, что и привело к чрезмерному изъятию ресурсов у населения (Коротаев, 2006).

Итак, для анализа причин нехватки ресурсов мы имеем два подхода — акцентирующий внимание на внешних причинах (геополитика) и на внутренних («деградация» и перепроизводство элит). Описанные две динамики не противоречат друг другу, а даже наоборот, взаимодополняемы. Но все же в некоторых государствах превалирует либо один фактор, либо другой. Рассмотрим конкретные примеры. Исходя из того, что современные случаи крушения государственности большинству известны, мы считаем возможным для подтверждения взять исторические примеры. Рассмотрим кратко историю Кхмерской империи и Египта Нового царства.

Ангкорская (Кхмерская) империя (802–1431 гг.), испытавшая сильное влияние Индии (Sedov, 1978; Stark, 2006), представляла собой достаточно противоречивое политическое образование. Несмотря на то что государство занималось постройкой ирригационных сооружений, унифицированных образовательных и медицинских учреждений в большом количестве (Ребрекова, 2002: 210; Дажан, 2009: 24), королевская власть оставалась ограниченной племенными и традиционными нормами (Sedov, 1978: 115). Низкий уровень социально-экономической системы, который состоял из деревень, представлял собой не соседские, а родовые общины (Там же: 118). Однако Ангкорская империя представляла собой одну из крупнейших политий в истории (Turchin et al., 2006: 223), а потому остановимся на анализе ее политического развития подробнее.

Государственность здесь возникла, как и в большинстве случаев, посредством завоевательных войн (Ребрекова, 2002: 209; Sedov, 1978: 113). Однако возможно, ключевую роль в переносе столицы предшествующего периода (Фунань), с чего и начинается история Ангкорской империи, стоит связывать не столько с войнами, сколько с изменением торговых путей (Stark, 2006: 152). Торговля была настолько развита, что происходил обмен элитарными товарами даже с Римом (Там же: 151). Становление новой государственности при Джайявармане II в конце VII — начале VIII в. сопровождалось развитием идеологии сакрализации правителя (девараджа), что и сделало военное объединение страны возможным (Sedov, 1978: 113).

Традиционно концом Камбоджадеши считается захват тайскими отрядами столицы в 1431 году. Таким образом, Ангкор просуществовал в виде империи достаточно продолжительное время (с 802 г. — при короновании Джайявармана II до 1431 г.). Однако империя пала, и нам необходимо понять причины этого.

Рассмотрим факторы, приведшие к крушению государственности в средневековой Камбодже. Начнем с социально-политической структуры. Как уже отмечалось ранее, она была достаточно рыхлой, и исследователи определяют ее как «госу-

дарственно-патриархальную» (Тюрин, 1982: 206) или «патрон-клиентскую» (Stark, 2006: 162). Как отмечает Л. А. Седов, помимо царского клана, в империи большую политическую и религиозную роль играли так называемые варны — объединенные кланы, в которых доминировал наследственный принцип. Им выдавались земли, освобожденные от налогообложения (Sedov, 1978: 118). Это, естественно, не способствовало укреплению централизованной власти. Более того, происходило слияние крупноземельных собственников с управленческим аппаратом (Ребрекова, 2002: 209). Не меньшую роль в ослаблении государственности играл неопределенный принцип наследования власти. Так, например, переход трона от отца к сыну в 32 случаях происходил всего 9 раз (Sedov, 1978: 116). Также свою роль играла и религиозная борьба между индуистами и буддистами (Stark, 2006: 159). Все эти факты заставляют думать, что здесь имеется тенденция к политической динамике, описанной Ибн Хальдуном. Но мы считаем, что эта тенденция лишь ослабляла империю, в то время как ключевую роль сыграло геополитическое перенапряжение.

В 1177 году Ангкор был завоеван Чампой, однако вскоре Ангкор сумел отбить врага. В начале XIII века начались освободительные войны на периферии империи, а завоеванная Чампа добилась независимости, и все это сопровождалось нападением тайцев (Дажан, 2009: 25). В конце XIII века практически все военные силы были оттянуты на восток для борьбы с монголами, чем опять же не упустили возможности воспользоваться периферийные некхмерские районы (Ребрекова, 2002: 577). Такое геополитическое напряжение сопровождалось религиозной борьбой (возможно, как раз за контроль над ресурсами). Еще нужно учесть, что, скорее всего, не было эффективных механизмов изъятия ресурсов из регионов (Stark, 2006: 160), в том числе и для снабжения армии, это и позволило тайцам добить ослабевшую империю.

В рассмотренной нами империи наблюдались тенденции как к хальдуновской динамике, так и к геополитическому перенапряжению. Однако учитывая экспансионистскую политику кхмерской государственности, иногда достаточно успешную<sup>10</sup>, мы склонны считать, что государственность пала по экзогенной причине, а именно от перманентной военной борьбы на всех фронтах.

Второй пример — Египет Нового царства, традиционно датируемый 1550–1069 гг. до н. э.

Стоит обратить внимание на военно-технологический фактор, который в значительной мере определяет положение элит в государстве. После нашествия гиксосов Древний Египет перенял форму вооружения захватчиков, в частности колесницы (Головина, 2011: 119; Нефедов, 2008б: 131). Дороговизна такого мощного по тем временам вооружения означала, что позволить себе колесницы могла только знать. Однако доминирование элиты в политической системе не реализовалось

10. Как это было в случае с захватом грозного врага — Чампы.

благодаря тому, что только центральное правительство обеспечивало войско лошадьми (которые в сельском хозяйстве не использовались).

Учитывая, что при централизации старая знать будет оказывать сильное сопротивление, особенно храмово-жреческий комплекс, который сильно сросся с родовой знатью, фараоны Нового царства решили рекруттировать войска из крестьян. Тем самым назревал конфликт между новой и старой служилой знатью, который достиг своего апогея в период правления Аменхотепа IV. Он решил ослабить старое жречество посредством введения нового религиозного культа, однако эта попытка не увенчалась должным успехом. После смерти Тутанхамона, одного из наследников Аменхотепа IV, трон занял жрец Хоренхеб, что явно свидетельствует о неисчезнувшей силе жречества. Но важно отметить, что Хоренхеб ввел назначение на жреческие должности, а также издал ряд указов с призывами к знати о прекращении грабежей крестьян (Нефедов, 2008б: 133). Этот факт свидетельствует о том, как нам представляется, что знати не хватало ресурсов для поддержания своего образа жизни. Это в том числе характерно и для новой знати, которая значительно увеличилась, а следовательно, обеднела (Там же: 138).

Агрессивная внешняя политика Древнего Египта Нового царства была направлена как на север — азиатские территории, так и на южные регионы — Эфиопию и Нубию. Однако если эфиопские территории были прямо подчинены Египту, то азиатские — опосредованно, через «вассалитет» (Головина, 2011: 123; Виноградов, 2002: 376). Такая широкая экспансия была вызвана как необходимостью обеспечения ресурсами новой служилой знати (Виноградов, 2002: 373), так и, что нам кажется в меньшей степени вероятным, потребностью в редких ресурсах и металлах<sup>11</sup> (Mann, 1987: 112). Таким образом, мы можем предполагать, что здесь одним из ключевых факторов внешней агрессии могла являться служилая знать, что очень подходит к эволюционной схеме, описанной Ибн Хальдуном.

В период еще достаточно крепкой центральной власти, почти за 100 лет до крушения, фараоновская власть вынуждена была тратить значительную часть доходов на храмы. К концу рассматриваемого периода по этой причине храмово-жреческие владения занимали треть всей обрабатываемой земли (Головина, 2011: 130).

Египет Нового царства, испытывая сильное геополитическое давление, все же смог отбиться от нескольких волн варварских вторжений (Головина, 2011: 129–130). Однако ситуацию усугубляло выделение новой служилой знати наследственных и почти необлагаемых налогами земель (Нефедов, 2008б: 134), что, естественно, в соответствии с концептом об угасании асабии не способствовало укреплению войска. Возможно, по этой причине, а также по причине уступки давлению победившего жречества рекрутская армия уступила наемной (Нефедов, 2008б: 137).

Таким образом, движущим фактором государственной дезинтеграции стало не геополитическое перенапряжение (ведь смогли же отбить вторжения народов моря), а внутреннее разложение элиты, когда прежний коллективный дух

11. Значимость именно этой причины выглядит меньшей потому, что Египет и до этого периода не имел достаточно ресурсов, однако не проводил столь масштабную и агрессивную внешнюю политику.

(асабия), укрепившийся в борьбе с захватчиками гиксосами, потерял свою силу. Кроме того, наблюдалось перепроизводство элит, что неизбежно приводило к переоценке эффективности существующей власти. Итогом этого процесса стал полный распад единой системы, появление двух центров власти, в результате чего государственность пала под напором интервентов с более сильным уровнем коллективной солидарности.

Итак, несмотря на двойственную динамику в истории отдельных государств, связанную с геополитикой и «деградацией» и перепроизводством элит, все же в некоторых государствах превалирует либо один фактор, либо другой. Так, например, помимо рассмотренных случаев, на наш взгляд, динамика империи Ахеменидов, Делийского султаната, Турции (до конца XIX в.) лучше описывается концептом асабии Ибн Хальдуна, а, например, для объяснения динамики империи Сасанидов, Селевкидов, Австро-Венгрии, Югославии больше подходит геополитическая трактовка.

Чем обусловлено расхождение в динамике? На наш взгляд, ключевую роль в этом процессе играет положение элит относительно аппарата управления, а именно — является ли элита частью государства или же посредником между основной массой населения и центральным аппаратом. Соотношение определяется через подчиненность средств материального производства либо государству, которое обеспечивает доступ к ним элите, например, при азиатском способе производства, либо же элита пользуется ими без оглядки на вышестоящие управленческие институты, как это происходит при феодализме или вассалитете (Вебер, 1990: 649). При подчиненности элиты государству, на наш взгляд, больше будет сказываться геополитическое перенапряжение как причина нехватки ресурсов, во втором же случае элиты, не имея жесткого контроля над собой, будут стремиться к накоплению ресурсов и увеличению своей численности, что больше соответствует динамике, описанной Ибн Хальдуном.

Но при анализе такой системы возникают трудности — например, в мусульманском мире воинам выдавали в держание земельные наделы (икты), которые формально оставались частью государственных владений, однако фактически становились наследственными. Вообще, это особая тема так называемого «азиатского способа производства» по К. Марксу, которая в современной литературе с некоторыми изменениями стала называться либо «политарным способом производства» (Семенов, 2014), либо «феноменом власти-собственности» (Васильев, 1982). Данный способ производства характеризуется множеством признаков, главный из которых — получение средств (владений) только за счет государственной службы<sup>12</sup>. Особенность такой системы заключается в том, что она часто перерастает в вассальные отношения. Насколько это актуально для современной ситуации? Как, например, трактовать неопатrimonиальные режимы в этом контексте? Неопатrimonиализм характеризуется патрон-клиентскими отношениями, а го-

12. Более подробно о мировой историографии «азиатского способа производства» см.: McFarlane et al., 2005.

сударственные должности воспринимаются в качестве источника личного обогащения (Фисун, 2007: 14–15). На наш взгляд, это и есть трансформация режима в вассальный тип, когда формальное признание верховенства государства находится в оппозиции к реальной практике. Данную ситуацию мы сейчас наблюдаем в Украине, когда чиновниче-бюрократический аппарат использует свои полномочия для личного обогащения и создает патронажные сети. Современная Россия имеет схожие тенденции, но уже в значительно меньшем масштабе, чем, скажем, в 1990-е. Самое сложное — это найти способ подчинения политической элиты, когда ее доходы будут связаны со службой государству, а не когда властные позиции будут рассматриваться как личные владения.

Как было упомянуто ранее, государство, создавая режим с полным подчинением средств производства (как это было, например, в СССР и странах Варшавского договора) с целью контроля элит рискует в силу многих обстоятельств потерять реальный контроль над ней. Так, например, в странах Советского блока элита после ослабления контроля захотела приватизировать собственность, тем самым обособив экономику от политики (Шестаков, 2010: 26; Lachmann, 1997: 76–77). Желание получения частной собственности элитой превратилось в одну из линий, вдоль которой позже прошел элитный раскол.

Данная тема заслуживает более подробного изучения, с разработкой классификации режимов по доминирующим формам собственности, определением уровня стабильности и многое другое. Учитывая, как много уже сделано на этом пути (см., напр.: Geddes et al., 2014; Goldstone et al., 2010 и др.), когда собраны колоссальные базы данных с политическими характеристиками режимов, в том числе и по типу политических отношений с целью прогнозирования их будущего развития задача выглядит очень перспективной и осуществимой.

Не менее значим вопрос о причинах различного положения элиты относительно государства. Этот вопрос также требует отдельной проработки, но некоторые предварительные положения, исходя из исторического материала, можно отметить уже сейчас.

Факторов, вызывающих различное положение элит, конечно много, среди них может быть как административная неразвитость государства (например, в китайском Чжоу), так и формы вооружения элиты. Что касается бюрократической неразвитости государства, то некоторые исследователи видят именно в этом причину возникновения феодализма и вассальных отношений (Васильев, 2007: 151).

Что касается военно-технологического детерминизма, то в западной и отечественной науке взаимосвязь между строем, политической динамикой и типами вооружения рассмотрена уже достаточно подробно (см., напр.: Дьяконов, 2007; Мак-Нил, 2008, 2013; Нефедов, 2008б). Например, появление колесниц на Ближнем Востоке обусловило выдвижение колесничей знати ввиду дороживицы снаряжения и практически по всей Афроевразии возникли рыхлые политические образования. Но, однако, корреляция не такая жесткая — в ранее рассмотренном случае Египта Нового царства власть нашла способ подчинить себе колесничью элиту. С

появлением металла возникли относительно крупные армии и государства, и эти государства в большинстве своем смогли захватить монополию на производство металлического вооружения, итог — возникновение крупных империй. Такие новые крупные образования требовали создания новых религиозных учений, способных объединить разрозненные народности. Именно этим некоторые ученые объясняют причину «Осевого времени» (Берзин, 2009), когда на огромном пространстве Афроевразии возникли универсальные, прозелетические религии.

Появление стремени в Западной Европе привело к феодализму, так как основной силой вновь стала элита (всадники), однако и это не есть универсальная закономерность. В Китае, например, государство, имея давние управленческие традиции, смогло сделать политическую роль всадников, бывших в Западной Европе посредниками между властью и населением, незначительной и тем самым оставаясь централизованным (Dien, 1986). Появление огнестрельного оружия вновь ослабило элиты и сделало массовые армии подконтрольными государству.

В XX веке также можно обнаружить ранее описанный детерминизм. Так, в СССР в сталинский период одним из важнейших действий стала коллективизация, необходимость которой исходила из реальной или мнимой угрозы войны<sup>13</sup>. Однако после появления атомного оружия, водородной бомбы в частности, система не могла строиться, как прежде, на угрозе нападения — она хоть и не исчезла, но стала гораздо слабее, а значит, элиту стало сложнее удерживать в покорном подчинении (Зубок, 1994). Можно предположить, что появление атомного оружия в КНДР рано или поздно поставит под вопрос «дискурс борьбы и угрозы» и произойдет неизбежное ослабление режима. Конечно, вряд ли можно ожидать падения режима вообще, однако прежнюю «суровость» уже трудно будет совмещать с заявлениями о возможности дать мощный отпор врагу.

Подводя итог, можно очертить следующие механизмы крушения государств. Последняя возможность сохранения государства теряется при полной делегитимации власти и режима, которая особенно часто наступает при авторитаризме в результате конфликта элит (социальный уровень). Конечно, делегитимация не наступает только от конфликта элит, однако она и невозможна при монолитности режима, так как при единстве элит трудно будет дать возможность «политической культуре восстания и оппозиции» (Foran, 1997) реализовать себя.

Таким образом, конфликт элит является необходимейшим компонентом при распаде государства, другой вопрос, достаточно ли его.

Конфликт элит, вызываемый нехваткой различных ресурсов, как материальных, так и символических, имеет два различных источника. Первый — геополитическое перенапряжение, когда государство тратит значительную часть ресурсов на охрану своих границ и завоевание новых территорий. Второй — перепроизводство и «деградация» элит, когда элитных позиций недостаточно и/или когда элиты

13. Такой трактовки придерживается, например, Ноув, 1989.

стремится увеличить владение ресурсами, которыми государство не располагает в достаточной мере.

Различные причины, на наш взгляд, будут вызваны различным положением элиты относительно государства: либо элиты подчинены государству, либо независимы от него.

Предварительный ответ на вопрос о причинах различных позиций элиты предполагает, что это может быть связано с типом вооружения и уровнем бюрократической развитости государства.

Итак, механизмы крушения государственности можно разложить на четыре уровня: на идеологическом уровне происходит делегитимация власти, которая на социальном вызвана конфликтом элит. Конфликт элит вызван ее перепроизводством и «стремлением к роскоши» (Ибн Хальдун) — это уровень отдельных личностей, а причины конфликта элит лежат на институциональном уровне, в соответствии с которым и определяется положение элит относительно управленческого аппарата.

Следующим шагом должно стать формулирование более точных моделей, построенных на эмпирическом материале с целью прогнозирования развития той или иной общности. Именно это позволит макросоциологии стать точной, востребованной высшим административным аппаратом, наукой, позволяющей убедительно говорить о существовании законов развития крупных социальных систем и их крушении.

## Литература

Берзин Э. О. (2009). Вслед за железной революцией // Историческая психология и социология истории. № 2. С. 184–194.

Бондаренко Д. М. (2002). Бенин (I тыс. до н. э. — XIX в. н. э.) // Бондаренко Д. М., Кортава А. В. (ред.). Цивилизационные модели политогенеза. М.: РАН. С. 89–129.

Бондаренко Д. М. (2005). Доколониальный Бенин при династии Оба: траектория сакрализации верховной власти // Бондаренко Д. М. (ред.). Сакрализация власти в истории цивилизаций. Ч. I. М.: ЦЦРИ РАН. С. 197–216.

Бочаров В. В. (ред.) Антропология власти: Хрестоматия по политической антропологии. Т. 2: Политическая культура и политические процессы. СПб.: Изд-во СПбГУ.

Васильев Л. С. (1982). Феномен власти-субъектности: к проблеме типологии до-капиталистических структур // Алаев Л. Б. (ред.). Типы общественных отношений на Востоке в Средние века. М.: Наука. С. 60–99.

Вебер М. (1990). Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 644–706.

Виноградов И. В. (2002). Новое царство в Египте и поздний Египет // Якобсон В. А. (ред.). История Востока. Т. 1: Восток в древности. М.: Восточная литература. С. 370–388.

Голдстоун Д. (2006). К теории революции четвертого поколения / Пер. с англ. Н. Эдельмана // Логос. № 5. С. 58–103.

Головина В. А. (2011). Древний Египет (IV–II тысячелетия до н.э.) // Головина В. А., Уkolova B. I. (ред.). Всемирная история. Т. 1: Древний мир. М.: Наука. С. 99–132.

Гринин Л. Е., Бондаренко Д. М., Крадин Н. Н., Коротаев А. В. (ред.). (2006). Раннее государство, его альтернативы и аналоги. Волгоград: Учитель.

Дажан Б. (2009). Кхмеры / Пер. с франц. В. Степанова. М.: Вече.

Даймонд Дж. (2008). Коллапс: почему одни общества выживают, а другие умирают / Пер. с англ. О. Жаден, А. Михайловой, И. Николаева. М.: ACT.

Даниелс Р. В. (2011). Взлет и падение коммунизма в России / Пер. с англ. И. Кожановской. М.: РОССПЭН.

Дерлугян Г. (2010). Адепт Бурдье на Кавказе: эскизы к биографии в миросистемной перспективе. М.: Территория будущего.

Доган М. (1994). Легитимность режимов и кризис доверия / Пер. с франц. Т. Н. Шумилиной // Социологические исследования. № 6. С. 147–155.

Дьяконов И. М. (2007). Пути истории: от древнейшего человека до наших дней. М.: КомКнига.

Евангелиста М. (2002). Геополитика и будущее Российской Федерации / Пер. с англ. Б. В. Межуева // Политические исследования. № 2 . С. 82–99.

Зубок В. М. (1994). Источники делегитимизации советского режима // Политические исследования. № 2. С. 88–98.

Ибн Халдун. (2008). Введение (ал-Мукаддима) / Пер. с араб. А. В. Смирнова // Историко-философский ежегодник 2007. М.: Наука. С. 187–217.

Карамзин М. Н. (1991). Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука.

Козлов В. А. (2009). Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе (1953 — начало 1980-х гг.). М.: РОССПЭН.

Коллинз Р. (2000). Предсказание в макросоциологии: случай Советского коллапса // Розов Н. С. (ред.). Время мира: Альманах. Вып. 1: Историческая макросоциология в XX веке. Новосибирск: Сибирский хронограф. С. 234–278.

Коротаев А. В. (1993). Некоторые общие тенденции и факторы эволюции сабейского культурно-политического ареала (Южная Аравия: X в. до н.э. — IV в. н.э.) // Попов В. А. (ред.) Ранние формы социальной стратификации: генезис, историческая динамика, потестарно-политические функции: памяти Л. Е. Куббеля. М.: Наука. С. 295–320.

Коротаев А. В. (2002). Северо-Восточный Йемен (I–II тыс. н.э.) // Бондаренко Д. М., Коротаев А. В. (ред.). Цивилизационные модели политогенеза. М.: Институт Африки РАН. С. 196–223.

Коротаев А. В. (2006). Долгосрочная политика-демографическая динамика Египта: циклы и тенденции. М.: Восточная литература.

Крадин Н. Н., Коротаев А. В., Бондаренко Д. М., Лынина В. А. (ред.). (2000). Альтернативные пути к цивилизации. М.: Логос.

Ладынин И. А. (2005). Сакрализация царской власти в Древнем Египте в конце IV — начале II тыс. до н. э. // Бондаренко Д. М., Андреева Л. А., Коратаев А. В. (ред.). Сакрализация власти в истории цивилизаций. М.: Институт Африки РАН. С. 55–81.

Лахман Р. (2015). Что такое историческая социология? / Пер. с англ. Н. В. Дондуковского под ред. А. А. Смирнова. М.: Дело.

Лозинский С. Г. (1986). История папства. М.: Политиздат.

Мак-Нил У. (2008). В погоне за мощью: технология, вооруженная сила и общество в XI–XX веках / Пер. с англ. Т. Ованисяна под ред. С. А. Нефедова. М.: Территория будущего.

Мак-Нил У. (2013). Восхождение Запада: история человеческого сообщества / Пер. с англ. А. Галушки, Е. Т. Маричева, Г. Э. Мирама. К.: Ника-центр.

Нефедов С. А. (2008а). Теория культурных кругов (на основе анализа монгольских завоеваний) // История и современность. № 1. С. 189–225.

Нефедов С. А. (2008б). Факторный анализ исторического процесса. История Востока. М.: Территория будущего.

Ноув А. (1989). О судьбах нэпа // Вопросы истории. № 8. С. 172–176.

Пихоя Р. Г. (2000). Советский Союз: история власти. 1945–1991. Новосибирск: Сибирский хронограф.

Прусаков Д. Б. (2000). Синергетические аспекты исторического процесса // Розов Н. С. (ред.). Время мира: Альманах. Вып. 1: Историческая макросоциология в XX веке. Новосибирск: Сибирский хронограф. С. 288–291.

Ребрекова Н. В. (2002). Камбоджадеша (Ангкор) в VIII–XIII вв. // Алаев Л. Б., Аирафян К. З. (ред.). История Востока. Т. 2: Восток в Средние века. М.: Восточная литература. С. 208–215.

Розов Н. С. (2006). Закон Ибн Халдуна: к чему может привести рост коррупции и силового принуждения в России // Политический класс. № 16. С. 74–84.

Розов Н. С. (2009). Историческая макросоциология: становление, основные направления исследований и типы моделей // Общественные науки и современность. № 2. С. 151–161.

Розов Н. С. (2014). Принципы и критерии легитимности постреволюционной власти // Политические исследования. № 5. С. 90–107.

Семенов Ю. И. (2014). Политарный («азиатский») способ производства: теория и практика // Семенов Ю. И. Политарный («азиатский») способ производства: сущность и место в истории человечества и России. М.: URSS. С. 271–375.

Турчин П. В. (2010). Историческая динамика: на пути к теоретической истории. М.: URSS.

Тюрик В. А. (1982). Типы социально-политической структуры средневековых обществ Юго-Восточной Азии // Алаев Л. Б. (ред.). Типы общественных отношений на Востоке в Средние века. М.: Наука. С. 187–226.

Фисун А. (2007). Постсоветские неопатrimonиальные режимы: генезис, особенности, типология // Отечественные записки. Т. 39. № 6. С. 8–28.

Харитонова О. Г. (2012). Недемократические политические режимы // Политическая наука. № 3. С. 9–31.

Цирель С. В. (2008) Концепт «асабийий» как основа связи экономико-демографической и гуманитарной истории: *pro et contra* // Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г. (ред.). Проблемы математической истории: историческая реконструкция, прогнозирование, методология. М.: URSS. С. 112–125.

Шестаков В. А. (2010). Советский Союз к 1984 году // Безбородов А. Б., Елисеева Н. В., Шестаков В. А. Перестройка и крах СССР: 1985–1993. СПб.: Норма. С. 5–55.

Anderson E. N., Chase-Dunn Ch. (2005). The Rise and Fall of Great Powers // Chase-Dunn Ch., Anderson E. N. (ed.). The Historical Evolution of World-Systems. New York: Palgrave MacMillan. P. 1–19.

Dien A. E. (1986). The Stirrup and Its Effect on Chinese Military History // Ars Orientalis. Vol. 16. P. 33–56.

Foran J. (1997). Discourses and Social Forces: The Role of Culture and Cultural Studies in Understanding Revolutions // Foran J. (ed.). Theorizing Revolutions: Disciplines, Approaches. London: Routledge. P. 197–220.

Geddes B., Wright J., Frantz E. (2014). Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set // Perspectives on Politics. Vol. 12. № 2. P. 313–331.

Goldstone J. (1991). Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley: University of California Press.

Goldstone J. A., Bates R., Epstein D., Gurr T., Lustik M., Marshall M., Ulfelder J., Woodward M. A. (2010). Global Model for Forecasting Political Instability // American Journal of Political Science. Vol. 54. № 1. P. 190–208.

Kennedy P. (1987). The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. New York: Random House.

Lachmann R. (1997). Agents of Revolution: Elite Conflicts and Mass Mobilization from the Medici to Yeltsin // Foran J. (ed.). Theorizing Revolutions: Disciplines, Approaches. London: Routledge. P. 71–98.

Mann M. (1987). The Sources of Social Power. Vol. I: A History of Power from the Beginning to A.D. 1760. New York: Cambridge University Press.

McFarlane B., Cooper S., Jaksic M. (2005). The Asiatic Mode of Production — A New Phoenix (Part 1) // Journal of Contemporary Asia. Vol. 35. № 3. P. 283–318.

Moreno García J. C. (2015). Climatic Change or Sociopolitical Transformation? Reassessing Late 3rd Millennium BC in Egypt // Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Hall. Band 13. P. 79–98.

Parker G. (2013). Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century. New Haven: Yale University Press.

Schwartz G. M. (2006). From Collapse to Regeneration // Schwartz G. M., Nichols J. J. (ed.). After Collapse: The Regeneration of Societies. Tucson: University of Arizona Press. P. 3–17.

*Sedov L.* (1978). *Angkor: Society and State* // *Claessen H. J. M., Skalník P.* (eds.). *The Early State*. The Hague: Mouton. P. 111–130.

*Skocpol T.* (1979). *States and Social Revolutions*. New York: Cambridge University Press.

*Smith D.* (1991). *The Rise of Historical Sociology*. Philadelphia: Temple University Press.

*Stark M.* (2006). *From Funan to Angkor: Collapse and Regeneration in Ancient Cambodia* // *Schwartz G. M., Nichols J. J.* (ed.). *After Collapse: The Regeneration of Societies*. Tucson: University of Arizona Press. P. 144–167.

*Tainter J.* (1988). *The Collapse of Complex Societies*. New York: Cambridge University Press.

*Turchin P., Adams J., Hall T.* (2006). *East-West Orientation of Historical Empires* // *Journal of World-Systems Research*. Vol. 12. № 2. P. 219–229.

## The Mechanisms of State Collapse (a Macro-Sociological Approach)

*Dmitry Shevskiy*

Master of Philosophical Studies, Far Eastern Federal University  
 Address: Suhanova str., 8, Vladivostok, Russian Federation 690950  
 E-mail: shevskiyd@mail.ru

The author makes use of the macro-sociological approach to describe state-collapse regularities. It is argued that the final point of a state's collapse is the total delegitimization of power, and that elites' conflict is a necessary condition for such a collapse as well as for successful mass rebellions. The elites' conflict results from the lack of both material and symbolic resources caused by different reasons. The first reason is a geopolitical overextension, and the second was defined as elite "degradation" and elite overproduction. The author analyses some historical examples (the New Kingdom of Egypt and the Khmer Empire) to reveal how these patterns took shape in such cases. The grounds for various dynamics are caused by different elite positions relative to the government, that is, whether the elite is dependent on, or independent from, the government. This is linked to the type of economic relations, that is, the question of who owns the material means of production. If the state is not able to control them, it can not influence the elite. According to the author, the theory of military-technological determinism which states that types of weapon and the logic of state development are correlated can shed some light on the reasons of different elite positions.

**Keywords:** historical macro-sociology, delegitimization of power, state collapse, geopolitical overextension, elites' conflicts, geopolitical theories, elite theory

## References

Berzin E. (2009) Vsled za zheleznoy revolyutsiei [Following the Iron Revolution]. *Istoricheskaya psichologiya i sotsiologiya istorii*, no 2, pp. 184–194.

Bocharov V. (ed.) (2007) *Antropologiya vlasti: Khrestomatiya po politicheskoy antropologii. T. 2: Politicheskaya kul'tura i politicheskie protsessy* [Anthropology of Power: Reader in Political Anthropology, Vol. 2: Political Culture and Political Processes], Saint Petersburg: Saint Petersburg University Press.

Bondarenko D. (2002) Benin (I tys. do n.e. — XIX v. n.e.) [Benin (1st millennium BC — 19th century AD)]. *Tsivilizatsionnye modeli politogeneza* [Civilizational Models of Politogenesis] (eds. D. Bondarenko, A. Korotayev), Moscow: Institute for African Studies Press, pp. 89–129.

Bondarenko D. (2005) Dokolonal'nyy Benin pri dinastii oba: traektoriya sakralizatsii verkhovnoy vlasti [Precolonial Benin under the Oba Dynasty: Trajectory of Supreme Power's Sacralization]. *Sakralizatsiya vlasti v istorii tsivilizatsiy. Ch. I* [Sacralization of Power in the History of Civilizations, Part 1] (ed. D. Bondarenko), Moscow: Russian Academy of Sciences Press, pp. 197–216.

Collins R. (2000) Predskazanie v makrosotsiologii: sluchay Sovetskogo kollapsa [Prediction in Macrosociology: The Case of the Soviet Collapse]. *Vremya mira. Vyp. 1: Istoricheskaya makrosotsiologiya v XX veke* [The Time of the World, Vol. 1: The Historical Macrosociology on 20th Century] (ed. N. Rozov), Novosibirsk: Sibirsky khronograf, pp. 234–278.

Dagens B. (2009) *Khmery* [Khmer People], Moscow: Veche.

Daniels R. V. (2011) *Vzlet i padenie kommunizma v Rossii* [The Rise and Fall of Communism in Russia], Moscow: ROSSPEN.

Derluguian G. (2010) *Adept Burd'e na Kavkaze: eskizy k biografi v miroistemnoy perspektive* [Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography], Moscow: Territoriya budushchego.

Diamond J. (2008) *Kollaps: pochemu odni obshhestva vyzhivajut, a drugie umirajut* [Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed], Moscow: AST.

Dogan M. (1994) Legitimnost' rezhimov i krizis doveriia [The Legitimacy of the Regimes and the Crisis of Confidence]. *Sociological Studies*, no 6, pp. 112–119.

Dyakonov I. (2007) *Puti istorii: ot drevneyshego cheloveka do nashikh dney* [The Paths of History: From the Ancient Man to Our Days], Moscow: komKniga.

Evangelista M. (2002) Geopolitika i budushchee Rossiyskoy Federatsii [Geopolitics and the Future of the Russian Federation]. *Political Studies*, no 2, pp. 82–99.

Fisun A. (2007) Postsovetskie neopatrimonial'nye rezhimy: genezis, osobennosti, tipologija [Postsoviet Neopatrimonial Regimes: The Genesis, Features, Typology]. *Otechestvennye zapiski*, vol. 39, no 6, pp. 8–28.

Foran J. (1997) Discourses and Social Forces: The Role of Culture and Cultural Studies in Understanding Revolutions. *Theorizing Revolutions: Disciplines, Approaches* (ed. J. Foran), London: Routledge, pp. 197–220.

Goldstone J. (1991) *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*, Berkeley: University of California Press.

Goldstone J. (2006) K teorii revoljucii chetvertogo pokolenija [Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory]. *Logos*, no 5, pp. 58–103.

Golovina V. (2011) Drevnij Egipt (IV — II tysjacheletija do n.j.e.) [Ancient Egypt (4th — 2nd Millennium BC)]. *Vsemirnaja istorija. T. 1: Drevnij mir* [World History, Vol. 6: Ancient World] (eds. V. Golovina, V. Ukolova), Moscow: Nauka, pp. 99–132.

Grinin L., Bondarenko D., Kradin N., Korotaev A. (eds.) (2006) *Rannee gosudarstvo, ego al'ternativy i analogi* [The Early State, Its Alternatives and Analogues], Volgograd: Uchitel.

Ibn Khaldun (2008) Vvedenie (al-Mukaddima) [Introduction (al-Mukaddima)]. *Istoriko-filosofskiy ezhegodnik 2007* [History of the Philosophy Yearbook 2007], Moscow: Nauka, pp. 187–217.

Kharitonova O. (2012) Nedemokraticeskie politicheskie rezhimy [Non-democratic Political Regimes]. *Politicheskaja nauka*, no 3, pp. 9–31.

Karamzin M. (1991) *Zapiska o drevney i novoy Rossii v ee politicheskem i grazhdanskem otnosheniyakh* [A Note about Ancient and New Russia in Its Political and Civil Relations], Moscow: Nauka.

Korotaev A. (1993) Nekotorye obshchie tendentsii i faktory evolyutsii sabeyskogo kul'turno-politicheskogo areala (Yuzhnaya Araviya: X v. do n.e. — IV v. n.e.) [Some General Trends and Factors of Evolution of the Sabaean Cultural-Political Area (Southern Arabia: The 10th century BC — 4th century AD)]. *Rannie formy sotsial'noy stratifikatsii: genesis, istoricheskaya dinamika, potestarno-politicheskie funktsii: pamyati L. E. Kubbelya* [Early Forms of Social Stratification: Genesis, Historical Dynamics, Potestary Political Functions: In Memory of L. E. Kubbel] (ed. V. Popov), Moscow: Nauka, pp. 295–320.

Korotaev A. (2002) Severo-Vostochnyy Yemen (I-II tys. n.e.) [North-East Yemen (1st — 2nd Millennium BC)]. *Tsivilizatsionnye modeli politogeneza* [Civilizational Models of Politogenesis] (eds. D. Bondarenko, A. Korotaev), Moscow: Institute for African Studies Press, pp. 196–223.

Korotaev A. (2006) *Dolgosrochnaya politiko-demograficheskaya dinamika Egipta: tsikly i tendentsii* [Long-Term Political-Demographic Dynamics of Egypt: Cycles and Trends], Moscow: Vostochnaya literatura.

Kozlov V. (2009) *Massovye besporyadki v SSSR pri Khrushcheve i Brezhneve* [Mass Disturbances in the USSR under Khrushchev and Brezhnev], Moscow: ROSSPEN.

Kradin N., Korotayev A., Bondarenko D., Lynsha V. (eds.) (2000) *Al'ternativnye puti k tsivilizatsii* [Alternative Pathways to Civilization], Moscow: Logos.

Lachmann R. (2015) *Chto takoe istoricheskaja sociologija?* [What Is Historical Sociology?], Moscow: Delo.

Ladynin I. (2005) *Sakralizaciya carskoj vlasti v drevnem Egipte v konce IV — nachale II tys. do n.e.* [Sacralization of Royal Power in Ancient Egypt at the End of 4th — Beginning of 2nd Millennium BC]. *Sakralizatsiya vlasti v istorii tsivilizatsiy. Ch. I* [Sacralization of Power in the History of Civilizations, Part 1] (ed. D. Bondarenko), Moscow: Russian Academy of Sciences Press, pp. 55–81.

Lozinsky S. (1986) *Istoriya papstva* [History of Papacy], Moscow: Politizdat.

McFarlane B., Cooper S., Jaksic M. (2005) The Asiatic Mode of Production — A New Phoenix (Part 1). *Journal of Contemporary Asia*, vol. 35, no 3, pp. 283–318.

McNeill W. (2008) *V pogone za moshch'yu: tekhnologiya, vooruzhennaya sila i obshchestvo v XI—XX vekakh* [The Pursuit of Power: Technology, Armed Force, and Society since A.D. 1000]. Moscow: Territoriya budushchego.

McNeill W. (2013) *Voskhozhdenie Zapada: istoriya chelovecheskogo soobshchestva* [The Rise of the West: A History of the Human Community], Kiev: Nika-Center.

Moreno García J.C. (2015) Climatic Change or Sociopolitical Transformation? Reassessing Late 3rd Millennium BC in Egypt. *Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Hall*, Band 13, pp. 79–98.

Nefedov S. (2008) Teoriya kul'turnykh krugov (na osnove analiza mongol'skikh zavoevaniy) [The Theory of Cultural Circles (on the Basis of the Analysis of Mongol Conquests)]. *Istoriya i sovremennost*, no 1, pp. 189–225.

Nefedov S. (2008) *Faktornyy analiz istoricheskogo protsessa. Istoriya Vostoka* [Factor Analysis of Historical Process. The History of the East], Moscow: Territoriya budushchego.

Nouy A. (1989) O sud'bakh nepa [About the Fate of the NEP]. *Voprosy istorii*, no 8, pp. 172–176.

Parker G. (2013) *Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century*. New Haven: Yale University Press.

Pikhoya R. (2000) *Sovetskiy Soyuz: istoriya vlasti. 1945–1991* [The Soviet Union: History of Power. 1945–1991], Novosibirsk: Sibirsky hronograf.

Prusakov D. (2000) Sinergeticheskie aspekty istoricheskogo processa [Synergetic Aspects of the Historical Process]. *Vremya mira. Vyp.1: Istoricheskaya makrosotsiologiya v XX veke* [The Time of the World, Vol. 1: The Historical Macrosociology on 20th Century] (ed. N. Rozov), Novosibirsk: Sibirsky hronograf, pp. 288–291.

Rebrekova N. (2002) Kambudzhadesha (Angkor) v VIII–XIII vv. [Kambujadesa (Angkor) in 8th — 13th Centuries]. *Istoriya Vostoka. T. 2: Vostok v srednie veka* [The History of the East, Vol. 2: The East in Middle Ages] (eds. L. Alaev, K. Ashrafyan), Moscow: Vostochnaya literatura, pp. 208–215.

Rozov N. (2006) Zakon Ibn Khalduna: k chemu mozhet privesti rost korruptsii i silovogo prinuzhdeniya v Rossii [The Law of Ibn Khaldun: What Can the Growth of Corruption and Coercion in Russia Cause]. *Politichesky klass*, no 16, pp. 74–84.

Rozov N. (2009) Istoricheskaya makrosotsiologiya: stanovlenie, osnovnye napravleniya issledovaniy i tipy modeley [The Historical Macrosociology: Formation, Fundamental Areas of Research and Types of Models]. *Obshchestvennye nauki i sovremennost*, no 2, pp. 151–161.

Rozov N. (2014) Printsyipy i kriterii legitimnosti postrevolyutsionnoy vlasti [The Principles and Criteria of Legitimacy of the Postrevolutionary Government]. *Political Studies*, no 5, pp. 90–107.

Semenov Y. (2014) Politarnyy ("aziatskiy") sposob proizvodstva: teoriya i praktika [Poltary ("Asiatic") Mode of Production: Theory and Practice]. *Politarnyy ("aziatskiy") sposob proizvodstva:*

*sushchnost' i mesto v istorii chelovechestva i Rossii* [Politarnyy ("Asiatic") Mode of Production: Essence and Place in the History of Humankind and Russia], Moscow: URSS, pp. 271–375.

Shestakov V. (2010) Sovetskij Soyuz k 1984 godu [The Soviet Union by 1984]. *Perestroika i krah SSSR: 1985–1993* [Perestroika and the Collapse of the USSR: 1985–1993], Saint Petersburg: Norma, pp. 5–55.

Turin V. (1982) Tipy social'no-politicheskoy struktury srednevekovyyh obshhestv Jugo-Vostochnoj Azii [Types of Sociopolitical Structure of the Medieval Societies of South-East Asia]. *Tipy obshhestvennyh otnoshenij na Vostoke v srednie veka* [Types of Social Relations in the East in the Middle Ages] (ed. L. Alaev), Moscow: Nauka, pp. 187–226.

Tsirel S. (2008) Kontsept "asabiyyi" kak osnova svyazi ekonomiko-demograficheskoy i gumanitarnoy istorii: pro et contra [The Concept of "Asabiyya" as the Basis of the Relationship of Economic-Demographic and Humanitarian History: Pro et Contra]. *Problemy matematicheskoy istorii: istoricheskaya rekonstruktsiya, prognozirovaniye, metodologiya* [Problems of Mathematical History: Historical Reconstruction, Forecasting, Methodology] (eds. A. Korotaev, G. Malinetsky), Moscow: URSS, pp. 112–125.

Turchin P. (2010) *Istoricheskaya dinamika: na puti k teoreticheskoy istorii* [Historical Dynamics: Toward a Theoretical History], Moscow: URSS.

Vasiliev L. (1982) Fenomen vlasti-sobstvennosti: k probleme tipologii dokapitalisticheskikh struktur [Phenomenon of Power-Property: On the Problem of the Typology of Pre-capitalist Structures]. *Tipy obshchestvennykh otnoshenij na Vostoke v srednie veka* [Types of Social Relations in the East in the Middle Ages] (ed. L. Alaev), Moscow: Nauka, pp. 60–99.

Vinogradov I. (2002) Novoe carstvo v Egipte i pozdnij Egipet [New Kingdom in Egypt and the Late Egypt]. *Istoriya Vostoka. T. 1: Vostok v drevnosti* [The History of the East, Vol. 1: The East in Ancient Times] (ed. V. Jacobson), Moscow: Vostochnaya literatura, pp. 370–388.

Weber M. (1990) Politika kak prizvanie i professiya [Politics as a Vocation]. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Works], Moscow: Progress, pp. 644–706.

Zubok V. (1994) Istochniki delegitimizatsii sovetskogo rezhima [Sources of Delegitimization of the Soviet Regime]. Political Studies, no 2, pp. 88–98.

# Концепт культурной сцены как теоретическая перспектива и инструмент анализа городских молодежных сообществ

*Елена Омельченко*

Доктор социологических наук, профессор департамента социологии  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)  
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, г. Санкт-Петербург, Российской Федерации 190008  
E-mail: [eomelchenko@hse.ru](mailto:eomelchenko@hse.ru)

*Святослав Поляков*

Магистр социологии, младший научный сотрудник Центра молодежных исследований  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)  
Адрес: ул. Союза Печатников, д. 16, г. Санкт-Петербург, Российской Федерации 190008  
E-mail: [wek.spb@gmail.com](mailto:wek.spb@gmail.com)

В статье обсуждаются перспективы использования постсубкультурного термина «сцена» как концептуальной рамки для изучения современных молодежных культур. В актуальной академической литературе концептуализация сцены представлена целым спектром конкурирующих интерпретаций: сцена как место, сцена как пространство (реальное или виртуальное), сцена как поле культурного производства. Узловыми пунктами дискуссии служат выделяемые исследователями измерения сцены — ее театральность, регулярность, аутентичность, легитимность и DIY-экономика. С нашей точки зрения, «сцена» обладает рядом эвристических преимуществ, недостающих как субкультуре, так и другим постсубкультурным концептам. Во-первых, это связь групповых культурных практик и конкретных мест/пространств, позволяющая сравнивать конфигурации молодежных сообществ и культурные коалиции в разных географических локациях (городах, странах, регионах). Во-вторых, это переключение исследовательского фокуса с анализа культурных текстов и дискурсов на имплицитные правила и смыслы, в соответствии с которыми индивиды производят сцену в конкретном месте/пространстве и времени. Продуктивным видится использование теоретико-методологической композиции «сцены» и солидарного подхода, что позволяет анализировать не только особые черты групповых молодежных идентичностей в контексте городских пространств, но учитывать реакцию локальных молодежных сообществ на дискурсивное давление, форму ценностных конфликтов, типичных для современной России в целом и отдельных регионов в частности.

*Ключевые слова:* сцены, субкультуры, молодежь, постсубкультурный подход, солидарности, городские молодежные сообщества

«Сцена» — относительно новое понятие в изучении молодежных культур. Исторически «сцена» возникла на перепутье двух эмпирических направлений — исследований города и социологии музыки. В первом случае «сцена» интерпретировалась

---

© Омельченко Е. Л., 2017

© Поляков С. И., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: [10.17323/1728-192X-2017-2-111-132](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-2-111-132)

через особые качества публичности и городскую сензитивность, во втором — «сцена» рассматривалась в качестве удачной альтернативы термину «музыкальная субкультура».

Несмотря на периодические попытки адаптировать этот подход к изучению немузыкальных пространств и практик, «сцена» продолжает использоваться преимущественно в анализе музыкальных городских площадок и кластеров. В статье мы покажем, как можно работать с этим концептом в более широком спектре сюжетов, связанных с городскими молодежными пространствами. Наше представление об эвристичности этого концепта опирается на актуальную дискуссию между сторонниками субкультурных и постсубкультурных теорий, на понимание преимуществ подхода в отношении исследования и анализа современных молодежных мест и практик.

Субкультурный подход, хотя и подвергшийся серьезной критике за исключительное внимание к классовой основе символического сопротивления молодежи в отношении родительской культуры, отказ наследовать предписанный рождением статус, а также гендерную слепоту исследовательских конструктов (отсутствие внимания к особым практикам девичества), лишь на время уступил первенство постсубкультурным объяснениям молодежной социальности конца прошлого — начала нынешнего века. Фокусом новых теорий стала смешанная природа молодежных формирований, размытие границ между классическими субкультурами, временный, событийный характер сообществ без стилевых и идеологических обязательств. Однако уже с середины первого десятилетия нового века наблюдается возрождение интереса к субкультурам, растворение которых в мейнстриме было преувеличением, сделанным в угоду красоте и метафоричности постсубкультурных терминов. Идея о временности существования постсубкультурных сообществ (что подчеркивалось метафорами «новых племен», «клубной культуры», «культуры выходного дня») заключается в подчеркивании досугового характера особых, альтернативных молодежных групп, их необязательной привязке к разделяемым участниками ценностям, а значит — и к их повседневной жизни. Исключительное внимание к досуговым практикам мешало детальному анализу структурных оснований групповой идентичности, таких как класс, гендер, секуальность, этничность, религиозность, характер локальности, которые, вместе с мировым кризисом<sup>1</sup>, вновь стали актуальны. Обращение к концепту культурной сцены связано не только с попыткой выйти из контекста неутихающей дискуссии между субкультурными и постсубкультурными теоретиками. Важным аргументом было желание использовать потенциал концепта в отношении групповых и солидарных практик молодежи, вписанных в различные городские пространства. Мы пытаемся показать, как с помощью этого подхода можно исследовать новые формы молодежных социальностей вместе с городским контекстом в широком

1. В 2008 году в мире начался финансово-экономический кризис, который проявился в виде сильного снижения основных экономических показателей в большинстве стран с развитой экономикой, впоследствии переросшего в глобальную рецессию.

(география, инфраструктура, история) и узком смысле — выбора и оккупации особых городских мест, наделяемых участниками своими смыслами, как части их групповых идентичностей.

Подробному описанию особенностей сценового подхода, его ключевым идеям, перспективам и ограничениям будет посвящена теоретическая часть. Во второй части статьи на примере исследования и анализа молодежной сцены городского воркаута (Махачкала) будет продемонстрирована логика использования этого подхода для понимания смысла и особенностей групповой идентичности и солидарности в контексте российского города<sup>2</sup>.

## От субкультуры к сцене

Зарождение и развитие концепции «сцены» напрямую связано с актуальной западной дискуссией в рамках критического переосмысливания субкультурных теорий, развиваемых в Центре культурных исследований Бирмингемского университета (CCCS) в 1970–1980-х годах (Hall, Jefferson, 1976). Внимание ученых было обращено преимущественно к практикам прямого (символического, стилевого) сопротивления агентов субкультур по отношению к родительскому и классовому происхождению, к демонстрации отказа следовать статусу, предписанному рождением, а также к практикам публичной театрализации повседневности. Их публичные перформансы на улицах и площадях европейских городов вызывали панику у обывателей. Постепенно тедди бойз, панки, скинхеды начинают отвоевывать себе и другие городские пространства, концентрируясь в «своих» местах, которым приписывались культурные коды и смыслы (клубы, бары, городские площади, дворовые площадки, гаражи, чердаки, крыши, подвалы). Здесь они слушали свою музыку, выпивали, спорили, совместно формируя общие смыслы и ключевые, значимые для групповой идентичности ценности общих социальных миров. Европейские столичные и крупные города начинали переформатироваться под новые культурные и потребительские запросы молодежи. Появляются субкультурные кварталы и площади с концентраций особых, экзотических молодежных групп, что начинает использоваться не только потребительским маркетингом, но и туристической индустрией. С самого начала активного вторжения субкультур в городские контексты они становятся, с одной стороны, объектом моральных паник взрослого населения (от родителей, социальных работников, журналистов и до полиции). С другой стороны — они все вместе, и каждая субкультура в отдельности оказываются наиболее привлекательными рыночными нишами для продвижения особых, эксклюзивных товаров (стилевые профили субкультурной

2. Статья подготовлена по материалам исследования, проводимого за счет гранта Российского научного фонда (проект «Созидательные поля межэтнического взаимодействия и молодёжные культурные сцены российских городов» № 15-18-00078) в Центре молодёжных исследований НИУ ВШЭ. География проекта: Санкт-Петербург, Ульяновск, Махачкала, Казань.

идентичности: одежда, косметика, спортивный инвентарь) и культурных продуктов (музыка, литература, кино, культурная инфраструктура).

Остановимся на ключевых аргументах критики исследователями, разрабатывающими сценовой подход, «слабостей» субкультурных и некоторых постсубкультурных теорий.

Ядром субкультурных теорий является представление об оппозиции субкультуры (понимаемой как акт творчества депривированной молодежи, отказывающейся следовать принципам, предписанным классовым происхождением и родительской культурой) и массовой культуры (которую класс-гегемон стремится навязать в качестве единственной и безальтернативной в рамках «всего» общества). Эта модель вызывает сразу несколько возражений.

Во-первых, как отмечают исследователи, культурная ситуация позднего модерна характеризуется не стандартизацией и унификацией, а нарастающей дифференциацией и фрагментацией культурного производства (и потребления), «награждением различий» и сложным сцеплением «локальных трендов и глобальных тенденций» (Bennett Kahn-Harris, 2004; Straw, 1991). Как отмечают Беннет и Петерсон, использование термина «сцена» как предпочтительного «субкультуре» обусловлено критикой представления, что в обществе существует только одна разделенная всеми культура, по отношению к которой субкультура представляется как бросающая ей вызов «девиация» (Bennett, Peterson, 2004). Культурную ситуацию позднего модерна уместней описывать как совокупность культурных сцен. Критической ревизии подвергается базовое для субкультурной теории различение между молодежным большинством, некритично потребляющим массовую культуру, и миноритарными группами, мобилизующими культурное потребление для выражения недовольства существующим социальным порядком. Как показывают актуальные исследования, нормы производства и потребления внутри молодежных сообществ организованы не в соответствии с логикой согласия или сопротивления внешней идеологии, а посредством идентификации с создаваемыми и поддерживаемыми самим сообществом «изнутри» кодами и границами (Lizardo, Skiles, 2008).

Во-вторых, исследователи, вооруженные знанием о существовании двух противостоящих друг другу лагерей (продвинутого меньшинства и мейнстрима), обнаруживали сложные (ризоматические) миры, в которых относительно мирно уживались и взаимодействовали друг с другом суб- и контркультурные персонажи и агенты корпоративных культур, а само существование и распространение субкультурных стандартов вкуса напрямую зависело от «мейнстримных» средств массовой информации». Выяснилось, что субкультуры могут коммерциализироваться не только «извне», но и «изнутри», когда ее представители пытаются вписать свое участие в горизонт ВСЕЙ жизни (надо где-то на что-то жить, что-то есть,

как-то «оправдывать» свой статус в глазах значимых «других»): зарабатывать музыкой для музыканта, собственный онлайн-магазинчик для DIY-мастера<sup>3</sup>.

«Сцена», в отличие от «субкультуры», помогает рассмотреть внутреннюю гетерогенность сообществ. Субкультурный стиль перестает быть однозначным идентификатором принадлежности к конкретной субкультуре. Даже если участники молодежных сообществ используют субкультурную атрибутику, они склонны подчеркивать, что их вкусы индивидуальны и скорее отличаются от вкусов других носителей этой культуры, чем подчиняются групповым нормам, а сама группа также гетерогенна (Thornton, 1995: 99).

В-третьих, важным, на наш взгляд, ограничением субкультурных конструктов оказывается отсутствие внимания исследователей к буферным группам, располагающимся между «продвинутыми» сообществами и молодежным мейнстримом, так называемой «нормальной молодежью» (Омельченко, Пилкингтон и др., 2004). В этом пространстве могут размещаться молодежные сообщества, которые не вписываются полностью ни в контекст жесткой субкультурной идентичности, ни в контекст конвенционального большинства. Так, например, Сара Торнтон, исследуя рейв-культуру 1990-х годов, обнаруживает в ней значимые для групповой идентичности, разделяемые участниками ценности (унисекс, отказ от агрессии и антимилитаризм, стилевую инфантилизацию и асексуальность), а также материальную субстанцию коммуникации — телесный перформанс, танец, включенность в толпу, тактильный контакт, рекреативные наркотики. Однако исследовательница не относит рейв к субкультуре не только по причине массовости, но и очевидной размытости границ сообществ и исключительно событийного характера групповых встреч (Thornton, 1995).

Подобной же буферной культурой можно назвать современных хипстеров, которые, являясь достаточно яркой стилистической группой с определенной городской локализацией (лофт-проекты, специальные книжные магазины, шоу-румы) и специфическим запросом на культурное потребление, остаются в большей степени яркой и медийно продвигаемой потребительской нишней, чем субкультурным сообществом, чья групповая идентичность могла бы поддерживаться некоей идеологией. Или, например, спортивные практики, завоевывающие в последнее время все большую популярность в российских городах, такие как паркур, воркаут, скейтборд, велолюбительство и др. К этим сообществам сложно применить субкультурный подход еще и потому, что в рамках этих «сцен» мы можем обнаружить свои кластеры — не столько стилевые, сколько принципиально отличающиеся: натуральный или коммерческий спорт, с тренерами или без, ближе к анархии или к национал-патриотической сцене. При этом очевидно, что ни рейверов, ни хипстеров, ни паркурщиков или воркаутеров мы не можем отнести к мейнстриму.

3. DIY (от англ. «Do It Yourself» — «сделай это сам») — поначалу, с 1950-х годов — самостоятельная работа по дому: ремонт электрооборудования, бытовой техники, изготовление мебели и т. д. Начиная с 1980-х стало девизом неформальной культуры, так называемого «культы самоучки» — в музыке (панк-рока, инди-рока, альтернативной музыки и т. п.), самиздата (фэнзинов) и пр.

Здесь как раз нам в наибольшей степени помогает сценовой подход, позволяющий разместить внутри «сцены» (локально закрепленной или виртуальной) различные сегменты при сохранении некоего общего ценностно-коммуникативного ядра.

В-четвертых, в рамках субкультурной теории практически не уделялось внимания собственно субкультурному производству и возникающим в ходе завоевания статусов и распределения власти неравенствам. В то время как в исследованиях, работающих со сценовым концептом, особый акцент в последнее время делается именно на развитии DIY-практик. Интерес и популярность производства «своими руками» без участия корпораций стали заметной и значимой чертой многих молодежных «сцен», не только музыкальных (панк, рэп, хардкор), но и, конечно, околоспортивных, реконструкторских, волонтерских, гражданско-активистских.

В-пятых, в рамках субкультурных теорий происходит своего рода абсолютизация стиля. Э. Беннет в книге «Субкультуры или новые племена?» (Bennet, 1999) и М. Маффесоли в статье о «новых племенах» (Maffesoli, 1995) показывают, что для молодых людей стиль часто становится вторичным по отношению к совместно разделяемым эмоциям (Miles, 2000). Основа современных молодежных сообществ — тесные эмоциональные связи, которые закрепляются в повседневных практиках. «Сцена» как концептуальная рамка переносит исследовательский фокус с анализа культурных текстов и дискурсов к ре(де)конструкции имплицитных правил и смыслов, в соответствии с которыми индивиды совместно «делают сцену», воспроизводя в повседневных интеракциях определенные габитусы, идентичности и «места», понимаемые как социальные конструкции (Woo et al., 2015).

### **От критики субкультурного подхода — к преимуществам концепта «сцены»**

«Сцену» можно представить как точку сборки различных социологических концептов. «Сцена» — это «Мир искусства» (Becker, 2004), место притяжения и создания неких культурных продуктов, наделяемых смыслом, значимым для групповой идентичности. Этот мир поддерживается сетью людей, чья кооперативная деятельность, организованная их общим знанием конвенциональных средств делания чего-либо, производит «то самое...». В производстве и поддержании «сцены» приоритет принадлежит неформальным связям и знаниям, которые приобретаются в процессе движения участников от периферии к центру «сцены» (Straw, 2002, 2015). Размытость границ между социальным и профессиональным порождает особый экономический режим: «наблюдатели становятся фанами, фаны — музыкантами, а музыканты и так всегда фаны» (Shank, 1994: 131). Таким образом, «сцена» может включать в себя не только тех, кто непосредственно производит или участвует в производстве групповых смыслов и идентичностей, но и зрителей, случайных прохожих, просто горожан, которые, включаясь и фиксируя локализацию «сцены», становятся участниками производства культурного продукта.

«Сцена» соотносится с определенным «стилем жизни», свободно избиаемым с учетом бэкграунда — класса, этничности, семейного капитала, образования и связанной с ними культурной идентичностью. Речь идет не о строгой приверженности какому-то конкретному субкультурному стилю в одежде или музыке, но о разделяемой участниками «сцены» габитусе, культурной чувствительности к тому, что является правильным/неправильным, красивым/некрасивым, аутентичным/неаутентичным в рамках «всей жизни» (Grossberg et al., 1992). Эта чувствительность выступает своего рода ориентиром для практик и взаимодействий. «Сцена» находится «на перекрестке» этики и эстетики. С одной стороны, она функционирует как площадка для презентации культурных идентичностей — пространство, в котором каждый получает возможность видеть и быть увиденным (Blum, 2001; Straw, 2002; Kahn-Harris, 2006; Silver et al., 2010, 2015). С другой стороны, это отдельный «этический мир», в контексте которого культивируется определенный моральный режим (толерантность — гомофобия, патриархат — гендерное равенство, потребительство — аскетизм и т. д.). Этот режим помогает установить правила и средства для легитимации поведения каждого из участников «сцены». Через принятие (и отвержение) культивируемых внутри «сцены» ценностей происходит соотнесение с воображаемой общностью.

«Сцена» — это всегда какое-то «место». Внимание к локальной организации отличает теоретиков «сцены» от представителей других постсубкультурных подходов. Исследователи утверждают, что какими бы текучими и эфемерными ни были социальности постмодерна, они опираются на определенную систему мест и маршрутов между местами. Так, например, существование описанных Маффесоли неоплемен зависит от клубной инфраструктуры конкретного города. Эмпирические исследования показывают, что даже такие глобальные музыкальные стили, как хип-хоп, развиваются в сторону партикуляризации и национализации, «впитывая» актуальные для конкретного национального и регионального контекста расовые, этнические и классовые коннотации (Maffesoli, 1995; Bennett, 2002, 2004).

«Место» многозначно. Это и конкретные физические точки притяжения социальных взаимодействий — локалы (клубы, рестораны, кафе, концертные площадки, звукозаписывающие лейблы), и более широкий социальный, экономический, политический контекст, благоприятствующий или препятствующий тому, что происходит в конкретных локалах. «Место» становится символом/знаком групповой идентичности. В ответ на стремительную виртуализацию общественной и культурной жизни разрабатывается понятие «виртуальные сцены», локализующиеся в пространстве Интернета. Материальным местом сбора сообщества становятся сетевые форумы и группы, доступ к которым реализуется каждым участником через персональные компьютеры, локализованные в частных пространствах (Bennett, 2002b; Kibby, 2000). Здесь «сцена» получает двойное приватно-публичное измерение. Каждое место коммуникации обладает своими материальными характеристиками и наделяется особыми смыслами, а виртуальная «сцена» становится уникальным местом встречи, где географически удаленные региональные участ-

ники включаются в сообщество (Grimes, 2015). Так, Беннетт утверждает, что «общая связь локально созданных музыкальных стилей становится метафорой для сообщества, средством, благодаря которому люди обретают чувство единения, получая возможность сопоставлять, соотносить музыку, идентичности и места» (Bennett, 2002а: 224). Понимание «сцен» как физически фиксируемых во времени и в определенных местах и при этом вовлеченных их в глобальные социальные сети помогает расширить представление о монолитности и однородности смыслов молодежных субкультур и полного тождества различных фрагментов одной субкультурной «сцены». Исследования «сцен» фокусируются на том, как их участники соединяются друг с другом и как эти соединения генерируют новые идентичности, пространства и формы культуры: «„Сцены“ предоставляют возможность изучения музыкальной жизни в ее несметных формах, ориентированных как на производство, так и потребление, и вариантов, часто локальных конкретных способов, которыми они быстро находят и насыщают друг друга» (Bennett, 2002а: 226).

Таким образом, «сцену» можно определить как локально организованный социальный мир — неформальную сеть людей, сообществ и организаций, совместно производящих и презентирующих некий жизненный стиль. В рамках «сцены» социальные отношения тесно переплетены друг с другом, облегчен переход от одной роли к другой. Режим вовлечения в «сцену» более либеральный (по сравнению с субкультурой). «Сцены» сенситивны к непосредственным географическим и институциональным контекстам, конкретные локальные практики могут быть ориентированы на транслокальные или виртуальные коллективы (Bennett, Peterson, 2004).

Вместе с обозначенными преимуществами концепта «сцены» перед «субкультурой» можно зафиксировать и ряд его значимых ограничений.

### **Ограничения разработанного концепта**

«Сцена» укоренена в постфордистском экономическом контексте, который, в частности, характеризуется ростом экономического значения креативного труда и диверсификацией культурного предложения. Концепция разрабатывалась специально для описания социальностей, возникающих вокруг определенной сферы культурного производства и потребления (прежде всего популярной музыки), поэтому в этом концепте явно преобладают примеры особых городских кластеров, в рамках которых разворачиваются полубогемные, креативные (в прямом смысле слова) практики. Другие же типы городских молодежных сообществ с отличающейся социальностью (как, например, «натуральные» городские спортивные практики или сообщества с ярко окрашенной гражданской направленностью) оказываются как бы «неподходящими» примерами.

Важно также учитывать российский контекст формирования субкультурных социальностей, траектория развития которых значимо отличалась от западного. С одной стороны, следует признать, что зарождение «классических» имиджей связа-

но с определенным заимствованием западных образцов, с другой — материальная база и ценностно-идеологическое оформление субкультурных сообществ значимо отличались. В России и тем более СССР отсутствовало классовое неравенство, по крайней мере, в его капиталистическом варианте, что, казалось бы, делало невозможным возникновение солидарных групп, символически протестующих против неравенства и культуры господствующего класса. Особое значение в этом контексте имеет структурный транзит от общества дефицита к обществу изобилия, главным образом за счет импорта новинок и потребительских трендов, при этом «продвинутое» потребление концентрируется в столицах и мегаполисах, лишь частично и в измененном виде доходя до провинции. Достаточно низкий уровень толерантности населения в целом работал и продолжает работать на изолированность наиболее сильно привязанных к определенным субкультурным стилям молодежных «сцен» (Pilkington, Omel'chenko, 2013; Poiger, 2000; Омельченко, Пилкингтон и др., 2004: 101–132). Альтернативные музыкальные «сцены» слабо коммерциализированы, что является следствием агрессивной политики российских шоу-бизнеса и рынка поп-музыки, продвигаемых на концертных площадках и в масштабных телепроектах. Это, в свою очередь, создает барьер на пути профессионализации субкультурного участия. Выходом становятся неформальные (полу- и нелегальные) экономические практики. Кроме того, сегодня в тренде другие принципы «быть вместе» — спорт, здоровый образ жизни, активизм, не связанные напрямую с производством какого-либо эксплицитного культурного продукта. Материальной основой, центром притяжения молодежных сообществ на постсоветском пространстве становится не производство или потребление культурного продукта как таковое, а коммуникация.

Теория «сцен» игнорирует роль государства как заказчика и вдохновителя молодежных культурных активностей. Например, при догматическом подходе из анализа исчезают низовые проекты, в которых «самоорганизация» оказывается тесно связанной с государственными политическими проектами: многие локальные инициативы, которые развиваются сегодня в России, возглавляются бывшими комиссарами правительенного движения «Наши». А в оппозиционном лагере, отчасти протестном по отношению к организованным «сверху» сообществам, также имеются многочисленные низовые инициативы: градозащитные, зоозащитные, феминистские, ЛГБТ и др.

### **Уличный воркаут как молодежная «сцена» Махачкалы: первое приближение к анализу**

В развитие сценового подхода обратимся к непосредственному исследованию разных молодежных сообществ, закрепляющих за собой те или иные городские места, и попытаемся понять, как производится «сцена» на микроуровне. Как происходит вовлечение, знакомство, принятие и разделение смыслов, как и кем управляется «сцена»? Посредством чего достигаются конвенциональные договоренности, ко-

торые становятся значимыми кирпичиками, на которых строится и постоянно обновляется «сцена»? Реальность нашего существования достигается тем, что мы постоянно «делаем» социальный мир, включаясь в гонку за статус, признание, социальные позиции (Scharf, de Jong Gierveld, 2008), гендер (West, Zimmerman, 1987). В эту же гонку включаются и участники той или иной субкультурной «сцены», чтобы достичь, например, статуса «настоящего» панка (Widdicombe, Wooffitt, 1995). Подобный акцент на микроуровень формирования «сцен» крайне важен для понимания пространства, идентичности и власти, распределяемой и/или обретаемой участниками в их контексте.

Следующий важный момент — это акцент на особенностях расположения молодежных культур в границах неких пространств (Gieryn, 2000; Harvey, 1989), которые непосредственно влияют на идентичности участников «сцены» и дифференциацию власти. Те, кто наделен большей властью в пределах той или иной молодежной субкультуры, наделяются правом определять как самих себя, так и границы своих миров. Впрочем, за исключением исследований гендера в субкультурах (McRobbie, Garber 1993), ученые относительно спокойно относятся к вопросам власти в пределах молодежных культур.

Итак, концепт «сцены» как методология и метод исследования начал применяться нами в рамках проекта, посвященного «созидательным полям межэтнического взаимодействия»<sup>4</sup>. К настоящему моменту сбор эмпирических данных завершен, и мы приступили к их анализу. Нами были проведены включенное наблюдение и глубинные, с элементами биографического, интервью с ключевыми участниками «сцены» в четырех городах России<sup>5</sup>. Всего было выбрано восемь кейсов (по два в каждом городе), которые, на наш взгляд, в той или иной степени могут показать специфику молодежных «сцен» города в сравнении с другими. Очевидно, что плотное и подробное описание всех городских пространств еще впереди, на этом этапе ограничимся общим описанием и сфокусируемся преимущественно на одном из кейсов — воркауте.

Уличный воркаут (Workout) — это любительский вид спорта, который относится к так называемым натуральным (природным), в данном случае городским форматам, возникший как своего рода альтернатива коммерциализированному спорту. Воркаут как практика включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортивных площадках, на турниках, брусьях, шведских стенках, рукохо-

4. Исследование проводилось в четырех городах России: Санкт-Петербурге, Ульяновске, Казани и Махачкале.

5. В рамках каждого кейса исследователи работали, включаясь в жизнь и практики выбранных компаний в течение 1–2 месяцев (2016–2017 года), число глубинных интервью в каждом случае: от 20 до 30, велись дневники наблюдения, а также снимался социологический фильм. В ходе реализации проекта были выбраны следующие городские кейсы — «сцены»: Махачкала — воркаут- и аниме-сообщество; Ульяновск — женская инстаграм-«сцена» по уходу за собой (переходящая в онлайн-«сцену» «нормальной клубной тусовки») и эковолонтеры; Казань — рэп-«сцена» (татарский рэп) и поисковики; Санкт-Петербург — постготическая «сцена» и веганы. Включенное наблюдение на «сцене» воркаута в Махачкале проводил Святослав Поляков.

дах. Основной акцент делается на работу с собственным весом и развитием силы и выносливости.

Махачкалинская воркаут-«сцена» существует уже более пяти лет и объединяет подростков и молодых людей (исключительно мужчин) в возрасте от 14 до 25 лет. Численность участников может варьировать от 20 до 100 человек. Периодически предпринимались попытки институционализировать «сцену» как Федерацию уличного воркаута, но пока эти практики остаются открытыми для новых участников: вход/выход относительно свободен.

*Сеть, сообщество, среда.* Ядро «сцены» — выпускники махачкалинских вузов (21–25 лет), которые (важно!) познакомились друг с другом через социальную сеть «ВКонтакте» на почве общего интереса к просмотру роликов. Основной рекрутинг в сообщество идет через социальные сети («ВКонтакте» и Инстаграм). На периферии «сцены» — школьники махачкалинских школ и студенты вузов. Социальный состав достаточно гомогенен, преобладают дети из небогатых семей, в которых по меньшей мере один из родителей имеет высшее образование. В сеть оказываются включенными руководство школ и вузов, в которых проводятся показательные выступления, а также дружественные спортивные сообщества (например, сообщество уличного паркура), иногда «сцены» оказывают поддержку политические партии и частные предприниматели. Махачкалинская «сцена» занимает центральное положение по отношению к «сценам» воркаута в других городах Дагестана (Избербаш, Каспийск, Дербент). С махачкалинским ядром связь региональных воркаутов исключительно профессиональная — выставление общей команды на соревнованиях. Отметим, что дагестанская «сцена» является частью более обширной российской воркаут-«сцены».

*Стиль и идентичность.* Культивируемый в сообществе стиль — так называемый здоровый образ жизни — предполагает отказ от употребления табака и алкоголя. Физическая активность используется для заполнения структурной лакуны между временем, которое участник сообщества проводит дома, и тем, которое он посвящает учебе. Несмотря на то что у участников «сцены» разные мотивы прихода в воркаут (от стремления занять пустующую временную нишу или профессионализироваться в новом виде спорта — до просто «хорошо провести время»), они в некотором смысле решают общую задачу — воспроизведение нормальной «сильной» маскулинности без необходимости вовлекаться в конкуренцию за ресурсы насилия. Воркаут — это социально одобряемая практика, связанная с мужским габитусом, однако не предполагающая агрессии — в отличие от «культовых» для Дагестана борьбы, бокса и боев без правил. Эта установка рифмуется с идеологией, в соответствии с которой практики телесного самосовершенствования вписываются в систему религиозных значений, а братство спортсменов-воркаутеров рассматривается как модифицированное религиозно-территориальное братство — джамаат.

*Место.* В Махачкале тренировочные пространства — это типовая спортивная площадка на ул. Аскерханова, площадка для воркаута на стадионе «Труд», турник

на городском пляже, где отрабатываются сложные акробатические компоненты. Кроме того, есть общие места отдыха, пиццерия на пересечении Ярагского и Шамиля, чайная «железка», где воркаутеры играют в настольные игры. Эти места наделены разным статусом — например, школьная площадка на Аскерханова — это «свое» место, которое обживается и контролируется сообществом, в то время как площадка для воркаута на стадионе «Труд» — «чужое» место, где можно тренироваться на условиях «хозяев». Для показательных представлений используются открытые публичные пространства, например, в парках или на площадях.

Значительная доля усилий ключевых участников направлена на то, чтобы добиться официального признания этого вида спорта, однако на данный момент этого не случилось. Эпизодическая поддержка оказывается исключительно инициативными чиновниками и бизнесменами.

Воркаут-«сцена» укоренена в семейных и дворовых традициях мужской социализации. Самых младших участников (10–12 лет) приводят отцы и старшие родственники. Степень вовлеченности в спорт и отношение к нему сложные и противоречивые. Для учащейся молодежи (школы и вузы) — воркаут является компромиссом между серьезной учебой и серьезными занятиями спортом (например, в рамках спортивных секций). Для молодежи, уже завершившей свой образовательный трек, тренировки в условиях тотальной молодежной безработицы рассматриваются как своего рода субститут занятости.

«Сцена» производится через вовлеченность в коммуникации и получение доступа к общим смыслам, разделяемым участниками. Коммуникации между воркаутерами телесно оформлены, полноценный доступ к месту и смыслам достигается через овладение минимальным набором навыков и соответствующих достижений. Не случайно поэтому включенное наблюдение исследователя (Славы Полякова) предполагало обязательные тренировки и последующий отказ от употребления табака. Эта включенность помогла не только интерпретировать высказывания информантов в ходе интервью, но и (частично) научиться считывать значения через телесные практики, участие в которых отделяет акторов от зрителей и «чужих», а также закрепляет материальность места. Уже созданная «сцена» с ее особыми смыслами и контекстами начинает влиять на самих участников. Так, например, Пеппер Глас (Glass, 2012) в работе, посвященной результатам этнографического исследования панк-«сцены» в небольшом городе, показывает, как «сцена» производится через управление «сценическим» пространством, участвует в формировании сообщества и солидарности участников. Включенность в эти процессы наделяет различной степенью власти одних и лишает власти других участников. В рамках воркаут-«сцены» властью наделены не только неформальные тренеры, но и наиболее успешные акторы, способные показывать «высший пилотаж» и демонстрировать на тренировках и через общение ключевые ценности сообщества, в частности силу, выносливость, обязательную взаимопомощь, дисциплинированность.

Продуктивными для понимания контекстуальной и символической природы сообществ являются, на наш взгляд, так называемые ключевые измерения «сцены», анализ которых помогает сфокусировать внимание на особенностях групповых идентичностей.

### *Театральность*

Само слово «сцена» подразумевает возможность (и удовольствие) видеть и быть увиденным (Blum, 2001; Straw, 2002; Kahn-Harris, 2006; Silver, Clark et al., 2010). Бу-дучи открытой городской практикой, воркаут производится через множественные представления-перформансы, в которых каждый может быть и актером, и зрителем. «Сцена» не изолирована никакими физическими барьерами, она закреплена в «своих» местах, воспроизводясь через регулярные, повторяемые и узнаваемые практики и взаимодействия (Blum, 2001). Через специальные события и ежедневные рутинные сборы она становится частью городского ландшафта, привычной, узнаваемой приметой города. В повседневную жизнь квартала или площади Махачкалы вносится элемент игры, праздника, соревнования. «Сцена» воркаута становится частью театра городской жизни, трансформируя экстраординарное в обычное, знакомое и предсказуемое (Kahn-Harris, 2004). Важным моментом здесь выступает особая чувствительность: участники «сцены» как бы негласно осведомлены и разделяют некие принципы представления себя другим и наблюдения за другими. Так, здесь не приветствуется критика или смех над неудачными попытками, практикуется помочь через показ «как правильно и легче» и через принятый язык общения. Здесь существует своя эстетика, в основе которой особая (анти-гламурная, «природная», аскетичная) красота мужского тела без признаков потенциальной агрессивности (в отличие от борцов). Эстетика «сцены» может быть многослойной — ориентированной на различное прочтение чужими и «своими». Согласно Д. Дево, «сцена» не только обращена лицом к настоящему, здесь и сейчас конституируемому перформансу, но и укоренена в ретроспективных нарративах, знание которых служит обязательным условием ее адекватного «прочтения» (Deveau, 2015).

### *Аутентичность*

«„Сцены“ структурируют аутентичность социального потребления, утверждая или трансформируя изначальные привязанности (allegiances) своих членов» (Silver, Clark et al., 2010: 229). Ориентирами для практик и взаимодействий, формирующих «сцену», служат, с одной стороны, уникальность культурного опыта, а с другой — подлинность разделяемого с другими чувства общности и идентичности. В отличие от представителей субкультурного подхода, занятых поиском «объективного» различия между субкультурой и мейнстримом, «оригиналами» и «приживалами» (Hebdige, 1995), исследователи «сцены» фокусируют внимание на

том, как различные интерпретации аутентичности действуют в конкретных пространствах (реальных и виртуальных), порождая множественные символические экономики аутентичности (Grazian, 2004). Каждая «сцена» имеет за собой некое воображаемое сообщество: рабочий класс мира (левая «сцена», антифа), джамаат (религиозный активизм), русский народ (националистически ориентированные сообщества). Важным для «сцены» становится разделение «обычных» и «продвинутых», последние негласно признаются наиболее аутентичными. В случае воркаута аутентичность структурируется через особый «демократический» стиль одежды или спортивного перформанса, а также негласную (неафишируемую) приверженность мусульманской идентичности (уважение к старшим и опытным, забота о младших, мужская «мягкая» сила братства, отсутствие девушек).

### *Легитимность*

«Сцены» определенным образом социализируют своих участников, прививая им представления о том, что истинно/ложно, правильно/неправильно, красиво/некрасиво (Silver et al., 2010; Valentine, Skelton, 2003). Участники «сцены» не просто вовлечены в совместный досуг, но и учатся вести себя определенным образом, приобретая имманентную «сцене» культурную чувствительность, которая «предоставляет возможность культурным практикам работать определенным образом и наделяет индивидов правом осуществлять их в определенных местах» (Grossberg, 1997: 220). Чувствительность как совокупность телесных и ментальных схем, которые не постигаются рационально, а «осуществляются непосредственно» в гимнастике тела (Бурдье, 2001), выступает в контексте данного социального мира «естественным» механизмом различия «своих»/«чужих» и, следовательно, инструментом включения/исключения. У каждой «сцены» — свой моральный режим: толерантность — гомофобия, патриархат — гендерное равенство, религиозность — атеизм или агностицизм, анархия — порядок и т. д. Иначе говоря, «сцена» помогает формированию солидарности в отношении значимых для групповой идентичности ценностей и моральных норм. Легитимным в рамках воркаут-солидарности становится умеренная гомофобия, ценности и язык патриархата — закрытого мужского братства, исключающего возможность присутствия женщин, религиозность вместе с отказом от радикальных (демонстративных) практик приверженности исламу (так, например, намаз в ходе тренировок практиковали не все, а те, кто молился, делали это, не привлекая внимания и не выражая негатива в отношении не присоединявшихся).

### *Экономика «сцены»*

«Сцены» чаще всего описываются авторами, как неформальные культурные кластеры, существующие за пределами или в маргинальных зонах корпоративного (или других форм институционального) контроля (Straw, 2002; Bennett, Peterson,

2004; Grimes, 2015). Периферийное положение может быть обусловлено как сознательно избираемыми стратегиями «ухода» от мейнстрима, так и структурными факторами (что показано, например, в анализе англофонной «сцены» независимого рока в Монреале у Джека Сталья (Stahl, 2004)). Это обеспечивает «сцене» необходимую степень свободы и гетерогенности. Как правило, «сцена» — это место с особым режимом культурного производства и потребления — DIY-индустрии (Bennett, Peterson, 2004), в рамках которого потребители не довольствуются ролью пассивных наблюдателей, а превращаются в со-творцов культурного продукта. Случай воркаута пусть и не напрямую, но вписывается и в это измерение. Здесь DIY реализуется через отказ от коммерческих предложений по специализированным тренажерам и специальной тренировочной атрибутике. Кроме того, участникам приходится ремонтировать или усовершенствовать в пределах возможностей существующие площадки.

### **Заключение и дискуссия**

Анализ обширной академической дискуссии позволяет, с одной стороны, говорить о широком диапазоне и аналитическом потенциале концепта «сцены», с другой — о его перегруженности разными смыслами и интерпретациями. Концепт «сцена» прямо зависит от оптики, в рамках которой с ним работают, от объема предлагаемых авторами сюжетов, по отношению к которым оно используется, от пространств (физических, виртуальных, альтернативных), к анализу которых применяется и, конечно, от обыденного смысла. Этот концепт чрезвычайно флюиден и чувствителен к теоретическому и исследовательскому материалу, что, с одной стороны, затрудняет работу и сужает горизонты его использования, с другой — эти же качества помогают увидеть и зафиксировать смыслы групповых коммуникаций, не поддающиеся анализу с помощью других аналитических инструментов.

Попробуем внести свои дополнения в определение понятия «сцена».

Важно отделять концепт «сцены», который мы используем вслед за постсубкультурной традицией, от обыденного, или театрального понимания сцены. В последнем случае сцена — это фиксированное, ограниченное, часто возвышающееся пространство, на котором разворачиваются театрализованные действия. В классическом варианте сцена принципиально отделена от аудитории зрителей не только или не столько пространственно, сколько символически: дисплей актеров (играющих), даже если разыгрывается современное действие, отличается от зрительской аудитории. И хотя вовлечение зрителей в действие крайне важно, однако полного растворения актеров в зрителях, и наоборот, не происходит.

Далее, концепт «сцены» как одно из направлений постсубкультурного подхода разрабатывался преимущественно на анализе музыкальных городских кластеров-пространств, на чем мы уже останавливались. Развитие и существование новых направлений и жанров городской музыки не просто напрямую связаны, но и зависят от вовлеченности своих аудиторий (самых музыкантов, слушателей,

креативных последователей), которые по мере популяризации тренда становятся участниками общей коммуникации, особое место занимают разделяемые посвященными смыслами, узнаваемые цитаты и отсылки к другим жанрам. Музыкальные сцены могут оформляться вокруг/внутри самых разных городских мест, как относительно закрытых — клубов, баров, театральных (неформальных) площадок, квартир, так и открытых — городских улиц, переходов, площадей. Насколько в этом узком смысле можно назвать сценой большой дворец или концертный зал, вопрос сложный. Самым важным критерием культурной «сцены» будет не только и не столько фиксированное место, сколько наличие общих смыслов культурных практик, разделяемых всеми участниками.

Использование понятия «сцена» только в отношении музыки приводит к его редукции исключительно к процессу театрализованной презентации одних и активной вовлеченности других. Однако, на наш взгляд, преимущества и привлекательность понятия в большей степени раскрываются, когда мы говорим об исследовании городских молодежных культурных пространств в широком смысле как мест с закрепленной социальностью и особым режимом вовлечения участников, который значимо отличается от повседневных (рутинных, привычных) практик горожан.

Далее, понятие «сцена» напоминает о театральном единстве, что напрямую подходит для характеристики городского перформанса (единство места, действия и времени). Вместе с бурным развитием разнообразных «третьих» мест, причем не только в столицах, но и многих российских городах, понятие «сцены» дает свежий взгляд на локации с разной историей и внутригородским контекстом. Это понятие, не нивелируя различия мест, помогает рассмотреть важные приметы их вторжения и существования внутри города, увидеть их материальные (физические) контуры вместе с сообществами, оккупирующими именно эти, а не другие места, вместе с целями и смыслами, приписываемыми участниками, как месту, так и коммуникации. Это могут быть инфраструктурно оформленные (закрепленные) места: клубы, площадки, центры, кафе, бары (барные и кафейные кластеры), магазины и шоп-молы, спортивные площадки (формальные и дворовые или отвоеванные, захваченные): улица, подземный переход или двор. Столь широкий охват во-все не означает, что это понятие можно применить практически ко всем более или менее ярким (значимым, признанным, разделяемым) местам. Вопрос о границах применения понятия — один из самых важных. «Сцены» может и не существовать до момента ее открытия исследователями или журналистами, артикулирующими некий городской феномен как значимое и важное место, в котором происходит то, что мало или плохо объясняется формально приписаным контекстом места. Так, например, шоп-молы, галереи, существующие практически в каждом областном городе, — это преимущественно семейные места выходного дня, где сосуществуют разные предложения и сервисы: одежда и техника, еда, развлечения. При этом внутри этих торговых центров отдельные места могут оккупироваться некоторыми сообществами, смысл встречи и времяпрепровождения которых никак не связаны

со смыслом места. Своего рода «сценой» может стать часть ресторанных дворика, где постоянно встречаются и проводят продолжительное время представители этнических диаспор или отдельных молодежных субкультур.

Так же точно обычное кафе с определенного момента начинает устойчиво оккупироваться участниками субкультуры или движения, которые становятся основными клиентами заведения, подталкивая организаторов и администрацию переопределять логику и эстетику места. «Сценой» может стать закрытое кафе (бар), местоположение которого знают только посвященные, постоянно посещающие место, где они включаются в значимые совместные практики и коммуникации. Важно, что у «сцены» формируется история, своего рода репутация, передающаяся через сети и «круг своих», что поддерживает солидарность участников. При этом закрытость «сцены» — значимая часть ее истории — это повод для поддержки имиджа и ностальгии.

Рынок с помощью маркетологов добирается до самых скрытых тусовок, подтягивая к таким местам и кластерам соответствующие аксессуары (магазины, лавочки, фастфуд). И тогда формальными местами для культурных молодежных «сцен» становятся специально организованные лофты, антикафе, оборудованные площадки, закутки и другие актуальные городские ниши. Но пока место не открыто, пока оно надежно скрывается, а его существование поддерживается верными участниками как конспиративная квартира, оно скорее всего не является «сценой», «сцена» предполагает публичность и доступный перформанс.

Как мы собираемся использовать эту перспективу? Перед нами стоит задача проанализировать и представить некую культурно-символическую карту молодежных пространств четырех российских городов, каждый из которых обладает своей исторической и культурной спецификой, различиями в соотношении этно-религиозного состава населения. На всех этапах проекта мы стремимся исследовать молодежные группы (субкультуры, солидарности, сообщества) вместе с материальным контекстом их бытования в городской среде для прояснения смысла и значимости места/а для формирования групповых идентичностей. Мы пытаемся понять: как и какие пространства/места оккупируются разными группами, какими способами и при чьем участии происходит переформатирование городского функционала, предписанного прямым «назначением» улицы, кафе, спортивной площадки, площади, двора? как на всех этапах создания, управления, поддержания границ распределяется власть внутри компании? как оформляются права на «свое» смысловое и физическое пространство? Кроме того, мы стремимся тестировать описанные западными учеными значимые измерения «сцен»: театральность, регулярность, интерпретации аутентичности вовлеченными участниками, используемые практики социализации новых членов сообществ и легитимации сцены. Значимым измерением пространства, участников и практик вос/производства «сцены» становится особая контекстуальная чувствительность, с помощью которых определяются «свои». Этот механизм крайне важен, в частности, для понимания жизни городских спортивных субкультур/солидарностей, когда телес-

сное, эмоциональное, а не рациональное постижение норм и этических кодексов становится основным при приеме в компанию, определении границ своего пространства и обретения «достойного» статуса внутри компании. Экономическое измерение «сцены» значимо для сообществ, существующих не просто в конкретных материальных мирах, но и производящих некие материальные продукты или покупающие эти продукты в DIY-сервисах, ориентированных на специфические заказы, как, например, для БПАН<sup>6</sup>-«сцен» или узких субкультурных сегментов, тесно связанных с ремеслом.

Эти и другие исследовательские догадки/находки требуют детального анализа эмпирического материала для уточнения потенциала концепта «сцены» как для теоретического контекста, так и практического использования полученных данных.

## Литература

*Бурдье П.* (2001). Практический смысл / Пер. с франц. А. Т. Бикбова, К. Д. Вознесенской, С. Н. Зенкина, Н. А. Шматко под ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя.

*Омельченко Е., Пилкингтон Х., Флинн М., Блюдина У., Старкова Е.* (2004). Глядя на Запад: культурная глобализация и российские молодежные культуры / Пер. с англ. О. Оберемко, У. Блюдиной. СПб.: Алетейя.

*Becker H.* (2004). Jazz Places // *Bennett A., Peterson R. A. (eds.). Music Scenes: Local, Translocal and Virtual.* Nashville: Vanderbilt University Press. P. 17–27.

*Bennett A.* (1999). Subcultures or Neo-tribes? Rethinking the Relationship between Youth, Style and Musical Taste // *Sociology.* Vol. 33. № 3. P. 599–617.

*Bennett A.* (2002a). Music, Media and Urban Mythscapes: A Study of the «Canterbury Sound» // *Media, Culture & Society.* Vol. 24. № 1. P. 87–100.

*Bennett A.* (2002b). Researching Youth Culture and Popular Music: A Methodological Critique // *British Journal of Sociology.* Vol. 53. № 3. P. 451–466.

*Bennet A.* (2004). Consolidating the Music Scenes Perspective // *Poetics.* Vol. 32. № 3. P. 223–234.

*Bennett A., Kahn-Harris K. (eds.).* (2004). After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

*Bennett A., Peterson R. A. (2004).* Introducing Music Scenes // *Bennett A., Peterson R. A. (eds.). Music Scenes: Local, Translocal and Virtual.* Nashville: Vanderbilt University Press. P. 1–16.

*Blum A.* (2001). Scenes // *Public.* № 22–23. P. 7–36.

6. БПАН-«сцена» также изучалась в Махачкале. Подобные сообщества формируются вокруг модификации машин (как правило, это «Лада»/«Жигули»), когда машины специально «посаживаются» и переделываются под некие, принятые в сообществе нормы «красоты». Аббревиатура расшифровывается как: Без Посадки Авто Нет. Махачкалинская БПАН-«сцена» признается родоначальником движения, но подобные «сцены» существуют во многих российских городах.

*Deveau D. J.* (2015). «We Weren't Hip, Downtown People»: The Kids in the Hall, the Rivoli and the Nostalgia of the Queen West Scene // *Cultural Studies*. Vol. 29. № 3. P. 326–344.

*Gieryn Th.* (2000). A Space for Place in Sociology // *Annual Review of Sociology*. Vol. 26. P. 463–496.

*Grazian D.* (2004). The Symbolic Economy of Authenticity in the Chicago Blues Scene // *Bennett A., Peterson R. A. (eds.). Music Scenes: Local, Translocal and Virtual*. Nashville: Vanderbilt University Press. P. 31–47.

*Grimes S. M.* (2015). Little Big Scene: Making and Playing Culture in Media Molecule's LittleBigPlanet // *Cultural Studies*. Vol. 29. № 3. P. 379–400.

*Grossberg L., Nelson C., Treichler P.* (1992). *Cultural Studies*. New York: Routledge.

*Hall S., Jefferson T. (eds.)*. (1976). *Resistance through Rituals: Youth Cultures in Post-War Britain*. London: Hutchinson.

*Harvey D.* (1990). *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*. Cambridge: Blackwell.

*Hebdige D.* (1995). Subculture: The Meaning of Style // *Critical Quarterly*. Vol. 37. № 2. P. 120–124.

*Kahn-Harris K.* (2004). Unspectacular Subculture? Transgression and Mundanity in the Global Extreme Metal Scene // *Bennett A., Kahn-Harris K. (eds.). After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture*. Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 107–118.

*Kahn-Harris K.* (2006). *Extreme Metal: Music and Culture on the Edge*. Oxford: Berg.

*Kibby M.* (2000). Home on the Page: A Virtual Place of Music Community // *Popular Music*. Vol. 19. № 1. P. 91–100.

*Lizardo O., Skiles S.* (2008). Cultural Consumption in the Fine and Popular Arts Realms // *Sociology Compass*. Vol. 2. № 2. P. 485–502.

*Maffesoli M.* (1995). *The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society*. London: SAGE.

*McRobbie A., Garber J.* (1993). Girls and Subcultures: An Exploration // *Hall S., Jefferson T. (eds.). Resistance through Rituals: Youth Cultures in Post-War Britain*. London: Routledge. P. 209–222.

*Miles S.* (2000). *Youth Lifestyles in a Changing World*. Buckingham: Open University Press.

*Pilkington H., Omel'chenko E.* (2013). Regrounding Youth Cultural Theory (in Post-Socialist Youth Cultural Practice) // *Sociology Compass*. Vol. 7. № 3. P. 208–224.

*Poiger U. G.* (2000). *Jazz, Rock, and Rebels: Cold War Politics and American Culture in a Divided Germany*. Berkeley: University of California Press.

*Shank B.* (1994). *Dissonant Identities: The Rock'n'roll Scene in Austin, Texas*. Havover: University Press of New England.

*Scharf T., de Jong Gierveld J.* (2008). Loneliness in Urban Neighbourhoods: An Anglo-Dutch Comparison // *European Journal of Ageing*. Vol. 5. № 2. P. 103–115.

*Silver D., Clark T. N. (2015). The Power of Scenes: Quantities of Amenities and Qualities of Places // Cultural Studies. Vol. 29. № 3. P. 425–449.*

*Silver D., Clark T. N., Yanez C. J. N. (2010). Scenes: Social Context in an Age of Contingency // Social Forces. Vol. 88. № 5. P. 2293–2324.*

*Stahl G. (2004). «It's Like Canada Reduced»: Setting the Scene in Montreal // Bennett A., Kahn-Harris K. (eds.). After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture. Basingstoke: Palgrave Macmillan. P. 51–64.*

*Straw W. (1991). Systems of Articulation, Logics of Change: Communities and Scenes in Popular Music // Cultural Studies. Vol. 5. № 3. P. 368–388.*

*Straw W. (2002). Scenes and Sensibilities // Public. № 22–23. P. 245–257.*

*Straw W. (2015). Some Things a Scene Might Be: Postface // Cultural Studies. Vol. 29. № 3. P. 476–485.*

*Thornton S. (1995). Club Cultures: Music, Media, and Subcultural Capital. Hanover: Wesleyan University Press.*

*Valentine G., Skelton T. (2003). Finding Oneself, Losing Oneself: The Lesbian and Gay «Scene» as a Paradoxical Space // International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 27. № 4. P. 849–866.*

*West C., Zimmerman D. (1987) Doing Gender // Gender and Society. Vol. 1. № 2. P. 125–151.*

*Widdicombe S., Wooffitt R. (1995). The Language of Youth Subcultures: Social Identity in Action. London: Harvester Wheatsheaf.*

*Woo B., Rennie J., Poyntz S. R. (2015). Scene Thinking: Introduction // Cultural Studies. Vol. 29. № 3. P. 285–297.*

## The Concept of Cultural Scene as Theoretical Perspective and the Tool of Urban Communities Analysis

*Elena Omel'chenko*

Professor, Director, Center for Youth Studies, National Research University Higher School of Economics Saint Petersburg  
Address: Sedova str., 55/2, Saint Petersburg, Russian Federation 192148  
E-mail: eomelchenko@hse.ru

*Sviatoslav Poliakov*

Master of Sociology, Research Fellow, Center for Youth Studies, National Research University Higher School of Economics Saint Petersburg  
Address: Sedova str., 55/2, Saint Petersburg, Russian Federation 192148  
E-mail: wek.spb@gmail.com

This paper discusses the perspectives of the post-subcultural term “scene” as a conceptual framework in the study of contemporary youth cultures. In current academic literature,

the conceptualization of the concept of "scene" is represented by a range of competing interpretations: the scene as a place, the scene as a space (real or virtual), and the scene as a field of cultural production. The key points of discussion are identified by researchers with the following dimensions: its theatricality, its regularity, authenticity, legitimacy, and a DIY-economy. From our point of view, the "scene" has a number of heuristics advantages which are missing in "subcultural" and post-subcultural concepts. Firstly, it is the connection of group cultural practices and specific places/spaces that allows for the comparison of the configuration of youth communities and cultural coalitions in different geographical locations (cities, countries, or regions). Secondly, the focus here shifts from the analysis of cultural texts and discourses to the implicit rules and meanings according to which individuals produce a "scene" in a particular place/space and time. The concept of "scene" can be used productively in the solidarity approach. This theoretical and methodological composition allows us to analyze the reaction of local youth communities to discursive pressure, the forms of value conflicts typical to modern Russia, and the universal and specific features of local youth group identities.

*Keywords:* scene, subculture, youth, post-subcultural approach, solidarity

## References

Becker H. (2004) *Jazz Places. Music Scenes: Local, Translocal and Virtual* (eds. A. Bennett, R. A. Peterson), Nashville: Vanderbilt University Press, pp. 17–27.

Bennett A. (1999). Subcultures or Neo-tribes? Rethinking the Relationship between Youth, Style and Musical Taste. *Sociology*, vol. 33, no 3, pp. 599–617.

Bennett A. (2002) Music, Media and Urban Mythscapes: A Study of the "Canterbury Sound". *Media, Culture & Society*, vol. 24, no 1, pp. 87–100.

Bennett A. (2002) Researching Youth Culture and Popular Music: A Methodological Critique. *British Journal of Sociology*, vol. 53, no 3, pp. 451–466.

Bennet, A. (2004) Consolidating the Music Scenes Perspective. *Poetics*, vol. 32, no 3, pp. 223–234.

Bennett A., Kahn-Harris K. (eds.) (2004) *After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Bennett A., Peterson R. A. (2004). Introducing Music Scenes. *Music Scenes: Local, Translocal and Virtual* (eds. A. Bennett, R. A. Peterson), Nashville: Vanderbilt University Press, pp. 1–16.

Blum A. (2001) Scenes. *Public*, no 22–23, pp. 7–36.

Bourdieu P. (2001) *Prakticheskij smysl* [Practical Sense], Saint Petersburg: Aleteija.

Brake M. (1980) *The Sociology of Youth Culture and Subculture: Sex a'drugs a'rock'n'roll*, London: Routledge and Kegan Paul.

Chaney D. (2004) Fragmented Culture and Subcultures. *After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture* (eds. A. Bennett, K. Khan-Harris), London: Palgrave, pp. 36–48.

Deveau D. J. (2015) "We Weren't Hip, Downtown People": The Kids in the Hall, the Rivoli and the Nostalgia of the Queen West Scene. *Cultural Studies*, vol. 29, no 3, pp. 326–344.

Gieryn Th. (2000) A Space for Place in Sociology. *Annual Review of Sociology*, vol. 26, pp. 463–496.

Grazian D. (2004) The Symbolic Economy of Authenticity in the Chicago Blues Scene. *Music Scenes: Local, Translocal and Virtual* (eds. A. Bennett, R. A. Peterson), Nashville: Vanderbilt University Press, pp. 31–47.

Grimes S. M. (2015) Little Big Scene: Making and Playing Culture in Media Molecule's LittleBigPlanet. *Cultural Studies*, vol. 29, no 3, pp. 379–400.

Grossberg L., Nelson C., Treichler P. (1992) *Cultural Studies*, New York: Routledge.

Hall, S., Jefferson T. (eds.) (1976) *Resistance through Rituals: Youth Cultures in Post-War Britain*, London: Hutchinson.

Harvey D. (1990) *The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of Cultural Change*, Cambridge: Blackwell.

Hebdige D. (1995) Subculture: The Meaning of Style. *Critical Quarterly*, vol. 37, no 2, pp. 120–124.

Kahn-Harris K. (2004) Unspectacular Subculture? Transgression and Mundanity in the Global Extreme Metal Scene. *After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture* (eds. A. Bennett, K. Khan-Harris), London: Palgrave, pp. 107–118.

Kahn-Harris K. (2006) *Extreme Metal: Music and Culture on the Edge*, Oxfrod: Berg.

Kibby M. (2000) Home on the Page: A Virtual Place of Music Community. *Popular Music*, vol. 19, no 1, pp. 91–100.

Lizardo, O., Skiles S. (2008) Cultural Consumption in the Fine and Popular Arts Realms. *Sociology Compass*, vol. 2, no 2, pp. 485–502.

Maffesoli M. (1995) *The Time of the Tribes: The Decline of Individualism in Mass Society*, London: SAGE.

McRobbie A., Garber, J. (1993) Girls and Subcultures: An Exploration. *Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain* (eds. S. Hall, T. Jefferson), London: Routledge, pp. 209–222.

Miles S. (2000) *Youth Lifestyles in a Changing World*, Buckingham: Open University Press.

Omel'chenko E., Pilkington H., Flinn M., Bljudina U., Starkova E. (2004) *Gladja na Zapad: kul'turnaja globalizacija i rossijskie molodezhnye kul'tury* [Looking West?: Cultural Globalization and Russian Youth Cultures], Saint Petersburg: Aleteija.

Pilkington H., Omel'chenko E. (2013) Regrounding Youth Cultural Theory (in Post-Socialist Youth Cultural Practice). *Sociology Compass*, vol. 7, no 3, pp. 208–224.

Poiger U. G. (2000) *Jazz, Rock, and Rebels: Cold War Politics and American Culture in a Divided Germany*, Berkley: University of California Press.

Shank B. (1994) *Dissonant Identities: The Rock'n'Roll Scene in Austin, Texas*, Havover: University Press of New England.

Scharf T., de Jong Gierveld J. (2008) Loneliness in Urban Neighbourhoods: An Anglo-Dutch Comparison. *European Journal of Ageing*, vol. 5, no 2, pp. 103–115.

Silver D., Clark T. N., Yanez C. J. N. (2010) Scenes: Social Context in an Age of Contingency. *Social Forces*, vol. 88, no 5, pp. 2293–2324.

Silver D., Clark T. N. (2015). The Power of Scenes: Quantities of Amenities and Qualities of Places. *Cultural Studies*, vol. 29, no 3, pp. 425–449.

Stahl G. (2004) "It's Like Canada Reduced": Setting the Scene in Montreal. *After Subculture: Critical Studies in Contemporary Youth Culture* (eds. A. Bennett, K. Khan-Harris), London: Palgrave, pp. 51–64.

Straw W. (1991) Systems of Articulation, Logics of Change: Communities and Scenes in Popular Music. *Cultural Studies*, vol. 5, no 3, pp. 368–388.

Straw W. (2002) Scenes and Sensibilities. *Public*, no 22–23, pp. 245–257.

Straw W. (2015) Some Things a Scene Might Be: Postface. *Cultural Studies*, vol. 29, no 3, pp. 476–485.

Thornton S. (1996) *Club Cultures: Music, Media, and Subcultural Capital*, Hanover: Wesleyan University Press.

Valentine G., Skelton T. (2003) Finding Oneself, Losing Oneself: The Lesbian and Gay "Scene" as a Paradoxical Space. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 27, no 4, pp. 849–866.

West C., Zimmerman D. (1987) Doing Gender. *Gender and Society*, vol. 1, no 2, pp. 125–151.

Widdicombe S., Wooffitt R. (1995) *The Language of Youth Subcultures: Social Identity in Action*, London: Harvester Wheatsheaf.

Woo B., Rennie J., Poyntz S. R. (2015) Scene Thinking: Introduction. *Cultural Studies*, vol. 29, no 3, pp. 285–297.

# Социология общения в поле социальных наук

Андрей Резаев

Доктор философских наук, заведующий кафедрой сравнительной социологии  
Санкт-Петербургского государственного университета  
Адрес: Университетская наб., д. 7-9, Санкт-Петербург, Россия 199034  
E-mail: [a.rezaev@spbu.ru](mailto:a.rezaev@spbu.ru)

Наталья Трегубова

Кандидат социологических наук, ассистент кафедры сравнительной социологии  
Санкт-Петербургского государственного университета  
Адрес: Университетская наб., д. 7-9, Санкт-Петербург, Россия 199034  
E-mail: [n.tregubova@spbu.ru](mailto:n.tregubova@spbu.ru)

Статья представляет результаты исследования, нацеленного на поиск базовых сходств и специфических различий среди многообразия современных социологических концепций, рассматривающих общение как исследовательскую проблему. Данная цель реализуется на основании сравнительного анализа «наиболее сходных случаев» — четырех теоретических позиций, разработанных в рамках традиции осмысливания общения, восходящей к Э. Дюргейму и И. Гофману. Это концепция порядков взаимодействия Э. Роулз; теория ритуалов взаимодействия Р. Коллинза; концепция социального перформанса Дж. Александера; и теория межличностного поведения Дж. Тернера. Статья начинается с рассмотрения вопроса о том, какой феномен социальной реальности фиксируется словом «общение», какими базовыми характеристиками он обладает и с какими исследовательскими проблемами связан в социологии. Выделяется «дюргейманско-гофмананская» теоретическая традиция анализа общения в социологии. Далее представлен сравнительный анализ теорий Э. Роулз, Р. Коллинза, Дж. Александера и Дж. Тернера. Затем, на более высоком уровне абстракции, статья ставит вопрос о характере сходств и различий между рассмотренными теориями. Утверждается, что для их характеристики может быть использовано не парадигмальное различие, а выделение исследовательских дилемм, структурирующих концептуальные проблемы анализа общения в социологии. В заключение рассмотрен вопрос о месте социологии общения в современной социологии, в частности о ее соотношении с социологией повседневности и социологией эмоций.

*Ключевые слова:* социологическая теория, общение, социальное взаимодействие, сравнительный анализ, Энн Роулз, Рэндалл Коллинз, Джейфри Александер, Джонатан Тернер

Анализ русскоязычной литературы, в которой представлены социологические подходы к изучению общения, фиксирует следующую проблему. Если три-пять лет назад исследования, связанные с анализом феноменов общения людей друг с другом, были перегружены концептуальным аппаратом и методами социологии

---

© Резаев А. В., 2017

© Трегубова Н. Д., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-2-133-162

коммуникации, то сейчас мы наблюдаем множество частично перекрывающих друг друга теорий и методологий, часто выражаемых сложным и «закрытым» языком. При этом такое положение дел соотносится с развитием социологической теории в целом. Среди теоретико-методологических оснований, ставших популярными в последнее время и связанных с аналитикой повседневного общения, можно назвать этнометодологию, фрейм-анализ, социологию градов оправдания Л. Тевено, культурсоциологию Дж. Александера, акторно-сетевую теорию. Подобное разнообразие — несомненный шаг вперед. Однако возникают вопросы: как различные концепции и методологии соотносятся между собой, можно ли их в принципе сопоставлять и что может выступать основанием сравнения, в чем их действительные эвристические различия и возможности.

В более ранних публикациях мы рассматривали вопросы о соотношении социологии коммуникации и социологии общения (Резаев, Трегубова, 2015а, 2015в), о месте социологического анализа общения в структуре социально-научного знания (Трегубова, 2014), о перспективах исследования проблем неравенства и социального исключения на уровне повседневного общения в соотношении со «структурными» и «культурными» подходами (Резаев, Трегубова, 2015б). Мы также призывали к синтезу различных направлений в социологическом анализе общения и говорили о его возникновении (Резаев, 2002; Резаев, Трегубова, 2015в). Но о каком именно синтезе идет речь? И чем должна быть социология общения: единой теорией, набором разных теорий, отраслевой социологией, междисциплинарной областью или чем-то иным? Цель настоящей статьи состоит в попытке дать ответы на эти вопросы на материалах сравнительного анализа теорий, примыкающих к одной линии осмыслиения общения в социологии — к дюркгеймианско-гофманской традиции исследования социальных взаимодействий.

Дальнейшее изложение будет выстроено следующим образом. Мы начнем с рассмотрения вопросов о том, какой феномен социальной реальности фиксируется словом «общение», какие параметры его характеризуют и с какими исследовательскими проблемами феномен общения «входит» в систему социологического знания. Далее будет представлен сравнительный анализ «наиболее сходных случаев» — четырех современных теорий социального взаимодействия: 1) концепции порядков взаимодействия Э. Роулз; 2) теории ритуалов взаимодействия Р. Коллинза; 3) концепции социального перформанса Дж. Александера; 4) теории межличностного поведения Дж. Тернера. Затем, переходя на более высокий уровень абстракции, мы характеризуем десять дилемм, структурирующих концептуальные проблемы исследования общения в социологии. В заключение будет рассмотрен вопрос о месте социологии общения в современной социологии.

### **Общение как феномен и как исследовательская проблема**

Какой феномен социальной реальности фиксируется словом «общение»? Для ответа на этот вопрос рассмотрим значение термина «общение» в обыденном

русском языке. Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова (Ушаков, 1994: 727) дает следующее определение: «общение — множественного числа нет; взаимные сношения, связь». В Словаре русского языка под редакцией А. П. Евгеньевой (Евгеньева, 1986: 576) общение определяется как: «а) действие по значению глагола общаться, т. е. поддерживать отношения, встречаться; б) взаимные сношения, деловая или дружественная связь». Такое же толкование дает Словарь русского языка С. И. Ожегова (Ожегов, 1987: 376).

Рассматривая словарные определения, следует сделать несколько замечаний. Во-первых, общение — отглагольное существительное, образованное на основе глагола «общаться», то есть оно обозначает *действие*. Во-вторых, возвратный глагол «общаться» (не существует формы «общать») указывает на то, что в действии принимают участие *несколько сторон*. В-третьих, общение относится не к единичному акту (иначе существовало бы множественное число — *общения*), а к *совокупности действий*. Наконец, эта совокупность действий относится к установлению *взаимосвязей и взаимоотношений* в человеческом обществе. Таким образом, в русском языке «общение» обозначает совокупность действий, в которых участвуют несколько сторон, направленных на установление между этими сторонами взаимосвязей и взаимоотношений. В подавляющем большинстве случаев общение характеризует межчеловеческие отношения: говорить, например, об общении деревьев можно скорее в метафорическом смысле.

Обращаясь к актуальному словоупотреблению, следует указать на чрезвычайно широкий смысл слова, который не раскрывает, какие именно взаимоотношения устанавливаются и устанавливаются ли они в принципе: «Общение охватывает все границы близости, покрывает любой контакт — от интимного... до полного отсутствия какой-либо устойчивой связи» (Федорова, 2011: 51). Если задаться вопросом, как происходит установление взаимоотношений, то можно видеть, что глагол «общаться» не предполагает прямого дополнения: нельзя сказать *чем общаются* — в отличие, например, от глагола «обмениваться» (Федорова, 2011: 49). То есть общение сводится к действиям участников, направленным друг на друга.

Таким образом, общение как феномен характеризуется: 1) социальностью, понимаемой как установление межчеловеческих взаимосвязей; 2) процессуальностью; 3) взаимной направленностью. Очевидно также и то, что слово «общение» относится к чрезвычайно широкому кругу явлений социальной жизни. Общение *социально* по определению; в процессе общения устанавливаются взаимоотношения и взаимосвязи между людьми, однако общение может стать причиной разрыва социальных отношений. Общение — это то, к чему люди стремятся и чего избегают, что приносит им радость и требует значительных усилий. Границы общения вовсе не очевидны, так как практически любое соприсутствие людей (например, пассажиров в общественном транспорте) устанавливает некоторую — пусть мимолетную — взаимосвязь.

Если отталкиваться от широкой трактовки феномена общения, то очевидно, что разные дисциплины и разные направления внутри дисциплин подходят к

анализу феномена общения по-разному — в зависимости от непосредственного предмета их интереса (и, добавим, методов исследования). Проблема общения фиксируется как совокупность специфических задач по исследованию феномена общения, которые возникают перед конкретной областью познания при реализации ее познавательного интереса. Иными словами, проблема общения состоит в затруднениях, связанных с необходимостью исследования общения *per se*.

Для социологии общение как теоретическая проблема становится все более актуальной, начиная с работ И. Гофмана и Г. Гарфинкеля 1950–1960-х годов (Трегубова, 2014). Эта проблема часто (хотя и не исключительно) формулируется в терминах микросоциологии, на уровне исследования социального взаимодействия. Здесь следует сделать пояснение о соотношении между терминами. Мы рассматриваем «общение» как более широкое понятие, а «социальное взаимодействие»/«социальную интеракцию» — как конкретный термин, отсылающий к одной из традиций в анализе общения наряду с «общественными отношениями», «социальной коммуникацией», «коммуникативным действием» и некоторыми другими (см. также: Резаев, Трегубова, 2015в). В этом отношении социология взаимодействия может рассматриваться как синоним микросоциологии, а социология общения представляет собой более широкое концептуальное поле<sup>1</sup>.

Однако социологический анализ социальных взаимодействий сам не является однородным. Так, в монографии «Социологии взаимодействия» (Sociologies of Interaction) выделяются три разные социологические перспективы, в рамках которых исследуются практики социального взаимодействия: символический интеракционизм, этнодемография и конверсационный анализ/исследования порядка взаимодействия (Dennis, Philburn, Smith, 2013). Каждая из них характеризуется определенным набором имен, концептуальными и методологическими предпосылками. Эти «социологии», согласно тезису авторов, являются альтернативными по отношению к мейнстримной, конвенциональной социологии как она сложилась со второй половины XX века в США — в отношении как методов, так и базовых представлений о человеческой деятельности.

Предложенная типология рассматривает «социологии взаимодействия» как устойчивые направления, интегрированные вокруг нескольких ключевых идей и, что более важно, конкретных методологий фиксации и анализа феноменов общения. В настоящей статье мы ограничиваемся рассмотрением проблем общения только на уровне социологической теории. (Разумеется, вопросы измерения и эмпирического анализа и общения принципиально значимы для социологической

1. В русскоязычной традиции социальной мысли такое соотношение между искомыми понятиями характеризует не только в социологии, но и, например, социальную психологию. Так, Г. М. Андреева выделяет три стороны общения — взаимодействие/интеракцию, перцепцию и коммуникацию: «Коммуникативная сторона общения, или коммуникация в узком смысле слова, состоит в обмене информацией между общающимися индивидами. Интерактивная сторона заключается в организации взаимодействия между общающимися индивидами, т. е. в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями. Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия друг друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания» (Андреева, 1988: 95).

науки, однако они требуют своего осмысления в рамках специальной работы; в заключение статьи мы вернемся к этой проблеме.) Поэтому мы используем несколько иную классификацию традиций социологического анализа общения, основанную на том, вокруг чего строится его концептуализация. С точки зрения теории, одна из наиболее развитых и наиболее перспективных линий анализа общения в социологии, которая и является предметом непосредственного анализа данной статьи, может быть обозначена как «дюркгейманско-гофманианская». Она связана с наследием позднего Эмиля Дюркгейма — положениями его монографии «Элементарные формы религиозной жизни», которые затем развивались в микросоциологии И. Гофмана и отчасти Г. Гарфинкеля.

В «Элементарных формах религиозной жизни» (Durkheim, 1964) Э. Дюркгейм, рассматривая проблемы воспроизведения общества и производства солидарности, переходит с макроуровня социальной морфологии и коллективных представлений, характерного для его ранних работ, на микроуровень взаимодействий лицом-к-лицу. Автор проводит различие между сферой сакрального — взаимодействиями во время религиозных ритуалов, производящих коллективную солидарность, и сферой профанного — рутинными взаимодействиями, в ходе которых люди преследуют индивидуальные интересы (см. также: Юдин, 2013). Ритуал, согласно Э. Дюркгейму, характеризуется собранием людей в одном месте, их телесным присутствием и предполагает, что все участники ритуала фокусируют внимание на некотором объекте, который символически выражает их общность (например, для клана таким объектом выступает тотем). Обращаясь к одному культурному символу и координируя телесные движения, участники достигают особого эмоционального состояния, которое обозначается автором как «коллективное возбуждение» (*collective effervescence* — буквально «коллективное вспенивание»). Долгосрочным эффектом ритуала является солидарность участников, которая, однако, требует постоянного «подпитывания» в новых ритуалах.

Анализ ритуалов из «Элементарных форм религиозной жизни» в дальнейшем развивался как социологами, так и антропологами. Сначала к нему обращались преимущественно антропологи (Тернер, 1983). Однако с середины XX века идеи позднего Дюркгейма получают новый поворот — прежде всего в работах И. Гофмана, который отказывается от строгого различия между сферами профанного и сакрального и переносит анализ ритуалов в повседневность (Goffman, 1967). Сегодня концепция ритуалов Дюркгейма и ее переработка в рамках наследия Гофмана является одним из наиболее важных теоретических ресурсов для социологического анализа феноменов общения, в том числе — его эмоциональной составляющей (Деева, 2010).

Дюркгейманско-гофманианская традиция строится вокруг нескольких ключевых вопросов: Как со-присутствие людей порождает солидарность и социальные связи? Как выстраивается и разрушается социальная общность во взаимодействиях лицом-к-лицу? Чем определяется эмоциональная динамика социального

взаимодействия? Как «вселенная взаимодействия» связана с реальностью «большого» общества, его структур и процессов?

Эта традиция, безусловно, не является единственной в социологии. Так, можно проследить линию, идущую от анализа общественных отношений и трудовой деятельности в работах К. Маркса к таким направлениям, как институциональная этнография Д. Смит и грамматика множества П. Вирно. Можно рассматривать связь между концепцией социального действия М. Вебера и теорией коммуникативного действия Ю. Хабермаса и далее — социологией градов оправдания Л. Тевено. Кроме того, относительно обособленными традициями являются символический интеракционизм, восходящий к работам Дж. Г. Мида, и формальная социология Г. Зиммеля, развивающаяся затем в исторической социологии Н. Элиаса и в сетевом анализе. Тем не менее представляется, что дюркгеймианско-гофманианская линия в анализе общения наиболее развита. Она наиболее тесно связана с методами макросоциологии, и, что принципиально для сформулированной в настоящей статье проблемы, именно она послужила основанием для создания детально разработанных концепций и теорий социального взаимодействия в современной социологии. Их сравнительному анализу и посвящен следующий раздел.

### **Дюркгеймианско-гофманианская традиция анализа общения в современной социологии: сравнительный анализ теорий Э. Роулз, Р. Коллинза, Дж. Александера и Дж. Тернера**

Для характеристики способов постановки проблем общения в современной социологической теории обратимся к сравнению четырех «кейсов»: 1) концепции порядков взаимодействия Э. Роулз; 2) теории ритуалов взаимодействия Р. Коллинза; 3) концепции социального перформанса Дж. Александера; 4) теории межличностного поведения Дж. Тернера.

Но вначале важное замечание. Может показаться, что обращение к трудам упомянутых теоретиков как представителей единой исследовательской традиции является неожиданным — в особенности для русскоязычной социальной науки, поскольку для сравнительного анализа выбраны не самые популярные и цитируемые их работы. Р. Коллинз известен у нас как неовеберианец и сравнительный макросоциолог (Коллинз, 2000), а из исследований, близких проблематике общения, наиболее известна его монография «Социология философий» (Коллинз, 2002), где теоретические рассуждения о ритуалах взаимодействия обрамляют результаты обширного эмпирического исследования. Дж. Александер рассматривается в первую очередь как гуру культурсоциологии — более общей теоретической ориентации, чем та, которую является концепция социального перформанса (Александер, Смит, 2010; Куракин, 2010). Творчество Э. Роулз только начинает входить в научный оборот отечественной социологии, причем не со стороны концепции «порядка взаимодействия», а со стороны развития дюркгеймовской эпистемологии (Ро-

улз, 2005, 2014). Дж. Тернер с его теорией межличностного поведения практически вовсе не известен.

Выбор именно этих теорий обусловлен тем, что на общем уровне каждая из них отталкивается от понимания взаимодействия, укорененного в традиции американской микросоциологии, развивая концептуальные находки Гофмана и во многом позднего Дюркгейма. Интересно, что ключевые понятия авторов — «ритуал взаимодействия», «порядок взаимодействия», «фокусированное взаимодействие», «социальный перформанс» — могут восходить к разным работам Гофмана.

Сходства и различия, общий исток и расходящиеся пути в рассматриваемых теориях — предмет нашего дальнейшего анализа. Мы представим ключевые положения, которые разрабатываются в работах каждого из авторов, а затем подведем предварительные итоги по результатам их сравнительного анализа.

Концепция порядков взаимодействия<sup>2</sup> Э. Роулз не сформулирована в отдельной статье или монографии и не развита в виде систематической теории. Положения данной концепции фиксируются в ее разных работах, начиная с 1980-х годов до настоящего времени. В ключевой статье «Порядок взаимодействия *sui generis*: вклад Гофмана в социологическую теорию» (Rawls, 1987) автор формулирует принципиальную идею: в социальной реальности существуют два порядка — институциональный порядок, которым традиционно занимается социология, и порядок взаимодействия. Последний игнорировался социологами до Гофмана, который осуществил прорыв в социологической теории, поставив вопрос о существовании порядка взаимодействия, отличного от институционального порядка. Согласно Роулз, характеристика порядка взаимодействия должна опираться на фундамент исследований Гофмана, дополненные подходом Гарфинкеля к анализу речи и языка.

Порядок взаимодействия — это социальный порядок *sui generis*, основанный на потребностях людей в поддержании социального Я (Self), которое происходит во взаимодействии и накладывает на взаимодействующих моральные ограничения (moral constraints). Для Роулз, презентация Self — базовая, первичная, «общечеловеческая» потребность, которая существует независимо от позиции индивида в социальной структуре, от распределения власти и статуса; именно поэтому порядок взаимодействия не сводится к институциональному порядку. Автор ссылается на гофмановские исследования тотальных институтов, показывая, как моральные ограничения вступают в противоречия с институциональным распорядком, так что, например, телесные прикосновения между младшим медицинским персоналом и пациентами в психиатрической клинике сохраняют социальные Я пациентов.

Поддержание Self достигается благодаря следованию фоновым правилам (ground rules) и исполнению обязательств по включению во взаимодействие (in-

2. Понятие «interaction order» заимствовано Роулз у Гофмана, из его президентского послания; мы переводим «interaction order» как «порядок взаимодействия» в соответствии со сложившейся традицией (Гофман, 2002).

volvement obligations), которые и упорядочивают порядок взаимодействия. Эти правила и обязательства относятся к тому, что составляет «вселенную взаимодействия»: к череде реплик и пауз, соблюдению пространственной дистанции, мгновенному выбору слов, игнорированию «ошибок» и «исправлений» собеседника и т. д. Во время взаимодействия должен установиться рабочий консенсус (working consensus) — скрытое понимание того, что можно и нельзя делать, разделяемое собеседниками; если консенсус нарушается, происходит «коллапс» взаимодействия. Достижение рабочего консенсуса делает взаимодействие осмысленным (meaningful) и обеспечивает выполнение базовой потребности в поддержании социального Я.

Однако есть ли некий универсальный «порядок взаимодействия» или же существуют разные порядки взаимодействия, которым соответствуют различные социальные Я? Роулз обращается к данному вопросу в более поздней статье, посвященной осмысливанию расовых взаимоотношений на материалах собственных эмпирических исследований (Rawls, 2000), где рассматривает расовое разделение как следствие различия в порядках взаимодействия, способах достижения рабочего консенсуса и типах Self, свойственных «белому» (white) и «черному» (black) населению США. Согласно Роулз, специфика современного (modern) общества — американского в том числе — состоит в присущем ему особом, индивидуализированном Self. Его поддержание происходит через презентацию «категорий», к которым принадлежит индивид (возраст, пол, социальный класс, профессия и др.). Такое социальное Я автор называет «категорийным» (categorical Self). Категорийному Я соответствует рабочий консенсус, в соответствии с которым во взаимодействии индивид должен демонстрировать собеседнику принадлежность к той или иной категории. Данное положение характерно для «белого», но не для «черного» населения США. Последнее исторически было изолировано в более-менее замкнутые сообщества, где образовались иной тип рабочего консенсуса и иной тип социального Я, которое Э. Роулз называет «командным Я» (teamwork Self). Такое Я поддерживается не через презентацию социальных категорий, а через совместные — командные — усилия собеседников по интерпретации текущей ситуации, в чем и заключается рабочий консенсус.

Сами по себе эти различия не порождают социального неравенства. Однако при наложении на структурное неравенство порядок взаимодействия, который разделяется большинством и/или привилегированными группами, признается нормальным, а альтернативный становится отклонением от нормы. При этом исключение отклоняющихся происходит на уровне повседневных взаимодействий, неосознанно, потому что те «не умеют себя вести» (Rawls, Davis, 2005). На этом примере можно наблюдать относительную автономию и взаимовлияние институциональных порядков и порядков взаимодействия.

Теория ритуалов взаимодействия<sup>3</sup> Р. Коллинза продолжает традицию исследований ритуала как источника солидарности, опираясь на концептуальные находки Дюркгейма и Гофмана (прежде всего Goffman, 1967). Начиная с 1980-х годов ее ключевые положения формулировались автором в отдельных статьях (Collins, 1981, 1993; Kemper, Collins, 1990), порождая дискуссии (см.: Collins, 1989 и дальнейшее обсуждение) и реализуясь в эмпирических исследованиях (Коллинз, 2002). Наиболее полное и систематическое ее изложение представлено в монографии «Цепочки ритуалов взаимодействия» (Interaction Ritual Chains) (Collins, 2004).

Ключевое понятие теории Коллинза — «ритуал взаимодействия», который характеризуется автором через его условия, механизм (процессы) и последствия (Collins, 2004: 47–49).

Автор определяет следующие условия ритуала взаимодействия: 1) физическое соприсутствие нескольких людей (взаимодействие через средства удаленной коммуникации рассматривается как «ослабленное» соприсутствие); 2) групповая граница, отделяющая непосредственно вовлеченных во взаимодействие; 3) общий фокус внимания (mutual focus of attention) — объект, к которому обращены все присутствующие; 4) общий эмоциональный настрой (shared mood). При выполнении этих условий запускается механизм ритуала взаимодействия: фокус внимания и эмоциональный настрой взаимно усиливаются, так что более пристальное внимание членов группы к одному объекту подкрепляет эмоциональный настрой, что побуждает еще больше сосредоточить внимание и т. д. Коллинз называет этот процесс «ритмическим вовлечением» (rhythmic entrainment) и говорит о нем как об эмоционально-когнитивном опыте интерсубъективности. Ритмическое вовлечение может принимать форму дружеской беседы, аплодисментов в театре, совместного смеха и т. д. Когда оно достигает некоторого предела, возникает коллективное возбуждение<sup>4</sup>, и ритуал можно признать успешным.

Успешный ритуал взаимодействия имеет несколько следствий. Во-первых, у его участников возникает групповая солидарность: они осознают себя единой группой, и принадлежность к этой группе становится ценной. Во-вторых, появляются символы групповой принадлежности, или сакральные объекты, эмоционально окрашенные для участников ритуала (часто это те объекты, на которых фокусировалось общее внимание). В-третьих, возникают стандарты групповой морали, направленные на защиту сакральных объектов. Наконец, следствием ритуала взаимодействия является увеличение эмоциональной энергии в индивиде, которая может быть определена как готовность вступать во взаимодействие, сопровождающаяся чувством уверенности и энтузиазмом (Collins, 2004: 49). (На физиологическом уровне это может быть описано как «настроенность» (attunement)

3. Само понятие — interaction ritual — заимствовано автором у Гофмана (Goffman, 1967). В русскоязычной литературе существуют различные варианты перевода interaction ritual: «интерактивный ритуал» (Прозорова, 2007), «ритуал интеракции» (Коллинз, 2004), «ритуал взаимодействия» (Гофман, 2009); мы останавливаемся на последнем варианте как наиболее точном.

4. Этот термин заимствован автором у Дюркгейма и, как было отмечено выше, является ключевым для дюркгеймовской характеристики ритуала.

нервной системы человека на ритмическое вовлечение во взаимодействии с другими людьми.)

Принципиальным является различие между двумя типами ритуалов: статусными и властными; они могут накладывать друг на друга или существовать в чистом виде (Collins, 2004: 111–118; Kemper, Collins, 1990). Властные ритуалы организуются вокруг приказа, когда одна сторона отдает, другая — принимает указания. С точки зрения эмоциональной динамики взаимодействие здесь асимметрично: эмоциональная энергия приказывающего увеличивается (пусть незначительно), эмоциональная энергия подчиненного уменьшается (часто — весьма сильно). Статусные ритуалы происходят внутри группы равных (обладающих статусом принадлежности к группе). В этом случае разделение участников проходит по линии «включение — исключение». Успешный статусный ритуал увеличивает эмоциональную энергию для каждого индивида, включенного в группу, а для исключенных попытка участия во взаимодействии приводит к потере эмоциональной энергии. Статусный ритуал, в ходе которого не произошло коллективное возбуждение, — неудавшийся ритуал (*failed ritual*) — можно рассматривать как порождающий взаимное исключение.

Ключевым положением теории Коллинза является тезис о том, что ритуалы взаимодействия не существуют изолированно. В отличие от Роулз, которая интересуется наиболее общими, фоновыми характеристиками взаимодействия, Коллинз осмысляет связь между взаимодействиями как *последовательность* единичных ритуалов и осмысляет «перевод» мезо- и макроструктур на микроуровень, так что те могут быть представлены как характеристики цепочек взаимодействий. По мысли автора, результаты прошлых взаимодействий влияют на то, в какие ритуалы взаимодействия будет стремиться вступать индивид, какие избегать, какие ритуалы будут успешными, какие — нет. В целом, утверждает он, люди стремятся вступать в те типы ритуалов взаимодействия и в тех группах, которые в прошлом были успешными — а успешность эта «измеряется» уровнем эмоциональной энергии. Как следствие, на мезоуровне цепочки ритуалов взаимодействия складываются в *рынки взаимодействий* (*interaction markets*) (Collins, 2004: 141–182), где «валютой» выступает эмоциональная энергия. (Наиболее известным примером служат брачные рынки, однако можно говорить и о рынках профессиональных достижений или рынках дружбы.) При этом, как и на любых рынках, возникает неравенство — неравенство в уровне эмоциональной энергии. Некоторые поддерживают ее максимальный уровень (часто это те, кто оказывается в центре внимания), некоторые (подчиненные и исключенные) с трудом сохраняют минимальный. Однако это неравенство может быть преодолено или смягчено за счет смены рынка (например, перемены окружения на более подходящее) или образования солидарных групп среди аутсайдеров (Summers-Effler, 2002).

Концепция социального перформанса Дж. Александера была сформулирована в рамках более общей теоретической ориентации, разрабатываемой автором и его коллегами, — культурсоциологии (*cultural sociology*) (Александер, Смит, 2010; Ку-

ракин, 2010). Исследования перформанса могут быть названы культурной прагматикой (по аналогии с языковой прагматикой), сферой исследования практической жизни (и смерти) культурных символов во взаимодействии людей. Они касаются не значения культурных символов и отношений между ними *per se*, а использования символов в конкретных социально-исторических ситуациях; основными же ресурсами для осмыслиения перформанса выступают исследования символического действия К. Гирца, концепция ритуала Э. Дюркгейма, аналитика представления себя другим И. Гофмана и некоторые другие источники (Alexander, Mast, 2006).

Для Александера концепция социального/культурного перформанса<sup>5</sup> — концепция среднего уровня, которая позволяет приложить общие положения культурсоциологии к эмпирическому анализу социальных явлений. Она в основном изложена в коллективной монографии в статье «Культурная прагматика: социальный перформанс между ритуалом и стратегией» (Alexander, 2006). Александр определяет социальный перформанс как «социальный процесс, с помощью которого акторы, поодиночке или сообща, представляют (display) другим смысл своей социальной ситуации» (Alexander, 2006: 32). При этом смысл ситуации, который представляют акторы, вовсе не обязательно совпадает с их субъективным определением; это тот смысл, в котором они стремятся убедить аудиторию. Социальный перформанс характеризуется через его элементы<sup>6</sup> (Alexander, 2006: 32–37): 1) фоновые коллективные представления; 2) сценарий, в котором они воплощены; 3) актора (актера), который их воплощает; 4) аудиторию, которая должна сопереживать актору, верить в убедительность сценария и узнавать фоновые представления; 5) средства символического производства и мизансцену, которые использует актор для воплощения сценария.

Автор рассматривает социальное действие в современном мире как социальный перформанс, который находится между инструментальным стратегическим действием и ритуалом («между ритуалом и стратегией», как вынесено в заглавие статьи). Это означает, что перформанс призван реализовывать стратегические цели акторов, однако акторам для реализации целей необходимо убедить аудиторию в собственной правоте/легитимности. Для этого и служит перформанс.

Ключевая идея Александера состоит в том, что в современном мире элементы социального перформанса становятся все менее связаны между собой. Если в ритуале «примитивных» обществ (а также замкнутых сообществ) «сплавление» (fusion) элементов перформанса происходит практически автоматически, то в современных обществах аудитории все более разнородны и больше не принимают прямого участия в действии, акторы связаны с ролями произвольно, а технологии все более опосредуют перформанс в пространстве и во времени. Иными

5. Выражения «социальный перформанс» и «культурный перформанс» используются Александром как синонимичные.

6. Следует отметить, что Александр выделяет элементы перформанса, основываясь на аналитике «представления себя другим» Гофмана, который рассуждал об акторе, аудитории и сцене (Гофман, 2000). Однако автор развивает концепцию Гофмана в направлении анализа динамики культурных символов в процессе взаимодействия, в соответствии с программой культурсоциологии.

словами, происходит «рас-соединение» (de-fusion) элементов, что делает достижение успешного перформанса гораздо менее вероятным. Поэтому необходимо «вос-соединение» (re-fusion) элементов перформанса, которое происходит через культурное расширение (cultural extension) сценария на аудиторию и психологическую идентификацию аудитории с тем, что исполняет актор. Его успех зависит от разных факторов, начиная с аутентичности «игры» актора, заканчивая выбором тех фоновых представлений, которые не вызовут отторжения у конкретной аудитории. При этом важную роль играет умение актора ориентироваться в ситуации здесь-и-сейчас, использовать место и время, задействовать собственную телесность.

Следует отметить сходство в постановке вопроса у Р. Коллинза и Дж. Александера: оба автора интересуются механизмами успешного взаимодействия. Однако Коллинз рассматривает взаимодействие в собственных терминах и успех для него означает в конечном счете возможность участвовать в подобных взаимодействиях в будущем. Это концептуализируется через понятие эмоциональной энергии, и интерес к солидарности и эмоциональной динамике отражается в понятии «ритуал взаимодействия». Александр интересуется процессами взаимодействия с точки зрения «вселенной» культурных смыслов как она задействована социальными акторами. Взаимодействие рассматривается как взаимодействие между актером и аудиторией и поэтому называется «социальным перформансом». Его успех оценивается с точки зрения достижения идентификации аудитории с культурными смыслами (коллективными представлениями), при этом предполагается, что она служит инструментальным целям актора, который осуществляет перформанс<sup>7</sup>.

При такой постановке вопроса не вызывает удивления, что Александр сосредотачивается на специфических случаях взаимодействия, очевидно соответствующих его концептуальной схеме: политических выступлениях, театральных представлениях, арт-перформансах. Здесь возникает вопрос о том, является ли модель социального перформанса универсальной моделью взаимодействия или характеризует одну из его разновидностей. Мы полагаем, что более плодотворно рассматривать ее как универсальную модель, при которой процессы взаимодействия рассматриваются в терминах их культурной обусловленности.

Теория межличностного поведения Дж. Тернера<sup>8</sup> разрабатывается автором с середины 1980-х годов. Из ранних работ автора отметим книгу «Теория социального

7. Можно провести параллель: для Александера осмысление микромеханизмов взаимодействия оказывается необходимым на пути к достижению иных исследовательских целей, реализации программы культурсоциологии, подобно тому как в концепции социального перформанса знание этих механизмов оказывается необходимым для реализации стратегических интересов акторов.

8. Теоретическая конструкция Тернера, которую мы рассматриваем в рамках данного исследования, относится к характеристике фокусированного взаимодействия, но автор утверждает, что многие его выводы справедливы и для нефокусированного взаимодействия (Turner, 2002: 25, 27). Различие между фокусированным взаимодействием/столкновением (encounter), где взаимодействующие сохраняют общий фокус внимания, и нефокусированным взаимодействием, которое предполагает соприкосновение без общего фокуса внимания, восходит к работам Гоффмана (Goffman, 1961, 1963).

взаимодействия» (Turner, 1998). В ней Тернер, отталкиваясь от критики теоретического наследия Т. Парсонса, формулирует исходную проблему: основной единицей социологического анализа является не действие, а взаимодействие между людьми. Следовательно, социологии необходима теория взаимодействия, которую и предлагает автор. Однако многие вопросы, принципиальные для Тернера (эмоциональная динамика взаимодействия, влияние мезо- и макроуровня социальной реальности), в ней лишь заявляются на будущее, но не решаются.

Авторское понимание межчеловеческого общения получило наиболее полное изложение в книге «Лицом к лицу: на пути к социологической теории межличностного поведения» (Face to Face: Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior) (Turner, 2002). Автор начинает анализ с вопроса о том, что происходит, когда люди взаимодействуют лицом-к-лицу (Turner, 2002: 4). При столь широкой постановке вопроса, «что» может относиться к разным вещам, и ответ Тернера затрагивает не столько механизм взаимодействия (как, например, обстоит дело у Коллинза), сколько его предпосылки, условия и результаты. При этом сами механизмы, внутренние процессы взаимодействия почти не обсуждаются, однако можно видеть, что за основу принимается базовая модель символической коммуникации и принятия роли другого Дж. Г. Мида, дополненная характеристикой представления себя другим И. Гофмана<sup>9</sup>.

Логику рассуждений Тернера можно реконструировать следующим образом. Автор исходит из предпосылки, что существование общества и выживание людей требуют, чтобы люди вступали во взаимодействия. Как получается, что социальная ткань не распадается? Базовым ответом на этот вопрос для автора служит эмоциональная регуляция поведения лицом-к-лицу, укорененная в биологической природе человека. Как приматы (здесь Тернер делает экскурс в эволюционную биологию) люди не могут «автоматически» формировать сильные связи — наоборот, они склонны к слабым неустойчивым связям (Turner, 2002: 49–66). Формирование сильных связей происходит за счет «эмоциональных сил»: во взаимодействии задействуются сложные механизмы, пробуждающие и трансформирующие человеческие эмоции. Автор выделяет базовые эмоции (счастье, печаль, страх, гнев) и различные их сочетания — эмоций первого и второго порядка. Именно эти сложные эмоции, такие как стыд, гнев и гордость, по мысли Тернера, способствуют поддержанию социальных связей вместо разрыва, который мог бы произойти под влиянием чистого гнева или страха (Turner, 2002: 67–97).

Итак, эмоции производятся во взаимодействии и «скрепляют» социальную ткань. Но каким образом возникают эмоции — как продукт взаимодействия? Наиболее общий ответ автора состоит в том, что они зависят от двух факторов — выполнения ожиданий и получения санкций, позитивных или негативных.

9. Теория Тернера, по сути, сочетает две традиции: дюркгейманско-гофмановскую и символический интеракционизм, восходящий к Дж. Г. Миду. Однако несмотря на важность идей последнего, теория межличностного поведения уделяет достаточное внимание проблемам со-присутствия людей и вызванной им эмоциональной динамики, поэтому мы включили ее в сравнительный анализ.

Прежде всего люди вступают во взаимодействие, имея различные «трансакционные потребности»: утверждение Self, инструментальный результат взаимодействия (positive exchange payoffs), принадлежность к группе, доверие, чувство реальности происходящего (sense of facticity) (Turner, 2002: 98–147). Чем больше взаимодействие затрагивает основу Я (core Self), тем менее важны другие потребности и тем более сильные эмоции можно ожидать. Будут ли удовлетворены данные потребности, зависит, на уровне взаимодействия, от различных сил (forces): нормализации через культурные символы, статусов и ролей, «экологического» и демографического измерения. При их характеристике Тернер рассматривает как условия, связанные с самим взаимодействием (например, фокусирование внимания в разных по численности группах), так и структурные условия (например, статусные позиции взаимодействующих). Действие этих сил укоренено в мезоуровне социальной реальности: оно зависит от того, в контексте каких организаций (corporate units) и социальных категорий (categoric units) происходит взаимодействие. Чем более определен контекст, тем легче индивидам регулировать «поток взаимодействия» и тем менее вероятны негативные эмоции (за оговоркой о взаимодействии в условиях социального неравенства для непривилегированных). Успешное удовлетворение потребностей в соответствии с ожиданиями влечет к положительным эмоциям, обратная ситуация — к различным вариантам отрицательных эмоций. Средне- и долгосрочная эмоциональная динамика индивида в сочетании с трансакционными потребностями определяет его дальнейшие взаимодействия.

Следует заметить, что Тернер уделяет особое внимание взаимосвязи между уровнями социальной реальности. По мысли автора, в социальной реальности существуют три качественно различных уровня — макро (институциональные сферы и системы стратификации), мезо (корпоративные и категорийные единицы) и микро (взаимодействия в их связи с поведением, познанием и эмоциями индивидов), каждый из которых обладает собственной логикой. Ключом к пониманию взаимосвязи между уровнями, как при воспроизведстве, так и при изменении социального порядка, является стратификация эмоций и динамика их трансформаций (Turner, 2010).

На наш взгляд, в теории Дж. Тернера наиболее интересна идея о том, что межчеловеческое взаимодействие требует усилий, фокусировки внимания, эмоциональных и интеллектуальных затрат, так что слабые связи являются гораздо менее затратными, чем сильные. Из этого следует значимость эмоций, которые, с одной стороны, делают интенсивное взаимодействие необходимым, а с другой — определяют связь между микро- и макроуровнями. Тем не менее нельзя не отметить определенную эклектичность в построении теории, которая представляет набор факторов разного рода и свойства, из разных концептуальных «словарей», которые не всегда складываются в единую картину<sup>10</sup>. Это может быть объяснено ис-

10. Например, символическая нормализация явно связана с определением роли, которая транслирует социальный статус. Автор же определяет их как отдельные «силы» (символические, ролевые,

ходной постановкой проблемы: автор рассматривает разного рода принципы фокусированного взаимодействия, однако не он не фиксирует концептуальную схему самого процесса взаимодействия в рамках межличностного поведения. Само же взаимодействие остается во многом непознанным «черным ящиком», и вынесение в заглавие книги понятия «поведение» (с его коннотацией с бихевиоризмом) представляется неслучайным.

Подводя предварительные итоги сравнительного анализа четырех теорий, следует выделить три ключевых момента, характеризующие базовые сходства и специфические различия в постановке проблем общения.

Во-первых, *каждая из концепций, анализируя межчеловеческое общение, начинает с анализа отдельных, локальных взаимодействий, переходя к их транслюкальности* («расширению»). Так, Э. Роулз рассуждает о порядке взаимодействия, предполагающем ряд фоновых характеристик взаимодействия, которые делают его осмысленным, упорядоченным и позволяют поддерживать социальное Я. Р. Коллинз предлагает принципиально иной ход: он рассуждает о закономерностях их последовательности, связи во времени, когда опыт прошлых взаимодействий определяет последующие. Дж. Тернер в определенном смысле соединяет эти позиции: «расширение» взаимодействия происходит за счет определения того, как структурные и культурные характеристики определяют опыт прошлых и побуждают к новым взаимодействиям. Как и Роулз, Тернер заявляет об автономии разных уровней социальной реальности; как и Коллинз, он отслеживает цепочки взаимодействий в их временной последовательности и анализирует связь микромакро через эмоции. Дж. Александр также рассматривает обусловленность взаимодействия макроуровнем социальной реальности, однако, в отличие от Тернера, сосредотачивается на влиянии культуры и только на ней, и взаимодействия «расширяются» через помещение в общий культурный контекст коллективных представлений.

Во-вторых, *рассмотренные теории анализируют общение как особую реальность*, однако предлагают два различных ответа на вопрос, почему общение — это реальность *sui generis*. Первый состоит в том, что общение самоценно: оно порождает эффекты, которые недостижимы иным образом. И Коллинз, и Роулз рассуждают о внутренней обусловленности процессов взаимодействия, отличной от логики социальных структур, при этом признается то, что можно обозначить как потребность в общении. Но на вопрос, почему люди ее испытывают, авторы отвечают по-разному. Для Роулз общение необходимо, потому что именно в нем конституируется «лицо» человеческой особи, оно организовано вокруг поддержания границ своего социального Я. С позиции Коллинза, люди общаются, потому что их нервные системы «настроены» на взаимодействие друг с другом, стремясь к таким взаимодействиям, где эта «настроенность» наибольшая. В фокусе внимания автора находится не сохранение, а изменение, становление, даже разрушение

---

статусные), перечисляя и рядополагая эти элементы, но не стремясь осмыслить их взаимосвязь. Такой подход в целом характерен для его теоретизирования.

границ, не воспроизведение себя, а создание общности<sup>11</sup>. Второй ответ на вопрос, почему общение — это реальность *sui generis*, заключается в том, что в процессе взаимодействия людей достижение их индивидуальных целей приобретает иную форму, так что конечный результат перестает быть линейным. Александр фокусируется на трансляции культурных символов в действиях социальных акторов, реализующих собственные интересы. Однако социальный перформанс обладает собственной логикой: ни система культурных символов, ни стратегические цели акторов полностью не определяют того, что происходит во взаимодействии актора с аудиторией. Тернер стремится осмыслить динамику взаимодействия, вписанного в организационный контекст и контекст социальных категорий. Однако и для него взаимодействие обладает собственной реальностью — из-за сложного переплетения действующих в нем сил, а также из-за процессов порождения эмоций, которые укоренены в поведении лицом-к-лицу и могут быть поняты только на этом уровне.

В-третьих, осмысляя *межчеловеческое общение, современные социологические теории выходят за дисциплинарные рамки социологии*. Концепции Роулз и Александера апеллируют к этике и эстетике соответственно. Поддержание Я накладывает на взаимодействующих моральные обязательства, и, рассматривая порядок взаимодействия как конститутивный порядок, Роулз осмысляет и обсуждает его в соотнесении с традицией моральной философии (Rawls, 2009). Александр, разрабатывая концепцию перформанса и рассуждая об «аутентичности», явным образом опирается на достижения художественной критики. Кроме того, исследования Роулз тесно связаны с анализом речи и языка, сближаясь с социолингвистикой, а Александр подчеркивает синтез социологического анализа с социальной антропологией символической сферы (К. Гирц) и ритуалов (В. Тернер). Теория Тернера осуществляет заимствование в другом направлении — у эволюционной биологии и психофизиологии, которые необходимы для понимания сферы человеческих эмоций. Кроме того, его анализ ожиданий и санкций сближается с теорией рационального выбора и с концепциями экономического поведения. Коллинз также активно ссылается на психофизиологию при анализе механизмов вовлечения во взаимодействие и заимствует язык экономики, когда рассуждает о рынках взаимодействий, а его осмысление сакральных объектов сближается с антропологическим. И для каждого автора, в большей или меньшей степени, характерны сближения с социальной психологией — при анализе воспроизведения Self, внутригрупповых и межгрупповых взаимодействий, механизмов формирования и распознавания своих и чужих, динамики ожиданий, групповых ролей и норм, эмоций и солидарности. Однако происходит не заимствование, а именно сближе-

11. Оба эти положения в частном виде формулируются уже в работах И. Гофмана: «Существует неизбежная оппозиция между демонстрацией желания включить индивида и демонстрацией уважения к его частной жизни (privacy)» (Goffman, 1967: 76).

ние проблемных полей<sup>12</sup>, так что граница между социологией и социальной психологией требует осмысления и, вероятно, переосмысления.

## Поле социологии общения: парадигмы или дилеммы?

Как можно исследовать парадоксальный, многогранный, неуловимый и при этом принципиально важный феномен общения? Именно этот вопрос стоит перед современной социологической теорией, и в предыдущем разделе мы показали, что разные современные теоретики дают отчасти сходные, отчасти отличные ответы на него. Однако каков статус этих сходств и различий в отношении к исходной постановке вопроса?

На первый взгляд различия между различными концептуальными подходами к анализу общения в социологии могут быть рассмотрены как межпарадигмальные/внутрипарадигмальные деления, тем более что проблематика мультипарадигмальности в социологии весьма популярна. В более раннем теоретическом исследовании мы рассуждали о возможности выделения парадигм исследования общения в социологии по аналогии с парадигмами общения в философии (Резаев, Трегубова, 2015в), что позволило провести различие между перспективами социологии коммуникации и социологии общения. Однако данный ход рассуждений более не представляется оправданным: социологические теории и концепции общения, характеризованные выше, разделяют постулат об особой природе и о базовых характеристиках общения, так что для парадигмального деления нет основания. Это можно видеть на примере того, как современные социологические теории, принадлежащие к дюркгеймианско-гофманианской традиции анализа общения, включают предпосылки каждой из социально-философских парадигм исследования общения (Резаев, 1993, 2015) и одновременно обосновывают свою автономию.

Социально-институциональная (марксистская) парадигма рассматривает общение как реализацию общественных отношений. Рассмотренные выше теории социального взаимодействия признают, что общение испытывает влияние структурных условий и является необходимым для их производства и воспроизводства. Однако за общением признается собственная реальность, автономная динамика, которая гибко связана с социальными (структурными и культурными) условиями.

Информационно-коммуникативная парадигма определяет общение как обмен между акторами. В социологических теориях Э. Роулз, Р. Коллинза, Дж. Александера и Дж. Тернера рассматривается обмен информацией, знаками, символами и т. п., однако этот обмен ставится в зависимость не от целесообразности коммуникации и даже не от свойств средств коммуникации, а от динамики общения, которая формируется под влиянием иных причин — способов поддержания Self, процессов порождения эмоций и солидарности.

12. Это можно наблюдать на примере фигуры И. Гофмана, который является признанной фигурой не только в социологии, но и в социальной психологии. Так, его монография «Ритуал взаимодействия» была переведена на русский язык социальными психологами (Гофман, 2009).

Наконец, экзистенциально-феноменологическая парадигма рассматривает общение как создание общности, изменяющее самих субъектов. Рассмотренные теории разделяют тезис о том, что общение конституирует социальных субъектов, однако расширяет этот тезис на любое общение (в том числе на рутинные и не-фокусированные взаимодействия), а не только на «глубинные» взаимодействия, о которых писали экзистенциалисты и феноменологи.

Данные параметры в определенном смысле являются «отрицательными», поскольку характеризуют современные социологические теории «от противного». Фиксируя их «положительное» содержание, исследователям более обоснованно, на наш взгляд, следует обращать внимание не на парадигмальное деление, а на формирование исследовательских дилемм. Дилеммы представляют взаимоисключающие ответы на вопросы, как исследовать общение, какую именно из сторон принять за основную (при этом выбор альтернативного ответа для одной из дилемм вовсе не предопределяет выбор для другой, хотя в некоторых случаях делает его более правдоподобным). Тогда каждая из теорий социального взаимодействия характеризуется особым сочетанием альтернативных решений, сами же дилеммы структурируют поле современной социологии общения, понимаемой как направление социологической теории. Мы выделяем десять дилемм, которые могут быть структурированы по пяти блокам.

### *Дилеммы о границах общения*

1. *Процессуальность — дискретность*. Становятся ли предметом анализа отдельные акты общения (единичные взаимодействия)? Или общение рассматривается как «текущий» процесс? Для Коллинза, Тернера и Александера важна дискретность актов общения, локализованных и ограниченных во времени и пространстве. Эти взаимодействия проходят в разных контекстах и складываются в цепочки, так что успешные взаимодействия имеют свойство повторяться. Здесь процессуальность общения рассматривается в терминах присоединения отдельных взаимодействий. Роулз, напротив, обращается к взаимодействию как процессу, которое «живет» в особом времени пауз и смены реплик. При этом границы размыты: при присоединении новых собеседников или по окончании разговора взаимодействие не прекращается, но «поворачивается» в другом направлении, ускоряется или замедляется. Здесь имеет значение то, что определяет эти базовые «фоновые» характеристики общения, — а именно порядки взаимодействия.

2. *Общение — общение + «не-общение»*. Является ли предметом исследования интенсивное, эмоционально насыщенное общение? Или в фокус внимания социолога попадают все виды взаимодействий — в том числе нефокусированные, где собственно взаимодействие практически отсутствует? Коллинз и Александр строят теории фокусированного взаимодействия лицом-к-лицу, осмысляя его механизмы, условия и последствия. Роулз, а также, в определенной степени, Тернер интересуются свойствами общения, которые проявляются и при фокусирован-

ном, и при нефокусированном взаимодействии. Толпа в метро, очередь, прогулка в парке в одиночестве — все это является предметом их интереса, тогда как для двух первых теоретиков это «вырожденные» примеры общения.

### *Дilemmы о содержании общения*

3. *Интерсубъективность как результат — интерсубъективность как предпосылка.* Полагается ли интерсубъективность предпосылкой взаимодействия — как представление об общем, разделяемом мире, укорененное в социокультурном контексте? Или интерсубъективность — как опыт общности — рассматривается как достигаемая во взаимодействии? Роулз и Тернер считают интерсубъективность предпосылкой взаимодействия, для которого главное — не нарушить эту предпосылку. Для Александера и Коллинза, напротив, интерсубъективный опыт достигается в процессе общения, и его достижение вовсе не гарантировано.

4. *Симметричное общение — асимметричное общение.* Рассматриваются ли стороны, вовлеченные в общение, как его симметричные участники? Или модель общения предполагает принципиальную асимметрию? Э. Роулз и Дж. Тернер теоретизируют о взаимодействии, в котором участники задействованы на равных, (относительно) одинаково интенсивно. Каждый здесь — актер и аудитория. Дж. Александр, напротив, предлагает модель перформанса, в котором одна сторона выступает, другая — воспринимает. Теория ритуалов взаимодействия Р. Коллинза начинает с анализа симметричного общения, однако способна концептуализировать и асимметричное общение (как властные ритуалы или как статусные ритуалы с сильной стратификацией).

### *Дilemmы об обусловленности общения*

5. *Общение как цель в себе — общение как средство.* Предполагается ли, что люди общаются, чтобы общаться, или что общение служит инструментальным целям? Александр рассматривает «стратегическое взаимодействие», в котором актер имеет определенную цель — убедить аудиторию, и следует ей. Для Коллинза и Роулз, напротив, важно, что, несмотря на индивидуальные цели акторов, процесс общения имеет ценность в себе, связанную с эмоциями и/или с поддержанием Self. Тернер стремится к синтезу обеих позиций.

6. *Структурные условия — культурные условия — внутренние ресурсы.* Какие факторы, определяющие процессы общения, вводятся в концептуальную модель? Дж. Тернер сосредотачивается на структурных и отчасти культурных условиях макро- и мезоуровня. Дж. Александр теоретизирует о культурных детерминантах успешного перформанса. Р. Коллинз и Э. Роулз, напротив, рассматривают общение в собственных категориях, анализируя механизмы вовлечения во взаимодействие, по отношению к которым социальная структура и культура являются внешней средой.

### *Дilemmы об индивиде в общении*

7. *Общение и индивиды — индивиды и общение.* Полагаются ли первичными индивиды, действия которых определяют процессы общения? Или исходной точкой служит само общение, в котором происходит становление индивидов? Александр и Тернер начинают с индивидуальных акторов, которые вступают в общение с определенными характеристиками, это общение определяющими. Коллинз и Роулз начинают с самого процесса общения, в котором (из которого) конституируются индивиды.

8. *Общительный человек — вынужденно общительный человек.* Является ли человек по природе общительным? Или он вынуждается к общению устройством социальной жизни? Для Коллинза основная характеристика людей — стремление общаться, вступать во взаимодействия, где общение будет успешным. Это стремление, согласно автору, управляет социальной жизнью. С несколько других позиций Роулз заявляет о том, что общение необходимо и естественно для людей, ведь именно оно позволяет создавать и поддерживать *Selves*. Тернер, напротив, утверждает, что человек по природе (биологически) склонен к слабым, «текучим» социальным контактам. Поэтому необходима вторичная «привязка» — эмоции, которые и вынуждают индивидов вступать в более близкие взаимодействия. Александр рассматривает социальные перформансы как вынужденное следствие реализации стратегических целей индивидов.

### *Дilemmы о разновидностях общения*

9. *Общение — виды общения.* Рассматривается ли общение как универсальный процесс или выделяются различные его виды? Тернер, Роулз и Александр заявляют об универсальном характере моделей взаимодействия/порядка взаимодействия. В отличие от них, Коллинз, хотя и предлагает единую модель ритуала взаимодействия, но выделяет властные и статусные ритуалы, явно отличные по важным для него характеристикам — прежде всего по динамике эмоциональной энергии.

10. *Историчность — универсальность.* Рассматриваются ли характеристики общения как универсальные или как исторически изменяющиеся? Коллинз и Тернер предлагают универсальные модели взаимодействия, которые, по интенции авторов, можно прилагать к любой исторической эпохе и к любому региону. (Эти модели тесно связаны с тем, как теоретики определяют психофизиологические основания межчеловеческого общения.) Александр и Роулз, напротив, проводят различие между характеристиками общения в традиционном и современном обществе (категорийное и командное *Self* у Роулз, ритуал и рас-соединенный перформанс у Александра).

Выделенные дилеммы характеризуют поле социологии общения как совокупность теоретических направлений, которые сосредотачиваются на различных

сторонах феномена общения. Отношения между этими теориями и концепциями являются отчасти противоречивыми, но чаще — взаимодополняющими, и можно надеяться, что при дальнейшей исследовательской работе значительная часть противоречий окажется мнимой. Если переводить содержание этих дилемм в исследовательские проблемы, можно видеть, что современная социология проблематизирует механизмы поддержания/создания/разрушения интерсубъективности в социальных взаимодействиях; способы транслокализации взаимодействий; гибкую связь между макросоциальной реальностью и общением; влияние общения на социальные Я участников; механизмы производства эмоций в общении.

Следует отметить, что дилеммы были сформулированы на основании сравнения теорий, представляющих собой наиболее сходные случаи и примыкающих к одной концептуальной традиции. Остается открытым вопрос, могут ли они быть применены, без изменений и дополнений, к другим социологическим теориям, проблематизирующими общение. Поэтому в данном виде дилеммы представляют собой скорее гипотезу, предположение, которое, как мы надеемся, окажется полезным для других социологов (и шире — социальных ученых), анализирующих проблемы общения, и станет предметом дальнейшего исследования.

### **Заключение: чем должна быть социология общения?**

В завершение нашего рассуждения обратимся к общей характеристике поля социологического анализа общения, в котором существует дюркгеймианско-гофмананская традиция исследования социальных взаимодействий. Здесь могут быть поставлены три принципиальных вопроса: 1) каково место социологии общения в существующих дисциплинарных границах социальных наук? 2) как современная социология может эмпирически исследовать общение? 3) какие исследовательские области наиболее тесно связаны с социологической теорией общения?

Каков дисциплинарный статус социологии общения? В настоящий момент, как мы уже отмечали (Резаев, Трегубова, 2015в), она представляет собой *новое направление социологической теории*, которое дополняет и, возможно, трансформирует привычное для социологии исследование социальных структур и действий. Теории, предложенные Э. Роулз, Р. Коллинзом, Дж. Александером и Дж. Тернером, характеризуют общение как особую реальность, испытывающую влияние макро- и мезосоциальных условий, но автономную от них. Отсюда социологичность данных теорий состоит парадоксальным образом в отмежевании от «традиционной» социологии и в установлении с ней взаимосвязей. Это касается как «социологии структур», так и «социологии действий»: общение вписано в социальные структуры, в нем реализуются стратегические интересы акторов, но оба обстоятельства являются внешними по отношению к локализованным социальным взаимодействиям, связанным транслокально. При этом аналитика общения оказывается необходимой для понимания того, как «работают» структуры и как осуществляются действия.

Следует также отметить, что рассмотренные социологические теории, как правило, используют отдельные положения (идеи, понятия, методы) других дисциплин, не стремясь систематически вписать собственные наработки в их контекст. Во-первых, каждая теория с необходимостью укоренена в представлении о том, что такое человек и почему/как он взаимодействует с другими людьми. Э. Роулз основывается на этике (моральные требования и обязанности по вовлечению во взаимодействие), Р. Коллинз и Дж. Тернер — на психофизиологии (эмоциональность человека, эмоциональная притягательность общения), Дж. Александр — на эстетике (способность вовлекаться в перформанс). Во-вторых, заимствования из смежных дисциплин задействованы в осмыслении механизмов локальных взаимодействий и их транслокализации: понятие ритуала и сакральных объектов из антропологии, понятия ожиданий, санкций и рынков из экономики и др. Эта стратегия может характеризоваться как *бриколаж*, когда существующие границы нарушаются, а открытия, сделанные в других контекстах, творчески заимствуются и перерабатываются. Поэтому пока представляется сомнительным, чтобы какая-либо из не-социологических дисциплин признала «своими» достижения социологов, рассматривающих общение как теоретическую проблему.

Следующий вопрос состоит в том, каким образом социология может исследовать общение *эмпирически*. В настоящей статье аргумент выстроен на основе реконструкции только социологической теории, поскольку вопрос о методологии эмпирического исследования общения заслуживает отдельного и более детального исследования. Здесь отметим лишь, что теории общения связывают воедино единичные акты взаимодействия, способы их соединения, их условия и результаты. Однако эмпирической фиксации поддаются лишь отдельные явления. Отсюда представляется возможным выделить *три подхода к эмпирической фиксации общения в социологической практике*.

Прежде всего социологи обращаются к *внешним характеристикам общения*. Наблюдение и визуальные методы позволяют фиксировать физическое пространство взаимодействия, положение участников друг относительно друга, мимику и жесты (значит, эмоции), способ задействования предметов во взаимодействии и т. п. (Максимова, 2016). Конверсационный анализ и исследования модуляций голоса регистрируют микrorитмы взаимодействия (Сакс, Щеглофф, Джейферсон, 2015; Улановский, 2016); измерение гормонального уровня и артериального давления участников до и после взаимодействия способны поведать о динамике эмоций на психофизиологическом уровне (Collins, 2004).

Кроме того, социологи обладают инструментарием для регистрации *субъективных переживаний и смыслов*, связанных с общением. Фотография может использоваться не только для «объективации» ситуаций общения, но и для получения интерпретаций происходившего от участников общения (Штомпка, 2010). Субъективные смыслы и эмоциональная динамика взаимодействий отслеживается с помощью анализа эго-документов (Collins, 2004), в том числе дневников включенного наблюдения. Качественные интервью, дополненные конверсацион-

ным анализом и дискурс-анализом, также могут быть использованы для выявления смыслов и состояний участников общения, как и критические эксперименты в духе этнометодологии.

Наконец, для социологии существует еще одна возможность исследования общения, а именно фиксация его результата, *социальных взаимосвязей и социальных общностей*. Здесь могут быть использованы сетевой анализ, биографический анализ на основе эго-документов, социометрия, повторные исследования взаимодействий в одной группе, анализ «следов» в средствах удаленной коммуникации (переписки по почте, электронной почте, в социальных сетях) и т. д.

В рамках каждого из этих подходов возможна и необходима творческая работа по использованию, совмещению и переработке существующих методов, а также по заимствованию методик из других дисциплин. Более того, следует стремиться к тому, чтобы сочетать представленные подходы, ибо общение крайне трудно фиксировать эмпирически. Результаты «объективизации» общения — конфигурация тел, выражения лиц, длительность пауз — всегда требует интерпретации исследователя, которая не может быть предпринята без понимания смысла происходящего для общающихся. Раскрытие этих смыслов, в свою очередь, требует «мощного» и вместе с тем методологически корректного общения социолога с информантом, что является крайне сложной задачей. А фиксация общности в разные моменты времени и разными способами зачастую приводит к отличным результатам, что опять возвращает к вопросу о внешних характеристиках и субъективных смыслах общения. Поэтому исследования общения должны стремиться к *исследованиям смешанного типа* (mixed methods research), результаты которых призваны проверять и обосновывать друг друга.

Наконец, возникает вопрос о том, какие направления современной социальной науки наиболее перспективны с точки зрения использования достижений социологии общения и наиболее в ней нуждаются. Здесь следует отметить два основных направления — социологию повседневности и социологию эмоций.

Прежде всего ориентация современной социологии на исследование общения на уровне теорий среднего уровня предстает как развитие социологии повседневности. П. Штомпка (Sztompka, 2008) заявляет о становлении новой парадигмы в социологии — социологии социального существования, или «третьей социологии», пришедшей вслед за «первой социологией» социальных организмов и систем и «второй социологией» поведения и действия. Она фокусируется на исследовании повседневной жизни людей среди других людей, во взаимодействии, состязании, конфликте или борьбе с ними. Центральным для социологического объяснения повседневности, согласно аргументации автора, является концептуализация социальных взаимодействий, а в качестве объяснительных теорий повседневности он рассматривает теории Р. Коллинза, Дж. Тернера и Дж. Александера. Выше мы утверждали, что парадигмальное деление, по-видимому, не может быть применено к полю социологии общения. Однако вопрос о том, может ли социология общения

выступать как теоретическое основание отдельной общесоциологической парадигмы — социологии повседневности, остается открытым.

С социологией повседневности пересекается еще один исследовательский поворот — к социологическому анализу эмоций. Социология эмоций как отдельное направление возникла в середине 1970-х годов, хотя ее истоки можно обнаружить в работах классиков социологии: Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля (Barbalet, 1998; Симонова, 2012); сегодня она активно развивается и представляет набор конкурирующих и взаимодополняющих теоретических подходов без доминирования главной теории. Тем не менее значительная часть теоретических подходов ориентируется на осмысление эмоций как «двигателя» и результата социальных взаимодействий (Turner, 2009). В частности, дюркгейманско-гофмановскую линию исследования эмоций в связи с процессами поддержания социальных связей, солидарности и отчуждения развивают не только Р. Коллинз и Дж. Тернер, но и такие «классики» социологии эмоций, как Т. Шефф (Scheff, 1988, 2000) и А. Хохшильд (Hochschild, 1979). Поэтому логичным и перспективным представляется соединение достижений социологии эмоций с социологией повседневности в общих теоретических рамках, определяемых социологией общения.

## Литература

Александер Дж., Смит Ф. (2010). Сильная программа в культурсоциологии / Пер. с англ. С. Джакуповой // Социологическое обозрение. Т. 9. № 2. С. 11–30.

Андреева Г. М. (1988). Социальная психология. М.: Изд-во МГУ.

Евгеньева А. П. (ред.). (1986). Словарь Русского языка. Т. 2. М.: Русский язык.

Гофман И. (2000). Представление себя другим в повседневной жизни. / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле.

Гофман И. (2002). Порядок взаимодействия / Пер. с англ. А. Д. Ковалева // Баньковская С. П. (ред.). Теоретическая социология. Ч. 2. М.: Университет. С. 60–104.

Гофман Э. (2009). Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу / Пер. с англ. С. С. Степанова и Л. В. Трубицыной. М.: Смысл.

Деева М. И. (2010). От индивидуального к разделяемому аффекту: постдюркгейманская традиция в социологии эмоций // Социологическое обозрение. Т. 9. № 2. С. 134–154.

Коллинз Р. (2000). Золотой век макроисторической социологии / Пер. с англ. Н. С. Розова // Розов Н. С. (ред.). Время мира: Альманах. Вып. 1: Историческая макросоциология в XX веке. Новосибирск: Сибирский хронограф. С. 72–89.

Коллинз Р. (2002). Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения / Пер. с англ. Н. В. Розова и Ю. Б. Вергейм. Новосибирск: Сибирский хронограф.

Коллинз Р. (2004). Программа теории ритуала интеракции / Пер. с англ. А. М. Хохловой // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. VII. № 1. С. 27–39.

Куракин Д. Ю. (2010). «Сильная программа» в культурсоциологии: историко-социологические, теоретические и методологические комментарии // Социологическое обозрение. Т. 9. № 2. С. 155–178.

Максимова А. С. (2016). Использование видео для изучения социального взаимодействия // Социологическое обозрение. Т. 15. № 3. С. 91–120.

Ожегов С. И. (1987). Словарь русского языка. М.: Русский язык.

Прозорова Ю. А. (2007). Теория интерактивных ритуалов Р. Коллинза: от микропротокола к макроструктуре // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. X. № 1. С. 57–73.

Резаев А. В. (1993). Парадигмы общения: взгляд с позиций социальной философии. СПб.: Изд-во СПбГУ; Иваново: Полинформ.

Резаев А. В. (2002). Об общении, его социально-философской рефлексии и возможностях социологии коммуникации // Перов Ю. В. (ред.). *Homo philosophans*: сборник к 60-летию профессора К. А. Сергеева. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. С. 375–395.

Резаев А. В. (2015). Процесс общения в рамках экзистенциально-феноменологической парадигмы: смена исследовательской оптики // Вопросы философии. № 9. С. 57–65.

Резаев А. В., Трегубова Н. Д. (2015а). Коммуникация и общение в системной теории Никласа Лумана // Социологические исследования. № 11. С. 148–155.

Резаев А. В., Трегубова Н. Д. (2015б). Неравенство и социальное исключение в повседневном общении: теоретические основания и следствия для социальной политики // Журнал исследований социальной политики. № 2. С. 181–154.

Резаев А. В., Трегубова Н. Д. (2015в). Социология общения и социология коммуникации: основания различия и «точки роста» в современной социологической теории // Мониторинг общественного мнения. № 1. С. 14–26.

Роулз Э. (2005). Дюргеймовская трактовка практики: альтернатива конкретных практик и представлений как оснований разума / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. Т. 4. № 1. С. 3–30.

Роулз Э. (2014). Эпистемология Дюргейма: незамеченный аргумент / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. Т. 13. № 2. С. 84–140.

Сакс Х., Щеглофф Э. А., Джейферсон Г. (2015). Простейшая систематика организации очередности в разговоре / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. Т. 14. № 1. С. 142–202.

Симонова О. А. (2012). Актуальные тенденции в современной социологии: открытие эмоциональности // Современная социология — современной России: Сборник статей VI Международной научно-практической конференции памяти А. О. Крыштановского. М.: НИУ ВШЭ. С. 411–423.

Тернер В. (1983). Ритуальный процесс: структура и антоструктура / Пер. с англ. В. А. Бейлиса // Тернер В. Символ и ритуал. М.: Наука. С. 104–264.

Трегубова Н. Д. (2014). Проблема общения в современной социологической теории. Дисс. ... канд. соц. наук (22.00.01). СПб.: СПбГУ.

Ушаков Д. Н. (ред.). (1994). Толковый словарь русского языка. Т. 2. М.: Русские словари.

Улановский А. М. (2016). Феноменология разговора: метод конверсационного анализа // Вопросы психолингвистики. Т. 27. № 1. С. 218–237.

Федорова К. (2011). Общество: между всем и ничем // Хархордин О. В. (ред). От общественного к публичному. СПб.: ЕУСПб. С. 13–67.

Штомпка П. (2010). Визуальная социология: фотография как метод исследования / Пер. с польск. Н. В. Морозовой. М.: Логос.

Юдин Г. Б. (2013). Коллективное и индивидуальное в философской антропологии Э. Дюркгейма // Социологическое обозрение. Т. 12. № 2. С. 122–131.

Alexander J. (2006). Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy // Alexander J., Giesen B., Mast J. (eds.). Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual. New York: Cambridge University Press. P. 29–90.

Alexander J., Mast J. (2006) Introduction: Symbolic Action in Theory and Practice: The Cultural Pragmatics of Symbolic Action // Alexander J., Giesen B., Mast J. (eds.). Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual. New York: Cambridge University Press. P. 1–28.

Barbalet J. (1998). Emotion, Social Theory, and Social Structure: A Macrosociological Approach. New York: Cambridge University Press.

Collins R. (1981). On the Microfoundations of Macrosociology // American Journal of Sociology. Vol. 86. № 5. P. 984–1014.

Collins R. (1989). Towards a New-Median Sociology of Mind // Symbolic Interaction. Vol. 12. № 1. P. 1–32.

Collins R. (1993). Emotional Energy as the Common Denominator of Rational Action // Rationality and Society. Vol. 5. № 2. P. 203–220.

Collins R. (2004). Interaction Ritual Chains. Princeton University Press .

Dennis A., Philburn R., Smith G. (2013). Sociologies of Interaction. Oxford: Wiley.

Durkheim E. (1964). The Elementary Forms of the Religious Life. London: George Allen & Unwin.

Goffman E. (1961). Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction Gatherings. London: Penguin.

Goffman E. (1963). Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings. Glencoe: Free Press.

Goffman E. (1967). Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior. New York: Pantheon Books.

Hochschild A. R. (1979). Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure // American Journal of Sociology. Vol. 85. № 3. P. 551–575.

Kemper Th. D., Collins R. (1990). Dimensions of Microinteraction // American Journal of Sociology. Vol. 96. № 1. P. 32–68.

Rawls A. W. (1987). The Interaction Order Sui Generis: Goffman's Contribution to Social Theory // Sociological Theory. Vol. 5. № 2. P. 136–149.

*Rawls A.W. (2000). "Race" as an Interaction Order Phenomenon: W. E. B. Du Bois's "Double Consciousness" Thesis Revisited // Sociological Theory. Vol. 18. № 2. P. 241–274.*

*Rawls A.W. (2009). An Essay on Two Conceptions of Social Order // Journal of Classical Sociology. Vol. 9. № 4. P. 500–520.*

*Rawls A.W., Davis G. (2005). Accountably Other: Trust, Reciprocity and Exclusion in a Context of Situated Practice // Human Studies. Vol. 28. № 4. P. 469–497.*

*Scheff T. J. (1988). Shame and Conformity: The Deference-Emotion System // American Sociological Review. Vol. 53. № 3. P. 395–406.*

*Scheff T. J. (2000). Shame and the Social Bond: A Sociological Theory // Sociological Theory. Vol. 18. № 1. P. 84–99.*

*Summers-Effler E. (2002). The Micro Potential for Social Change: Emotion, Consciousness, and Social Movement // Sociological Theory. Vol. 20. № 1. P. 41–60.*

*Sztompka P. (2008). The Focus on Everyday Life: a New Turn in Sociology // European Review. Vol. 16. № 1. P. 23–37.*

*Turner J. H. (1998). A Theory of Social Interaction. Stanford University Press.*

*Turner J. H. (2002). Face to Face: Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior. Stanford: Stanford University Press.*

*Turner J. H. (2009). The Sociology of Emotions: Basic Theoretical Arguments // Emotion Review. Vol. 1. № 4. P. 340–354.*

*Turner J. H. (2010). The Stratification of Emotions: Some Preliminary Generalizations // Sociological Inquiry. Vol. 80. № 2. P. 168–199.*

## The Sociology of Social Intercourse in the Social Sciences

*Andrey Rezaev*

Dr. Sci. (Philos.), Chairperson of Comparative Sociology, St. Petersburg State University  
Address: Universitetskaya Naberejnaya, 7-9, Saint Petersburg, Russian Federation 199034  
E-mail: a.rezaev@spbu.ru

*Natalia Tregubova*

PhD in Sociology, Assistant Professor of Comparative Sociology Chair  
Address: Universitetskaya Naberejnaya, 7-9, Saint Petersburg, Russian Federation 199034  
E-mail: n.tregubova@spbu.ru

The paper aims to discuss the materials and outcomes of recently conducted research dealing with an analysis of the similarities and differences in current sociological theories exploring social inter-connection phenomena. The authors translate the term "*obschenie*" employed in Russian literature as "social intercourse". Four basic theoretical constructions are under scrutiny, those being Anne Rawls' interaction order theory, Randall Collins' interaction ritual chains theory, Jeffrey Alexander's theory of social performance, and Jonathan Turner's theory of interpersonal behavior.

The paper's point of departure is an idea that there is a line ascending from the sociological theory of human interactions to the tradition represented in social science by Durkheim and Goffman. The discussion opens with an attempt to depict and classify the realities of "social intercourse" occurrences, followed with an assessment of its basic characteristics. Having displayed analytical and conceptual problems that the phenomenon "social intercourse" generates for sociological theory, the paper turns to a comparative analysis of the four noted theoretical interpretations of interaction in society. The outcomes of such an analysis drive authors to present and explore the research dilemmas that configure current theoretical sociological analysis of "social intercourse". The closing part of the paper delineates the relations between the sociology of "social intercourse" with the sociology of everyday life and the sociology of emotions.

*Keywords:* sociological theory, social intercourse, social interaction, comparative analysis, Anne Rawls, Randall Collins, Jeffrey Alexander, Jonathan Turner

## References

Alexander J. (2006) *Cultural Pragmatics: Social Performance between Ritual and Strategy. Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual* (eds. J. Alexander, B. Giesen, J. Mast), New York: Cambridge University Press, pp. 29–90.

Alexander J., Mast J. (2006) Introduction: *Symbolic Action in Theory and Practice: The Cultural Pragmatics of Symbolic Action. Social Performance: Symbolic Action, Cultural Pragmatics and Ritual* (eds. J. Alexander, B. Giesen, J. Mast), New York: Cambridge University Press, pp. 1–28.

Alexander J., Smith Ph. (2010) *Sil'naja programma v kul'tursociologii* [Strong Program in Cultural Sociology]. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 2, pp. 11–30.

Andreeva G. (1988) *Social'naja psihologija* [Social Psychology], Moscow: MSU.

Barbalet J. (1998) *Emotion, Social Theory, and Social Structure: A Macrosociological Approach*, New York: Cambridge University Press.

Collins R. (1981) On the Microfoundations of Macrosociology. *American Journal of Sociology*, vol. 86, no 5, pp. 984–1014.

Collins R. (1989) Towards a New-Median Sociology of Mind. *Symbolic Interaction*, vol. 12, no 1, pp. 1–32.

Collins R. (1993) Emotional Energy as the Common Denominator of Rational Action. *Rationality and Society*, vol. 5, no 2, pp. 203–220.

Collins R. (2000) *Zolotoj vek makroistoricheskoy sociologii* [The Golden Age of Macro-Historical Sociology]. *Vremja mira: Al'manah. Vyp. 1: Istoricheskaja makrosociologija v XX veke* [The Time of the World, Vol. 1: Historical Macrosociology in the 20th Century], Novosibirsk: Sibirsky hronograf, pp. 72–89.

Collins R. (2002) *Sociologija filosofij: global'naja teorija intellektual'nogo izmenenija* [The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change], Novosibirsk, Sibirsky hronograf.

Collins R. (2004) *Interaction Ritual Chains*, Princeton: Princeton University Press.

Collins R. (2004) Programma teorii rituala interakcii [The Program of Interaction Ritual Theory]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 7, no 1, pp. 27–39.

Deeva M. (2010) Ot individual'nogo k razdeljaemomu affektu: postdurkheimianskaja tradicija v sociologii jemocij [From Individual to Shared Affect: Post-Durkheimian Tradition in the Sociology of Emotions]. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 2, pp. 134–154.

Dennis A., Philburn R., Smith G. (2013) *Sociologies of Interaction*, Oxford: Wiley.

Durkheim E. (1964) *The Elementary Forms of the Religious Life*, London: George Allen & Unwin.

Evgeneva A. (ed.) (1986) *Slovar' russkogo jazyka. T. 2* [Russian Dictionary, Vol. 2], Moscow: Russky jazyk.

Fedorova K. (2011) *Obshhestvo: mezhdu vsem i nichem* [Society: Between Everything and Nothing]. *Ot obshhestvennogo k publichnому* [From Communal to Public] (ed. O. Kharkhordin), Saint Peterburg: EUSPb, pp. 13–67.

Goffman E. (1961) *Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction Gatherings*, London: Penguin.

Goffman E. (1963) *Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings*, Glencoe: Free Press.

Goffman E. (1967) *Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior*, New York: Pantheon Books.

Goffman E. (2000) *Predstavlenie sebya drugim v povsednevnoj zhizni* [The Presentation of Self in Everyday Life], Moscow: Kanon-Press-C, Kuchkovo Pole.

Goffman E. (2002) *Porjadok vzaimodejstvija* [The Interaction Order]. *Teoreticheskaja sociologija. T. 2* [Theoretical Sociology, Vol. 2 (ed. S. Bankovskaya)], Moscow: Universitet, pp. 60–104.

Goffman E. (2009) *Ritual vzaimodejstvija: ocherki povedenija licom k licu* [Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior], Moscow: Smysl.

Hochschild A. R. (1979) Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. *American Journal of Sociology*, vol. 85, no 3, pp. 551–575.

Kemper Th. D., Collins R. (1990) Dimensions of Microinteraction. *American Journal of Sociology*, vol. 96, no 1, pp. 32–68.

Kurakin D. (2010) "Sil'naja programma" v kul'tursociologii: istoriko-sociologicheskie, teoreticheskie i metodologicheskie kommentarii [The Strong Program in Cultural Sociology: Commentaries on Theory, Methodology, and History]. *Russian Sociological Review*, vol. 9, no 2, pp. 155–178.

Maximova A. (2016) Ispol'zovanie video dlja izuchenija social'nogo vzaimodejstvija [The Use of Video for Studying Social Interaction]. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 3, pp. 91–120.

Ozhegov S. (ed.) (1987) *Slovar' russkogo jazyka* [Russian Dictionary], Moscow: Russky jazyk.

Prozorova Y. (2007) Teorija interaktivnyh ritualov R. Kollinza: ot mikrointerakcij k makrostrukture [R. Collins's Interaction Ritual Theory: From Microrituals to Macrostructure]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 10, no 1, pp. 57–73.

Rawls A. W. (1987) The Interaction Order Sui Generis: Goffman's Contribution to Social Theory. *Sociological Theory*, vol. 5, no 2, pp. 136–149.

Rawls A. W. (2005) Djurkgejmovskaja traktovka praktiki: al'ternativa konkretnyh praktik i predstavlenij kak osnovanij razuma [Durkheim's Treatment of Practice: Concrete Practice vs. Representations as the Foundation of Reason]. *Russian Sociological Review*, vol. 4, no 1, pp. 3–30.

Rawls A. W. (2014) Jepistemologija Djurkgejma: nezamechennyj argument [Durkheim's Epistemology: The Neglected Argument]. *Russian Sociological Review*, vol. 13, no 2, pp. 84–140.

Rawls A. W. (2000) "Race" as an Interaction Order Phenomenon: W. E. B. Du Bois's "Double Consciousness" Thesis Revisited. *Sociological Theory*, vol. 18, no 2, pp. 241–274.

Rawls A. W. (2009) An Essay on Two Conceptions of Social Order. *Journal of Classical Sociology*, vol. 9, no 4, pp. 500–520.

Rawls A. W., Davis G. (2005) Accountably Other: Trust, Reciprocity and Exclusion in a Context of Situated Practice. *Human Studies*, vol. 28, no 4, pp. 469–497.

Rezaev A. (1993) *Paradigmy obshchenija: vzgljad s pozicij social'noj filosofii* [Paradigms of Human Interaction: Social Philosophy's Point of View], Saint Petersburg: SPSU; Ivanovo: Polinform.

Rezaev A. (2002) Ob obshchenii, ego social'no-filosofskoj refleksii i vozmozhnostjah sociologii kommunikacii [On Social Intercourse, Its Reflections in Social Philosophy and on the Prospects of Sociology of Communication]. *Homo philosophans* [Homo philosopans] (ed. Y. Perov), Saint Petersburg: Saint Petersburg Society of Philosophy, pp. 375–395.

Rezaev A. (2015) Process obshchenija v ramkah jekzistencial'no-fenomenologicheskoy paradigm: smena issledovatel'skoj optiki [Reframing of "Social intercourse" ("Obschenie") through the Lens of Existential-Phenomenological Paradigm]. *Problems of Philosophy*, no 9, pp. 57–65.

Rezaev A., Tregubova N. (2015) Kommunikacija i obshchenie v sistemnoj teorii Niklasa Lumana [Communication and Intercourse in N. Luhmann's Systems Sociology]. *Sociological Studies*, no 11, pp. 148–155.

Rezaev A., Tregubova N. (2015) Neravenstvo i social'noe iskljuchenie v povsednevnom obshchenii: teoreticheskie osnovanija i sledstvija dlja social'noj politiki [Inequality and Social Exclusion in Everyday Social Intercourse: Theoretical Frames and Implication for Social Policy]. *Journal of Social Policy Studies*, no 2, pp. 181–154.

Rezaev A., Tregubova N. (2015) Sociologija obshchenija i sociologija kommunikacii: osnovanija razlichenija i "toчки rosta" v sovremennoj sociologicheskoy teorii [Sociology of Social Intercourse

and Sociology of Communication: Distinction and Vistas for the Theoretical Expansion]. *Monitoring of Public Opinion*, no 1, pp. 14–26.

Sacks H., Schegloff E. A., Jefferson G. (2015) Prostejshaja sistematika organizacii ocherednosti v razgovore [A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation]. *Russian Sociological Review*, vol. 14, no 1, pp. 142–202.

Simonova O. (2012) Aktual'nye tendencii v sovremennoj sociologii: otkrytie jemocional'nosti [Recent Trends in Contemporary Sociology [Contemporary Sociology to Contemporary Russia], Moscow: HSE, pp. 411–423.

Scheff T. J. (1988) Shame and Conformity: The Deference-Emotion System. *American Sociological Review*, vol. 53, no 3, pp. 395–406.

Scheff T. J. (2000). Shame and the Social Bond: A Sociological Theory. *Sociological Theory*, vol. 18, no 1, pp. 84–99.

Summers-Effler E. (2002) The Micro Potential for Social Change: Emotion, Consciousness, and Social Movement. *Sociological Theory*, vol. 20, no 1, pp. 41–60.

Sztompka P. (2008) The Focus on Everyday Life: a New Turn in Sociology. *European Review*, vol. 16, no 1, pp. 23–37.

Sztompka P. (2010) *Vizual'naja sociologija: fotografija kak metod issledovanija* [Visual Sociology: Photography as a Method of Research], Moscow: Logos.

Tregubova N. (2014) *Problema obshchenija v sovremennoj sociologicheskoj teorii* [The Problem of Social Intercourse in Contemporary Sociological Theory] (PhD thesis), Saint Petersburg: SPSU.

Turner J. H. (2009) The Sociology of Emotions: Basic Theoretical Arguments. *Emotion Review*, vol. 1, no 4, pp. 340–354.

Turner J. H. (1998) *A Theory of Social Interaction*, Stanford: Stanford University Press.

Turner J. H. (2002) *Face to Face: Toward a Sociological Theory of Interpersonal Behavior*, Stanford: Stanford University Press.

Turner J. H. (2010) The Stratification of Emotions: Some Preliminary Generalizations. *Sociological Inquiry*, vol. 80, no 2, pp. 168–199.

Turner V. (1983) *Ritual'nyj process: struktura i antistruktura* [The Ritual Process: Structure and Anti-Structure]. *Simvol i ritual* [Symbol and Ritual], Moscow: Nauka, pp. 104–264.

Ulanovsky A. (2016) Fenomenologija razgovora: metod konversacionnogo analiza [Phenomenology of Conversation: Method of Conversation Analysis]. *Issues of Psycholinguistics*, vol. 27, no 1, pp. 218–237.

Ushakov D. (ed.) (1994) *Tolkovyj slovar' russkogo jazyka. T. 2* [Dictionary of Russian Language, Vol. 2], Moscow: Russkie slovari.

Yudin G. (2013) Kollektivnoe i individual'noe v filosofskoj antropologii E. Djurkgejma [Collective and Individual in Durkheim's Philosophical Anthropology]. *Russian Sociological Review*, vol. 12, no 2, pp. 122–131.

# Сетевой подход: между топологиями пространства и формы<sup>\*</sup>

*Раиса Заякина*

Кандидат философских наук, доцент кафедры конституционного и международного права

Новосибирского государственного технического университета

Адрес: пр-т К. Маркса, д. 20, г. Новосибирск, Российская Федерация 630073

E-mail: [raisa\\_varygina@mail.ru](mailto:raisa_varygina@mail.ru)

*Марк Ромм*

Доктор философских наук, профессор, декан факультета гуманитарного образования

Новосибирского государственного технического университета

Адрес: пр-т К. Маркса, д. 20, г. Новосибирск, Российская Федерация 630073

E-mail: [mark.romm@gmail.com](mailto:mark.romm@gmail.com)

Статья посвящена теоретическому осмыслиению феномена социальной сети и методологии его исследования. Социальная сеть рассматривается как абстрактный идеально-типический конструкт, дающий возможность выйти на уровень предельного обобщения имеющихся знаний о сетях и разработать универсальные средства проведения аналитических операций с объектами сетевой природы. К таким средствам отнесен методологический аппарат социальной топологии. Установлены критерии демаркации системного и сетевого, системного и топологического подходов. С авторских позиций условного деления социальной топологии на топологию пространства и топологию формы, восходящего к трудам Курта Левина, Пьера Бурдье и Рене Тома, произведен анализ применения топологического инструментария в исследованиях основных направлений сетевого подхода: анализа социальных сетей, реляционной социологии, акторно-сетевой теории. Выяснено, что к использованию пространственной топологии с разной степенью активности тяготеют исследования анализа социальных сетей и реляционной социологии. Топология формы, в свою очередь, разрабатывается только в контексте акторно-сетевой теории, прежде всего в работах Джона Ло и его последователей. На основе сделанных путем аналитических операций выводов утверждается, что назрела необходимость разработки комплексной синтетической топологии, вмещающей в себя все количественно-качественные достижения отдельных топологических взглядов. Использование такого теоретико-методологического каркаса способно раскрыть в перспективе новые грани осмыслиения социальных сетей.

*Ключевые слова:* топология пространства, топология формы, синтетическая топология, анализ социальных сетей, реляционная социология, акторно-сетевая теория

---

© Заякина Р. А., 2017

© Ромм М. В., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: [10.17323/1728-192X-2017-2-163-179](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-2-163-179)

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-06-00087 «Социальная сеть: топологическая интерпретация социальной реальности».

Выше озер  
У лунных гор,  
И ниже Смерти сада  
Гони, гони  
Коня сквозь дни  
Увидеть Эльдорадо.

Эдгар Аллан По. «Эльдорадо»<sup>1</sup>

Эльдорадо жило своей особой жизнью: о нем носились всевозможные слухи, сообщалось в донесениях, рассказывалось в историях и мемуарах, но его нельзя было обнаружить на долготах и широтах.

Раймонд Рамсей. «Открытия, которых никогда не было»

Загадки, окружающие объекты сетевой природы, волновали, и, наверное, ещё долго будут волновать умы исследователей. Хотя бы потому, что, по-видимому, нет ничего более загадочно-многообещающего и вместе с тем неуловимо-манящего для новейшей социологии, чем всё многообразие сетевых процессов и феноменов. Принимая во внимание, сколь много копий уже сломано и сколько их, наверное, будет сломано в дальнейших попытках разобраться с сетевой проблематикой, складывающаяся ситуация может оцениваться как настоящее «социологическое Эльдорадо».

Не секрет, что сетевую конструкцию, состоящую из акторов и связей между ними, бесконечную череду реальных и потенциальных интеракций складывает, объединяет, структурирует не что иное, как пытливый исследовательский ум. Возникает вопрос: а существуют ли в явном виде в социальной реальности обсуждаемые сетевые объекты или социальная сеть (как мы ее понимаем) — это лишь порождение абстрактных «игр нашего разума» и, следовательно, правы те, кто утверждает, что в действительности «мы сами производим результат своего наблюдения»?<sup>2</sup> Может, и вправду, социальная сеть — только плод нашей в философском смысле спекулятивной интерпретации социальной реальности в понятиях и категориях сетевого дискурса?

Здесь принципиально важно ограничить существование социальной сети от ее сущности. Иными словами, понять, что именно мы способны познать о социальной сети непосредственно из своего опыта, а что, неявленное глазу, может быть открыто только с помощью понятий, выраженных и присвоенных нашим разумом. Исследуют ли различные направления сетевого подхода<sup>3</sup> всевозможные объекты или же, уподобившись слепым мудрецам из известной притчи, они ощущают

1. Среди многочисленных переводов этого знаменитого стихотворения нами выбран перевод В. Федорова.

2. Цит. по: Jammer, 1974: 161.

3. Имеются в виду: анализ социальных сетей (принятое мировым научным сообществом название — social network analysis, аббревиатура — SNA), акторно-сетевая теория (actor-network theory, аббревиатура — ANT), реляционная социология (relational sociology).

пывают всего лишь «различные части одного и того же слона»? Если допустить второе, то теоретико-языковое различие в исследовании сетей сводимо к тезису, что каждый думает и видит только то, во что верит, и каждый верит только себе.

Если допустить, что «слон» един, что может его объединять? Очевидна тривиальная констатация факта наличия множества интеракций, связывающих воедино все многообразие реальных и потенциальных сетевых акторов. Подобные сетевые взаимодействия обладают независимыми свойствами, характеристиками и особенностями, не обусловленными спецификой и обстоятельствами их наблюдения/изучения. Предположим, что в социальном мире всегда существует большая или меньшая вероятность возникновения таких связей, приводящих к формированию социальной сети. Но сама вероятность уже не принадлежит миру «здесь и сейчас», она есть категория фиксации возможности, ее наличия, а не разворачивания сюжета во времени.

Гипотетически представим, что время вообще изъято из нашего анализа, оно как бы не существует. Тогда перед нами раскроется картина всех допустимых комбинаций связей между сетевыми узлами, доступная мыслительному охвату только при условии полного учета возможных экзогенных и эндогенных влияний (в том числе и принципиально «непредсказуемой» субъектной и/или психологической активности акторов) на оформление потенциальных сетевых конфигураций. А сетевые узлы, в свою очередь, откроются собственными заглубленными конфигурациями, определяющими устойчивый порядок существования людей, вещей и социальных институтов.

Тогда социальная сеть — идеально-типический конструкт, не встречающийся в реальности как данность. Такой конструкт, «который служит исследователю в качестве своеобразного эталона, позволяющего установить как сходные черты, так и отклонения в конкретных исследуемых случаях» (Козер, 2013: 78). Построение подобного идеально-типического сетевого конструкта дает возможность выйти на уровень предельного обобщения имеющихся знаний о сетях, оперировать сетями как идеальными объектами в попытке найти новые категориальные смыслы и развить их до состояния устойчивой и непротиворечивой матрицы, неизменной в сущности при непрерывных деформациях в существовании. И, наконец, найти универсальные средства для проведения дальнейших аналитических операций с объектами сетевой природы. Вместе с тем если вернуть в центр анализа время, то можно наблюдать весь каталог разворачивающихся сетевых интеракций.

Сегодня исследовательские линзы и способы, привлекаемые в попытках разрешения обозначенных выше вопросов, не просто независимы, но и принципиально несводимы друг к другу, ибо изначально исходят из различных онтологических и, как следствие, теоретических оснований. Между тем, добравшись до этого воображаемого «месторождения», мы по-прежнему владеем довольно ограниченным набором инструментов, даже если пытаемся использовать их по-разному. А ведь одно из эффективных «приспособлений» осмысления и изучения социальных объектов сетевой природы (речь о социальной топологии) лежит на поверхности,

и, более того, «старатели» уже демонстрируют различные по результативности попытки его применения.

Прежде чем непосредственно приступить к исследованию степени привлечения топологического инструментария в рамках сетевого подхода, необходимо сделать весьма существенное отступление. А именно: произвести процедуру демаркации между системным, сетевым и собственно топологическим взглядом на социальные явления. Необходимость эта вызвана некоторой путаницей, сложившейся в современной социологии в связи с весьма широким пониманием шкалы применимости системного подхода. Очевидно, что в самом общем смысле любое исследовательское направление манифестирует системное мышление как «понимание феномена в контексте более обширного целого» (Капра, 2003: 44). Не вызывает сомнений и то, что системное мышление в таком понимании неизбежно и оправданно для социальных, в частности, сетевых исследований.

Желание «измерить» социальные феномены предполагает наличие действенных инструментов измерения. При этом мы вынуждены отталкиваться от особенностей измеряемого объекта, следовательно, «прибор» должен избираться в соответствии с его характеристиками. Если же мы не можем что-то увидеть, зафиксировать, описать — это вовсе не означает, что этого чего-то не существует или оно не обладает устойчивыми параметрами. В большинстве случаев претензии должны предъявляться именно к тому инструментарию, к тем фильтрам, посредством которых мы пытаемся производить научные операции. Когда они не релевантны сущностным характеристикам исследуемого, необходимо искать или изобретать другие, более эффективные. Говоря об особой, сетевой призме исследований, мы имеем в виду — в социально-философском смысле — поиск новых действенных способов описания объектов социальной реальности. Посредством их использования и формируется уникальная сетевая картина мира, уже не отсекаемая пресловутым лезвием Оккама.

Какие же связи, свойства, отношения позволяет, в отличие от системного, выявить сетевой подход? Прежде всего, и системный, и сетевой инструментарии опираются на связанность социальных единиц. Однако связи системы суть связки ее структурных элементов, сами же элементы, представляя собой системную совокупность, — первичны. Тогда как для сети важны взаимоотношения и их наполненность потоками (часто для иллюстрации этой идеи используются образы дорог, труб, кровеносной системы организма) — и здесь уже первичны связи. Отсюда вытекают иерархические различия: в сетевом контексте стираются системные уровни подчинения акторов. Сама структура подчинения/соподчинения более не образует смыслов, ибо условно структуроподобная форма сети принципиально неделима на уровни. Конечно, можно рассуждать о том, что есть акторы «ведущие» и «ведомые», «родительские» и «дочерние» узлы (вспомним, например, устоявшуюся в анализе социальных сетей концепцию «ядро—периферия»). Фиксируются значимые участники, генерирующие информацию кластеры, сетевые «точки-коннекторы». Собственно, этот перечень может быть продолжен... глав-

ное «но»: сетевая форма формируется за счет них, но не держится на/за них. В случае изъятия актора сеть находит его адекватную замену, то есть переформатируется, сохраняя общую целостность, телеологические, аксиологические и семантические векторы. Если же качественно нарушить связи, то свойства сетевого потока могут существенно измениться, в самом крайнем случае — сеть разрушается.

Что действительно роднит сетевой и системный взгляды — так это то, что оба они призваны найти общие закономерности функционирования исследуемых объектов. Но это — не более и не менее чем высшая идея и первейшее предназначение всякого научного труда. Любые же попытки обнаружить заимствования сетевого подхода в понимании системной структуры обречены на провал: сетевая структурность нагружена совершенно иными смыслами и коннотациями. Системообразованный «шок» и несомненный прорыв — открытие эмерджентных свойств объекта — рассматривается теперь базовым аналитическим основанием, само собой разумеющимся, неотъемлемым атрибутом любого сетевого феномена. Примы в сетевом театре — рекурсивность информационного взаимодействия и устойчивость протекания обменных процессов любого типа. Они по факту «формируют труппу», они, если так можно выразиться, «благоволят сетевым акторам», собирая их воедино.

Рассмотрим теперь соотношение системного и топологического видения социальных феноменов. Довольно широко распространено мнение, что употребление понятия «топологическое моделирование» оправданно при выстраивании неких сложных синтетических конструктов, обладающих характеристиками пространства и формы, вбирающих в себя материальные и экзистенциальные компоненты. Такое понимание дает исследователю социального как бы отправную точку, затверждая дальнейшее применение своеобразного топологического языка. И вот уже появляются в текстах «топосы» и «локусы», представляющие, по сути, устойчивые формы организации системы и ее структуры (Симонова, 2010: 93; Сущий, 2011: 42; Каменский, 2015: 87–88). Приведем наглядный пример таких рассуждений: «Основываясь на данной установке, мы можем мыслить пространство среды обитания человека в терминах системы, структуры, иерархичности, многомерности и их изменчивости во времени, отражая все это схематически в наиболее общих топологических моделях. Основным здесь будет иллюстрация устойчивых форм организации многомерного пространства среды обитания человека, включающего физические, биологические, социальные, культурные и иные характеристики, описанием которых занимаются достаточно далекие друг от друга отраслевые науки» (Каменский, 2015: 86).

Фактически употребление термина «топология» оправдывается здесь наличием разнородных характеристик объекта, отсылающих автора к условной мультидисциплинарности, и является своеобразным способом описания системы. Нужен ли такой способ, если социология и так может похвальиться детально разработанными познавательными принципами системного подхода? Зачем дополнительно вводить чужеродный для него инструмент? Оставим приведённую цитату без даль-

нейших комментариев, ибо она сама достаточно полно говорит за себя. Заметим при этом лишь то, что системное мышление в самом широком понимании, столь прочно обосновавшееся в исследованиях социального и столь явно прослеживающееся в приведенном примере, является сегодня своего рода трюизмом. Однако системный и топологический языки — столь же принципиально различные эпистемологические линзы, сколь и системное структурирование и топологическое моделирование — принципиально обособленные, независимые друг от друга методологические инструменты.

Теоретический генезис социальной топологии — тема отдельного развернутого исследования, здесь же обозначим лишь важнейшие отправные точки. Аналитически выделяются две основные ветви, восходящие к математическому языку теоретико-множественной (общей) и алгебраической (комбинаторной) топологий. В основе первой лежит идея Георга Кантора, утвердившаяся как «теория множеств». Интерес второй сводится к возможности разбиения пространственного комплекса (одномерных и многомерных образований) на конечное число симплексов (простейших элементов) и изучение их поведения под влиянием различных операций (наглядные процедуры таких мыслительных деформационных преобразований: растягивание и сжатие фигур). В социологическом преломлении топология развернулась, с одной стороны, как механизм, структурирующий социальное пространство, с другой же — как инструмент, исследующий сложноустроенный социальный объект, лежащий в области пространства-времени с точки зрения устойчивости/неустойчивости его формы.

Первоисточником пространственного топологического дискурса в социально-гуманитарных науках можно считать работу Курта Левина «Принципы топологической психологии» (Lewin, 1936). Разрабатывая основанную на элементарных понятиях точных наук теорию психологического поля, автор столкнулся с необходимостью введения терминологии, структурирующей пространство. Осмыслия свое научное творчество, он подчеркивал: «Первое условие для научного представления психологического поля — это нахождение геометрии, подходящей для того, чтобы представлять пространственные отношения психологических фактов» (Левин, 2000: 47). Необходимой геометрией стал для него язык физических, гедологических<sup>4</sup>, топологических и векторных понятий. На его основе был выстроен дефинитив категорий<sup>5</sup> и метод графического наглядно-пространственного изображения взаимодействия индивида с его окружением. Человек же мыслился как замкнутая, обособленная фигура, погруженная в непсихологический мир и связанная с ним взаимодействиями.

4. Гедологическое пространство — это психологическая реальность, заключающая в себе все события прошлого, настоящего и будущего, которые могут повлиять на нашу жизнь.

5. Психологическое поле, названное впоследствии более емким понятием «жизненное пространство»; регионы и границы; локомоции; валентность и напряжение. В качестве ключевых принципов теории Курта Левина выступают принципы связанности, одновременности и конкретности.

Собственно для социологии ключевым интерпретатором топологии пространства стал Пьер Бурдье. Для топологического контекста особо значимо его понимание феномена социального поля, представляющее своеобразное пространство позиций, определяемых через многомерную систему координат, коррелирующих с различными переменными (Бурдье, 2007: 16). При этом позиция или попросту размещение социального агента предполагает как конкретное географическое нахождение, так и его место в социальной иерархии. Легко заметить, что речь здесь фактически идёт о социальных формах, существующих в пространстве, и о законах измерения их соотношений. Однако въедливый читатель вправе задаться вопросом: а при чём здесь топология? Ведь если уж и проводить аналогию с математическими разделами, то вполне очевидно, что такому пониманию наиболее близка геометрия. В действительности ответ прост. Геометрия хороша и прекрасно подходит для понимания твердых тел. Однозначно говорит об этом Анри Пуанкаре: «Если бы не было твердых тел в природе, не было бы и геометрии» (Пуанкаре, 1990: 58). «Социальное тело», грубо говоря, начисто лишено геометрических характеристик. Топология же использует совершенно иной язык и уникальные аналитические инструменты, занимаясь свойствами, «более общими по сравнению с геометрическими свойствами предметов, но с другой стороны, и более тонкими» (Искерьдо, 2015: 33). Однако топология математическая оперирует особым инструментарием<sup>6</sup>, рассматривая общие свойства топологических пространств и деформации пространственных форм при их непрерывности. Социальная же топология в ее чистом пространственном понимании, не проникая в этот особый матаппарат и не исследуя собственно топологические свойства объекта, все же тяготеет скорее к классической геометрии.

Спрашивается, а так ли уж нужна подобная экстраполяция и что она может дать социологической теории и методологии? Установлено, что первые и наиболее систематизированные попытки переноса достижений математической топологии в нематематические области (точнее, в биологию и лингвистику) были предприняты ещё в прошлом веке Рене Томом (Том, 2002; Том, 1975). Автор и основоположник особого математического раздела — теории катастроф — выделил модели биологических форм и морфологии-архетипы, наделив их внутренней размерностью, позволяющей мыслить заданные объекты как топологические пространства и производить с ними аналитические операции, основанные на фигуральности, эквивалентности и изоморфных процессах, используя язык пространственной деформации форм. Эти изыскания указали возможный путь разрешения общефилософских проблем качественной оценки объектов сложной, неоднородной природы. К таковым, кроме прочих, относятся и социологические объекты, в частности социальные сети...

Заметим, что в современной социологии, однако, господствует топология в традиции Левина—Бурдье. В первую очередь данное замечание касается исследо-

6. Через понятия топологического множества, его плотности и окрестности, гомологии, гомеоморфизма, гомотопии и пр.

ваний, относящихся к анализу социальных сетей и использующих топологический язык для подчеркивания контекста пространственных соотношений позиций акторов и сетевых структурных образований. Топология предстает здесь скорее как синоним способа описания сетевой конфигурации в качестве целого или, в самом простом варианте, для анализа и визуализации схемы расположения и соединения акторов посредством представления «топологической карты».

Подчеркнём, что зачастую топология воспринимается приверженцами SNA как социальная география или даже, чтобы акцентировать саму методику «съемки» социального пространства и «изобразительность» этой процедуры, — как социальная топография. Подобное видение особенно наглядно демонстрируется, например, при «картировании» взаимосвязей между инновациями, распространением знаний и рабочей мобильностью в социально-сетевых структурах (Beyhan, 2011); при выделении демографических признаков посредством анализа схем использования мобильных телефонов (Sarraute et al., 2015); при поиске с помощью метода моделирования дополнительных сетевых возможностей (Zeng, Sheng, Yao, 2015); при изучении механизмов сетевой природы, благодаря которым культурные алгоритмы могут распространять своё влияние на популяцию (Ali et al., 2012) и т. п.

Однако было бы явным заблуждением считать, что топологические изыскания приверженцев анализа социальных сетей неплодотворны. Представляют интерес, например, методологические разработки, направленные на топологическое осмысление аналитического инструментария. Так, с опорой на пространственную топологию существенно переработаны и детально проанализированы процедуры агентного моделирования — методологического приема, основывающегося на построении структуры взаимодействий между агентами (при этом агенты имеют ключевое, решающее значение). Топология сети, которая возникает в результате этого, впрямую зависит от локальных взаимодействий агентов. «Стандартные протоколы взаимодействия производят стилизованные топологии сети. Мой ближайшей целью является анализ этих топологий, производимый с помощью последних достижений в области социально-сетевого статистического моделирования, достижений, собранных под обобщенным названием „экспонентные модели случайных графов“» — так определяет свою работу один из мэтров SNA (Skvoretz, 2003: 47). Справедливости ради необходимо сказать, что подобные примеры методологических штудий скорее исключение, чем правило.

По большому счету, представители SNA остаются неизменно верны себе, не пытаясь «перешагнуть» границы годами сложившихся техник анализа социальных сетей. В самом общем виде топология остается для них объемной пространственной метафорой, исследования же сетей по-прежнему покоятся на систематически собираемых эмпирических материалах, инструментальном использовании продвинутых техник визуализации (посредством представления сети как множества вершин и ребер), применении математического моделирования (прежде всего для прогнозирования возможных сетевых процессов). Иначе говоря, используя коли-

чественные методы, позволяющие добиваться преемственности данных, adeptы SNA создают описательные, графические и математические структуры, способные в упрощенной, наглядной форме воспроизводить фрагменты бытия социальных сетей.

Вероятно, общее отсутствие интереса к теоретической проработанности топологического ракурса вызвано тем, что SNA обладает своим, уникальным и разветвленным математическим аппаратом, который продуктивно справляется с конкретным классом задач. Топологические же метафоры привлекаются для иллюстрации, как правило, прикладных политических, экономических и социальных проблем. Примером может служить простой тематический обзор международной конференции под эгидой INSNA, собравшей приверженцев анализа социальных сетей в тридцать шестой раз в апреле 2016 года<sup>7</sup>. В топологическом фокусе оказались: коррупция в высших полицейских эшелонах; передача и принятие информации через социальные массмедиа; политическая деятельность онлайн-СМИ при подготовке референдума; влияние сетей корпораций на активность акционеров; гибкость командования в условиях соперничества; природа лидерства и многое другое. При этом ни один из теоретико-методологических вопросов применения топологии в качестве инструмента исследования рассмотрен не был.

Переходя к анализу топологических воззрений реляционной социологии, заметим, что приверженцы данного исследовательского направления, напротив, пытаются систематизировать существующие в науке приемы формализации социальных процессов, отводя при этом топологии особое место. Так, в одной из своих поздних работ Чарльз Тилли призывает социологов и историков преодолевать ложную дилемму между качественным и количественным исследованием. Он указывает на важные отношения, связывающие количественные и качественные социологические данные: от прямого к аналогичному представлению доказательств и от численного к топологическому соответству. Численному представлению соответствует метод моделирования, топологическому — схематизация. При этом топология представляется традиционно как пространственная. Вот как Тилли характеризует численно-топологический вектор: «от использования точных числовых представлений до определения пространственных отношений между элементами» (Tilly, 2004: 599).

Восприятие топологии исключительно с пространственных позиций для приверженцев реляционного направления весьма закономерно: достаточно вспомнить, что между ними и сторонниками анализа социальных сетей по-прежнему существует незримая связь, уходящая корнями в саму историю возникновения в недрах реляционной социологии интереса к сетевым исследованиям<sup>8</sup>. Сам же

7. XXXVI International Sunbelt Social Network Conference (INSNA, Newport Beach, April 5–10, 2016).

8. Сторонников анализа социальных сетей и реляционной социологии соединяют прочные теоретико-методологические мосты. Так, некоторые представители реляционного направления стояли у основ SNA. Кроме того, сетевые изыскания в реляционном ключе — довольно молодое течение (устойчиво фиксируется с 90-х гг. прошлого века), находящееся на этапе становления.

Тилли видит топологический метод как построение диаграмм или графиков расположения соединительных линий, указывающих на пространственные характеристики «близости, одновременности, сходства или причинно-следственных связей» социальных объектов. Итогом таких операций служат пространственные карты, отображающие расположение элементов, их взаимодействия и изменения в масштабах исследуемого феномена (Tilly, 2004: 599). Естественно, этот метод определяется автором как количественный инструмент SNA, ведь он напрямую связан с построением графов<sup>9</sup>.

Реляционная же социология (само Тилли в полной мере имеет к ней отношение) при исследовании сетей, напротив, предпочитает качественные методы. Это продиктовано прежде всего определяющей ролью в них языка, интерактивных дискурсов и нарративов (Fuhse, Mütsel, 2011). Однако исключительно качественная методология для социологии — скорее идеал. На это недвусмысленно обращал внимание еще Мустафа Эмирбайер, вскрывая в своем «Манифесте» методологические проблемы реляционной социологии (Emirbayer, 1997). Спустя более десяти лет после выхода статьи Тилли приверженцами данного направления предложен смешанный количественно-качественный подход к исследованию социальных сетей. Он основан на заимствовании методов смежных теоретических направлений и представлен в работе Ника Кроссли и Джеммы Эдвардс.

Обосновывая такое заимствование, авторы пишут: «Методы могут иметь ограничения в том, чего они могут достичь, но один и тот же метод может быть использован информативно и в соответствии с целым рядом различных теорий, а исследователи могут творчески мыслить о границах используемых методов. Ключом являются не методы, но то, как они понимаются и применяются» (Crossley, Edwards, 2016). Как же исследователи будут их применять и удастся ли им преодолеть количественное поименование сетевых связей и маркирование сетевых положений — это пока открытый вопрос. Очевидно лишь то, что топологии в строящемся методологическом каркасе будет отведено определенное и, по всей видимости, не последнее место. И, возможно, со временем интуиция иного топологического пути оформится в особый теоретический дискурс.

Сегодня же топологические модели если и строятся в недрах реляционной социологии, то пространственно-описательные, максимально удаленные от схематизма и картографичности SNA. Целью таких реляционных построений является воссоздание механизмов социальной мобилизации и самоорганизации сетей<sup>10</sup>. Отметим, что в целом указанное направление сетевого подхода проявляет сегодня к социально-топологическому инструментарию слабый интерес.

9. Началом зарождения топологического взгляда как отдельного направления математической мысли является работа Иоганна Бенедикта Листинга, датируемая 1847 г. (Листинг, 1932). Удивительная метаморфоза произошла в социологии: ведь в отличие от геометрии как количественной науки о пространственных образах топология задумывалась Листингом как наука качественная.

10. Например, для защиты от неопределенности. Подобные возможности реляционного анализа наглядно развернуты Харрисоном Уайтом в его книге «Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production» (White, 2002).

Совсем иначе топология развивается в русле акторно-сетевой теории. Наиболее строгой и новаторской топологической концепцией следует признать концепцию Джона Ло. По словам исследователя, основная цель его работы — это «денатурализация сетевого пространства и сетевых объектов как созданных, производных и фокусировок на топологически множественных объектах, существующих в качестве пересечений или точек интерференции различных пространств — регионов, сетей и потоков» (Ло, 2006: 241). Впервые демонстрируется топологическое осмысление различных форм пространственности, от которых в конечном счете зависит гомеоморфность объектов (Вахштайн, 2006: 27–28), что близко подводит к топологии социальных форм, заданной Рене Томом.

Раздвигая описанный выше пространственно-топологический способ мышления, Ло определяет сетевую пространственность посредством мыслительного пересечения различных пространственных систем. Происходит концептуализация не объектов в пространстве, а «пространственных объектов», онтологически возможных только благодаря устойчивым и неразрывным связям как внутри себя, так и с другими объектами. Само производство объектов имеет пространственные следствия, а использование оформленных объектов — пространственные возможности (Вахштайн, 2014: 25–26). Эта посылка дает основание и закладывает теоретико-онтологический фундамент не только в развитие топологии формы, но и в разработку совершенно нового, синтетического подхода, органично вбирающего в себя оба топологических направления.

Постулируя существование объекта в пространственной множественности (выделяются пространства регионов, сетей и потоков), Ло выводит на первый план категорию изменчивости. Так, имея возможность передвижения в пространстве регионов, объект неизменен в пространстве сетей и с необходимостью изменчив в пространстве потоков (Вахштайн, 2006: 27–28). При этом пространство регионов (единственное существующее в евклидовом пространстве) не имеет никакого примата, более того, зачастую оно само формируется за счет сетей и потоков.

Любой сетевой объект сохраняет свою гомеоморфность, только если внутрисетевые отношения устойчивы. Рассмотрим эту мысль на примере коренного населения Австралии, приводимом Ло. Формальным поводом изгнания аборигенов европейцами послужило то, что они никогда не возделывали, но и не разоряли свои земли. Можно сказать, что они просто там «были», следовательно, эти земли можно было считать пустыми. Но мир аборигена был устроен иначе и основывался на особой космологии, которая не определяла землю как пространство, присвоенное людьми. Люди, растения, животные, ритуалы, тотемы и в конечном счете сама земля — все это выступало как объективная данность, равнозначные участники процесса непрерывного созидания (Law, 2011). Такой слаженный ансамбль отношений способствовал сетевому единству объекта, названного «аборигенами». И любые переделки, иерархический отбор или изъятие частей целого привел бы к

рассогласованию законов существования и в конце концов к разрушению самого объекта, что и произошло.

Между тем существует и совсем иное пространство, названное пространством потоков. Lo объясняет его на широко растиражированном впоследствии примере зимбабвийского втулочного насоса как феномена нестабильной техники<sup>11</sup>. Главная мысль заключается в невозможности существования объекта без множества сопутствующих условий, основным из которых является его способность к постоянным трансформациям. Такая онтологическая «нефиксированность» выступает синонимом эффективности, а постоянная изменчивость — синонимом гомеоморфности. «Его текучесть, способность изменять форму и переделывать свой контекст оказываются ключом к его успеху» (Lo, 2015: 170). Кроме того, техническое сооружение, в действительности постоянно управляя действиями людей, выступает в роли инструмента социальной инженерии.

Потоки способны к столкновениям, постепенно формируя сети и регионы. Так на основе Всемирных выставок XIX века происходило формирование «пространства знания». «Неисчислимое множество разноприродных объектов (актантов): экспонаты, люди, идеи, практики, социальные институты, документы — все они создавали хрупкую и подвижную вселенную Всемирных выставок... Выставки рождались столкновением многочисленных потоков, постепенно формировавших сети и, наконец, регионы, оставшиеся в памяти людей в качестве одного из главных символов XIX века» (Руденко, 2012: 47).

Таким образом, через понимание множества пространств существования социальный объект обретает внутреннюю размерность. Размерность же, в свою очередь, указывает на конституирование символической социальной формы. И топология перестает быть пространственной, представая как способ понимания деформаций этих форм, их моделей и изменчивостей. Конечно, выбор средств топологической интерпретации сетевого объекта неразрывно связан с нашими представлениями о его онтологических характеристиках и является следствием символической «договоренности» исследователей внутри описываемых направлений сетевого подхода по ключевым теоретико-методологическим вопросам. И то, что именно в традиции акторно-сетевой теории зародилась и развивается социальная топология сетевой формы, во многом проистекает из контекстов специфической онтологии ANT и принадлежащих ей методологических процедур прослеживания социальных связей (так называемых «сборок»).

Можно ли расширить общие топологические представления всех направлений сетевого подхода и создать единый действенный исследовательский инструмент, вбирающий в себя ключевые наработки и топологии пространства, и топологии

11. Насос изготавливается в виде комплекта, который будет установлен только после того, как будущими потребителями воды проведены земельные и технологические работы по его установке. Кроме того, предполагается, что жители будут постоянно обслуживать насос, следить за его исправностью и приспосабливать к особенностям местности, погодным условиям и степени амортизации. Фактически сельчане должны организоваться в коллектив и взять на себя ответственность за установку и полное последующее техническое обслуживание насоса.

формы? Да, и путь преодоления противоречий ясен: он лежит через переосмысление наших взглядов на сеть как чисто эмпирический объект и признание его конструктивной идеально-типической природы. Дальнейшее же выстраивание сетевых конструктов с необходимостью предполагает привлечение математического аппарата классической топологии, столь тщательно обходимого сегодня социологами. Однако разработка такого синтетического топологического инструмента — особая задача, реализовать которую нам еще предстоит.

Что же до аллегории слона, то нам еще предстоит не только увидеть его целиком, но и приручить, чтобы торжественно въехать на богатые земли Эльдорадо. Сетевому подходу осталось сделать лишь шаг и освободить исследовательскую интуицию от пределов, задаваемых оформленными внутри него направлениями. Шаг этот сложный и даже болезненный, но он нужен для понимания, что сети могут подчиняться общим топологическим правилам и что «эти схемы в действительности не зависят от конфигурационных пространств, в которых они рассматриваются» (Том, 2002: 13). И тогда наше символическое сетевое Эльдорадо обретет осязаемую территорию, возможно, перестав быть туманной грезой «старателей от социологии» и открыв свои «кладовые и шахты» для «промышленной золотодобычи».

## Литература

Бурдье П. (2007). Социология социального пространства / Пер. с франц. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя.

Вахштайн В. С. (2006). Джон Ло: социология между семиотикой и топологией // Социологическое обозрение. Т. 5. № 1. С. 24–29.

Вахштайн В. С. (2014). Пересборка города: между языком и пространством // Социология власти. № 2. С. 9–38.

Искьердо А. Т. П. (2015). Математика теряет форму. Пуанкаре. Топология // Наука. Величайшие теории. Вып. 43. М.: Де Агостини.

Каменский Е. Г. (2015). Актуализация топологического подхода в социогуманитарном знании // Социоантропологические ресурсы трансдисциплинарных исследований в контексте инновационной цивилизации / Под ред. И. А. Асеевой. Курск: Университетская книга. С. 86–92.

Капра Ф. (2003). Паутина жизни: новое научное понимание живых систем / Пер. с англ. В. Г. Трилиса. К.: София.

Козер Л. А. (2013). Мастера социологической мысли: идеи в историческом и социальном контексте / Пер. с англ. Т. И. Шумилиной. СПб.: Нестор-История.

Левин К. (2000). Теория поля в социальных науках / Пер. с англ. Е. Сурпина. СПб: Речь.

Листинг И. Б. (1932). Предварительные исследования по топологии / Пер. с нем. Э. Кольмана. М., Л.: ОНТИ.

Ло Дж. (2006). Объекты и пространства / Пер. с англ. В. С. Вахштайна // Социология вещей / Под ред. В. С. Вахштайна. М.: Территория будущего. С. 233–244.

Ло Дж. (2015). После метода: беспорядок и социальная наука / Пер. с англ. С. М. Гавриленко. М.: Изд-во Института Гайдара.

Пуанкаре А. (1990). О науке / Пер. с франц. Л.С. Понtryгина. М.: Наука.

Руденко Н. И. (2012). Сети, знание и реальность: проблематика социальной топологии в концепции Джона Ло // Социология власти. № 6–7. С. 38–51.

Симонова И. А. (2010). От культурного многообразия к межкультурному диалогу: социальная топология субкультурных сообществ // Образование и наука. Известия УрО РАО. № 10. С. 88–99.

Суший Е. В. (2011). Социальная топология государственности: теоретико-методологический аспект // Вестник РГГУ. Политология: Социально-коммуникативные науки. № 1. С. 39–49.

Том Р. (1975). Топология и лингвистика / Пер. с франц. Ю. И. Манина // Успехи математических наук. Т. 30. № 1. С. 199–221.

Том Р. (2002). Структурная устойчивость и морфогенез / Пер. с франц. Е. Г. Борисовой, А. Родина. М.: Логос.

Ali M. Z., Salhieh A., Snanieh R. T., Reynolds R. G. (2012). Boosting Cultural Algorithms with a Heterogeneous Layered Social Fabric Influence Function // Computational and Mathematical Organization Theory. Vol. 18. № 2. P. 193–210.

Beyhan B. (2011). Inter-Firm Social Networks Created by Mobile Laborers: A Case Study on Siteler in Ankara. URL: <https://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume12/Beyhan.pdf> (дата доступа: 15.01.2017).

Crossley N., Edwards G. (2016). Cases, Mechanisms and the Real: The Theory and Methodology of Mixed-Method Social Network Analysis. URL: <http://www.socresonline.org.uk/21/2/13.html> (дата доступа: 29.09.2016).

Emirbayer M. (1997). Manifesto for a Relational Sociology // American Journal of Sociology. Vol. 103. № 2. P. 281–317.

Fuhse J., Mützel S. (2011). Tackling Connections, Structure, and Meaning in Networks: Quantitative and Qualitative Methods in Sociological Network Research // Quality & Quantity. Vol. 45. № 5. P. 1067–1089.

Jammer M. (1974). The Philosophy of Quantum Mechanics: The Interpretations of Quantum Mechanics in Historical Perspective. New York: Wiley.

Lewin K. (1936). Principles of Topological Psychology. New York: McGraw-Hill.

Law J. (2011). What's Wrong with a One-World World. URL: <http://www.heterogeneities.net/publications/Law2011WhatsWrongWithAOneWorldWorld.pdf> (дата доступа: 17.01.2017).

Sarraute C., Brea J., Burroni J., Blanc P. (2015). Inference of Demographic Attributes Based on Mobile Phone Usage Patterns and Social Network Topology. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007/s13278-015-0277-x> (дата доступа: 10.01.2017).

Skvoretz J. (2003). Complexity Theory and Models for Social Networks // Complexity. Vol. 8. № 1. P. 47–55.

*Tilly Ch.* (2004). Observations of Social Processes and Their Formal Representations // *Sociological Theory*. Vol. 22. № 4. P. 595–602.

*White H.* (2002) Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production. Princeton: Princeton University Press.

*Zeng R., Sheng Q. Z., Yao L.* (2015). A Simulation Method for Social Networks. URL: <http://link.springer.com/article/10.1007/s13278-015-0246-4> (дата доступа: 13.01.2017).

## Network Approach: Between Topologies of Space and Form

*Raisa Zayakina*

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Department of Constitutional and International Law, Novosibirsk State Technical University.

Address: Karl Marx Av., 20, Novosibirsk, Russian Federation 630073

E-mail: [raisa\\_varygina@mail.ru](mailto:raisa_varygina@mail.ru)

*Mark Romm*

Doctor of Philosophy, Professor, Dean of the Faculty of Humanities, Novosibirsk State Technical University

Address: Karl Marx Av., 20, Novosibirsk, Russian Federation 630073

E-mail: [mark.romm@gmail.com](mailto:mark.romm@gmail.com)

This article is devoted to the theoretical understanding of the social network phenomenon and the methodology of its research. A social network is considered as an abstract, ideal-typical construct which makes it possible to get to the level of extreme generalization of already-existing knowledge concerning networks, and to develop the universal tools of conducting analytical operations with the objects exhibiting network characteristics. The methodology of social topology can be referred to with these tools. The criteria of demarcating the systematic and network approach from the systematic and topological approach have been defined. The application of the topological tools of social network analysis, relational sociology, and actor-network theory in studying the main branches of network approach was analyzed from the authors' positions concerning the conditional division of social topology into the topology of space and the topology of form based on the works of Rene Thom, Kurt Levin, and Pierre Bourdieu. It has been discovered that the research of social network analysis and relational sociology makes use of spatial topology at different rates. The topology of form, in its turn, is developed only in the context of the actor-network theory, first of all, in the works of John Law and his followers. The conclusions made on the basis of analytical operations prove that there is an urgent need to develop the complex synthetic topology involving all quantitative and qualitative achievements made by those separate researchers who deal with topology. Eventually, the use of this theoretical and methodological framework can reveal new facets of understanding social networks.

*Keywords:* topology of space, topology of form, synthetic topology, social network analysis, relational sociology, actor-network theory

## References

Ali M. Z., Salhieh A., Snameh R. T., Reynolds R. G. (2012) Boosting Cultural Algorithms with a Heterogeneous Layered Social Fabric Influence Function. *Computational and Mathematical Organization Theory*, vol. 18, no 2, pp. 193–210.

Beyhan B. (2011) Inter-Firm Social Networks Created by Mobile Laborers: A Case Study on Siteler in Ankara. Available at: <https://www.cmu.edu/joss/content/articles/volume12/Beyhan.pdf> (accessed 15 January 2017).

Bourdieu P. (2007) *Sociologija social'nogo prostranstva* [Sociology of Social Space], Saint Petersburg, Aleteija.

Crossley N., Edwards G. (2016) Cases, Mechanisms and the Real: The Theory and Methodology of Mixed-Method Social Network Analysis. Available at: <http://www.socresonline.org.uk/21/2/13.html> (accessed 29 September 2016).

Emirbayer M. (1997) Manifesto for a Relational Sociology. *American Journal of Sociology*, vol. 103, no 2, pp. 281–317.

Fuhse J., Mützel S. (2011) Tackling Connections, Structure, and Meaning in Networks: Quantitative and Qualitative Methods in Sociological Network Research. *Quality & Quantity*, vol. 45, no 5, pp. 1067–1089.

Izquierdo A. (2015) Matematika terjaet formu. Puankare. Topologija [Mathematics Loses Its Shape. Poincare. Topology]. *Nauka: velichajshie teorii. Vyp. 43* [Science: The Greatest Theories, Vol. 43], Moscow: De Agostini.

Jammer M. (1974) *The Philosophy of Quantum Mechanics: The Interpretations of Quantum Mechanics in Historical Perspective*, New York: Wiley.

Kamensky E. (2015) Aktualizacija topologicheskogo podhoda v sociogumanitarnom znanii [Actualization of the Topological Approach in Sociohumanitarian Knowledge]. *Socio-antropologicheskie resursy transdisciplinarnyh issledovanij v kontekste innovacionnoj civilizacii* [Socioanthropological Resources for the Transdisciplinary Research in the Context of Innovative Civilization] (ed. I. Aseeva), Kursk: Universitetskaya kniga, pp. 86–92.

Kapra F. (2003) *Pautina zhizni: novoe nauchnoe ponimanie zhivyh sistem* [The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems], Moscow: Sofija.

Koser L. (2013) *Mastera sociologicheskoy mysli: idei v istoricheskom i social'nom kontekste* [Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context], Saint Petersburg: Nestor-Istorija.

Law J. (2006) Objekty i prostranstva [Objects and Spaces]. *Sociologija veshhej* [Sociology of Things] (eds. V. Vakhshtain), Moscow: Territorija budushhego.

Law J. (2011) What's Wrong with a One-World World. Available at: <http://www.heterogeneities.net/publications/Law2011WhatsWrongWithAOneWorldWorld.pdf> (accessed 17 January 2017).

Law J. (2015) Posle metoda: besporjadok i social'naja nauka [After Method: Mess in Social Science Research], Moscow, Gaidar Institute Press.

Lewin K. (1936) *Principles of Topological Psychology*, New York: McGraw-Hill.

Lewin K. (2000) *Teorija polja v social'nyh naukah* [Field Theory in Social Science], Saint Petersburg: Rech.

Listing J. (1932) *Predvaritel'nye issledovanija po topologii* [Vorstudien zur Topologie], Moscow, Leningrad: ONTI.

Poincaré H. (1990) *O naуke* [On science], Moscow: Nauka.

Rudenko N. (2012) Seti, znanie i real'nost': problematika social'noj topologii v koncepcii Dzhona Lo [Networks, Knowledge, and Reality: Problem of Social Topology in John Law's Theory]. *Sociology of Power*, no 6–7, pp. 38–51.

Sarraute C., Brea J., Burroni J., Blanc P. (2015) Inference of Demographic Attributes Based on Mobile Phone Usage Patterns and Social Network Topology. Available at: <http://link.springer.com/article/10.1007/s13278-015-0277-x> (accessed 10 January 2017).

Simonova I. (2010) Ot kul'turnogo mnogoobrazija k mezhkul'turnomu dialogu: social'naja topologija subkul'turnyh soobshhestv [From the Cultural Diversity to the Intercultural Dialogue: Sociological Topology of Subcultural Communities]. *Education and Science Journal*, no 10, pp. 88–99.

Skvoretz J. (2003) Complexity Theory and Models for Social Networks. *Complexity*, vol. 8, no 1, pp. 47–55.

Sushy E. (2011) Social'naja topologija gosudarstvennosti: teoretiko-metodologicheskij aspect [Sociotopological Foundations of Statehood: Theoretical-Methodological Aspect]. *RSUH/RGU Bulletin*, no 1, pp. 39–49.

Thom R. (1975) Topologija i lingvistika [Topology and Linguistics]. *Successes of Mathematical Sciences*, vol. 30, no 1, pp. 199–221.

Thom R. (2002) *Strukturnaja ustojchivost' i morfogenet* [Structural Stability and Morphogenesis], Moscow: Logos.

Tilly Ch. (2004) Observations of Social Processes and their Formal Representations. *Sociological Theory*, vol. 22, no 4, pp. 595–602.

Vakhshain V. (2006) Dzhon Lo: sociologija mezhdu semiotikoj i topologiej [John Law: Sociology between Semiotics and Topology]. *Russian Sociological Review*, vol. 5, no 1, pp. 24–29.

Vakhshain V. (2014) Peresborka goroda: mezhdu jazykom i prostranstvom [Reassembling the City: Between Language and Space]. *Sociology of Power*, no 2, pp. 9–38.

White H. (2002) *Markets from Networks: Socioeconomic Models of Production*, Princeton: Princeton University Press.

Zeng R., Sheng Q. Z., Yao L. (2015) A Simulation Method for Social Networks. Available at: <http://link.springer.com/article/10.1007/s13278-015-0246-4> (accessed 13 January 2017).

# Фирс vs Труффальдино: зарисовки европейской и русской культуры

*Александр Скиперских*

Доктор политических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Пермь)  
Адрес: ул. Студенческая, д. 38, г. Пермь, Пермский край, Российской Федерации 614070  
E-mail: [pisatels@mail.ru](mailto:pisatels@mail.ru)

В статье речь идет о взаимодействии власти и аппарата подчинения в различных культурных традициях. Автор противопоставляет европейскую практику рационального подчинения более фундаментальной практике подчинения, являющейся важной частью русской культуры. Рассуждая о практиках подчинения в культуре, автор противопоставляет собирательный образ слуги — европейца Труффальдино — лакею Фирсу — собирательному образу, бытующему в рамках русской культуры. Это извечные типажи служения, дополняющие друг друга и сливающиеся воедино. Каждый тип характерен для политических практик власти в той или иной культурной традиции. В статье рассматриваются сходства и различия в практиках служения в контексте выбираемых слугами поведенческих стратегий. Выбор стратегии, в свою очередь, связывается с формой принуждения. В условиях тоталитарного дискурса у слуги вряд ли остаются шансы на более или менее независимое позиционирование и высокую мобильность. Культурный контекст конструирует аппарат подчинения, его структуру и функционал. Рациональное бытие господина в европейской культуре может быть противопоставлено более размахистому хозяйствованию господина в русской культурной традиции. Уважительное отношение к слуге в европейской культуре, связанное с контрактным принципом служения, невозможно в русской культурной практике, где зависимость слуги от господина носит куда более фундаментальный характер.

*Ключевые слова:* власть, Европа, культура, Россия, слуга, сопротивление, традиция

Я говорил с лакеем: очень вежлив.

Карло Гольдони. «Слуга двух господ»

Власть всегда предполагает подчинение. Политические практики власти осуществляются при непосредственном участии не только тех, кто отдает команды, но и тех, на кого ориентированы приказы и предписания. В зависимости от культурного контекста власть представляется в различных интерьерах, пронизывая различные по количеству и функционалу иерархии. Власть постоянно нуждается в аппарате, который будет защищать ее тело. Именно отсюда, как когда-то отметил Э. Канетти, берет свое начало практика власти всячески отгораживаться от окружающего мира. Носитель власти конструирует плотную массу, защищающую его от «внезапного прикосновения» (Канетти, 1997: 18–21).

В ходе исторического процесса наблюдается постоянная трансформация образа тех, кто обеспечивает бытие власти. Гувернеры, дворецкие и камердинеры уступают место представительным эскуортам, спичрайтерам и телохранителям. В лицах слуг всегда проявляет себя конкретная культура. Слуги всегда характеризуют своего господина, выступая частью его юридического и физического тела. Кто, как не обычные слуги, связанные несвободой, призваны постоянно воспроизводить различные ситуации служения и необходимости его периодического превозмогания — отказа от зависимости от воли господина. Практики служения в различных культурах имеют сходства, равно как и различия, связанные со спецификой конкретных политических хронотопов. По ироничному замечанию итальянского политического философа Норберто Боббио, «раньше слуг одевали в ливреи, сейчас в спортивные костюмы» (Bobbio, 1996: 135).

Обращаясь к сюжетам европейской и русской культуры, автор пытается показать, как отличаются практики подчинения в европейской и русской культуре. В. Жирмунский справедливо отмечал, что «литература как идеологическая надстройка способна предоставлять аналогии на одинаковых ступенях общественного развития» (Жирмунский, 2004: 353). Изначальная связанность подчинением говорит о сходстве вынужденной участии слуги как в европейской, так и в русской культурной традиции. Необходимость служения господину в равной степени, с определенной условностью, может быть свойственна авантюрному Труффальдино из Бергамо и лакею Фирсу из «Вишневого сада» А. Чехова. На наш взгляд, оба героя — извечные типажи служения, в практиках которых могут присутствовать и рациональные и фундаментальные мотивы служения. В зависимости от ситуации они могут изобретать новые формы служения господину и мимикировать с пользой для себя. Согласно подходу В. Жирмунского, сравнительная перспектива Труффальдино и Фирса может иметь историко-типологическое обоснование, потому как позволит установить «сходство генетически между собой не связанных явлений сходными условиями общественного развития» (Жирмунский, 2004: 352).

### **Стратегии подчинения: хитрость и молчание**

Касаясь одного из самых главных отличий в практиках подчинения, необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что европейская культура в большей степени предполагает мобильность и движение. Это находит подтверждение в быстрой смене социальных статусов, не говоря уже об открытых границах, способствующих расширению картины мира конкретного человека. Такое преимущество культуры характерно для поведения не только господ, но и их слуг. Конечно, в Средние века в Европе могли существовать политические и социальные практики, при которых однажды попавший в зависимость человек не мог избавиться от нее. Показателен пример сервов, некогда являвшихся наиболее зависимой и ограниченной в правах категорией крестьян, которые избавились от зависимости с помощью внесенного выкупа. В Европе подобное избавление от зависимости про-

изошло раньше, чем в России, что, несомненно, предопределило отношения к тем или иным выборам, в том числе и выборам формата служения своему господину.

В русской культурной традиции мобильность не выступает таким серьезным преимуществом, каким она является в европейской культуре. И если мобильность — это проблема для дворян (скажем, А. Пушкин никогда не был за границей), то что уж говорить о степени оседлости тех, кто воюю судьбы был призван служить своим господам. Слуга в русской культуре не выглядит активным и деятельным, легко передвигающимся за своим господином в пространстве. Именно здесь кроются истоки его тотальной скованности и привязанность к земле.

Французский политический философ Андре Глюксман видел причину тотальной зависимости еще и в сервильном менталитете, который не является чем-то архаичным, а принадлежит настоящему, повторяясь в большом количестве ситуаций, «воспроизводящихся ежедневно» (Глюксман, 2006: 177). Слуги в русской культуре будут изначально уступать в мобильности своим европейским визави, которых ведет за собой склонный к передвижению господин.

Движение вслед за своим господином, характерное для слуги в европейской культуре, во многом служит причиной актуализации особых качеств, способствующих выживанию в условиях постоянной смены мест, перетекания, изменчивости политической конъюнктуры. Слуга должен быть сметливым и расчетливым, ему приходится ловчить и конкурировать. Так в образе слуги начинает пропасть лукавый прищур трикстера.

Наоборот, в русской культурной практике бесправность холопа, его оседлое положение и отсутствие каких-либо зримо ощущаемых перспектив изменения своего статуса заставляют его занимать выжидательную позицию, формой которой являются тотальное молчание и угодничество.

### **Тотальность подчинения: «мягкая» и «жесткая» формы**

Подчиненный связан со своим господином особым контрактом, у которого существуют формальные и неформальные стороны, по-своему отмечающие степень зависимости подчиненного от своего господина. На наш взгляд, зависимость может быть различной, будучи связанной с культурным контекстом. И Труффальдино, и Фирс прямо или косвенно участвуют в создании собственного контракта. Именно от их воли во многом зависят условия, качество и глубина подчинения. Зависимость может варьироваться от «мягкой» до «жесткой» формы.

Показательно определение холопа у В. Даля: «крепостной человек, купленный, раб... покорный, безответный служитель» (Даль, 1991: 559). Все оттенки смыслов указывают на тотальную зависимость холопа от установленных, диктуемых господином. Эта зависимость «жесткая». В европейской культуре, кажется, данная зависимость выглядит более «мягкой» и компромиссной. Отношения между господином и слугой предполагают куда более подробное определение, уточнение. Подчинение выглядит не таким безусловным, оставляя слуге некий люфт выбора.

В этой связи слуга начинает чувствовать максимум принуждения и издевательств, который он может допустить в отношении себя. В случае если границы дозволенного нарушаются, слуга может взбунтоваться и в одностороннем порядке расторгнуть контракт со своим господином. Он может быть достаточно честолюбивым, чтобы не позволить помыкать собой, четко представляя себе содержание контракта, связывающего его с господином. Он может не выполнить неприемлемого для него приказания господина (Камю, 1990: 124).

Между слугой и господином существуют экономические отношения. Господин обязан производить расчет со слугой, поэтому у слуги могут быть собственные средства, которыми он распоряжается по своему усмотрению. Появление новых практик культуры и социально-экономический прогресс могут даже несколько уравнять возможности господина и слуги. Постоянная смена диспозиции приводит к тому, что уже сам слуга может выступать потребителем услуг — требовательным и капризным консьюмером. Как уже отмечалось, слуга довольно мобилен и может позволять себе периодическое расширение границ мира и языка. Продвижение вглубь культурных и политических горизонтов, их расширение и освоение значительно разрушают онтологическую связь с господином.

Высокая мобильность и правовые нормы оставляют слуге шансы на послабления. Это приводит к появлению неких лазеек, с помощью которых слуга избегает тотального закрепощения, смягчая давление на свое тело со стороны репрессивной машины господина.

В европейском фольклоре есть сюжеты, в которых слуга умудряется одновременно служить двум господам. Именно таков Труффальдино из Бергамо. Служба на двух господ требует высокой мобильности, остроумия и авантюризма. Подобные взаимоотношения невозможны без физической свободы. Сейчас это называли бы подработкой. В то же время практически невозможно представить, что на подработки мог бы решиться абсолютно закрепощенный и зависимый человек.

Как уже отмечалось, слуга склонен походить на своего господина. Таков Лепорелло, стремящийся походить на Дона Жуана. Планше — слуга д'Артаньяна в «Трех мушкетерах» в некоторых ситуациях тоже напоминает своего господина. У рассудительного Атоса немногословный слуга Гримо. Слуга копирует образ жизни, стиль, политические практики своего господина. Именно в этом он его может устраивать. Показательно, что в «Легенде об Уленшпигеле» у фольклорного героя Фландрии — Тиля Уленшпигеля в какой-то момент появляется слуга. Учитывая социальный портрет самого героя, это крайне интересная подробность.

«Мягкость» подчинения может вызывать участие слуги во всевозможных авантюрах своего господина. Пребывание рядом с авантюристом и рисковым господином требует такой же силы воли, выдумки и отваги, как и у самого господина. Слуга может быть раскрепощенным и развратным. Авантюризм требует некоторой свободы и отклонения от существующих установлений. В свою очередь, в европейской культурной практике слуга покушается на такие ценности, на которые вряд ли решится слуга в русской культуре. Даже в относительно «темные времена»

на» зависимость от господина могла быть преодолена за счет пространственных и экономических спецификаций конкретного места, поэтому работа сопрягалась «с находками или открытием чего-либо» (Kolchin, 2003: 6).

«Мягкость» контракта в европейской культуре предполагает, что слуга — не крепостной, а наемный работник. Он в любой момент может уйти от своего работодателя и наняться к другому, посчитав условия нового контракта более выгодными для себя. Слуга выбирает наиболее рациональные решения и ни в коем случае не относится к нанявшему его господину как к хозяину, потому что прекрасно понимает границы дозволенного в отношении самого себя: «Свободный повинуется, но не как слуга, имеет вождей, но не имеет хозяев; подчиняется законам, но только законам и именно благодаря законам не становится рабом», — вот так, несколько перефразируя Ж.-Ж. Руссо, итальянский политический философ М. Вироли комментирует условия существования обычного человека в европейской культуре (Вироли, 2014: 20).

«Жесткая» форма принуждения слуги говорит о том, что подчинение вечно. Холоп сличается с телом господина. Крепостное право практически полностью привязывает тело слуги к воле своего господина. Счет холопов идет на десятки и сотни, а документы представляют ценность для людей, подобных предприимчивому гоголевскому Чичикову. В «жесткой» форме заключается фундаментальность подчинения — его безапелляционность. В русской культуре это мощные патриархальные традиции и религиозность, способствующие легитимации власти. Власть обожествляется, что делает ее едва ли не единственной инстанцией упования зависимого от нее человека.

Контракт в русской культурной традиции, кажется, практически не имеет каких-либо документальных свидетельств. Сложно представить, что документальные свидетельства обладают какой-либо ценностью для тех, кто служит в русской культуре. По крайней мере, они не известны осуществляющим практики служения. Сложно допустить, что люди, носящие одни и те же фамилии и живущие всю жизнь в какой-нибудь деревне, принадлежащей несколько веков одной и той же семье, могут озадачиваться вопросами собственного статуса и поиском причин своего подчиненного положения. Отсутствие сравнивающего сознания не позволяет им предполагать существование где-то другой жизни. Труд в русской культуре становится весьма специфичным, приобретая оседлый характер, предполагающий «методическое вгрызание в землю» (Скиперских, 2016: 121–122). Страх изменений сковывает их, закрепощая и связывая волей господина. Отсюда — несколько «пренебрежительное отношение к смерти», транслируемое по каналам культуры от поколения к поколению (Brysacz, Morawieck, 2016).

Наряду с преимуществами высокая мобильность всегда означает риски для самой системы. Власти не могут быть выгодны кочующие и бродящие толпы людей, ищущих лучшей доли. В СССР сельским жителям стали выдавать паспорта только в 1974 году, при этом «запретив, правда, принимать их в городах на работу» (Жирнов, 2009). В этом — конкретная политика власти по отношению к селянам.

Крепостной нарратив сказывается в практиках власти в отношении подчиненных, и культурная память до сих пор хранит эти следы.

### **Аппарат подчинения: образы слуг в европейской и русской культуре**

В европейской культуре обычна ситуация, когда субъект позиционируется в интерьере максимально функциональных вещей и предметов. Субъект в европейской культуре более экономичен, на наш взгляд, этим объясняется излишняя бережливость власти. Кроме того, власть функционирует в конкурентной среде, и ее действия контролируются оппозицией. Контроль за расходами на аппарат предотвращает власть от быстрого разорения. Рациональное отношение к собственному хозяйству проистекает из компактности территории власти. Для ее обслуживания нет смысла держать большой, многофункциональный двор.

В европейской культуре распространен семейный бизнес, не предполагающий излишней раздутости аппарата. Владельцы маленьких отелей и магазинов, баров и ресторанов не видят ничего зазорного в самостоятельном обслуживании клиентов. Наверное, в этом секреты европейского качества обслуживания. Клиент во многих случаях сталкивается либо с предельно заинтересованным собственником, либо с не менее мотивированными его помощниками.

Именно этим можно объяснить небольшую численность бюрократии в европейских политических практиках. Как отмечает немецкий исследователь З. Кракауэр, «структура иерархии служащих зависит от позиции хозяина предприятия» (Кракауэр, 2015: 46). Иными словами, именно хозяин структуры в целях достижениях результативности работы самой конструкции подчинения может создавать достаточно гибкие и эластичные иерархии. Тем не менее, как правило, продвижение вверх по иерархии возможно только с самого низа иерархической пирамиды. В этом смысле применительно к европейской практике нет ничего удивительного в том, как биографические справки показывают профессиональный путь какого-нибудь состоявшегося человека исключительно с самого низа, с «грязных» профессий.

В практиках русской культуры совершенно иная специфика отношений господина и слуг. Движение на Восток — роскошный и демонстративный, логично требует довольно большого количества тех, кто обеспечивает презентацию блага и господина в качестве их распорядителя. При этом контракт на подчинение может быть очень неудобным и даже унизительным для тех, кто представляет аппарат власти, кто призван обслуживать блистательный шик политического пространства.

Минимальность слуг в европейской культурной традиции противопоставляется их множественности, находящей все больше примеров по мере авторитаризации политического дискурса, нарастающей к Востоку. Русская культурная традиция не выглядит исключением. Вспомним начало романа «Идиот» Ф. Достоевского, когда князь Мышкин планирует встретиться с генералом Епанчининым.

Князь должен преодолеть несколько инстанций власти — запутанную иерархию лакеев и секретарей (и, конечно же, Ганечку Иволгина), прежде чем аудиенция у генерала станет возможной. Налицо — «размазанность» двора, а отсюда и совершенно иные количественные характеристики самого бюрократического аппарата. В известном труде М. Восленского «Номенклатура» с особой тщательностью прописываются преимущества той или иной номенклатурной позиции, открывающей доступ к потребительским благам (Восленский, 2005). Остается только догадываться, какой сложный и многочисленный по своему составу и структуре аппарат обслуживания задействуется для обеспечения работоспособности номенклатурной иерархии.

В европейской и русской культуре различен и функционал слуг. Репертуар действий в европейской культуре — шире, в русской культуре — уже. Минимальность аппарата в европейской культуре компенсируется расширением функционала отдельно взятого слуги. В случае русской культуры, наоборот, по причине большого количества слуг, связанных с господином едва ли не навечно, вопрос эффективности не является превалирующим. Функция сужается до минимума. Само присутствие человека в качестве слуги, его номинализация — уже сами по себе становятся функцией.

В чеховской пьесе «Вишневый сад» таков камердинер Фирс, смотрящий за хозяйственными делами в «вишневой» усадьбе. Очень симптоматично представление Фирса в группе действующих лиц пьесы: «Фирс, лакей, старик 87 лет».

Находясь в почтенном возрасте, Фирс продолжает служить своим господам, органически вписываясь в усадебный мир. Жизнь лакея состоит в постоянном движении по иерархической лестнице служения, хотя каждый новый уровень не означает расширения гражданских прав и свобод. Иерархическая структура предполагает, что чем старше слуга, тем более высокий пост в системе дворовых слуг он может занимать. Фирс «вырастает» в иерархии подчинения до старшего камердинера и чрезвычайно гордится этим. Кажется, что его жизненная стратегия достигла некоего максимума. Чем ближе к хозяину, тем сладостнее трепет подчинения. Пример Фирса подтверждает присутствие и рационального, и фундаментального в мотивах его подчинения.

Есть редкие практики фиксации собственных откровений, безусловно, говорящие о том, что некоторые слуги становятся достаточно образованными. Можно вспомнить пушкинского Савельича из «Капитанской дочки», получившего письмо от барина и ответившего на него. Степень близости Савельича к молодому Петру Гринёву, возможно, является неким апофеозом служения и любви к своему господину.

В целом зависимость от господина в русской культуре настолько сильна, что любые попытки изменения данного состояния трагичны для лакея. Глубокая укорененность в хронотопе усадьбы для лакея — вполне естественное состояние. Показательно, что в русской культуре слуг забывают, оставляют в усадьбах на зиму,

предоставляя самим себе. Так и Фирса забывают в усадьбе после того, как состоялась сделка по вишневому саду.

В европейской культуре, наоборот, слуги могут быть в большей степени высвобождены от необходимости постоянного присутствия в хронотопе своего господина. В европейской культурной традиции слуга четко представляет себе, что он должен делать, и пытается выкраивать в своем графике свободные часы исключительно на себя. Возможно, это связано со свободным передвижением в городском пространстве, стремлением участвовать в нем. Слуга ощущает необходимость сличения с городским телом, он в первую очередь ощущает себя горожанином. Горожанин — это покупатель продуктов и услуг. Если слуги были свободны от работы на своих господ, они могли являться частью гражданского общества, выливающегося на улицы, кабаки, балаганы. В европейской традиции горожане стремятся почувствовать свою принадлежность к проводимой политике, что справедливо отмечают некоторые авторы: «Бороться с отдельными феодалами или даже с феодальными группировками европейским горожанам было легче, нежели, скажем, горожанам на Востоке противостоять сильному и централизованному государственному аппарату» (Фадеева, 2001: 56). Вот почему в европейской культуре хронотоп центральной площади оказывается таким притягательным. Именно в его рамках «все высшие инстанции — от государства до истины — были конкретно представлены и воплощены, были зримо наличны» (Бахтин, 1975: 282). Они тяготеют к публичной сфере и с удовольствием тратят в ней свое время. Служба в европейской культурной традиции, на наш взгляд, в большей степени напоминает саму политику и присущую ей динамику и неопределенность, базирующуюся на договорном начале и дискуссии.

Предположим, что именно в подобных хронотопах может периодически обдумывать свои проделки верткий лжец — Труффальдино, успевавший служить двум господам одновременно. Органичен в данных хронотопах и герой фламандского фольклора — Тиль Уленшпигель. Уленшпигель самостоятельно распоряжается собственным временем, не отказывая себе в посиделках в каких-либо заведениях за кружкой пива и вкусным обедом. Вот почему автор так тщательно порой описывает гастрономические ощущения Уленшпигеля. Он не отказывается и от подработок, меняя их по мере повествования несколько раз. Любопытно, что в тот момент, когда его личное состояние позволяет нанять слугу, он немедленно делает это.

Наличие иерархии подчинения как будто бы намекает на различную степень зависимости от власти. Личное присутствие в пространстве господина может варьироваться от постоянного до периодического. Решение о снижении бремени подчинения предпринимает Онегин у А. Пушкина, о чем говорит известная фигура о замене «ярма барщины старинной легким оброком» (Пушкин, 1986: 210). Европейская практика подчинения — прерывистая и рациональная — чувствуется в рассуждениях Чацкого у А. Грибоедова, в вольнолюбивой дерзости которого узнается Петр Чаадаев. Опыт знакомства с европейской традицией приносит плоды, и

в речах Чацкого появляются либеральные нотки. Служение обладает определенной целесообразностью, когда оно касается государственных дел. Чацкий различает общественную «службу» и «прислуживание» господину в известной фигуре: «Служить бы рад, прислуживаться тошно»<sup>1</sup>.

Русская культура знает много примеров, когда практика «прислуживания», казалось бы, не предполагающая тотализации, вызывает привыкание, превращаясь в обязанность, в жизненный стиль. В легких и вульгаризованных формах обязательства по отношению к сильному субъекту скрывается перспектива медленной и глубокой привязанности. Тело господина превращается в навязчивую идею, постоянное напоминание, проявляясь всюду и преследуя объект власти. Лики тоталитарной культуры прорисовываются практически везде, подстерегая заложника несвободной страны — от названия метрополитена в Москве до Сталинской премии. Тоталитарные смыслы реанимируются и в новых практиках конструирования мемориальной культуры в духе *soft power*. Российской власти сегодня может быть выгодна установка памятников вождям, вторгнувшимся в городское пространство Москвы и Орла.

Реакция общества не выглядит настолько бурной и негодящей, чтобы власть смогла пересмотреть свое решение. Общество предпочитает промолчать — именно так говорит в нем культурная память. Выбор в пользу молчания оказывается эффективной стратегией выживания, что, по мнению И. Берлина, во многом объясняет саму культуру как «молчащую» (Берлин, 2001: 336–365). Английский политический философ в одном из своих политических эссе 1957 года представил «молчалим» пантеон известных деятелей русской и советской культуры, увидев в тактике молчания зловещую имперскую преемственность. Нужно понимать, что в данной системе координат выбор может быть не таким уж и большим, потому как изначально «экономическая организация и религиозная идеология не оставили места каким-либо проявлениям индивидуализма» (Фадеева, 2001: 117). Как и в случае Фирса, рациональные и фундаментальные мотивы подчинения переплетаются, подтверждая присутствие и одного, и другого типа подчинения в самой культуре.

Находясь в системе тоталитарных и авторитарных координат, гражданин рано или поздно может оказаться в состоянии необходимости постоянного одобрения выборов и действий государственной машины, начинающегося с молчаливого одобрения. Как здесь не вспомнить известное выражение С. Довлатова о «четырех миллионах доносов»? «Полстраны — охранники» и «полстраны — доносчики» — признается в одном из стихотворений Р. Рождественский.

1. В начале ноября 2016 г. известная фигура из «Горя от ума» А. Грибоедова была перефразирована депутатом Госдумы ФС РФ Натальей Поклонской в эфире радиостанции «Вести ФМ», что вызвало серьезный общественный резонанс. Высказывание Н. Поклонской, приписанное русскому полководцу А. Суворову, показывает, что его автор выбирает режимы собственного позиционирования, выбирая между «служением» и «прислуживанием».

## Слуга и холоп в хронотопах власти: сходства и различия

Слуга и холоп находятся в непосредственной близости от своего господина, готовые моментально удовлетворить его прихоть. Дистанция, разделяющая объекта и субъекта власти, является тем позволительным расстоянием, на которое возможно отдалиться подчиненному.

В европейской культурной традиции компактность пространства власти предполагает, что у слуги может быть меньше возможности ускользнуть от своего господина. Слуга должен быть постоянно на виду, время с момента желания господина видеть слугу до непосредственного его объявления перед господином должно быть минимальным. Стремление обеспечить подобную непрерывность команды технологизируется. Так появляется колокольчик для вызова слуг, сонетка над кроватью, тревожная кнопка и т. д. Если до слуги трудно докричаться, он должен реагировать на звук, на поступающий от господина сигнал.

Слуга может выступать еще и в качестве оруженосца, он снаряжает господина в опасную дорогу. Для слуги в личном пространстве господина всегда должно находиться место. В европейской культурной практике слуги допускаются в мир хозяев — они довольно многое могут себе позволить. Слуги иногда оказываются доверителями своих господ и вместе с ними проживают жизненные циклы практически полностью. В европейской практике слуга в полной мере присутствует в тех же хронотопах, что и его господин. Слуга свободно передвигается по дому и пользуется той же лестницей, что и сам господин. Применительно к европейской культурной традиции нет четкого разделения на «черную» и «белую» половины дома как в русской культуре, где для господ и слуг существуют отдельные входы и лестницы.

Невысокая численность аппарата слуг в европейской культуре предполагает, что каждый слуга визуально узнаваем и пользуется определенным вниманием со стороны господина. Слуги, находящиеся непосредственно возле господина, могут называть по имени, в отличие от тех, кто служит на периферии. Безусловно, эта объективация культуры вряд ли подтверждается на примере культуры, в основании которой лежит тоталитарный текст. В тоталитарной культуре перед нами предстоит обезличенная масса людей. Уникальные черты каждого, кто составляет ее, не заслуживают внимания. Внимание к отдельно взятому человеку не является центральной и принципиальной темой в русской культуре. Стоит вчитаться в названия деревень в современной России. Топонимика их за редким исключением выглядит вполне предсказуемой. Разве не может не удивлять и одновременно настороживать большое количество в современной России деревень с названием Ивановка, Васильевка или Петровка? На наш взгляд, это достаточно очевидное доказательство реакции культуры на практики подчинения.

Влияние власти распространяется на все пространство, хотя ее сигнал может ослабевать по мере достижения периферии, когда перед глазами не мелькает лакейский кафтан. Присутствуя в хронотопах власти, слуги тяготеют к периферии

политического пространства, где сигнал власти не выглядит таким очевидным. Слуги коротают время в клетушках под лестницами, в погребе, на кухнях, на сеновале и т. д. Можно бесконечно воображать себе пространства, где натруженное тело слуги наконец-то может позволить себе долгожданное отдохновение. Увильвание от работы свойственно тоталитарной культуре, потому как работа в ее рамках вряд ли может доставлять удовольствие.

Андре Жид, посещавший СССР в 1936 году, отмечал: снижение бдительности в присмотре за советскими рабочими моментально приводит к тому, что они «тотчас же расслабляются» (Жид, 1990: 533). В случае тоталитарной культуры господином становится *государство*, но и оно не в силах в полной мере проконтролировать общественное тело. Нужно понимать, что пространство, контролируемое им, включает в себя и те углы и потаенные места, где ему никогда и не приходилось бывать. Правда, это вовсе не означает, что оно не принадлежит ему. Просто у него может вдруг объявиться новый, неформальный хозяин — слуга, с удовольствием стремящийся обжить эту потаенную нишу. М. Бахтин как-то отметил, что хитрые слуги создают вокруг себя «особые мирки, особые хронотопы» (Бахтин, 1975: 307). В каком-то смысле это подтверждает и Р. Барт, говоря, что «челядь... парадоксальным образом определяется именно своей свободой» (Барт, 1991: 315).

Наряду с различиями в практиках подчинения, демонстрируемыми в культуре, существуют и сходства. Они связаны с позицией власти, с доминированием господина над слугой, элиты над массой. И в европейской, и в русской культуре рациональное и фундаментальное в мотивах подчинения может быть одинаково свойственно тем, кто призван быть исполнителем воли своего господина.

Показательна позиция слуги относительно господина в случае производства власти. Слуга располагается либо справа, либо слева, либо впереди, либо сзади. Господин находится в кольце слуг, охраняющих его, используя метафору Э. Канетти, от «нежелательного прикосновения» (Канетти, 1997: 18–21). Господин всегда дает понять, какое прикосновение может быть ему приятно.

Позиция господина всегда выражена таким образом, что ему приходится чувствовать ее преимущество. Господин всегда в центре — вокруг него, как правило, те, кто обладает куда меньшей влиятельностью, нежели он. Это можно заметить на примере того, как рассаживаются представители власти на торжественных собраниях, обедах, банкетах, приемах. Слугам не место за столом — они безропотно подают блюда и замирают с опахалами. Но и в рассаживании представителей власти за столом есть свои правила — господина легко узнать по тому вниманию, которое обращено на него. Он — в центре праздника. Когда он говорит — другие молчат. Когда он заканчивает рассказывать анекдот — другие должны смеяться, причем громче и выразительнее всего смеются те, кто в большей степени готов демонстрировать свою услужливость.

Устойчивость позиции в полной мере определяется политической конъюнктурой. Слуга обладает особой чувствительностью к переменам, что может нарушать привычные практики позиционирования. Озлобление, накапливающееся за дол-

гие годы службы, начинает постепенно выходить наружу. В текстах немецкого философа М. Шелера встречаются аналогии с поведением слуги, периодически подвергающегося унижению и насмешкам со стороны своего господина: М. Шелер считал, что озлобление накапливается в том случае, если слуга должен «будет делать „хорошую мину при плохой игре“, затаив в себе отрицательные, враждебные аффекты» (Шелер, 1999: 18–19). Что-то подобное испытывает лакей, хлопающий дверцей кареты в «Петербурге» А. Белого. Привычка подчинения передается вместе с ресентиментом — ненавистью к тем, кого приходится обслуживать.

Подобные черты во многом заимствует и советская культура. Именно отсюда, как считает Лидия Гинзбург, берет отсчет «чрезвычайная нервность и грубость проводников, уборщиц, официанток, санитарок — особенно в учреждениях, где на чай не дают или дают невесомо мало. У них вырабатывается нечто вроде личной ненависти и физического отвращения к обслуживающему» (Гинзбург, 1989: 238).

Таким образом, неизбежность подчинения оказывается объективной реальностью, равно как и явление самой власти, которая, следуя мысли Р. Барта, «гнездится в любом дискурсе, даже если он рожден в сфере безвластия» (Барт, 1989: 47).

Реакция на властный импульс может приводить и к более деструктивным последствиям для самой власти. Недостаток легитимности может способствовать развитию сопротивления, ставящего под сомнение оправданность претензий власти на контроль над политическим пространством. В нашем случае речь идет о предсказуемой реакции на властный импульс, потому как подчинение, по сути дела, означает согласие с властным приказом. Тем не менее, подобно тому, как власть и ее институты могут представляться в различных образах в зависимости от культурной традиции, так и структуры подчинения оказываются очень сильно зависимыми от культурного контекста. Соответственно, различие в практиках принуждения в культурах порождает различие в практиках подчинения, для обеспечения которого могут быть востребованы различные поведенческие стратегии. В образах Труффальдино и Фирса — извечных типажах служения — могут быть заключены целые национальные философии подчинения. Обращение к ряду сюжетов европейской и русской культуры показывает, какие сходства и различия практик служения наблюдались и наблюдаются в политическом пространстве. Отмеченные особенности достаточно симптоматичны и характеризуют политический опыт в том или ином хронотопе культуры.

## Литература

Барт Р. (1989). Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс.

Бахтин М. (1975). Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература.

Берлин И. (2001). История свободы. Россия. М.: Новое литературное обозрение.

Вироли М. (2014). Свобода слуг / Пер. с итал. И. Кушнаревой. М.: НИУ ВШЭ.

Восленский М. (2005). Номенклатура. М.: Захаров.

Гинзбург Л. (1989). Человек за письменным столом. Л.: Советский писатель.

Глюксман А. (2006). Достоевский на Манхэттене / Пер. с франц. В. Бабинцева. Екатеринбург: У-Фактория.

Даль В. (1991). Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М.: Русский язык.

Жид А. (1990). Подземелья Ватикана. Фальшивомонетчики. Возвращение из СССР. М.: Московский рабочий.

Жирмунский В. М. (2004). Фольклор Запада и Востока: сравнительно-исторические очерки. М.: ОГИ.

Жирнов Е. (2009). «Не имеют права на паспорт 37 процентов граждан» // Коммерсантъ-Власть. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/1147485> (дата доступа: 25.10.2016).

Канетти Э. (1997). Масса и власть / Пер. с нем. Л. Ионина. М.: Ad Marginem.

Камю А. (1990). Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство / Пер. с франц. И. Я. Волевича, Ю. М. Денисова, А. М. Руткевича, Ю. Н. Стефанова. М.: Политиздат.

Кракауэр З. (2015). Служащие: из жизни современной Германии / Пер. с нем. О. Мичковского. Екатеринбург: Кабинетный ученый.

Скиперских А. В. (2016). Право на бунт в культурной традиции: европейский и русский контекст. М.: Инфра-М.

Пушкин А. С. (1986). Сочинения в трех томах. Т. 2. М.: Художественная литература.

Фадеева И. Л. (2001). Концепция власти на Ближнем Востоке. Средневековые и Новое время. М.: Восточная литература.

Шелер М. (1999). Ресентимент в структуре моралей / Пер. с нем. А. Н. Малинкина. СПб.: Наука.

Brysacz P., Morawiecki J. (2016). Путин в тупике. Интервью с К. Курчаб-Редлих. URL: <http://inosmi.ru/politic/20160628/236997460.html> (дата доступа: 26.10.2016).

Bobbio N. (1996). Grandi speranze, grandi timori // Tra due repubbliche: alle origini della democrazia italiana. Roma: Donzelli. Р. 134–137.

Kolchin P. (2003). American Slavery, 1619–1877. New York: Hill and Wang.

## Fiers vs Truffaldino: Sketches of Russian and European Culture

*Aleksandr Skiperskikh*

Doctor of Political Science, Professor, Humanities Department, National Research University Higher School of Economics (Perm)

Address: Studencheskaya str., 38, Perm, Russian Federation 614070

E-mail: pisatels@mail.ru

In this article, we discuss the interaction of those in positions of power and the subordination of the servant in different cultural traditions. The author contrasts the European practice of rational subordination with the subordination in the more fundamental practice of Russian culture. Speaking about the practices of subordination in the culture, the author is inclined to contrast the collective image of the European servant provided by Truffaldino with the popular collective image of the lackey within the framework of Russian culture as provided by Fiers. The author believes that these primeval service-providers possess features that complement each other and become one. As well, each type mentioned may be specific to the political practices of those in power in a particular cultural tradition. The author examines the similarities and differences in the practical services of the chosen servants in the context of behavioral strategies in detail. Selection strategy, in turn, is communicated within defined constraints. In totalitarian discourse conditions, the servants are unlikely to have a chance of achieving a more-or-less independent positioning or high mobility. The cultural context constructs a hierarchical submission, its structure, and functionality. Therefore, the rational life in European culture can be contrasted with the more-sweeping economic style taking place in Russian cultural tradition. The respect for the servant in the European culture associated with the contractual principle of service is impossible in Russian cultural practice, where the dependence of the servants on the lord seems to be much more fundamental.

**Keywords:** power, Europe, culture, Russia, servant, resistance, tradition

## References

Barthes R. (1989) *Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika* [Selected Works: Semiotics. Poetics], Moscow: Progress.

Bakhtin M. (1975) *Voprosy literatury i ehstetiki* [Issues of Literature and Aesthetics], Moscow: Hudozhestvennaya literatura.

Berlin I. (2001) *Istoriya svobody. Rossiya* [The History of Freedom. Russia], Moscow: New Literary Observer.

Bobbio N. (1996) Grandi speranze, grandi timori. *Tra due repubbliche: alle origini della democrazia italiana* (ed. T. Greco), Roma: Donzelli, pp. 134–137.

Brysacz P., Morawiecki J. (2016) Putin v tupike: interv'yu s K. Kurchab-Redlih [Putin at a Dead End: Interview with Kristina Kurchab-Redlih]. Available at: <http://inosmi.ru/politic/20160628/236997460.html> (accessed 25 November 2016).

Camus A. (1990) *Buntuyushchij chelovek: Filosofiya. Politika. Iskusstvo* [The Rebel: Philosophy. Politics. Art], Moscow: Politizdat.

Canetti E. (1997) *Massa i vlast* [Masse and Power], Moscow: Ad Marginem.

Dal V. (1991) *Tolkovyj slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka. T. 4* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language, Vol. 4], Moscow: Russky yazyk.

Fadeeva I. (2001) *Koncepciya vlasti na blizhnem vostoke: srednevekov'e i novoe vremya* [The Concept of Power in the Middle East: The Middle Ages and the Modern], Moscow: Vostochnaya literatura.

Gide A. (1990) *Podzemel'ya Vatikana. Fal'shivomonetchiki. Vozvrashchenie iz SSSR* [Dungeons of the Vatican. Counterfeits. Return from the USSR], Moscow: Moskovsky rabochy.

Ginzburg L. (1989) *Chelovek za pis'mennym stolom* [Man at the Desk], Leningrad: Sovetsky pisatel.

Glucksman A. (2006) *Dostoevskij na Manheettene* [Dostoyevsky in Manhattan], Ekaterinburg: U-Faktoriya.

Kolchin P. (2003) *American Slavery, 1619–1877*, New York: Hill and Wang.

Kracauer S. (2015) *Sluzhashchie: iz zhizni sovremennoj Germanii* [Die Angestellten: Aus dem neuesten Deutschland], Ekaterinburg: Kabinetny uchony.

Pushkin A. (1986) *Sochineniya. T. 2* [Works, Vol. 2], Moscow: Hudozhestvennaya literatura.

Scheler M. (1999) *Resentiment v strukture morale* [The Ressentiment in the Structure of Morality], Saint Petersburg: Nauka.

Skipersikh A. (2016) *Pravo na bunt v kul'turnoj tradiciji: evropejskij i russkij kontekst* [Right to Revolt in Cultural Tradition: European and Russian Context], Moscow: Infra-M.

Viroli M. (2014) *Svoboda slug* [The Freedom of Servants], Moscow: HSE.

Voslensky M. (2005) *Nomenklatura* [Nomenclature], Moscow: Zakharov.

Zhirnov E. (2009) Ne imeyut prava na passport 37 procentov grazhdan [37 Percent of Citizens Do not Have the Right to a Passport]. Available at: <http://www.kommersant.ru/doc/1147485> (accessed 25 November 2016).

В новой рубрике «Социологического обозрения» мы собираемся публиковать переводы сочинений Макса Вебера, статьи, материалы конференций и круглых столов, рецензии, обсуждения терминологии и научной продуктивности его концепций в наши дни — все, что имеет отношение к одному из самых выдающихся ученых за всю историю социальных наук. Интерес к Веберу нарастает и спадает волнами, и всякий раз после периода интенсивного внимания наступает затишье, иногда очень долгое<sup>1</sup>. Процесс это неравномерный, и в разных странах идет по-разному<sup>2</sup>. Сейчас мы, в России, судя по всему, переживаем новый подъем. Переводы и публикации, появившиеся за последние полгода<sup>3</sup>, явственно указывают на то, что научный и публичный интерес к Веберу снова усилился, а значит, впереди у нас по меньшей мере несколько лет новой, захватывающей русской веберианы.

В высшей степени примечательно, что «веберовские перспективы» мы начинаем обсуждать в год столетнего юбилея русских революций 1917 года. Вебер много писал о Русской революции 1905 года и Февральской 1917 года, его живо интересовали возможности установления в России подлинного, а не мнимого конституционализма, подлинной, а не мнимой демократии<sup>4</sup>. За сто лет многое поменялось, но классические сочинения Вебера о России не утратили своего значения и по-прежнему актуальны. Анализ международного положения в Европе и в мире во время Первой мировой войны, исследование шансов и условий установления парламентаризма, приходящего на смену архаическим режимам, перспективы плебисцитарной демократии и харизматического лидерства в современных обществах — все это не схоластические вопросы, а центральные проблемы социальной жизни. Вебер внес в их постановку огромный вклад. Продолжая обсуждать их, мы отдаем должное не только ему, но и самым острым потребностям современного общества.

Отдельно в этой связи надо сказать об источниках. Выдающимся достижением современного немецкого вебероведения является выход полного собрания сочинений Макса Вебера — *Max Weber Gesamtausgabe*. Научное качество этого издания надолго останется ориентиром для всех, кто занимается историей социологии.

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-2-195-197

1. Ay K.-L., Borchardt K. (Hrsg.). (2006). *Das Faszinosum Max Weber. Die Geschichte seiner Geltung*. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft.

2. Kaiser M., Rosenbach H. (Hrsg.). (2014). *Max Weber in der Welt. Rezeption und Wirkung*. Mohr Siebeck: Tübingen; Hanke E. (2014). *Max Weber weltweit: Zur Bedeutung eines Klassikers in Zeiten des Umbruchs* // Hübinger G. (Hg.). *Europäische Wissenschaftskulturen und politische Ordnungen in der Moderne (1890–1970)*. München: Oldenbourg.

3. Вебер М. (2017). Власть и политика. М.: РИПОЛ-классик; Вебер М. (2017). Хозяйственная этика мировых религий: опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм. СПб.: Владимир Даль; Вебер М. (2017). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. II: Общности. М.: НИУ ВШЭ.

4. Weber M. (1989). *Max Weber Gesamtausgabe*, Band I/10: *Zur Russischen Revolution von 1905. Schriften und Reden 1905–1912* / Hrsg. v. W. J. Mommsen, D. Dahlmann. Tübingen: Mohr (Paul Siebeck).

Именно это издание, как представляется, должно быть положено в основу всех будущих переводов Вебера на все языки, включая русский. Мы должны отдавать себе отчет в масштабах этой задачи. Вебера переводят на русский давно, еще с 20-х гг. прошлого века. Есть много переводов, ставших чуть ли не настольными книгами для нескольких поколений ученых, читающих и пишущих по-русски<sup>5</sup>. И все-таки наступает время новых решений. Нет ни одного понятия, ни одного определения, ни одного широко известного положения Вебера, которое его переводчикам не стоило бы обсудить заново. Это вообще может сильно поднять уровень наших научных дискуссий.

Конечно, мы должны прежде всего исходить из того, что главные задачи социологии, как считал сам Вебер, — это изучение того, что происходит на самом деле, а не переводы, не новые интерпретации одних и тех же текстов, не то бесконечное обращение к чужим идеям при полном отсутствии своих собственных, которое так часто вызывает недоумение у представителей других дисциплин, когда им случается столкнуться с историко-социологическими сочинениями. Но здесь нужна ясность. Есть главные задачи науки — и есть способы решения задач и способы создания научных текстов, то есть текстов, принятых в самой научной среде коллегами, а не сочувствующими дилетантами. Решение актуальной научной задачи может также (хотя и не обязательно) иметь вид исторической интерпретации. Так, например, одна из важнейших работ самого Вебера — историко-критическая статья «Рошер и Книс». Историко-социологические работы есть почти у всех значительных социологов-теоретиков, и все-таки не на этом мы сейчас сосредотачиваемся, не этот аргумент центральный. Работа над текстами Вебера (как и любого классика нашей науки) лишь отчасти перекликается по характеру задач и получаемым результатам с тем более общим историко-филологическим подходом, в центре которого находится текст как таковой. Мы ценим тексты Вебера, так же и как памятники эпохи, но главное для нас все-таки другое. Вебер остается живым участником наших споров, с ним можно не соглашаться, его можно опровергать, отношение к нему свободно от догматизма и его теории никогда не будут объявлены «всепобеждающими» и «единственно верными». Вместе с тем работа над текстами Вебера — это лишь один из способов постановки комплексных научных задач. Так, например, исследования Вебера по социологии религии дают важный толчок тем, кто занимается хозяйственной этикой ислама и православия — при том что у самого Вебера ни о том, ни о другом мы не найдем достаточно материалов. Веберовские работы по общетеоретическим и методологическим вопросам социологии могут быть поставлены под сомнение теми, кто считает его философские источники устаревшими, но и современные теории действия по-прежнему остаются в тех рамках, которые задал Вебер. Политика, бюрократия, государственное устройство — все это в наши дни практически нигде не выглядит «по Веберу», но обойтись без него все равно невозможно, чтобы понять, что же со всем этим

5. Вебер М. (1990). Избранные произведения. М.: Прогресс; Вебер М. (1994). Избранное: Образ общества. М.: Юрист; Вебер М. (2003). Политические работы (1895–1919). М.: Практис.

произошло за сто лет. Наконец, этическое измерение социального знания — тема, бесконечно волновавшая Вебера. Вопрос о «свободе от ценностей», о «партийности» и «объективности» не решен, он остается сложным и спорным, и мы снова и снова перечитываем строки Вебера не для того, чтобы воспользоваться готовыми аргументами, а для того, чтобы поставить их в свой исторический контекст. При-страстный политик и беспартийный ученый — это часто один и тот же человек. Продумывание модусов поведения в эпоху преобразований, принятие решений, публичная позиция ученого — все это наши живые темы<sup>6</sup>.

Главное же состоит вот в чем. Социология — это наука современного общества, наука модерна. В сущности, споры о Вебере и споры вокруг Вебера — это споры о модерне, о возможностях и перспективах модернизации, о том, есть ли специфика у модерна в разных странах и долго ли он может еще продолжаться. Вероятно, однажды всем этим спорам придет конец, история перейдет в новую фазу, все се-годняшнее будет казаться безнадежно устаревшим. Но пока этого не случилось, Вебер остается одной из ключевых фигур мировой социологии<sup>7</sup>.

Редакция

---

6. *Sukale M.* (2002). Max Weber: Leidenschaft und Disziplin. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck); *Radkau J.* (2005). Max Weber: Die Leidenschaft des Denkens. München: dtv; *Käsler D.* (2014). Max Weber: Preuße, Denker, Muttersohn: Eine Biographie. München: Beck; *Kaube J.* (2014). Max Weber: Ein Leben zwischen den Epochen. Berlin: Rowohlt.

7. *Albrow M.* (1989). Die Rezeption Max Webers in der britischen Soziologie // *Weiß J.* (Hg.), Max Weber heute: Erträge und Probleme der Forschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 165–186; *Erdelyi A.* (1992). Max Weber in Amerika: Wirkungsgeschichte und Rezeptionsgeschichte Webers in der anglo-amerikanischen Philosophie und Sozialwissenschaft. Wien: Passagen; *Scaff L.* (2011). Max Weber in America. Princeton: Princeton University Press.

# Старые понятия — новые проблемы: социология Макса Вебера в свете актуальных вызовов\*

*Томас Швинн*

Доктор социологических наук, профессор,  
директор Института социологии им. Макса Вебера Университета Гейдельберга  
Адрес: Bergheimer Straße, 58, Heidelberg, Deutschland D-69115  
E-mail: [thomas.schwinn@soziologie.uni-heidelberg.de](mailto:thomas.schwinn@soziologie.uni-heidelberg.de)

*Герт Альберт*

Доктор социологических наук, профессор гуманитарного факультета  
Университета Бундесвера в Мюнхене  
Адрес: Werner-Heisenberg-Weg, 39, Neubiberg, Deutschland 85577  
E-mail: [gert.albert@unibw.de](mailto:gert.albert@unibw.de)

*Дмитрий Катаев*

(переводчик)

Кандидат социологических наук, доцент кафедры философии, социологии и теологии  
Института истории, права и общественных наук  
Липецкого государственного педагогического университета им. П. П. Семёнова-Тян-Шанского  
Адрес: ул. Ленина, д. 42, корп. 2, г. Липецк, Российская Федерация 398020  
E-mail: [dmitrikataev@rambler.ru](mailto:dmitrikataev@rambler.ru)

*Олег Кильдюшов*  
(научный редактор перевода)

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [kildyushov@mail.ru](mailto:kildyushov@mail.ru)

Обзорная статья Томаса Швина и Герта Альберта является введением к сборнику, изданному по результатам симпозиума, который прошел в апреле 2014 года в Гейдельберге в честь 150-летия со дня рождения Макса Вебера. Представители нового поколения вебероведов стремятся панорамно представить парадигму, направленную на актуализацию идей классика, и дать новый импульс к исследованию его творчества. В первой части авторы прослеживают изменения в веберовской исследовательской традиции, произошедшие за 50 лет после резонансного конгресса 1964 года. Веберовская интеллектуальная традиция на современном этапе сталкивается с иными вы-

---

© Schwinn T., 2017

© Albert G., 2017

© Катаев Д. В., перевод, 2017

© Кильдюшов О. В., редактура, 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-2-198-217

\* Источник: Schwinn T., Albert G. (2016). Alte Begriffe — Neue Probleme: Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Herausforderungen // Schwinn T., Albert G. (Hrsg.). Alte Begriffe — Neue Probleme: Max Webers Soziologie im Lichte aktueller Problemstellungen. Tübingen: Mohr Siebeck. S. 1-19.

зовами, главным из которых является ответ на вопрос, имеет ли социология Макса Вебера достаточный потенциал, чтобы помимо осмыслиения возникновения и становления современности быть актуальной теорией для диагностики и прогнозирования нынешних проблем глобализации и модернизации. Во второй части представлены критические аннотации докладов и публикаций, в которых в которых с помощью веберовских категорий анализируются актуальные проблемы и феномены в таких тематических разделах, как «Биография и отражение великих культурных проблем», «Религиозный фундаментализм и секуляризация», «Новые формы национального и транснационального господства», «Актуальный капитализм финансовых рынков», «К актуальности социологии культуры», «Современные варианты харизмы», «Потребление и социальное неравенство», «Исторический генезис и распространение современности». Далее эксплицируется тезис об эвристическом потенциале трехсоставной веберовской парадигмы (теория, методология и исторический анализ) для исследования как трансформационных процессов настоящего, так и для прогнозирования развития современности в будущем, охватывая широкий спектр актуализированной веберовской социологии.

*Ключевые слова:* теоретическая социология, Макс Вебер, веберовская парадигма, современность, глобализация

## Как актуализировать классика?

Настоящий сборник опубликован по результатам конференции, прошедшей в Институте социологии имени Макса Вебера Гейдельбергского университета в апреле 2014 года в рамках празднования 150-летия со дня рождения классика. Сегодня для такого мероприятия нужны веские основания, поскольку просто воспоминаний об этом человеке уже никому не нужно. Макс Вебер, как никакой другой ученый, известен широкой общественности далеко за пределами мира науки. Политики, писатели, журналисты прибегают к его понятиям и идеям — хотя и не всегда уместно. В юбилейных мероприятиях 2014 года в Мюнхене участвовал даже Народный университет (при поддержке Баварской академии наук). Почта Германии выпустила марку с изображением Макса Вебера. Вебер появляется даже в популярной литературе, например в триллере Джона ле Карре «Абсолютные друзья». Труды и личность Вебера сегодня известны всему миру. В качестве иллюстрации приведем несколько актуальных примеров: летом 2011 года прошла встреча группы бразильских интеллектуалов в Сан-Паулу, посвященная Максу Веберу; в китайском журнале «Зеркало» вышла объемная статья о наследии Макса Вебера в современном Гейдельберге; в Бейруте в продаже появился первый арабский перевод «Полного собрания сочинений» (Hanke, 2014: 285). «Протестантская этика» вошла в список бестселлеров в 2006 году в Китае (Müller, 2007: 261). Макс Вебер — самый читаемый в мире автор в нашей дисциплине. Мы имеем дело с настоящим продуктом высшего гейдельбергского качества, причем созданным без всякого административного принуждения, ставшего сегодня обыденным. Все написанные в Гейдельберге работы, принесшие ему всемирную славу, были созданы вне университета, на границе академического мира (Lepsius, 2006: 17).

Зачем тогда нужно это памятное мероприятие? Ведь он известен настолько, что, надо полагать, уже не нуждается в рекламе. Чтобы прояснить значение такого мероприятия, необходимо проследить историю рецепции и ее основные вехи. В ретроспективе известность и слава Вебера не кажется само собой разумеющимися. Можно выделить две фазы рецепции: 1) основанную на *событиях и личностях*; 2) обусловленную *институционально*.

Первое десятилетие после смерти Вебера в 1920 году его публичная известность была связана скорее с его политической деятельностью, чем с научным наследием. Философ Карл Лёвит утверждал в 1932 году, что его «теоретические работы» по социологии, социальной политике, истории хозяйства и национальной экономии «не считались продуктивными даже в его профессиональной сфере — специальных дисциплинах или современной политике». «После смерти его скорее считали представителем политического и научного «либерализма», противоречивым представителем закончившейся буржуазной эпохи» (Löwith, цит. по: Borchard, 2006: 8). В том же году Карл Ясперс задавался вопросом, «почему он не оказал никакого влияния?» (Borchard, 2006: 8). Несмотря на то что сейчас история влияния представляется более дифференцированно, даже в послевоенные годы веберовскому наследию не уделялось никакого серьёзного внимания, не говоря уже о статусе классика. Даже в 1960-е годы невозможно было представить, что Вебер станет неотъемлемой частью исследовательской и учебной индустрии. В первые 50 лет после смерти Вебер не был забыт благодаря нескользким ключевым фигурам (Borchard, 2006: 10; Lepsius, 2006: 23 f.). Люди, впечатленные и восхищенные его творчеством, создали предпосылки для дальнейшей рецепции. Исключительную роль здесь сыграла Марианна Вебер, которая сделала тексты Вебера доступными и опубликовала биографию «Жизнь и творчество Макса Вебера» (1984 [1926]), чем сохранила память о нем. Эта роль позже перешла к Йоханнесу Винкельманну, чья творческая сила привела в дальнейшем к началу издания полного собрания сочинений в 1970-е годы. Примечательно, что они оба — и Марианна Вебер, и Йоханнес Винкельманн — популяризировали творчество Вебера вне университетской среды. Не институционализированная значимость, а личное восхищение стало основой их труда. Только в 1960-е годы Йоханнес Винкельманн за свои усилия получил университетскую должность в Мюнхене.

В других странах на первом этапе рецепции также фиксируется данная модель. Речь идет об отдельных фигурах, воспринявших идеи Вебера и пытавшихся популяризировать его наследие. В США это прежде всего Толкотт Парсонс и Рейнхард Бендикс, во Франции — Раймон Арон (Müller, Sigmund, 2014: 7f., Tyrell, 2014: XIVf.). В отличие от обоих немецких промоутеров, все они занимали прочные позиции в университетах и были очень известны. Восхищение Вебером наглядно демонстрируют слова Эдварда Шилза: «Потрясающим было то, что благодаря идеям Вебера открывались перспективы на вещи, о взаимосвязи которых я даже не предполагал. <...> Я был не в состоянии воспринять или упорядочить все это для себя удовлетворительным образом. Чтение Вебера в буквальном смысле захватывало дух.

Иногда я должен был прерывать чтение и одну или две минуты ходить, пока снова не успокоюсь» (Shils, цит. по: Scaff, 2013: 255).

Помимо ключевых фигур, на первом этапе рецепции также значимы некоторые события (Borchard, 2006: 11; Weiß, 1989: 17ff.; Roth, 2006; Ay, 2006; Scaff, 2013: 295 f.). Мероприятия к 100-летию со дня рождения Вебера в 1964 году представляют собой рубеж в истории рецепции, хотя он до сих пор оценивается по-разному. Тогда по обеим сторонам Атлантического океана прошло множество конференций, посвященных юбилею Вебера: конференция Социологического общества Среднего Запада (Midwest Sociological Society) в Канзас-Сити<sup>1</sup>; посвященная Максу Веберу сессия Международной социологической ассоциации (International Sociological Association) в Монреале<sup>2</sup>; социологический конгресс 1964 года в Гейдельберге, посвященный одному-единственному классику (Stammer 1965). Наконец, в Мюнхенском университете прошло празднование в честь юбилея Макса Вебера; ему же был посвящен цикл лекций (Engisch et al., 1966). Данные мероприятия привели к точно фиксируемому росту числа ссылок на Вебера (Borchard, 2006: 11; Scaff, 2013: 295f.). В особенности социологический конгресс в Гейдельберге одновременно способствовал как возвеличиванию, так и принижению Макса Вебера. «Кёльнский журнал социологии и социальной психологии» следующим образом прокомментировал самый крупный на тот момент конгресс Немецкого социологического общества:

15-й Социологический конгресс вызвал неловкое чувство. Как заметил один американский коллега, при его завершении уже не знали, для чего, собственно, собрались в Гейдельберге... Рейнхард Бендикс некоторое время назад требовал сначала «освоить» Вебера, а потом уже его применять. Но на данном конгрессе этого определённо не произошло... Перефразируя надгробную речь Марка Антония, можно действительно задаться вопросом... «Они пришли хоронить Цезаря или восхвалять его?» (Roth, 2006: 382)

В целом доминировала фрагментированная рецепция Вебера, отмеченная жаркой полемикой, в которой Вебер фигурировал как представитель различных противоборствующих позиций. Тем не менее мероприятия и публикации 1964 года заложили основу притязаний нашей научной дисциплины, социологии, на осмысление этого автора (Ay, 2006: 405).

Только с началом второй фазы рецепции, начиная с 1970-х гг., можно увидеть стремление к систематизации его трудов с целью общего теоретического обоснования и самопрояснения социологии (Schluchter, 1979, 1988, 2006, 2007; Habermas, 1981; Alexander, 1983). С началом составления Полного собрания сочинений в 1974 году — а первые тома вышли в 1984-м — была создана и текстологическая основа для этого.

1. Sociological Quarterly. 1964. Vol. 5.

2. American Sociological Review. 1965. Vol. 30. № 2.

В последние десятилетия веберовские работы получили такую притягательную силу и международное внимание и признание, каких никогда не было в первой фазе. По числу цитат и ссылок, «импакт-фактору», количеству статей, монографий, сборников и конференций и рейтингу Международной социологической ассоциации Макс Вебер относится сегодня к наиболее цитируемым авторам нашей дисциплины. Ни один из социологов XX века не имел такого успеха во всем мире. В общих чертах это признание прошло путь от сохранения присутствия автора и его наследия благодаря отдельным личностям к институционально обусловленной, ставшей самостоятельной веберовской рецепции. Масштаб институционализированной рецепции задокументирован в академических биографиях, карьерных шансах и возможностях публикаций, открывающихся благодаря классику. Растет интерес не только к творчеству, но и к личности Вебера. Только в 2014 году вышло две биографии: Юргена Каубе (Kaube, 2014) и Дирка Кеслера (Kaesler, 2014). Если причислить сюда также биографию Йоахима Радкай (Radkau, 2005) и биографически ориентированные монографии Гюнтера Рота (Roth, 2001), Михаеля Зукале (Sukale, 2002) и Лоуренса Скаффа (Skaff, 2013), то мы получаем более чем 4000 страниц биографического описания, без учета сборников, посвященных личности Вебера. Тогда как биографический томик Норберта Фюгена (Fuegen, 1985) из 1980-х включал всего 150 страниц.

Где мы находимся сегодня? К чему эти юбилейные мероприятия, которых становится все больше? Десятилетие назад они были посвящены 100-летию «Протестантской этики», в 2014 году — 150-летию со дня рождения, в 2020 году будет отмечаться 100-летие со дня смерти. Как уже говорилось, вспоминать об этом человеке уже нет необходимости. Создание с помощью таких памятных мероприятий культа личности вызвало бы отвращение у самого Вебера (Lepsius, 1990: 30). Идеи имеют собственное право на жизнь помимо обстоятельств, но эти обстоятельства в значительной мере определяют, найдутся ли у идей группы носителей. В полной мере это относится к творчеству Макса Вебера.

Живым является классик только тогда, если ему есть что нам сказать, если его тексты и мысли являются применимыми и способствуют решению и анализу современных проблем. Творчество Вебера распространено по всему миру, его тексты переведены на множество языков. При этом до сих пор нет обоснования и изложения его всемирного значения. Нет глобальной истории его влияния, но есть множество национально-культурных историй рецепций и несколько сопоставлений этих историй. (Hanke, 2014: 286)

Творчество Вебера распространено повсюду неодинаково. Это можно эмпирически констатировать по количеству переводимых веберовских работ. Эдит Ханке называет следующие условия роста интереса к ним: общественные трансформации, которые особенно требуют истолкования и объяснения, а также интеллектуалы и учёные, которые отвечают на этот запрос.

В случае Макса Вебера всегда находятся интеллектуалы, которые с его помощью критически рефлексируют и сопровождают кризисы в собственной культуре. В ретроспективе речь идет о глубоких социально-экономических и политических трансформационных процессах. <...> В случае Японии переход от традиционно-агарного к капиталистическому обществу сопровождался интенсивной рецепцией Макса Вебера. В случае Советского Союза перестройка сопровождалась возобновлением интереса к Веберу. Следующая статья исходит из гипотезы, что в переломные моменты — ключевым словом здесь является «модернизация» — Вебер был и остается важным спутником. (Hanke, 2014: 286)

Здесь мы видим убедительный пример того, как следует актуализировать классика и какую направленность должны иметь юбилейные мероприятия. История рецепции не является определяющей — от этого мы сознательно отказались при планировании мероприятия в Гейдельберге. Ссылки на Вебера мы находим у учёных самого разного происхождения и направленности. Тем не менее из этой широкой рецепции его творчества не возникла никакая национальная или международная «Веберовская школа». Доминируют фрагментарные, специфические предметные и тематические подходы. Это во многом обусловлено фрагментарным характером самого веберовского наследия, систематизация которого дается нелегко. Маловероятно, что ориентация на историю рецепции на данном пути будет очень продуктивна. Жизнеспособность исследовательской программы во многом зависит от ее способности схватывать различные коды нашей эпохи и связанные с ними жизненные проблемы. Востребованы усилия, направленные на раскрытие и развитие веберовской социологии в сопоставлении с современными проблемами. В веберовской трехсоставной исследовательской программе — методология, теория, анализ исторического материала — актуализация последней компоненты в последнее время играла незначительную роль. Настоящий сборник пытается ответить на этот вызов и дать дальнейшие импульсы. Если в трудах Макса Вебера в центре внимания находится реконструкция и объяснение исторических условий возникновения и утверждения современности, то его актуализированная теория должна подтверждать себя и в диагностике, и в прогнозировании динамики развитого модерна.

Так как социология как наука связана с охватываемыми ею «предметами», существует четкая взаимосвязь между теорией и современными проблемами и трансформациями. Будущее веберовской парадигмы будет зависеть от того, удастся ли ей сохранить связь с изменяющимися проблемами. «Если свет великих культурных проблем идет дальше, то и наука должна переосмысливать свое место и понятийный аппарат и соответственно изменить их».

Известные отцы-основатели социологии стали классиками только потому, что предложенные ими понятия, теории и постановки проблем и сегодня выполняют важную функцию академического взаимопонимания внутри и между различными школами, а также фокусируют внимание и мобилизуют усилия науки. Сам Ве-

бер полагал, что эти основы взаимопонимания должны постоянно обновляться посредством интерпретации, критики и экспликации. Не стоит думать, что это изменение позиции, эта актуализация его творчества является автоматическим продуктом существующей «веберовской индустрии», которая до сих пор ограничивается традиционной мыслительной рутиной, связанной со стандартной тематикой. Для решения новой задачи нужны не ключевые фигуры, как на первом этапе рецепции, а заинтересованные интерпретаторы. Организаторы Гейдельбергского симпозиума исходили из того — и статьи настоящего сборника демонстрируют это, — что актуализация творчества Вебера может быть успешной, что его аналитическая программа еще не исчерпала себя и что его аналитические взгляды не обесценились. Таким образом, будет достаточно материала для будущих юбиляров.

### О докладах

Помимо прозвучавших на симпозиуме докладов, в сборник были включены уже опубликованные работы, в которых актуальные феномены и проблемы удачно анализируются посредством веберовских категорий. Таким образом, сборник представляет широкий спектр актуализированной веберовской социологии.

М. Райннер Лепсиус видит актуальность веберовской «парадигмы» в самой постановке вопросов. Национальная государственность Германии, блокировавшая демократизацию, а также ее включенность в глобальный капитализм стала тем историческим контекстом, который дал импульсы творчеству Вебера, но не определял его. Он характеризует Вебера как противника авторитарного политического режима Германии своего времени, сторонника эмансипации гражданского общества, парламентаризации политической системы, активного социального политика и члена «левого крыла» Союза социальной политики, противника колониальной и захватнической политики, а также как сторонника примирения после Первой мировой войны. В этот исторический и биографический контекст Лепсиус помещает важнейшие исследования Вебера и поставленные им проблемы и тем самым рисует интеллектуальный портрет, объясняющий возникновение и направленность веберовской исследовательской программы и ее понятий. При этом Лепсиус, говоря о «веберовской парадигме», использует понятие своего учителя Роберта Мертона.

Герт Альберт продолжает исследование методологической актуальности веберовской парадигмы с точки зрения вопроса, как следует понимать образование понятий и как необходимо реагировать на изменение постановки научных проблем. Согласно Веберу, социальным наукам и наукам о культуре как историческим наукам суждена «вечная молодость». Ценностные изменения в культуре всегда обуславливают новую постановку проблем, выбор и конструирование новых объектов объяснения и связанные с этим методические средства в форме идеально-тиpических понятий. Сначала Альберт пытается показать, насколько веберовская

методология объяснения и понимания посредством идеально-тиpических понятий может рассматриваться как вполне современная теория науки, а не идиосинкразия. Затем он релятивирует тезис о вечной молодости социальных наук и, основываясь на Вебере, формулирует теорию приближения к истине, которая допускает кумулятивное приращение знания в рамках веберовской исследовательской программы, выходящее за пределы простых изменений в науке, которые были очевидны и самому Веберу.

Мартин Ризенброт в своей статье исследует проблему разрыва между традиционными секуляристскими ожиданиями и неожиданным усилением религиозных и особенно фундаменталистских течений. При этом он избегает как полного отказа от тематики секуляризации, так и редукции религиозных феноменов к рыночным феноменам в утилитаристской перспективе. Вместо этого он формулирует общую теорию религии с точки зрения потенциала преодоления внеобыденных кризисных ситуаций и рисков. В соответствии с ней эффекты секуляризации объясняются как эффекты усиливающегося контроля над рисками, выступая тем самым в качестве типичного для западного модерна процесса рутинизации. Однако непреодолимые риски и кризисные ситуации, связанные со смертью, болезнью, господством и социальной мобильностью, даже в эпоху модерна сохраняют неснимаемый потенциал для религиозных трактовок и практик. Этим объясняется усиление фундаменталистских движений, которое Ризенброт типологизирует применительно к следующим социальным слоям: фундаментализм маргинализированного «среднего слоя», городских низов, пролетаризированных интеллектуалов и женщин. Фундаментализм предстает здесь как привлекательная попытка усиления контроля над современными кризисными ситуациями, к которым относится и сама возрастающая секуляризация общества. Таким образом, Ризенброт актуализирует веберовскую программу социологии религии, исследующую избирательное средство между определенными признаками социального положения различных групп носителей и их восприимчивостью к определенным культурным предложениям.

Ганс Киппенберг, напротив, считает понятие секуляризации очень ограниченным с точки зрения полезности и диагностирует такое же отношение к нему у Макса Вебера. Ведь хотя Вебер и интересовался судьбой религии в современности, он не использовал при этом понятие секуляризации в смысле обмирщения, секуляризация у него предстает как историко-правовое понятие с ограниченным значением. Вместо этого он схватывает изменение положения религий в эпоху модерна с помощью понятия «расколдовывание». При этом он нигде не выдвигал тезис, что религия как феномен порядка становится менее значимой в процессе модернизации. Скорее, расколдовывание как обесценивание мира, связанное с верой в принципиальную калькулируемость и возрастающий контроль над всеми вещами, переносит религию в сферу субъективного. В процессе расколдовывания мира религия утрачивает целерациональную соотнесенность с миром, превращаясь в этику убеждения или мистику. Таким образом, религиозность не исчезает в

современности, но меняет свой характер в направлении ухода и отказа от мира. Тем самым диалектика расколдовывания заключается в субъективации ожиданий спасения и связанного с этим усилением значимости способа ведения жизни. Распознать субъективированную религиозность можно в феноменах милленизма, эзотерики и этики солидарности, которые связаны и с возникновением новых религиозных сообществ, в том числе фундаменталистских.

Андреас Антер исследует вопрос, в какой мере веберовская социология господства может нам еще что-то сказать в свете изменений в практике государственного господства, супербюрократии ЕС и в международном сообществе государств. Этот вопрос особенно значим в свете диагноза некоторых авторов (самый известный из них Никлас Луман), утверждавших, что сегодня уже больше не «господствуют» и потому лучше избегать понятия «господство». Как считает Антер, действительная государственная и управленческая практика опровергает тезис о «конце господства», хотя сама практика господства изменилась. Включение демократических механизмов контроля стало сегодня повсеместным, поэтому сверхадминистрирование уже невозможно. Сам Вебер как раз интересовался вопросом, как наиболее эффективно можно институционализировать такие механизмы контроля, выражая сомнения в их эффективности. Его мрачные видения о «клетке подчинения» имеют здесь свое предметное основание. Темные сценарии механизации и дисциплинирования посредством бюрократии были обусловлены его убежденностью в ее незаменимости. На фоне реформаторских усилий в духе «New Public Management» сейчас говорят о неадекватности веберовской теории бюрократии и ненужности бюрократии веберовского типа для нынешней управленческой практики. Однако в действительности, как считает Антер, управление в Германии структурировано по традиционному образцу, как и политическая система ЕС, которая должна пониматься как форма бюрократического господства. В аппарате ЕС обнаруживаются как раз те структуры, которые Вебер считал угрозой. Именно они ответственны за дефицит легитимности ЕС и очень точно описываются веберовской концепцией легитимности.

Уте Магер концентрируется в своей статье на веберовском типе легального господства и его применимости к Германии, ЕС и международным отношениям. Сначала он рассматривает немецкое конституционное и административное право в свете данного идеального типа. Применительно к сфере правительственной и административной деятельности в современной Германии актуальность этого типа просто поразительна. Впрочем, это релятивируется все более частым привлечением совещательных органов, состоящих из представителей экономически и социально влиятельных слоев, когда конкретные компетенции интересантов используются рациональным управлением профессионально обученных чиновников. Вопреки веберовскому тезису об усилении власти бюрократии, Магер констатирует ослабление управленческой власти государства. Это ведет к отказу от легального типа господства из-за его закрытой иерархической организации, а также к ослаблению привязки к парламентским законам. С точки зрения законодательной

основы легального господства у Вебера имеет место позитивизм в понимании законов, тогда как после Второй мировой войны в Германии произошел ренессанс естественного права, которое прочертило произволу правового позитивизма ценностные границы посредством конституции, в том числе посредством включения в нее прав человека. Относительно постулируемого Вебером напряжения между демократией и бюрократией, с одной стороны, обнаруживаются интересные компромиссы, наблюдаемые на примере требований компетентности, предъявляемых к бургомистрам как избираемым чиновникам в немецких муниципалитетах. С другой стороны, партиципация и транспарентность ослабляют чистую форму типа легального господства, но усиливают его легитимность. ЕС переживает ренессанс коллегиального принципа, который носит название «Открытый метод координации» и определяет его систему комиссий. ЕС, как и международные институты, следует рассматривать как формы координированного, целерационального действия, которые невозможно охватить типом легального господства.

Кристоф Дойчманн проблематизирует интерпретацию капитализма Максом Вебером как расколдованного рационального экономического порядка. В возрастающем «расколдовывании денег» в современном финансовом капитализме Дойчманн видит не развитие системы, а симптом кризиса. Расколдовывание и рационализация являются у Вебера взаимодополняющими понятиями: с точки зрения актора, рационализация есть то же самое, что и расколдовывание на уровне объекта. Полная рационализация экономики означает расколдовывание всех экономических транзакций с точки зрения их финансовой калькулируемости. Вместо рационализации в данном случае также говорят об «экономизации» и «маркетизации». В последнее время также говорят о «финансиализации», причем значимость критериев финансовой рационализации увеличивается и в неэкономических сферах — феномен, который Вебер в принципе уже вполне мог наблюдать. Подобная финансиализация приводит к конфликту в самой экономике, связанному с усилением требований финансовой прозрачности, предсказуемости и рентабельности предприятий. Ведь рационализация экономики не была до сих пор сплошной, в том числе и из-за того, что свободный наемный труд не является обычным фактором производства, а представляет собой потенциал, наделенный «креативными» свойствами. Креативное действие — нечто отличное от того, что подразумевал Вебер под типичным для экономики целерациональным действием. К креативности относится и экономическая неопределенность в форме «креативного разрушения» Шумпетера. Этот креативный потенциал с наступлением свободного рынка труда становится заветным и приводит к новому заколдовыванию денег, применяемых в качестве капитала. Непредсказуемая креативность, наряду с калькулируемой рациональностью, является при этом важнейшим признаком успешного капиталистического предприятия. Однако вместе с финансовым капитализмом интересы рантье берут верх над предпринимательскими интересами, а инновационные способности предприятий драматичным образом блокируются. Возникающая таким

образом неспособность капитала к получению прибыли может привести к само-разрушению капитализма.

Реалино Марра в своей статье о веберовских работах о бирже сначала описывает место последней в капиталистическом экономическом порядке. Биржа является для Вебера удобным местом для оптовой торговли, а также самым большим рынком, для которого характерна торговля в отсутствие товара. Таким образом, биржа увеличивает финансовую и политическую власть государства. Вебер считал, что регулирование финансовых рынков должно находиться в руках профессиональных биржевиков. При этом французской и прусской модели он предпочитал английскую, существовавшую в Лондоне как самоуправление гомогенного союза профессиональных биржевиков, закрытого для мелких и неопытных спекулянтов. Однако при этом Вебер не учитывал значительную разницу в положении банков в английской и прусско-немецкой модели: в английской модели оно было не так выражено, что ограничивало возможность политического влияния. Вебер не заметил этого момента, но наверняка приветствовал бы его. В своей социологии господства Вебер еще более негативно отзывался о возрастающей концентрации финансовых средств в руках банков. В частности, кредитная власть банков может иррациональным образом влиять на цели предприятия. Марра приходит к выводу, что работы Вебера о бирже вполне значимы для реконструкции его интеллектуального становления, однако мало подходят для анализа современного финансового капитализма.

Вольфганг Шлюхтер в своей статье рассматривает вопрос, можно ли в случае Современности говорить о новой культуре осевого времени. Вначале он проясняет, какие содержательные и историко-временные контуры очертили такие центральные авторы дебатов вокруг культур осевого времени, как Альфред Вебер, Карл Ясперс, Шмуэль Н. Эйзенштадт и Роберт Н. Белла. Альфреду Веберу принадлежит не авторство самого понятия осевого времени, но выявление схватываемой им предметной области. Ясперс радикализирует эту идею и прочерчивает ось между произошедшими одновременно и независимо друг от друга прорывами в трех культурных ареалах — Китае, Индии и Западной Европе, все еще ограничивая ее первым тысячелетием до нашей эры. Шмуэль Н. Эйзенштадт идет еще дальше: для него и христианство, и ислам относятся к культурам осевого времени. Согласно Шлюхтеру, общим для этих культур является уже не временной момент прорыва, а вид прорыва. Поэтому следует говорить об одном общем для различных культур осевом принципе. Далее он задается вопросом о том, существует ли у Современности собственный осевой принцип. Дэниел Белл дал на это ответ применительно к сферам экономики (эффективность), политики (равенство) и культуры (самореализация). Чарльз Тейлор и Ханс Блюменберг также рассматривают Новое время как секулярную эпоху, которая выработала собственную легитимность из самой себя. Для характеристики данного осевого принципа можно вернуться к понятию расколдовывания Макса Вебера. Проблема секулярного века в том, чтобы трансцендировать имманентное, причем не как коллективно навязанное, но в качестве

индивидуально понимаемого долга. Для Вебера это была проблема способа ведения жизни в расколдованном мире, которую он решает призывом к героическому индивидуализму.

Эльмар Ригер освещает в своем докладе особый западный путь в социальной политике, которой Макс Вебер в своем исследовании протестантской этики приписывал особую рациональную основу, помимо капитализма. Центральный, исходный пункт его аргументации заключается в тезисе о рациональности социальной политики, которая стремится преодолеть бедность, экономическую неопределенность и маргинализацию как объективные обстоятельства, особенно не интересуясь индивидуально-субъективными причинами и формами проявления бедности. При таком виде социальной политики речь идет о решении социального вопроса как всеобъемлющей, институционально-политической коррекции определенного состояния общества. В таком случае первый тезис гласит: социальная политика имеет религиозные корни и потому встречается лишь в западной части мира, поскольку лишь здесь можно найти необходимые религиозные основания. Второй тезис гласит о том, что существует определенная функциональная эквивалентность религии и социальной политики. В первой части автор делает набросок всемирно-исторической уникальности иудео-христианских конфессий и их продолжения в определённой форме рациональной социальной политики. Во второй части Ригер развивает свой тезис о функциональной эквивалентности религии и социальной политики и иллюстрирует его на примере Китая. В третьей части он противопоставляет теории социального порядка в христианстве и исламе с целью углубления своего тезиса об особом пути. Пятую часть статьи он посвящает Индии, в которой, несмотря на западный институциональный порядок, из-за индуистской кастовой системы до сих пор отсутствует социальная политика европейского образца.

Ганс-Пeter Мюллер рассматривает в рамках веберовской исследовательской программы задачи социологии, изучающей способы ведения жизни. Сначала он фиксирует то, что Вебер удивительным образом не дает никаких определений всем понятиям, связанным с «жизнью», в том числе понятию «ведение жизни». Это центральное понятие нуждается в экспликации в рамках концептуальной схемы, которая была бы близка веберовскому пониманию, но ни в коем случае не тождественна ему. Несмотря на отсутствие определения, понятие ведения жизни является нормативной и аналитической точкой схода в социологии Макса Вебера. Для него было важно установить, какой тип человека и какой способ ведения жизни поддерживает господствующая культура. Его прежде всего интересовало «формирование человеческого рода». Важным вопросом для Вебера было то, какое воздействие оказал процесс рационализации на современную жизнь. Следствием связанного с этим процесса секуляризации было то, что на уровне практического рационализма только сам индивид может наполнить свою жизнь осмысленным содержанием. И хотя шансы на автономное ведение жизни никогда не были столь благоприятными, Вебер в этом отношении был настроен довольно

скептически — прежде всего из-за фиксированности его современников на порядке. Однако в своей масштабной «Хозяйственной этике мировых религий» Вебер попытался эмпирически выявить принципы формирования способов ведения жизни. Современные исследования стилей жизни не следуют программе Макса Вебера. Немецкая социология уже давно не является в этом смысле «жизненной» наукой, которая может серьезно и глубоко исследовать культурные и экзистенциальные вопросы нашего времени. Центральная для Вебера тема исследования одобряемых способов ведения жизни ею уже не рассматривается. Тем не менее автор показывает в своей статье, на каких принципах могло бы основываться такое исследование сегодня.

Гаральд Венцель размышляет на тему образа жизни как терапии. Отправным пунктом для него является веберовский тезис о «парадоксе рационализации» современного общества и, соответственно, «парадоксах способов ведения жизни» современного человека. Современная личность вынуждена занимать позицию в контексте конфликтующих ценностных сфер и социальных порядков и нести ответственность за свое решение со всеми вытекающими последствиями и амбивалентностями. В современном мире требует дальнейшего развития проблема методического ведения жизни, изначально поставленная перед верующим в кальвинизме и связанная с проблемой самопрояснения собственного состояния спасенности. Здесь центральным является вопрос, как именно развивалось это субъективное самопрояснение. Автор проводит дугу от веберовских размышлений относительно опыта эмоциональной достоверности внутри методического ведения жизни по ту сторону кальвинизма до (само)терапевтической жизненной методики постевангелических деноминаций в США. Для этого он вначале рассматривает веберовские исследования эмоционального характера опыта субъективной достоверности, связанной с состоянием спасенности. В качестве второго шага он показывает на примере из сферы образования и воспитания, а именно программ исследования воздействия на самооценку, эффективности развивающих программ, что и в других теоретических традициях опыт субъективной достоверности становится важной проблемой. На третьем этапе автор останавливается на тезисе «эмоционального капитализма», сформулированном Евой Иллуз и представляющим собой расширение веберовского тезиса о рационализации еще и в аспекте популяризации терапевтического самосоотнесения как способа методического ведения жизни. Затем следует применение тезиса эмоционального капитализма к постевангелическим деноминациям, в особенности к церкви «Виноградник». Работа по субъективному самопрояснению прямо принимает здесь форму терапии.

Современный вариант харизмы Агата Бьенфэ исследует в своей статье функции канонизации и беатификации в католической церкви. Поводом для ее исследования стало резкое увеличение числа канонизаций и беатификаций в католической церкви во время понтификата Иоанна Павла II (1978–2005). К 2004 году он сам совершил 482 канонизации, что на 180 больше, чем все его предшествен-

ники с 1592 года. Сюда следует добавить 1332 случая беатификации (980 во все предыдущие столетия), обеспечивших потенциальных кандидатов для будущих канонизаций. С XVI столетия католическая церковь обладает формальной, строго юридически разработанной процедурой перманентного «конструирования» святости — это так называемый процесс канонизации, в рамках которого точно оцениваются и подтверждаются харизматические свойства на основании установленных «знамений и чудес». Данный процесс канонизации был реформирован в 1983 году Иоанном Павлом II. Таким образом была создана основа для массового увеличения числа канонизаций и беатификаций. Это следует понимать как церковно-политический ответ на запросы и потребности в репрезентации, зафиксированные Вторым Ватиканским собором. Данный тезис автор иллюстрирует двумя аспектами реформы 1983 года: плебисцитарным расширением должностной харизмы посредством повышения значимости мнения мирян и контекстуализацией понятия «святости» посредством вытеснения юридических элементов в пользу исторической и культурной интерпретации. Представляется, что реформой 1983 года Иоанну Павлу II удалось превратить процедуру канонизации в инструмент легитимации, который, с одной стороны, учитывает требования открытости и обновления репрезентации, а с другой — дополнительно подтверждает централистскую структуру церковного ведомства и притязания на авторитарное правление. Таким образом, находящаяся под угрозой овеществления должностная харизма связывается с личной харизмой святых и блаженных. Данная легитимация должностной харизмы через «реперсонализацию» представляет собой особую, до сих пор незамечаемую форму преобразования подлинной харизмы.

Клаус Кремер с помощью веберовской теории харизмы исследует роль предсказателей финансовых рынков. Исходным пунктом для него является фундаментальная и экстремальная неопределенность на финансовых рынках в качестве нормального состояния. Но как акторы в условиях такой неопределенности вообще могут принимать решения? Ортодоксальная теория рынка капитала исходит из неоклассического положения, что финансовые рынки являются информационно-эффективными образованиями. При отклонениях постулируются постфактум особые экономические условия, которые следуют своим собственным законам. Таким образом, эта теория эффективных рынков капитала является совершенно неопровергимой. В то время как ортодоксальная теория рынков капитала исходит из образа рационального, максимизирующего выгоду инвестора, «behavioral finance», напротив, обращают внимание именно на эти отклонения от рационального типа вкладчика. Однако при этом они упускают из виду социальные институты и процессы, возникающие на финансовых рынках. Из социологической перспективы выдвигается тезис, что финансовые акторы принимают решения на рынке, взаимно наблюдая друг за другом. Речь идет об ожидании ожиданий в лумановском смысле. Финансовые рынки следуют собственному самореференциальному функциональному модусу. Посредством того, что одни акторы на финансовых рынках ориентируются на ожидания других акторов, они компенсируют

неопределенность и редуцируют комплексность. Однако данная модель ожидания ожиданий обнаруживает недостатки в объяснении. Необходимо различать конформные и отклоняющиеся ожидания. Чтобы объяснить динамику отклоняющихся ожиданий можно вновь обратиться к веберовскому понятию харизмы. Биржевые прорицатели могут разрушать конвенциональные ожидания относительно биржевых событий и мобилизовать верящих им сторонников, обещая им новые шансы на получение доходов. В центре харизматического вмешения стоит не индивидуальный дар биржевого пророка, а его послание. Решающей является харизма идеи с ее новыми культурными рамками рынков экономики будущего и высокорискованных бизнес-моделей.

Йорг Россель своей статьей демонстрирует актуальную релевантность тезисов и понятий веберовской социологии потребления, которые находятся в явном противоречии с их общим (не)восприятием. В начале он обобщает и систематизирует замечания о потреблении, разбросанные по веберовским работам по социологии хозяйства. При этом фокус его реконструкции направлен на несколько аспектов: во-первых, это концептуальная и теоретическая релевантность понятия потребления среди основных категорий веберовской социологии. В их рамках решающим для капиталистической динамики мотивом является стремление к прибыли, но не поведение потребителей. Однако в современном капитализме поведение потребителей точно так же может быть рационализовано посредством денежных расчетов и эффективных цен — подобно формальной рациональности при расчете капитала. И оно рационализируется, хотя конкретный масштаб этого процесса рационализации остается эмпирическим вопросом. Во-вторых, с точки зрения Вебера, поведение потребителей обусловлено доступным доходом, структурой домашнего бюджета, а также традициями и обычаями, зависящими от социальной, этнической и конфессиональной принадлежности. Однако эти факторы релевантны не только для теоретической дискуссии и отчасти недооцениваются, так что автор готов и эмпирически доказать, что веберовские детерминанты поведения потребителей могут обладать объяснительной силой и в рамках современных исследований в области социологии хозяйства.

Мартин Гросс посвящает свою статью вопросу, насколько механизмы социальной замкнутости, восходящие к Веберу, могут быть ответственными за неравенство в заработанной плате в Германии. При этом он ставит два вопроса: является ли неравенство доходов следствием механизмов замкнутости или рыночных механизмов? И на каком уровне главным образом действуют эти механизмы: на индивидуальном, профессиональном или на уровне предприятия? Применительно к рыночным механизмам автор исследует прежде всего значение теории человеческого капитала для объяснения различий в зарплате. Технологические изменения привели к тому, что индивидуальная квалификация становится все более значимой для получения большего дохода. Теория замкнутости социальных групп Макса Вебера обычно рассматривается в качестве альтернативного способа объяснения: определенные группы закрывают другим доступ к важным ресурсам

(например, ограничивают возможности получения образования, устанавливают профессиональные барьеры и организуют монополии на рынках товаров), получая тем самым доходы, которые не соответствуют вложенной квалификации и производительности (так называемые «ренту»). Но оба подхода, понимаемые, как правило, как взаимоисключающие, с точки зрения эмпирических данных скорее взаимно дополняют, нежели противоречат друг другу. Возрастающее значение квалификации сопровождается возрастанием значения процессов замыкания. Гросс показывает, что неравенство доходов в первую очередь происходит на уровне предприятий, то есть порождено установленными там режимами оплаты труда.

Вольфганг Кнёбль обсуждает в своей статье концепцию «множественной современности» и вызовы со стороны новейшей глобальной истории. Во введении он очень широко ставит скептический вопрос о возможном вкладе Макса Вебера в эту новую дискуссию, приходя к принципиально позитивному результату: смещение фокуса на глобальную историю выявляет как сильные, так и слабые стороны веберовской аналитической стратегии. Поэтому сначала Кнёбль спрашивает о том, какие новейшие глобально-исторические воззрения могли бы стать вызовом для лагеря веберианцев в теоретическом отношении. Он не видит особых проблем с концептом «entanglements». Связанные с ним исследования требуют теоретического и понятийного наполнения в духе Вебера. Большую проблему представляют относительно сильная фиксированность веберианцев на национальном государстве, поскольку можно показать, что образование национальных государств в Европе тесно связано с имперскими проектами. Еще большую проблему представляют так называемые дебаты о «Великом расхождении» (Great Divergence), в рамках которых критикуется тезис о том, что возвышение Запада наметилось несколько столетий назад, и которые могут пониматься как критика веберовского тезиса о западной рационализации. Далее Кнёбль фиксирует множество проблем, связанных с дебатами вокруг концепции «множественной современности»: поступающая в них длительность и устойчивость процессов вызывает скепсис; если отбросить спорные религиозно-социологические рамки, то возникает вопрос о том, сколько, собственно, современностей существует; применение ортодоксальной теории дифференциации не ведет нас дальше и т. д. Он предлагает более активно использовать заявленный Вебером анализ разнообразных конstellаций и избавиться от мышления в громоздких процессуальных категориях.

Томас Швинн подвергает критической проверке тезис о том, что в веберовских работах речь идет об историческом генезисе, а не о проблеме распространения модерна. В этом отношении значима политическая социология Вебера, в которой сравниваются друг с другом Германия, Россия и США. Здесь речь идет уже не о генезисе современности, как в сравнительной социологии религии, а о расширении и разнообразии модерна в начале XX века. Веберовские оценки долгосрочных путей развития обоих обширных государств на востоке и западе амбивалентны. Они колеблются от ожидания европеизации Америки и России до надежды на то, что благодаря двум этим странам «пространство модерна» будет оставаться от-

крытым. В противовес подчас редукционистским тенденциям у самого Вебера при изучении проблематики распространения модерна необходимо задействовать всю аналитическую программу, реализованную в рамках социологии религии. Здесь необходимо учитывать новейшую исследовательскую литературу. На примере США демонстрируется, что в сравнении с континентальной Европой там возникла самостоятельная форма современности, которая нашла свое выражение в политике, религии, праве и науке. Сравнительный анализ вариантов современности является приемлемым продолжением веберовской сравнительной социологии религии.

Проведение симпозиума и публикация сборника стали возможны благодаря всесторонней помощи. Сабина Реннингхоф подготовила манускрипты для публикации и печати, Кристофф Морлок составил предметный и авторский указатель. Обоим мы хотели бы высказать особую благодарность.

Райнер Лепсиус активно участвовал в подготовке симпозиума, на котором в апреле 2014 года он выступил перед многочисленными заинтересованными слушателями с одним из своих последних докладов. Несколько месяцев спустя он скончался. Мы потеряли харизматического учителя и оратора, блестящего и творческого мыслителя, обаятельного коллегу. Мы посвящаем сборник его памяти.

Мартин Ризенброт умер в декабре 2014 года. В своих работах он блестяще раскрыл актуальные религиозные феномены и процессы с помощью категорий Макса Вебера. Он также останется в нашей памяти.

## Литература

*Alexander J. C. (1983). Theoretical Logic in Sociology. Vol. 3: The Classical Attempt at Theoretical Synthesis: Max Weber.* Berkeley: University of California Press.

*Ay K. (2006). Gedenken in München 1964 // Ay K., Borchardt K. (Hrsg.). Das Faszinosum Max Weber: Die Geschichte seiner Geltung.* Konstanz: UVK. S. 393–405.

*Borchardt K. (2006). Einleitung // Ay K., Borchardt K. (Hrsg.). Das Faszinosum Max Weber: Die Geschichte seiner Geltung.* Konstanz: UVK. S. 7–13.

*Engisch K., Pfister B., Winckelmann J. (Hrsg.). (1966). Max Weber-Gedächtnisschrift der Ludwig-Maximilians-Universität München zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages 1964.* Berlin: Duncker & Humblot.

*Fügen N. (1985). Max Weber.* Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

*Gneuss Ch. Kocka J. (Hrsg.). (1988). Max Weber: Ein Symposium.* München: dtv.

*Habermas. J. (1981). Theorie des kommunikativen Handelns.* Frankfurt am Main: Suhrkamp.

*Hanke E. (2014). Max Weber weltweit: Zur Bedeutung eines Klassikers in Zeiten des Umbruchs // Hübinger G. (Hg.). Europäische Wissenschaftskulturen und politische Ordnungen in der Moderne (1890–1970).* München: Oldenbourg. S. 285–305.

*Käsler D.* (2014). Max Weber: Preuße, Denker, Muttersohn: Eine Biographie. München: Beck.

*Kaube J.* (2014). Max Weber: Ein Leben zwischen den Epochen. Berlin: Rowohlt.

*König R., Winckelmann J.* (Hrsg.) (1963). Max Weber zum Gedächtnis: Materialien und Dokumente zur Bewertung von Werk und Persönlichkeit. Köln: Westdeutscher Verlag.

*Lepsius M. R.* (1990). Interessen, Ideen und Institutionen. Köln: Westdeutscher Verlag.

*Lepsius M. R.* (2006). Münchens Beziehungen zu Max Weber und zur Pflege seines Werkes // *Ay K., Borchardt K.* (Hrsg.). Das Faszinosum Max Weber: Die Geschichte seiner Geltung. Konstanz: UVK. S. 17–27.

*Müller H.-P.* (2007). Max Weber: Eine Einführung in sein Werk. Köln: Böhlau.

*Müller H.-P., Sigmund S.* (Hrsg.). (2014). Max Weber-Handbuch: Leben — Werk — Wirkung. Stuttgart: J. B. Metzler.

*Radkau J.* (2005). Max Weber: Die Leidenschaft des Denkens. München: dtv.

*Roth G.* (2001). Max-Webers deutsch-englische Familiengeschichte 1800–1950. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

*Roth G.* (2006). Heidelberg und Montreal. Zur Geschichte des Weberzentenarums 1964 // *Ay K., Borchardt K.* (Hrsg.). Das Faszinosum Max Weber. Die Geschichte seiner Geltung. Konstanz: UVK. S. 377–391.

*Scaff L. A.* (2013). Max Weber in Amerika. Berlin: Duncker & Humblot.

*Schluchter W.* (1979). Die Entwicklung des okzidental Rationalismus. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

*Schluchter W.* (1988). Religion und Lebensführung. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

*Schluchter W.* (2006–2007). Grundlegungen der Soziologie. Tübingen: Mohr Siebeck.

*Stammer O.* (1965). Max Weber und die Soziologie heute: Verhandlungen des 15. Deutschen Soziologentags. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

*Sukale M.* (2002). Max Weber: Leidenschaft und Disziplin. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

*Tyrell H.* (2014). «Religion» in der Soziologie Max Webers. Wiesbaden: Harrassowitz.

*Weber Mar.* (1984). Max Weber: Ein Lebensbild. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

*Weiß J.* (1989). Zur Einführung // *Weiß J.* (Hrsg.). Max Weber heute: Erträge und Probleme der Forschung. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 7–28.

## Old Concepts — New Problems: Max Weber's Sociology in the Light of Current Challenges

*Thomas Schwinn*

Doctor of Sociology, Professor, Director, Max-Weber-Institut für Soziologie, Universität Heidelberg  
 Address: Bergheimer Straße, 58, Heidelberg, Deutschland D-69115  
 E-mail: thomas.schwinn@soziologie.uni-heidelberg.de

**Gert Albert**

Doctor of Sociology, Professor, Fakultät Humanwissenschaften, Universität der Bundeswehr München

Address: Werner-Heisenberg-Weg, 39, Neubiberg, Deutschland 85577

E-mail: gert.albert@unibw.de

**Dmitry Kataev (translator)**

PhD in Sociology, Associate Professor, Department of Philosophy, Sociology and Theology, Lipetsk State

Pedagogical Semenov-Tyan-Shansky University

Address: Lenina str., 42/2, Lipetsk, Russian Federation 398020

E-mail: dmitrikataev@rambler.ru

**Oleg Kildyushov (editor)**

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

A review of the article by Thomas Schwinn and Gert Albert is an introduction to the analogous digest following the symposium held in April, 2014, in Heidelberg in honor of the 150th anniversary of Max Weber's birthday. The representatives of a new generation of Weber-researchers are trying to present a panoramic view aimed at actualizing the ideas of the author and giving a new impulse to the study of his work. In the first part of the article, the authors trace the changes in the Weberian research tradition that occurred 50 years after the resonant Congress. The Weberian intellectual tradition at the present stage faces other challenges, the most important of which is the answer to the question whether Max Weber's sociology has sufficient potential to be a reliable theory for diagnosing and forecasting the problems of globalization and modernization, which is apart from the awareness of how modern society has emerged and is being formed. In the second part, critical annotations of reports and publications are presented. Thus, there is an explication of the thesis about the sufficient research potential of the three-part Weberian paradigm (theory, methodology, and historical analysis) for studying both the transformational processes of the present and for forecasting the development of modernity in the future, thereby encompassing a wide spectrum of actualized Weberian sociology.

**Keywords:** German theoretical sociology, Max Weber, Weberian paradigm, understanding sociology, multiple modernity, globalization

**References**

Alexander J. C. (1983) *Theoretical Logic in Sociology, Vol. 3: The Classical Attempt at Theoretical Synthesis: Max Weber*, Berkeley: University of California Press.

Ay K. (2006) Gedenken in München 1964. *Das Faszinosum Max Weber: Die Geschichte seiner Geltung* (Hrsg. K. Ay, K. Borchardt), Konstanz: UVK, pp. 393–405.

Borchardt K. (2006) Einleitung. *Das Faszinosum Max Weber: Die Geschichte seiner Geltung* (Hrsg. K. Ay, K. Borchardt), Konstanz: UVK, pp. 7–13.

Engisch K., Pfister B., Winckelmann J. (Hrsg.) (1966) *Max Weber-Gedächtnisschrift der Ludwig-Maximilians-Universität München zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages 1964*, Berlin: Duncker & Humblot.

Fügen N. (1985) *Max Weber*, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Gneuss Ch., Kocka J. (Hrsg.) (1988) *Max Weber: Ein Symposium*, München: dtv.

Habermas. J. (1981) *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hanke E. (2014) *Max Weber weltweit: Zur Bedeutung eines Klassikers in Zeiten des Umbruchs. Europäische Wissenschaftskulturen und politische Ordnungen in der Moderne (1890–1970)* (Hg. G. Hübinger), München: Oldenbourg, pp. 285–305.

Käsler D. (2014) *Max Weber: Preußische Denker, Muttersohn: Eine Biographie*, München: Beck.

Kaube J. (2014) *Max Weber: Ein Leben zwischen den Epochen*, Berlin: Rowohlt.

König R., Winckelmann J. (Hrsg.) (1963) *Max Weber zum Gedächtnis: Materialien und Dokumente zur Bewertung von Werk und Persönlichkeit*, Köln: Westdeutscher Verlag.

Lepsius M. R. (1990) *Interessen, Ideen und Institutionen*, Köln: Westdeutscher Verlag.

Lepsius M. R. (2006) Münchens Beziehungen zu Max Weber und zur Pflege seines Werkes. *Das Faszinosum Max Weber: Die Geschichte seiner Geltung* (Hrsg. K. Ay, K. Borchardt), Konstanz: UVK, pp. 17–27.

Müller H.-P. (2007) *Max Weber: Eine Einführung in sein Werk*, Köln: Böhlau.

Müller H.-P., Sigmund S. (2014) *Max Weber-Handbuch: Leben — Werk — Wirkung*, Stuttgart: J. B. Metzler.

Radkau J. (2005) *Max Weber: Die Leidenschaft des Denkens*, München: dtv.

Roth G. (2001) *Max-Webers deutsch-englische Familiengeschichte 1800–1950*, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Roth G. (2006) Heidelberg und Montreal: Zur Geschichte des Weberzentenarius 1964. *Das Faszinosum Max Weber: Die Geschichte seiner Geltung* (Hrsg. K. Ay, K. Borchardt), Konstanz: UVK, pp. 377–391.

Scaff L. A. (2013) *Max Weber in Amerika*, Berlin: Duncker & Humblot.

Schluchter W. (1979) *Die Entwicklung des okzidental Rationalismus*, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Schluchter W. (1988) *Religion und Lebensführung*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Schluchter W. (2006–2007) *Grundlegungen der Soziologie*, Tübingen: Mohr Siebeck.

Stammer O. (1965) *Max Weber und die Soziologie heute: Verhandlungen des 15. Deutschen Soziologentags*, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Sukale M. (2002) *Max Weber: Leidenschaft und Disziplin*, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Tyrell H. (2014) "Religion" in der Soziologie Max Webers, Wiesbaden: Harrassowitz.

Weber Mar. (1984) *Max Weber: Ein Lebensbild*, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

Weiß J. (1989) Zur Einführung. *Max Weber heute: Erträge und Probleme der Forschung* (Hg. J. Weiß), Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 7–28.

## Почему Арендт?

Алексей Саликов

Кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной социологии

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: [dralexey.salikov@gmail.com](mailto:dralexey.salikov@gmail.com)

Есть философы, имена которых известны всем: Платон, Аристотель, Кант. О них пишут в школьных учебниках по обществознанию, их изучают в университетских курсах по философии, о них стыдно не знать образованному человеку. Есть философы, имена которых никому, кроме специалистов, не известны. Таких большинство. И есть философы, имена которых известны многим, но слава которых очень неоднозначна. Это случай Арендт, мыслителя глубокого, неординарного и противоречивого. Чем же так знаменита Ханна Арендт и чем она может быть интересна отечественному читателю?

На Западе Арендт по праву считается одним из классиков современной политической мысли. Ее работам посвящаются многочисленные научные симпозиумы, год от года растет количество публикаций о ней. Ее именем названы улицы и скорые поезда. Учрежден премия имени Ханны Арендт — за вклад в политическую мысль. Существуют несколько центров по изучению ее теоретического наследия, ее имя носят научно-исследовательские институты. Все это подтверждает слова Курта Зонтхаймера о том, что Хана Арендт стала в современном западном мире своего рода иконой, символом нашего времени<sup>1</sup>. Славу Арендт принесли прежде всего ее исследование феномена тоталитаризма (книга «The Origins of Totalitarianism»<sup>2</sup>), репортажи с процесса над нацистским преступником Адольфом Эйхманом («Eichmann in Jerusalem»<sup>3</sup>), а также анализ проблем политического в условиях современного массового общества («The Human Condition»<sup>4</sup>).

В России Арендт сегодня один из самых недооцененных современных философов. Да, за последние 20 лет, начиная с середины 1990-х годов, когда стали появляться переводы трудов Арендт на русский язык, имя ее стало о чем-то говорить образованному отечественному читателю, но другое дело — «о чем» оно говорит. К сожалению, по большей части это штампы и ярлыки, закрепившиеся за ней в России в процессе «широкой» рецепции и обусловленные нехваткой фундамен-

---

© Саликов А. Н., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-2-218-220

1. Sontheimer K. (2005). Hannah Arendt: Der Weg einer grossen Denkerin. München: Piper. S. 9–10.

2. Arendt H. (1951). The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace & World.

3. Arendt H. (1963). Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. New York: Viking Press.

4. Arendt H. (1958). The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press.

тальных исследований и дискуссий о ее философии. Репутация Арендт как «поверхностного» («Гегель в комиксах»<sup>5</sup>), «устаревшего»<sup>6</sup> или «либерального» философа вызвана самыми разными причинами. Это и недостаток исследований, и специфические проблемы с русскими переводами, а также с переводами работ других философов, психологов, социологов и политологов, составляющих необходимый для ее рецепции контекст<sup>7</sup>. На первый взгляд ситуация с переводами текстов довольно неплохая, основные работы Арендт в настоящий момент доступны на русском: «Истоки и смысл тоталитаризма»<sup>8</sup> (1996), «Vita activa, или О деятельной жизни»<sup>9</sup> (2000), «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме»<sup>10</sup> (2008), «Жизнь ума»<sup>11</sup> (2013) и др. Однако многие из существующих переводов не лишены определенных недостатков, которые обусловлены как объективными (двуязычие Арендт, разнобразие изданий ее работ, отсутствие устоявшегося канона, т. е. академического собрания ее трудов в англоязычной и немецкоязычной традиции), так и субъективными обстоятельствами (неглубокое знание работ Арендт,спешность перевода без научного редактирования, отсутствие необходимого научного аппарата, вводных статей, предисловий и послесловий). (К слову, мы планируем опубликовать в одном из номеров «Социологического обозрения» специальное исследование, посвященное анализу имеющихся русских переводов трудов Арендт.) Другой проблемой является то, что, по сути, в России до сих пор нет систематического исследования философии Арендт: не так много, как хотелось бы, публикуется статей и выходит монографий, мало защищается диссертаций. В стране не сложился пока и сколь-нибудь значимый центр арендтovedения, остро ощущается нехватка научных мероприятий: за все время с начала 1990-х годов прошло всего несколько небольших конференций и круглых столов, посвященных идеям Арендт (в Калининграде и Санкт-Петербурге, а также в Москве).

Такая ситуация с исследованием философии Арендт выглядит особенно печально, учитывая то обстоятельство, как много внимания в ее работах уделяется Советской России и СССР. Более того, Арендт затрагивает многие злободневные, в том числе и для современной России, темы: триумф бюрократии и дегуманизация общества, отмирание политики как сферы реализации человеческой свободы и общий нигилизм, мышление в контексте исторического опыта травмы (в отличие от более знаменитого, но и более узкого обсуждения мышления после Холокоста), злоупотребление эмоциональными (и, более широко, моральными)

5. <http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk5/19.html>

6. [http://n-europe.eu/tables/2014/01/28/nasledie\\_khannyarendt\\_segodnya](http://n-europe.eu/tables/2014/01/28/nasledie_khannyarendt_segodnya)

7. См. доклад А. Г. Жаворонкова на круглом столе «Творчество Ханны Арендт и современность», состоявшемся в ИФ РАН 20 октября 2016 г.

8. Арендт Х. (1996). Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева, Ю. Б. Мишлене, Л. А. Седова под ред. М. С. Ковалевой и Д. М. Носова. М.: ЦентрКом.

9. Арендт Х. (2000). Vita activa, или О деятельной жизни / Пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина. СПб.: Алетейя.

10. Арендт Х. (2008). Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме / Пер. с англ. С. Кастальского и Н. Рудницкой. М.: Европа.

11. Арендт Х. (2013). Жизнь ума / Пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб.: Наука.

аргументами в политической сфере, а также вопросы о личной ответственности за коллективные действия и о разграничении публичного и частного<sup>12</sup>. Все вышесказанное отчетливо свидетельствует о том, что в России назрела насущная потребность в серьезном и систематическом изучении идейного наследия Арендт.

Ранее наш журнал уже публиковал материалы, связанные с Ханной Арендт: статьи А. Глухова<sup>13</sup> и М. Сидоровой<sup>14</sup>, переводы интервью Ханны Арендт с Гюнтером Гаусом<sup>15</sup> и Карло Шмидом<sup>16</sup>, предисловие переводчика к интервью Арендт и Карло Шмидта<sup>17</sup>, отчет о международной конференции в Калининграде<sup>18</sup>, рецензию<sup>19</sup> М. Юрловой на сборник «Между прошлым и будущим» в переводе Д. Аронсона. Однако нам кажется, что этого сегодня уже недостаточно. Нужен свежий взгляд, который бы позволил взглянуть на ее философию без предрассудков и стереотипов. Нужно то, что Арендт называла «новым началом» — поступок, инициатива, через которую, собственно, и раскрывается деятельная сущность человека.

И наш журнал принял решение проявить эту инициативу. С этого номера «Социологическое обозрение» открывает постоянную рубрику «Ханна Арендт: новое начало», в которой мы планируем публиковать материалы, так или иначе связанные с ее теоретическим наследием: статьи, переводы, рецензии, обзоры и отчеты о конференциях. Мы будем делать это регулярно и надеемся, что новая рубрика станет дискуссионной площадкой для отечественных и зарубежных исследователей, центром притяжения всех интересующихся философией Арендт.

12. См. доклад А. Г. Жаворонкова на круглом столе «Творчество Ханны Арендт и современность», состоявшемся в ИФ РАН 20 октября 2016 г.

13. *Gloukhov A. (2015). Arendt on Positive Freedom // Социологическое обозрение. Т. 14. № 2. С. 9–22.*

14. *Сидорова М. (2016). Прощение как опыт возможного: подходы Х. Арендт и П. Рикера // Социологическое обозрение. Т. 15. № 2. С. 192–207.*

15. *Арендт Х., Гаус Г. (2013). Разговор с Гюнтером Гаусом: телевизионное интервью (октябрь 1964 г.) / Пер. с нем. Г. Дашевского // Социологическое обозрение. Т. 12. № 1. С. 3–23.*

16. *Арендт Х., Шмид К. (2016). Право на революцию: разговор между профессором Карло Шмидом и философом Ханной Арендт / Пер. с нем. А. Саликова // Социологическое обозрение. Т. 15. № 1. С. 56–74.*

17. *Саликов А. (2016). Предисловие к публикации «Право на революцию» // Социологическое обозрение. Т. 15. № 1. С. 54–55.*

18. *Саликов А. (2014). Философский зоопарк в Калининграде: международная конференция «Современное значение идей Ханны Арендт» // Социологическое обозрение. Т. 13. № 3. С. 219–222.*

19. *Юрлова М. (2014). «Между прошлым и будущим»: упражнения в политической мысли в отсутствие твердой опоры // Социологическое обозрение. Т. 13. № 3. С. 223–237.*

# «Слепое пятно» политического мышления Ханны Арендт

*Иван Кузин*

Доктор философских наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории  
Института философии Санкт-Петербургского государственного университета  
Адрес: Менделеевская линия д. 5, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 199034  
E-mail: [iaffet@mail.ru](mailto:iaffet@mail.ru)

Исследование посвящено конструктивному анализу феномена «слепого пятна» в контексте политической рефлексии социально-исторических событий. Данное явление, будучи частью самого мышления, имеет двойственную природу, влияющую на формирование наших суждений. Помимо этого, в статье показывается, как действие «слепого пятна» относится к убеждению, с одной стороны, обеспечивающего возможность вынесения исторического суждения, с другой стороны, проясняющего природу возникающих сомнений относительно объективности исторического познания. В качестве примера данной аналитики рассматривается интерпретация теории способности суждения, предложенная Х. Арендт. Параллель критического мышления, связанный с вторжением «слепого пятна», является результатом абсолютизации теоретического разума, что сказывается на политических и моральных оценках истории. В исследовании на примере некоторых политических оценок, которые дает Х. Арендт трагическим событиям XX века, раскрываются особенности работы «слепого пятна» в мышлении. Осознание этого явления способствует более чуткому отношению к особенному, о чем повествует история, а также — смягчению идеологической ангажированности ради установления более взвешенных отношений между культурами, предотвращая тем самым невольно возникающее культурное высокомерие. В итоге в статье показано, как обособляющая интенция способности суждения отражается на «социализации» теоретического разума; как двоякое свойство феномена «слепого пятна» мышления влияет на оценку исторических и политических реалий и, как следствие, вновь достигается осознание ценности ограничения разума; каким образом и в каком смысле справедливые гуманистические выводы, которые стремится сделать Арендт из проанализированных ею тоталитарных режимов XX века и из кантовского учения о способности суждения, подспудно несут с собой опасность неприемлемого противопоставления различных культурных идентичностей.

*Ключевые слова:* Ханна Арендт, Кант, политическое, способность суждения, родовое, индивидуальность, масса

В последнее время количество отечественных публикаций, посвященных политики-философским воззрениям Ханны Арендт, неуклонно возрастает, что связано не только с увеличением переводов ее трудов на русский язык, а, очевидно, и с тем, что актуальность затронутых ею злободневных проблем в современном мире не только не снижается, но, наоборот, все больше выходит на первый край полити-

ческих и социально-философских дискуссий. Помимо интереса к основным темам философских раздумий Арендт, а именно — раскрытию природы зла в истории политической жизни общества (Трубина, 1998: 116–130; Bernstein, 2002; Allen, 2000: 183–206; Ерохов, 2009: 72–92; Сидорова, 2016: 192–207), осмыслиению тоталитарных форм правления и прояснению их питательной среды (Малышев, 2010: 297–328; Рогожа, 2015: 221–244; Aschheim, 2001; Young-Bruehl, 2006; Baehr, 2010), не меньший интерес вызывает и сама личность философа, которая прожила драматичную и яркую жизнь, одним из ключевых моментов которой были личные и философские отношения с другим крупнейшим философом XX века — Мартином Хайдеггером (Benhabib, 2003; Мотрошилова, 2013).

В данной статье будет привлечено внимание к, казалось бы, совершенно проходной реплике Арендт о Черчилле, которую можно было бы принять за сугубо риторический жест, если бы в результате он не указывал на казус, на неожиданную непоследовательность в ее оценке исторических событий и личностей XX века. Сделано это будет не столько для того, чтобы в очередной раз отметить имеющуюся в размышлениях Арендт противоречия (см.: Файн, 1999: 36–64), сколько для того, чтобы вскрыть проблему иного порядка, явно или скрыто дающую о себе знать при столкновении с любым формирующимся убеждением об исторических, социальных и культурных фактах. В ее исследованиях мы находим россыпи проницательных, точных и ценных наблюдений и суждений. Однако всего лишь одна конкретная фраза позволяет обнаружить специфическое явление «слепого пятна» мышления, которое во многом оказывается неизбежным фактором, влияющим на наши суждения.

Обнаружение этой стороны мышления нередко сбивает с толку и препятствует достижению должного понимания проговариваемой позиции, заставляя лишний раз удостоверяться в сомнительности радикальных претензий социального познания на объективность. Тем не менее осознание такого явления позволяет объяснить природу не только идеологической ангажированности, но и любой идейной предвзятости, от которой полностью невозможно отказаться. Этому способствуют как анализ некоторых теоретических подходов, выбранных Арендт при рассмотрении конкретных исторических событий, так и определение той роли, которую играет в этом категория «суждения», значимая для создания ею своей политической теории. Последнему вопросу в отечественной литературе пока посвящено мало исследований (Магун, 1998: 102–115; Саликов, 2008а: 31–39; Саликов, 2008б: 34–40; Филиппов, 2013: 155–167; Ямпольская, 2014: 9–24)<sup>1</sup>, но именно в нем открывается основание для концептуализации феномена «слепого пятна» мышления.

Чтобы достичь поставленной цели, нам понадобится показать: 1) в каком смысле можно говорить о связи между политическим и моральным суждением; 2) как обособляющая интенция способности суждения отразилась на «социали-

1. Среди иноязычных изданий мы бы выделили: Bernstein, 1986: 221–238; Beiner, Nedelsky, 2001; Kristeva, 2001; Fine, 2008: 157–176; Schaap, Celermajer, Karalis, 2010; Deutscher, 2012: 203–225.

зации» теоретического разума; 3) контекст обнаружения парадоксальной непоследовательности в позиции Арендт, что дает основание ввести понятие «слепого пятна» мышления, влияющего на оценку исторических и политических реалий; 4) какие возможны подступы к пониманию природы «слепого пятна» мышления; 5) как двоякое свойство феномена «слепого пятна» мышления ведет к осознанию ценности ограничения разума; 6) каким образом и в каком смысле справедливые гуманистические выводы, следующие из анализа Арендт трагических событий массового уничтожения людей в XX веке и из кантовского учения о способности суждения, подспудно несут с собой опасность неприемлемого противопоставления различных культурных идентичностей; 7) каким образом снимается противостояние родового индивидуальному. Это заставляет по-новому задаться вопросом о существе человеческого, в решении которого может помочь возвращение к тематизации исторически и культурно фундированному понятию «трансцендентное». Выход к этому понятию достигается через обращение к особенному, о котором и повествует политическая история.

### **Моральное *vice versus* политическое**

В трудах Арендт не представлено развернутого учения о связи ее политической концепции с моральной проблематикой, более того, моральное и политическое часто принципиально разводятся. Если же учесть крайне широкий спектр оценок философии Арендт как относящейся к тому или иному политическому типу мысли — от радикального консерватизма до анархизма и либерализма (см.: Horowitz, 2012; Canovan, 1997: 11–32; Wiley, 2014: 162; Lloyd, 1995: 31–58; Curthoys, 2013)<sup>2</sup>, — то выявление такой связи становится еще более непростой задачей. Тем не менее оценивая ее творчество в целом, в ее политико-ориентированных работах, в которых постоянно делается отсылка к морально-философским вопросам, эту связь можно отследить, что находит свое подтверждение в целом ряде исследований, посвященных анализу ее наследия (см.: Прокофьев, 2004: 53–73; Золотов, 1999: 65; Хойер, 2015: 66–85; MacLachlan, 2006; Keladu, 2015: 68–85; Williams, 2007).

Арендт разрабатывает понятие политического через концепт множественности как общности, обретаемой в коммуникации, в свободном обмене мнениями, к чему предрасположен каждый автономный субъект. Истоки данной концепции мы можем найти не только в древнегреческой традиции понимания политического, но и в кантовской моральной философии. Поэтому для Арендт, по существу, как и для Канта, важно определять человеческое через автономию действия как

2. Объяснение причины такого разброса в оценке ее идей можно найти у А. Эткинда: «Герметическая сложность мысли сочетается с резкостью монологических формул, которые чаще заявляются, чем доказываются. Последователи и критики десятилетиями спорят о толковании введенных, но не определенных ею понятий... Это образец замкнутой на себя речи, с которой можно соприкоснуться, но в которой нельзя участвовать» (Эткинд, 2000: 180–181).

прерывание автоматических процессов «в сфере человеческих дел» (Арендт, 2014б: 39).

Это означает, что полноценность человеческого бытия определяется двумя моментами: человек, будучи политическим животным, выступает в качестве существа одинакового и равного всем себе подобным (т. е. обнаруживающим некую общность с другими) и одновременно как существо абсолютно индивидуальное и особенное, и в этой своей индивидуальности являющийся существом уникальным, т. е. отличным от всех других: «Поступок нуждается в такой множественности, когда все хотя и одинаковы, а именно остаются людьми, но тем своеобычным способом и образом, что ни один из этих людей никогда не равен другому, какой когда-либо жил, живет или будет жить» (Арендт, 2000: 16).

Коль скоро ситуация предстает таковой, то возникает вопрос, чем является отмеченная ею общность, которая становится осью для осуществления процедуры уравнивания прав многообразия уникальностей. С учетом социально-политической сориентированности философии Арендт в русле кантовской философии этой общности будет соответствовать возможная моральность человеческих поступков. Средоточием и следствием таких поступков является признание человека высшей целью и ценностью как свободной личности, реализующейся в общении. Именно на этой основе мыслами организация совместной политической жизни граждан.

Если прямой коннотации политической жизни с моральной обусловленностью мы в исследованиях Арендт не обнаруживаем, то опосредованно подобный этический аспект дает о себе знать, особенно когда она разрабатывает учение о политическом через призму философии Канта. Для Канта именно нравственный поступок вносил в измерение бытия специфически человеческую (личностную) черту. Надо полагать, что не только этика Аристотеля, но и кантианский анализ существа морали повлиял на то, что в философии Арендт понятие «действие» («поступок») выступает в качестве краеугольного камня для раскрытия подлинности человеческого существования, подверженной опасности забвения в человеке-трудящемся или человеке-созидающем.

Несмотря на то что приоритетным в построении своей политической философии для Арендт становится тематизация эстетической способности суждения, в основе такого эстетического понимания политического продолжает находиться моральный принцип. Своеобразие ее подхода состояло в том, что данный принцип обретал свое динамическое развитие в эстетическом суждении. Арендт с помощью такой эстетико-аналитической прививки старается вывести моральный регулятив из некоей статики, из его схоластической «замороженности» в качестве абсолютной сущности и наделить его плюральной энергией, которую выражает эстетическое суждение. Тем самым моральный принцип представляется не категорией универсальности, а уникальностью частного, обладающего свободой для презентации себя в публичном пространстве, в котором он не только обсуждается, но и может быть отвергнут.

Такого рода видоизменение по-прежнему соотносится с обозначенной Кантом общей тенденцией — прохождением исторически закономерных фаз развития человека к публичному общежитию на моральных основаниях, где общее проявляется в его индивидуальной различности. На тех этапах, где эта моральная общность проявлялась ограничено и нормативно неэксплицированно, а именно в пределах привилегированных слоев, реализующихся прежде всего как политически активная и образцовая часть общества, определяющим становилось практическое суждение, суждение «элитного экземпляра конкретного общества» (Лоолер, 1997: 19). Иными словами, практическое (или политическое, в терминологии Арендт) суждение как фактор формирования единства опирается не на некое первоначало, выводимое логическим путем (теоретически), а на образец, на лучших представителей полиса, вокруг которых в свободных дебатах и при достижении согласия происходит объединение других членов полиса<sup>3</sup>.

К этим аристократическим кругам и принципам, на которых они организуются, в большей степени и проявляет интерес Арендт. Поэтому ее «универсалистское и демократичное кантианство... подвержено скатыванию к партикуляристскому и элитаристскому аристотелизму» (Лоолер, 1997: 33), создающему условие для «принижения»<sup>4</sup> в ее концепции других неотъемлемых сторон человеческого существования — труда (*labor*) и созидания (*work*).

Однако спроектированный в будущее «элитарный» этап вполне вписывается в кантовское понимание движения истории к установлению всемирно-гражданского общества на принципах морального законодательства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что П. Рикер, анализируя концепцию Арендт, в конечном итоге приходит к заключению, что она отвечает дискурсу «этического политического» (Ricoeur, 1986: 399–400).

То, что у Арендт «не моральная установка, а дискурсивно достигнутое согласие выступает... нормативным основанием гражданского неповиновения» (Капустин, 2004: 379), позволяя утверждать, что она «мыслит политически и в категориях действия, тогда как Кант — моралистически и в категориях созерцания» (Капустин, 2004: 75), вовсе не лишает возможности вычленять моральную (но не морализаторскую) позицию как значимую для политического суждения. Такое суждение подразумевает ключевой принцип морали — «взаимопризнание и взаимоутверждение сторон в качестве моральных, т. е. равных и свободных разумных существ» (Капустин, 2010: 221), так как политика как род человеческой деятельности «всегда — так или иначе — строится на сознательном отношении человека к себе, окружающим и своему делу, а такое отношение невозможно вне оценивания, в том числе — в категориях добра и зла» (Капустин, 2010: 348).

3. Практическое суждение наводит на первоначало «посредством... конкретных примеров людей, бывших выдающимися представителями успешного общества» (Лоолер, 1997: 19).

4. Такой взгляд с присутствующим в нем высокомерием впоследствии нашел свое отражение в ее книге о процессе над Эйхманом, что объясняет возникший скандал вокруг нее, так как «по временам тон книги отдает оскорбительной, а то и нагловатой учительной самоуверенностью» (Илон, 2001: 49). Эта надменность, возможно, также дает основание к пониманию ее «слепоты».

В основании отмеченной позиции, как мы полагаем, лежит вторая формула категорического императива: «Поступай так, чтобы ты никогда не относился к человечеству, как в твоём лице, так и в лице всякого другого, только как к средству, но всегда в то же время и как к цели» (Кант, 1965: 270)<sup>5</sup>. Поэтому вовсе не случайно Арендт, характеризуя интересы Канта, относит к таковым принципы действия, которые она называет политическими, хотя сам Кант сказал бы о них как о моральных (Арендт, 2014а: 126).

Именно в политической деятельности независимых, способных к суждению индивидуальностей, которые признают друг друга как равноценных акторов, конституируется личность человека, отличающая его от животного<sup>6</sup>. Поэтому без того, чтобы человек воспринимался как цель, невозможно осуществление свободного диалога, невозможна реализация политической сущности каждого, невозможно признание права каждого участвовать в формировании общей социальной жизни, осуществлять ее в совместности.

Даже если аспект долженствования в арендтовском понимании морали приглушается, то в нем продолжает сохранять свою власть Разум. Благодаря ему формируется пространство коммуникации, через которую выявляется свободная и ответственная на основе разума природа человеческого действия. Установление такого пространства в качестве реальности происходит в осознании и признании ценности каждой отдельной личности. Осуществление себя через диалог с себе подобными, по существу, и есть иная форма предъявления второй формулы категорического императива, который оказывается условием коммуникативных действий.

Концептуально такие действия исключают по отношению к другому принуждение или насилие (хотя и могут к этому деградировать), так как будут лишать состоятельности коммуникацию, она перестанет быть таковой, потому что коммуникация предполагает взаимопритяжение свободных существ, открывающее человеку его разумность. Благодаря этому учреждается власть, которая, согласно Арендт, тождественна ненасилию (Арендт, 2014б: 66): «Власть (*power*) соответствует человеческой способности не просто действовать, но действовать согласованно. Власть никогда не бывает принадлежностью индивида; она принадлежит группе и существует лишь до тех пор, пока эта группа держится вместе» (Арендт, 2014б: 52).

Весь контекст рассуждений, гдедается такое понимание власти, показывает, что Арендт находит в ней то, что можно соотнести с понятием добра<sup>7</sup>, хотя вместе

5. Универсалия императива связана с мыследействием конкретного человека, полагающего ее в качестве требования именно к самому себе, а не на основании принимаемого извне. Но это же самое, по существу, имеет в виду и Арендт: «Виновность или невиновность перед законом имеют субъективный характер, и даже если бы восемьдесят миллионов немцев сделали то, что сделали вы, это не извиняло бы вас» (Арендт, 2008: 414).

6. Охранителем этого является позитивный закон: «Неприкосновенное пространство вокруг каждого, огражденное законами, есть жизненное пространство свободы» (Арендт, 1996: 604).

7. Арендт обращается к идее сострадания (Арендт, 2011: 113), аналогом которого в политической сфере объявляется солидарность (Арендт, 2011: 118).

с тем из этого не следует, что можно «приравнять насилие ко злу» (Арендт, 2014б: 67), так как злом, ссылаясь на Канта, «характеризуется бегство из публичной сферы» (Арендт, 2012: 89), где не отказываются от суждений. Поскольку здесь мы имеем дело с таким пониманием, то «ненасилие, являющееся содержательной определенностью добра, можно считать синонимом самой этики» (Гусейнов, 1992: 72).

Таким образом, несмотря на то что «моральная и политическая философия Канта во многих отношениях противоположны друг другу» (Байнер, 2012: 219), а арендтовское понимание морали лежит вне контекста буквально интерпретированного кантовского долженствования<sup>8</sup>, в ее философии моральный аспект сохраняется в качестве условия политической реализации человека, и, наоборот, «концепции коммуникации, интерсубъективного согласия и совместного суждения... нужны Арендт для восстановления нравственных горизонтов» (Байнер, 2012: 184). Реализация осуществляется и посредством коммуникации, конституируя и тем самым обеспечивая легитимность власти (Арендт, 2014б: 61).

### Обосновывающая интенция способности суждения

В своих работах Арендт стремится обосновать (см., напр.: Арендт, 2012), что рефлексивное суждение обеспечивает и устанавливает специфическое отношение между всеобщим и особенным в силу того, что в таком суждении ключевое значение имеет особенное. Показательно, что в суждении об особенном усматривается и презентируется всеобщее, но при этом, согласно Канту, ему не присуща познавательная сила, что превращает рефлексивную способность суждения в более низкую, нежели способность определяющая. Но ясности относительно онтологического статуса способности суждения от такой иерархической расстановки вовсе не прибавляется, более того, как отмечает Х.-Г. Гадамер, «выясняется, что кантовское различие определяющей и рефлектирующей способности суждения небесспорно» (Гадамер, 1988: 74).

В самом деле, если исходить из сложившегося и весьма распространенного на данный момент представления о рефлексии как о рассудочном акте, действии достаточно развитого, логически оперирующего мышления, то мы вполне можем озадачиться степенью адекватности связывания прилагательного «рефлексивное» с суждениями, высказываемыми человеком с низкими интеллектуальными способностями. Однако такое сомнение вроде бы снимается самим Кантом, который оговаривает возможность понимания его и на уровне инстинкта (см.: Кант, 1966: 115). Здесь немецкий философ отдает дань уважения Декарту, который ввел в лексикон своего механистичного учения о природе слово «рефлекс», и по сей день используемое в биологии и психологии.

Тем не менее представляется, что отсылка к заложенной Декартом традиции не играет существенной роли при обобщающем понимании кантовской концеп-

8. Буквалистское восприятие кантовской практической философии было присуще и самой Арендт, которая «не сумела адекватно оценить возможности кантинской морали» (Лоолер, 1997: 27).

ции, в которой доминирующее значение имеет рациональная сила. «Дух» кантовского мышления вряд ли станет ущербнее, если не будет привлечена указанная Декартом эпистемологическая деталь. Действительно, даже в тех случаях, когда в отношении ряда сфер жизни человека, таких как эстетическая, этическая или религиозная, утверждается, что они лежат за *пределами* действия логизированного рассудка, трудно избавиться от ощущения, что для Канта он и там сохраняет свою власть. Таким образом, в пространстве кантовских рассуждений содержится развилка для интерпретаций, заставляя остерегаться поспешных теоретических заключений, влияющих как на наши оценки событий и людей, так и на наши повседневные действия.

Культивирование в системе образования рациональной стороны мышления, представляемое с этой стороны как более высокая ступень (степень) процесса становления интеллекта, обусловлено во многом тем, что развитому интеллекту обещаны различные социальные привилегии, которые позволяют человеку считать себя вошедшим на пьедестал «совершенной» культуры. Очевидно, что такими преимуществами многие вовсе могут не обладать. Человек первобытнообразного типа культуры объявляется примитивным именно потому (помимо всего прочего), что не в состоянии продемонстрировать свою способность к категориальному *обобщению*<sup>9</sup>. Это ставит его в более проигрышное положение перед так называемыми цивилизационно развитыми и прогрессивными народами. От них он в лучшем случае удостаивается сочувствия, подкрепляемого уверениями помочь ему в выходе из той дикости, в которой он пребывает. Вследствие этого в публичном пространстве формируется и активно выставляется напоказ идея, что существует только одно-единственное место, в котором оказывается должное внимание и предоставляется достойная забота. Однако интересно другое: нескрываемое в кулаарной обстановке действительное отношение к представителям «отсталых» культур — высокомерие и пренебрежение, признание их в качестве безнадежных «аутсайдеров». Здесь будет продолжать обнаруживать себя неиссякаемый дух господства, но уже в форме рационального дискурса.

Данную ситуацию можно воспринять в качестве производной от намеченного западноевропейской традицией способа понимания истины как *соответствия мыслимого самому предмету* — истина как правильность. Концепция истины как *правильности* позволила сформировать внетрансцендентное отношение к миру, которое предоставило человеку полноценную возможность замкнуться в своем «всемогуществе», ибо он сам оказался конструирующим началом природы. Способность суждения как особый регион, где находит возможность выражения не-повторимая индивидуальность человека, приватизируется теоретическим разумом только в ее интенции к обособлению, оставляя в стороне заложенную в ней открытость к общению.

9. Именно способность такого уровня теперь получает статус как бы подлинного трансцендирования — отзеркаленного трансцендирования в самом человеке, что и фиксируется в понятии «трансцендентальность».

Ученый, в определенный момент ставший главным персонажем культуры и надеждой цивилизации, неспешно выстроил себе «башню из слоновой кости» и оказался отделенным пропастью от того большинства, интересам которого, как предполагается, он в *конечном итоге* служит. Стремясь универсализировать свой частный регион исследования, он впадает в ничем не подтверждаемое предубеждение, что *это частное* в своем рациональном измерении может стать столь же доступным всякому, кто удосужится этим заняться.

Но в ответ следует неожиданная и парадоксальная реакция — другой из этого черпает вовсе не возможность своего развития на основаниях рационализма, а видит в этом оправданность замыкания себя в своем частном, которое ему кажется не менее убедительным предположением и положением.

Однако Хайдеггер показал, что европейскому духу также органично понимание истины как *несокрытости* (см.: Хайдеггер, 1993). Выбор этого иного пути позволил бы совершенно иначе подходить к описанию культурных различий, предоставляя возможность исключать из социально-политического лексикона оценочно нагруженные понятия, такие, например, как «примитивный» и «дикий». Стоит заметить, что в предложенном Хайдеггером рассмотрении двух путей философского осмысления истины есть важная деталь: при том или другом подходе в интерпретации истины они оба характеризуют само бытие, т. е. неотрывны не только от него, но и друг от друга. Здесь можно найти противоядие от соблазна считать какой-то из путей правильнее другого, потому что такого рода сопоставление было бы возможно лишь на основании контрабандно сделанного выбора — признания в качестве критерия той парадигмы развития западноевропейской мысли, в которой истина выступила как правильность. Это же делает весьма сомнительным предприятие представлять превосходную степень интеллекта в качестве маркера выхода в сферу трансцендентного, с чем согласилась бы и Х. Арендт, для которой «в определенной перспективе наука есть не более чем продолжение здравого смысла, это вновь напоминает Шелера, для которого технический интеллект Эдисона был всего лишь возведенным в высшую степень навыком „умного шимпанзе“» (Филиппов, 2013: 158).

### Казус Арендт

Зачарованность корреспондентной теорией истины может быть объяснена свойством мышления, неотъемлемой частью которого является сэкстраполированное из физиологии понятие «слепого пятна», выполняющего двоякую роль в жизни человека: с одной стороны, слепое пятно ограничивает поступление света, с другой — как предполагается, снижает нагрузку на глаза<sup>10</sup>.

В социальном измерении наличие такого «слепого пятна» (которое к тому же не устойчиво, а блуждающе) не следует интерпретировать в качестве сложившей-

10. Креативное осмысление этого феномена можно найти у представителей аналитической философии (см.: Dennett, 1992: 285-359).

ся стратегии двойных стандартов. Это не сознательное игнорирование какого-то явления в одном случае и признание его в другом. Не вполне точным было бы обозначать данный феномен привычным для нас понятием «субъективизм». Это искренняя и невольная неспособность увидеть.

В качестве классического философского примера подобной стороны природы мышления мы бы выбрали кантовское обоснование ограниченности рассудка, который под влиянием идей разума все же стремится преодолеть собственные границы, попадая тем самым либо в теоретические антиномии, либо в ловушки идеологических иллюзий и выдаваемых за действительность желаний. Тем самым, с одной стороны, человек вдруг утрачивает способность производить анализ и на его основании давать должную оценку нередко совершенно очевидным, казалось бы, вещам, с другой — это все же позволяет ему избегать тотального скепсиса, обретать убеждения и действовать. Не имея возможности (иначе это бы обозначало преодоление своей собственной природы) устраниТЬ блуждающее «слепое пятно» или выявлять его так, чтобы всегда можно было занимать относительно него критическую позицию, человек не только подчиняется его власти, но порой настолько проникается «красотой» формируемого под его воздействием своего частного мирка, что начинает верить, будто решение всех вопросов заключается только в том, чтобы всякого побудить к тому же самому.

Иллюстраций этого можно найти бесконечное множество. В политических реалиях дезориентирующее действие «слепого пятна» приводит к столкновению культур и цивилизаций, подрывая надежды на встречное движение друг к другу. Наша неспособность удерживать последовательность в моральной оценке сложных явлений хорошо раскрывается в разнообразных художественных произведениях. Более того, мы можем поддаться «стокгольмскому синдрому», не только не решаясь давать должное осуждение преступлений, но и находя им оправдание.

Чем объясняется это вдруг появляющееся «сочувствие»? Хитростью разума, обслуживающего инстинкт самосохранения, оцепенением души, подавляющим страх, «вселенской отзывчивостью», когда в последнем подлеце хочется найти что-то человеческое... Вероятно, все эти моменты, как и возможные другие объяснения, здесь присутствуют, но все их можно «упаковать» в феномен «слепого пятна» мышления, в таких случаях обергающего в первую очередь нашу частную позицию. Это есть специфическая и сконденсированная абсолютизация частного.

Влияние «слепого пятна» на исторические, моральные и политические суждения можно найти и в трудах Х. Арендт. В качестве примера подходят ее размышления о трагических событиях Второй мировой войны и вынесенная моральная оценка таким историческим фигурам, как Гитлер и Сталин, а также тем, кто поддерживал созданные ими режимы. С условной философской<sup>11</sup> точки зрения вы-

11. Т.е. безотносительно к социальным и историческим деталям, без учета конкретики обстоятельств, мотивирующих те или иные действия, а посему в определенном смысле с абстрактной, отвлеченно-наблюдательной точки зрения, когда решающую роль в объяснении явления играют категории, а не сложные и запутанные человеческие ситуации и позиции.

воды, казалось бы, должны быть очевидны каждому. На категориальном уровне проблематично отстаивать тезис о том, что зло является позитивным моментом жизни. Как полагал Кант, никаких оговорок, смягчающих безнравственные действия, быть не может: в отношении зла требуется соблюдение последовательности в суждениях — что оно является именно злом, не допускающим никаких оправданий. Поэтому справедливость таких философских комментариев в отношении деяний данных исторических лиц не должна была бы вызывать возражений. Тем не менее это оказывается *не вполне* так.

Неготовность многих (в том числе некоторых коллег и друзей Арендт) признавать вину за теми «нормальными» людьми, которые не решались высказывать свое суждение о тоталитарных режимах, послушно подчинялись или служили им в силу якобы невозможности поступить иначе, вызывало недоумение у Арендт.

После публикации своих очерков о суде над Эйхманом она столкнулась с непониманием своей позиции, с обвинениями в том, что она пытается оправдывать злодеяния гестаповца. В этой ситуации ее саму поражало устойчивое нежелание ее критиков выносить честные и бескомпромиссные суждения о совершенных преступлениях, не меньшую ответственность за которые несут и рядовые исполнители. Когда же на такие суждения и их обоснование все же кто-то решается, то они «обычно обвиняются в слепом морализме» (Арендт, 2015б: 68), в силу того, что не учитывают недоступности для каждого «такой интеллектуальной, или теоретической, подготовки в вопросах морали...» (Арендт, 2015б: 56)<sup>12</sup>, благодаря которой такие суждения и выносятся.

Однако проблема усложняется, заставляя все же принять во внимание то недовольство, которое вызывала абстрактная теоретичность оценок Арендт, когда мы сталкиваемся с поразительным проявлением ею самой моральной близорукости при характеристике личности (а значит, и его действий) У. Черчилля, у которого — «непреходящая высота человеческого духа... благородство...» (Арендт, 2015г: 83). Все это сказано о человеке, который, не смущаясь, придерживался расистских взглядов, а в период Второй мировой войны, по существу, санкционировал голод и вымирание до 3 млн человек в одной из колоний Британской империи — Бенгалии, что, собственно, было вполне логично, если иметь в виду его расистские убеждения (см.: Mukerjee, 2010).

12. Под этой подготовкой имеется в виду, конечно, способность определить зло с *формальной* точки зрения, а не с его *содержательной* стороны, вокруг чего традиционно возникали и до сих пор продолжаются споры, проблемность которых связана с тем, что зло или добро может пониматься по-разному в зависимости от тех или иных исторических и культурных обстоятельств. В «Истоках тоталитаризма» Арендт сориентирована на данное Кантом формальное отрицательное определение зла как неспособности следовать моральному закону, в основе которого лежит понимание безусловной ценности человека (личности) и всего человечества. Кто не в состоянии проникнуться уважением к идеи морального законодательства, тот не является личностью, становясь источником и проводником зла («радикальное зло», т. е. тоталитарность, обезличивающая человека). В поздний период она понимает зло «проще» — как отсутствие мышления («банальное зло»).

Почему такой дотошный исследователь, как Х. Арендт, разрабатывая свою морально-политическую философию, умудряется не заметить столь вопиющих фактов и не дать им столь же суровую оценку (или *хотя бы воздержаться от восхваления*), какую она дает представителям национал-социализма и советского коммунизма<sup>13</sup>? Как получается, что, бросая упрек Папе Пию XII в соглашательской позиции относительно ряда действий гитлеризма, считая это свидетельством «катастрофической потери всякого чувства реальности» (Арендт, 2015: 285), она сама теряет это чувство?

### На подступах к пониманию природы «слепого пятна» мышления

Определение отличительных признаков «слепого пятна» мышления дело столь же непростое, сколь и ненадежное, поэтому выводы относительно того, *что* в суждении является результатом действия именно «слепого пятна», могут выглядеть весьма субъективными. Думается, что различные модусы сознания похожи на проявления «слепого пятна», которое может смешиваться с их сущностью. Однако впрямую «слепое пятно» ни с одним из этих модусов не совпадает, что делает сомнительной любую попытку дать точную его характеристику. Хуже того, при отсутствии строгого критерия для определения «слепого пятна» создается благоприятная почва для того, чтобы ошибку или даже злой умысел представлять как следствие его неконтролируемого влияния. Но несмотря на то что такого рода неопределенность не из приятных, она вполне согласуется с человеческой экзистенцией «не-алиби в бытии» (М. М. Бахтин).

Возможное приближение к тому, чтобы отличить «слепое пятно» от других факторов, может достигаться посредством дескриптивно-сопоставительного способа, через изучение контекста высказанного суждения — через личный контакт с автором, знакомство с обстоятельствами его биографии, через изучение всевозможных сопутствующих моментов, обуславливающих сделанное заявление, и т. п.

Таким образом, за феномен «слепого пятна» легко можно принять фанатичную веру (см.: Рыклин, 2009)<sup>14</sup>, результат сознательной манипуляции (например, в пропагандистских целях) или идеологический продукт по типу «ложное сознание»<sup>15</sup>, стереотипность, заблуждение, недостаточную информированность, ослабление критического мышления. Контекстуальное рассмотрение «казуса Арендт» позволяет склониться к тому, что ничто из перечисленного, *напоминающего* феномен «слепого пятна», не могло повлиять на формирование того мнения о Черчилле, ко-

13. Нам неизвестно, знала ли Арендт на тот момент об этих фактах. Однако трудно представить, что она пребывала в неведении о расистских изречениях Черчилля.

14. Но даже «хороший предрассудок», отождествляемый Вольтером с религиозной верой, не вполне может быть приравнен к феномену «слепого пятна» мышления. Оно, скорее всего, включает в себя и положительную, и отрицательную (фанатичную) стороны веры, и тогда, например, его можно определить как «промежуточное, переходное положение ложного сознания, в соответствии с двумя временными точками зрения на его становление/падение» (Зенкин, 2011: 13).

15. Краткий обзор истории и форм ложного сознания см.: Зенкин, 2011: 7–23.

торое обращает на себя внимание, вызывая философское удивление<sup>16</sup> и желание понять причину его возникновения.

К подобиям «слепого пятна», в большей степени претендующим на объяснение «казуса Арендт», можно отнести как факт ее личной вовлеченности в происходящие исторические события, лишающий возможности отстраниться и увидеть целое, так и комплекс парии, *гипотетически допустимый*, если рассматривать вопрос с точки зрения работы механизма вытеснения.

В «Истоках тоталитаризма» Арендт размышляет над феноменом парии, что, безусловно, связано с ее личными переживаниями по поводу перипетий своей жизни. Этот аспект ее биографии, с одной стороны, способствует пониманию интенции философско-политической концепции Арендт (определять положение вещей самостоятельно и индивидуально посредством множественности коммуникативных актов в ходе своей вовлеченности в политическую жизнь), а с другой — позволяет предположить наличие у нее внутриличностного конфликта и сильного желания его разрешить. Можно предположить, что преодоление этой травмы *бессознательно* идет по пути идентификации с определенными политическими кругами и личностями, их представляющими.

Латентный характер такого движения превращал ее из парии в парвеню, чего на сознательном уровне она всячески избегала:

Тема отказа от принадлежности к сообществу происхождения у Арендт очень показательна. Она явно считает, что сам факт рождения, историческая судьба недостаточны для существования полноценного сообщества. Только забыв о нем, но сохранив о нем память, мы можем участвовать в неком новом сообществе, которое позже Арендт будет понимать как политическое... Она не отказывается от своего еврейства, но *выбирает* сознательно то, что ей дано от рождения... Она сознательно, как свободный и изолированный индивид, автономный индивид, *выбирает* сообщество парий... Пария способен волевым путем организовывать свою память и подвергать забвению то, что «должно быть» из нее вычеркнуто... Включение парии в «новое» политическое сообщество как раз и реализуется в конфликте этих сил. (Ямпольский, 2010: 190–191, 201–202)

И в этой внутренней захваченности процессом столкновения двух сил, в экзистенциально значимой отвлеченности на указанную схватку формируется некий зазор, через который ускользает то место, та точка зрения, благодаря которой то, что не могло не быть в поле внимания, теперь оказывается выпавшим.

В не меньшей степени можно было бы предположить, что Арендт принимает за реальность те идеалы, с которыми она ассоциирует и самого Черчилля, хотя на деле они уже стали симулякрами, в которых «реальность *длится* в состоянии знавковой видимости, принимаемой за реальность; оставшаяся в прошлом реальность

16. Похожее удивление испытывает и А. Эткинд: «Странно, что рабство не мешает Арендт строить ретроспективную утопию прекрасной Греции. Так и ее восторженной истории американской революции не мешает то, что борцы за свободу оставались рабовладельцами» (Эткинд, 2000: 172).

отстает от видимости, подобно тому как модные вещи всегда непоправимо отстают от своих идеальных моделей» (Зенкин, 2011: 20).

Тем не менее при всей допустимости прочтения случая Арендт через призму психоаналитического или бодрийяровского подходов обобщенно он может быть связан также и с фактором «слепого пятна» мышления, который незамысловато вступает в игру исторических оценок и которому всегда есть место в высказанном суждении.

Некоторое приближение к раскрытию его содержания можно найти в работах В. А. Подороги, связанных с анализом творчества Ф. М. Достоевского и А. Платонова, прояснением роли маски в театре, но и сути фотографии у Р. Барта.

В произведениях Ф. М. Достоевского исследователь выявляет феномен «слепоты» писателя, но разъяснение его природы выглядит несколько противоречиво. С одной стороны, говорится, что «может быть, мы видим и слышим потому, что нас коснулось то, что мы только что сами тронули...» (Подорога, 2006: 436), т. е. тот, кто выключился из гаптического способа восприятия мира, тот и оказывается слепым. С другой, утверждается, что «слепота, или лучше подслеповатость, — это неспособность увидеть происходящее со стороны, взглядом Другого, отчужденно, не вовлекаясь в событийный поток; и, как результат, — неспособность удержать дистанцию...» (Подорога, 2006: 436). Не вполне ясно, в каком смысле эти положения не взаимоисключающи, однако второе из них действительно может подходить для прояснения сущности «слепого пятна» мышления. Но и в связи с первым стоит заметить, что если Арендт очевидно была затронута тоталитаризмом, то негативно соприкоснуться с результатами деятельности Черчилля лично ей не довелось.

В итоге комплекс внутренних переживаний и предположенных обстоятельств образует некое ноль-видение (взгляд «видящий, но не желающий видимого» (Подорога, 2011: 268)), пустоту созерцания, которая исключает «понимание происходящего» (Подорога, 2011: 276). В творчестве А. Платонова это получило наименование «евнуха души», «который видит, но не различает видимое по значимым функциям, — в его видении отсутствует важнейший элемент, оценочно-познавательный... Евнух души способен видеть и “чувствовать” лишь потому, что является внешним себе, и чем более увеличивается пространство разрыва, тем в большей степени все внутреннее оказывается себе внешним. Нейтральное пространство — это пространство, где силы внешнего формируют образы внутреннего» (Подорога, 2011: 276, 278).

Предложенные варианты понимания «слепоты» в сочетании с выбранным психоаналитическим ракурсом, когда ослепление обусловливается бессознательным желанием обретения «аристократической» идентичности, дают определенное направление к разъяснению сути «казуса Арендт». Причем таким образом, что ее «слепота» оказывается, с одной стороны, насмешкой над сознательно провозгла-

шаемыми ею идеалами<sup>17</sup>, с другой, если обратиться к античным мифам об Эдипе или о Фениксе, воспитателе Ахилла, — карой за ее отступление от своего родового начала, наказанием за «измену» и, с третьей, поворотом к прозрению, если не ее собственному, то стороннего наблюдателя (свидетеля, зрителя, читателя, аналитика).

### **Отстраненность *vice versus* вовлеченность: момент совпадения/выпадения**

Приняв во внимание спекулятивно произведенную психоаналитическую транскрипцию арендтovской биографии, можно заключить, что мышление, поглощенное и даже поработленное скрытым от его субъекта стремлением к достижению цели, становится мышлением проективным (а в некотором отношении шаблонным в силу доминантности самой цели). Одна из характерных особенностей такого мышления состоит в том, чтобы «не просто видеть, а видеть *сквозь* то, что кажется видимым, но им не является» (Подорога, 2004: 475), и тогда проектирование предстает «как *про-брошенность-вперед-навстречу* ближайшему будущему, захват будущего» (Подорога, 2004: 518).

Арендт напряженно переживает нерасторжимость связи со своим прошлым, с которым полностью не разрешен конфликт, не установлен мир и не найдено согласие. Привязывающее к себе прошлое предстает как неудобное противоречие судьбы, с которой надо определяться, рассчитываясь с прошлым его обновлением в будущем: «Всякое сопротивление (любые препятствия или помехи) выносится при проектировании за скобки как мнимая угроза, исходящая из прошлого, но несущественная для будущего; обратная (вторичная) проекция на настоящее со стороны будущего, т. е. абсолютная, в себе завершенная Проекция, отбрасывающая всякую связь с прошлым» (Подорога, 2004: 434).

Арендт не вывела на свет невидимое — неутихающую, травмирующую сознание боль разрыва идентичности — и заложила его в фундамент своего будущего, лишив себя возможности объемно видеть явления, созвучные ее проекту. Проектность мышления Арендт способствует преодолению сопротивления материи ее биографии и выходу из своего ничто (из того места разрыва со своим прошлым) к искому бытию, к обновлению рождения.

Методологически совершается проброс вдаль к спроектированному ею миру, где будет обретено признание. Но позиция проектного субъекта не отстраненная, когда предполагаются возможными, например, объективные суждения о существующем положении вещей, благодаря их всестороннему обозрению как целого. Его позиция отнесена к такому внemирскому топосу, через который всё только и воспринимается. В подобном случае субъект усматривает лишь то, что концептуально отвечает его проекту. Спроектированное местоположение исключает сдвиг

17. Так же как по злой иронии судьбы редактор и издатель ее трудов Ганс Рёсснер, оказалось, был высокопоставленным чиновником СС, см.: Мадиевский, 2008: 185–189.

субъекта в такую позицию, где то, что дано ему в проектном видении, смогло бы явиться с другой (неудобной и неприятной для него) стороны.

Проектный субъект приближает к себе идеальное будущее так, что оно начинает видеться уже совершенным в настоящем — в выбранных примерах, образцах, личностях или социально-политических устройствах. Так, образ Черчилля, спроектированный Арендт, начинает ее вести и делать её саму такой, для которой свобода будет представляться как существующая вне ее «цель собственного развития, но не как присущее человеческой жизни качество... Проект действительно есть орудие не свободы, а освобождения, т.е. орудие по преимуществу рабского сознания» (Подорога, 2004: 521). Поэтому действие, а не созерцательность, становится знаком подлинно человеческого бытия, так как оно делает актуально-действенным индивидуальный проект.

Проективное мышление срабатывает так, что перекрывает собой ближайшее, вроде бы очевидное и лежащее на поверхности. Тем самым возникает препятствие для вынесения адекватной оценки имеющихся фактов, которыми можно пренебречь в силу того, что они существенно не влияют на тотальность движения к осуществлению бессознательно заданного себе проекта. Происходит выделение все более и более простых объектов, а это «приводит к тому, что множество других, более сложных объектов начинает исчезать или просто отбрасываться» (Подорога, 2004: 449). Простой объект и есть данность проектной идеи, когда явление воспринимается не во всей своей сложности, а только через одну из немногих его идей, обращенную к проекту и наилучшим образом сочетающуюся с ним, побуждая действовать. Одержанность проектом, полная включенность в него для действия и воплощения в нем своей представленной жизни, позволяет все остальное оценивать в свете этого проекта как соответствующее ему, так и от него отступающее. В носителе проекта не мыслится что-нибудь, кроме самого проекта, а следовательно, противное ему в нем не может быть увидено. Картина тем самым упрощается, «хрусталик» уплощается — даль открывается, а близъ теряется. Все сложное, спроектированное на плоскость, распадается в тотальности проекта и становится в нем нумерической разнородностью<sup>18</sup>. Множество как различие предстает здесь по аналогии с тем, что 1 не 2, 2 не 3 и т.д., однако это различие нивелируется тем, что числа определяются не своей самостоятельной сущностью, а процедурой сложения, основу которого составляет унифицирующая все единица.

Проект, наложенный на другого, делает невидимым самого этого другого, превращая его тем самым в фантомный образ, идеал, схему, знак. Поэтому Арендт смотрит как бы «сквозь» Черчилля, переставая видеть его как человека и политического деятеля со всеми не делающими ему честь высказываниями и поступками.

18. Казалось бы, Арендт признает безусловную значимость отдельно взятой личности, но при этом вполне допускает «общественное вмешательство в частную жизнь», и такое «растворение человека в пространстве межчеловеческих отношений и соответствующее пренебрежение ко всему тому, что человек способен делать один, для себя и сам с собой, роднит Арендт с социалистическими мыслителями» (Эткинд, 2000: 173).

Последнее она склонна замечать лишь в том, во что не был инвестирован проектный смысл, в чем она не будет находить для себя исхода, благодаря которому может быть преодолен разлад существования парии.

Метафорически мы подытожим такое положение дел следующим образом: как зверь, напавший на след жертвы, теряет бдительность, так и «слепое пятно» не позволяет включиться мышлению в ином месте, где оно возможно. Или по-иному и более резко, по Канту, причина этого — отсутствие (здесь в конкретно взятом случае) способности суждения, которое «есть, собственно, то, что называют глупостью, и против этого недостатка нет лекарства» (Кант, 1964: 218).

Но столь однозначный вердикт — «глупость» — будет оправдан только в том случае, если высшим мерилом человека мы выставим исключительно рациональность, отдадим приоритет способности к теоретическому суждению. Хотя Кант отказывает рефлексивной способности суждения в рассудочности, его описание глупости через отсутствие способности суждения подразумевает именно рассудочную деятельность (с которой мы бы связали определяющую способность суждения), с высоты которой и становится возможной подобная характеристика. Тем самым мы имеем дело с косвенным свидетельством наличия у способности суждения в целом рассудочного аспекта, ибо обратное выглядело бы совершенно непонятно или даже нелепо — судить без рассудка, хотя бы взамен ему предлагалось понятие разума.

И действительно, если отвлечься от кантовской концепции, то традиционное формально-логическое представление о суждении связывает его с возможностью утверждения истинности или неистинности, т. е. напрямую отсылает к теоретическому разуму в классификации Канта. Это очередное свидетельство того, что разрыв теоретического и практического разумов принадлежит исключительно к методологическому порядку, что абсолютное различие своей обратной стороной имеет тождество, поэтому основная задача критики состоит в том, чтобы «показать в одном общем принципе единство практического разума со спекулятивным, так как в конце концов мы имеем дело с одним и тем же разумом, который должен иметь различие в применении» (Кант, 1965: 226). Соглашаясь с этим тонким и глубоким положением, не позволяющим односторонне оценивать философию Канта, мы все же склоняемся к тому, чтобы дать обобщающее представление о ней как о преимущественно спекулятивно-рациональной.

Безусловно, ни этические, ни эстетические *суждения* в отличие от суждений теоретического разума не способны предъявить нам объективное *знание*. Тем не менее им присуща априорная нацеленность на него, или, более того, уже его присутствие в исторических символах. Правда, это смутное знание, а посему неэксплицируемое в доказательной форме, все же проявляется на основе суждения, которое не обходится без участия работы рассудка и не всегда явного осуществления логических операций. Возражение может вызывать лишь попытка превратить эти операции в определяющий критерий личности, но этого Кант своей критикой старается избежать.

Произведенное Кантом ограничение забегающего вперед и теряющегося в спешке разума трудно переоценить, потому что в режиме рефлексии высвечивается мысль о том, что наша способность схватить свою ограниченность является лакмусом нашей способности видеть себя и *другое*. Осознание своей ограниченности становится принципом дифференцированного и контингентного отношения к миру, не утрачивающего при этом своего единства. Через это открытие обнаруживается позитивная и продуктивная роль самого «слепого пятна», способного показаться себе осознанным. Благодаря этому создается условие для понимания его в качестве возможной методологической функции. «Слепое пятно» есть обозначение границы разума, проведение которой позволяет избегать ослепления *idée fixe* и, прозрев, признать другого и примириться с ним.

В этой связи помимо проявления теоретической строгости при констатации глупости, существует более чуткое и, на наш взгляд, верное определение этого явления — *вера*<sup>19</sup> в самом широком смысле слова (т. е. ею может оказаться и миф, и мнение, и общее чувство (здравый смысл), и убеждение, и «животная вера»<sup>20</sup>, и собственно религиозная вера, или, что совсем неожиданно и парадоксально, — беспредпосыльное начало, ученое незнание, интеллектуальная интуиция, мудрость и т. п.).

### «Просвещенный» *vice versa* «дикарь»

Итак, мы полагаем, что при всех сделанных оговорках у Канта способность суждения, как и все иные стороны человеческого бытия, реализуется под эгидой теоретической рациональности. Однако крайне важно, что последняя, вопреки своим претензиям, *ограничена*. Несмотря на то что осознание границ не всегда позволяет строго соблюсти разграничение взаимоограничивающих сфер (теоретическая, практическая и эстетическая), факт самого ограничения как принципа имеет неоценимое значение. Возникающая здесь возможность противоречий в проведении четких границ весьма симптоматична, так как это подводит к мысли о все же существующем *единстве* этих сфер, которое на уровне социоисторического развития мышления дается как различенное. При этом само единство не застраховано от порождения своих издержек<sup>21</sup>.

Ханна Арендт предложила расширить сферу применения способности суждения до политических действий, но при этом в ряде случаев не избежала *крайностей* (что является также следствием срабатывания «слепого пятна») при осмысливании кантовского наследия. Например, когда возводит теоретико-рефлексивное

19. Более подробно об этом см.: Кузин, 2018.

20. См. разъяснение смысла данного концепта в: Мерло-Понти, 2006: 9–154.

21. С. Жижек, пытаясь объяснить приблизительно тот же, как и в нашем случае с Х. Арендт, феномен «слепого пятна» мышления М. Хайдеггера, поддержавшего национал-социализм, заметил, что «онтологическое прозрение неизбежно влечет за собой онтическую слепоту и заблуждение, и наоборот, то есть для того, чтобы быть „действенным“ на онтическом уровне, необходимо пренебречь онтологическим горизонтом деятельности» (Жижек, 2014: 39).

начало в безусловный принцип вынесения суждения о моральности поступка и выставляет его критерием оценки исторических действий, т. е. действий, согласующихся с понятием человека как такового. Такое умонастроение не отличалось постоянством, и на этот факт, т. е. на то, что в других случаях Арендт предлагает нам прямо противоположные выводы, более соответствующие «букве» кантовской концепции, обратил внимание Рональд Бейнер (2012: 210–212, 222–226).

Вплоть до 1964 года в своих работах Арендт описывает моральное, а в связи с ним и политическое, суждение не просто с точки зрения его направленности на всеобщность, как это происходит и в случае споров о вкусовых предпочтениях, а с позиции, позволяющей ставить его почти что вровень с теоретическим разумом как дающим рассудочно установленную и познанную объективную реальность. И такое суждение отличается высокой степенью своей категоричности<sup>22</sup>.

Однако в результате длительных размышлений не только над феноменом зла, но и над причинами и обстоятельствами ее недостойной травли Арендт, последовавшей после опубликованных ею философских отчетов о суде над Эйхманом, похоже, происходит переосмысление некоторых теоретических положений. В курсе лекций, посвященных политической философии Канта, и в задуманной трилогии «Жизнь ума», а также в различных статьях, предваряющих данный труд, суждению (со ссылкой опять-таки на Канта) отказывается в рассудочности, и его основанием становится чувственно-переживаемая вовлеченность в коммуникацию субъектов политического действия, где обретаются общность и понимание причастности к всеобщему<sup>23</sup>.

Эта противоречивость озадачивает иначе, чем в кантовском случае, потому что, с одной стороны, нам предлагается последовательно отстаивать так называемые гуманистические ценности, зиждущиеся на *чувстве общности* (см.: Арендт, 2012: 118–128), с другой — придерживаться жесткой логики рационального рассмотрения способности суждения<sup>24</sup>, определяющей правильное и неправильное: «Арендт утверждает: мыслить — значит судить самостоятельно. Суждение — это способность человека давать оценку происходящему рационально, не поддаваясь эмоциям или эгоистическим интересам, не опираясь на правила и стандарты» (Рогожа, 2015: 239). Если выставить действующего морального субъекта так, как он предстает в последней арендтовской интерпретации кантовской философии, то именно такой субъект и будет предельным выражением человеческого и критерием всех когда-либо совершаемых поступков.

22. На это же указывают: Шестаг, 2004: 122; Kateb, 1984: 31–33.

23. Тем не менее даже в таком подходе содержится ряд изъянов, см.: Бадью, 2005: 103–116. Можно согласиться и с американским исследователем Кристофером Лэшем в том, что Арендт при всех ее станиях развести моральную и политическую сферы, придав им различную функциональность, убедительно сделать этого все же не смогла (см.: Lasch, 1983: iv–xvi), в результате чего политическое суждение универсализируется как моральное мнение, теряя свое отношение к истинностным процедурам.

24. Стоит обратить внимание, что, например, в «Банальности зла» кантовское понимание способности суждения принципиально еще не оторвано от морального требования, что будет сделано позже, см.: Арендт, 2008: 204.

Но как в таком случае мы вынуждены будем оценивать человека, живущего до появления философии, и уж тем более — до эпохи формирования новоевропейского типа сознания? Такой исторический человек не способен был четко вычленять свое собственное «я», и он не был расположен к самостоятельному, необусловленному формулированию принципов своих поступков, за совершение которых с осознанием дела был бы готов нести индивидуальную ответственность. Ему, действительно, будет непонятен глубинный смысл категорического императива, включающий в себя осознание человека в качестве цели, а не средства, что, соответственно, будет равносильно признанию безусловной ценности человеческой жизни. Следует ли из этого, что те, кому интеллектуально недоступны данные принципы, лишаются основания называться людьми?

Абсурдность утвердительного ответа на этот вопрос очевидна<sup>25</sup>, так как в таком случае большая часть истории предстанет как история нелюдей, а та часть истории (начиная с эпохи Просвещения), в которой люди уже дошли до осознания индивидуального полагания моральных принципов, будет содержать в себе странные и труднообъяснимые моменты чудесного превращения людей в нелюдей (как это случилось, например, с немецким народом времен Третьего рейха; причем объяснения такого превращения утратой общих интересов или выработанной привычкой некритично соблюдать закрепленные нормы социальной жизни, как это разъясняла Арендт, не вполне удовлетворяют, так как автономный рациональный субъект, заявивший о себе в немецкой культуре, не должен был бы позволить втянуть себя в иррациональную жизнь массы), а после обратно — в людей.

Тогда требуется иное, больше философское, освещение этой проблемы, заключающееся в том, чтобы мыслить человека как всегда и в каждый момент всего лишь негарантированным усилием стать им (точнее, по Канту, — стать личностью). Это усилие по преодолению своей индивидуальной замкнутости и выхода за пределы своей несовершенной природы, осуществление прорыва к трансцендентному.

Такое представление будет недостаточно для понимания человека как культурно-исторического явления, а рассмотрение его только в свете просвещенных идей будет означать проявление действия европоцентристского «слепого пятна», превращающего европейскую «расу» как собрание рационально мыслящих личностей (а не просто «человеков») в высшую.

### Родовое *vice versus* индивидуальное: снятие в трансцендентном

Сомнительность ставок на рационализм как на ведущий критерий признания человеческой и культурной адекватности осознается с большей чуткостью теми философами, которые совсем недавно представляли так называемые страны тре-

25. Но для Арендт такой вывод не показался бы таким уж нелепым, так как из ее положений следует, что «рабы, варвары и граждане тоталитарных обществ лишаются права быть людьми» (Эткинд, 2000: 173).

тьего мира (без эвфемизмов — второсортные и недостаточно развитые). В частности, один из крупнейших индийских философов XX века Д. П. Чаттопадхьяя считал, что к понятиям «свобода» и «справедливость» необходимо подходить не с универсалистских позиций, что долгое время было свойственно западной моральной философии, а с контекстуальных позиций (которые при этом совсем не отрицают первые). И придерживаться этой линии следует именно потому, что человеку, живущему совершенно в иных социально-экономических условиях, сложно (если и вовсе невозможно) понять смысл и остроту моральных проблем, обсуждаемых в современных западноевропейских странах. Полагание тех или иных ценностей осуществляется с учетом социокультурных обстоятельств, именно поэтому, например, такая вроде бы универсальная ценность, как право на работу, «имеет разное значение в индустриально развитых странах, таких как США или Япония... и в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия или Бангладеш» (Chattopadhyaya, 2007: 239).

В этой связи обнаруживается актуальность понятий терпимости и прощения, сердечности и совести, сдерживающих прогресс отчуждения. Привитие их к социокультурному телу может дать действенный результат в преодолении той непреклонности, которую готов демонстрировать моральный ригоризм или даже радикализм, в котором не без оснований упрекали Арендт те, которые, в свою очередь, впадали в не меньший радикализм (см.: Wiese, 2007; Vogel, 2008: 253–293). Справедливости ради, Арендт сама тематизировала проблематику прощения (Арендт, 2000: 313–323; Сидорова, 2016: 192–207), в то время как Кант избегал этого и других перечисленных понятий, считая, что апелляция к ним будет неизбежно вести к параличу действия. В развитие этого направления стоит задаться вопросом, «не является ли совесть важнейшей категорией этики наряду с понятием нравственного закона» (Дlugач, 1986: 71), как и другие аналогичные ей категории, обнаруживающие себя в ином виде.

Комплексно подобный поворот позволяет увидеть *прорыв к трансцендентному* и в жертвоприношении, и в оргиастическом культе, и в литургическом служении, причем в не меньшей степени, чем он происходит при трансцендентальном осознании безусловной ценности другого человека, а значит, и человека в целом. По видимости, исключающие позиции в отношении человека не будут находиться в явном противоречии друг с другом, так как определяющее значение будет иметь присутствие в них человеческого как всеобщего трансцендирования, свидетельством чего становится зрелость той или иной культуры.

Поэтому было бы поспешным отказывать в человеческом (без стремления определить, в чем оно состоит) существу, который вовлекается в самые разные по своим целям *объединяющие* (профанно-массовые) движения, что являлось типичным для древних культур. И жертвенная самоотдача, совершаемая человеком таких культур, не обесценивается тем, что она совершилась не ради защиты его индивидуальных прав и достоинства.

В проявлениях массовидного человека мы можем найтиrudиментарные признаки и выражение былой потребности в «естественном» коллективном действии, устанавливающем связь с трансцендентным. Но следует обратить внимание на отличие содержания современных проявлений массовости (стандартизация жизни; массовый психоз в поклонении кумиру, будь то вождь или поп-звезда; массово тиражируемое производство; конвейеры по штамповке бездумного присвоения самых разных типов знаний и опытов — научных, философских, политических, религиозных, оккультных, культурных, этнических, этических; омассовление индивидуального потребления и т. п.) от ее проявлений в древности. Здесь сразу же будет бросаться в глаза ее секуляризованный дух (превращение религии и подобного рода опытов в моду внедряет секулярность и в них). Причем поступательное развитие секулярности все больше склоняется к приоритету индивидуального, в опыте которого значимость трансцендентного сведена к минимуму, причем к трансцендентному необязательно отсылаться через религиозные практики. Оно может давать о себе знать даже в такой биологически естественной потребности, как продолжение своего рода, в случае если есть при этом осознание и признание ценности и необходимости преодоления границ своего индивидуального существования в жизни другого<sup>26</sup>.

Если раньше мы имели дело с сакрально-сказочными мифами, обеспечивающими переживание единства существования, то сегодня — с секулярно-профанными мифами. Последние создают условия для существования атомизированных масс, которые лишены своего органичного единства, чаще всего являются ситуативными, кратковременными и скоротечными и распадаются столь же быстро и спонтанно, как и образуются. Такой разрыв с естественным для человека переживанием целого и всеобщего Р. Гвардини характеризовал понятием «не-гуманности» (см.: Гвардини, 1993: 273).

Возникающие на таком основании «массы» на протяжении всего XX века подлежали моральному осуждению. Свою лепту в это внесла и Арендт, старающаяся своей критикой показать, что в омассовлённом европейском человеке уже не может быть нивелировано родившееся, наличествующее и, соответственно, отдающее отчет о своей ответственности индивидуальное сознание. Но попытки придать последнее забвению происходят не только по причине выгодности безответственного существования, а также в силу неустранимой привлекательности той общности с трансцендентным (природной и родовой), к которой был причастен человек древности. Растождествление с такой общностью усиливается в результате воцарения рожденного новоевропейской культурой автономного субъекта, заявившего о своих рационально подкрепленных правах на тотальное доминирование. Якобы исключительно на этом пути обретается связь с трансцендентным, благодаря которой открывается человек. Человеческое общего, родового, теснится человеческим частного, индивидуального.

26. Метафизическая сущность этого наиболее глубоко и проникновенно была раскрыта Э. Левинасом (Левинас, 1998).

В человеческой истории большей частью преобладало родовое и лишь в незначительные промежутки времени — индивидуальное начало. Они находятся в постоянной борьбе другом с другом, но не в антагонистическом противостоянии, потому что в каждом из начал содержится общее для них — человеческое, требующее своего определения с учетом понятия «трансцендентное». Конечно, на это всегда можно посмотреть под позитивистски редукционистским углом зрения, сведя эту живущую в человеке потребность в общности к его причастности биологическому виду, точно так же как и начало индивидуалистическое — к действию закона естественного отбора.

Однако с точки зрения наполнения жизни общества экзистенциальным содержанием оправданно задаться вопросом о возможностях полноценного формирования человеческой определенности на основе господствующего в социуме принципа частного и индивидуального, упраздняющего собой базовое для человека родовое начало. Будет ли без него человек неминуемо профанироваться и деградировать?

Очевидно, что личные и частные интересы человека являются неотъемлемой и важнейшей частью организации его жизни и осознания ее реализованности. Но перспективы устойчивости социального фундамента, замешанного на внешней убедительности такого положения дел, не становятся от этого более прозрачными. Именно в этой связи весьма показательным и симптоматичным оказывается феномен массового человека, доскональное описание которого, данное Арендт, допускает все же еще ряд дополнений.

С одной стороны, сознательная тяга к растворению в массе, помимо страха за свою жизнь и бегства от индивидуальной ответственности, у индивидуализированного человека может означать проявление ностальгии по уже *утраченной* общности прошлого, в которой была своя человечность, в основе которой мог лежать, например, глас Божий<sup>27</sup>.

С другой стороны, нельзя исключать и срабатывание иного механизма, когда реально в человеке либо продолжают жить, либо пробуждаются дремлющие в нем силы прошлого, в которых и которыми, как он считает, может и должно оправдываться его существование, т. е. именно через причастность к общности, единству в роде. На этом фоне провозглашенные ценности Просвещения в их сущности для него по-прежнему будут оставаться недоступными, непонятными и чуждыми. Несмотря на то что современный человек оторвался от своего «естественного» состояния, он до сих пор не может адаптироваться к «искусственной» стороне самого себя, т. е. когда он может и должен делать себя самого, полагаясь только на себя, а не на свой род.

27. Сама Арендт отдает предпочтение другому основанию — мышлению, а не любви или совести, но при этом отмечает, что «совесть, как мы понимаем ее в моральных или юридических вопросах, предположительно присутствует у каждого из нас точно так же, как и сознание. И так же предполагается, что совесть говорит нам, что делать и чего избегать; прежде чем она стала *lumen naturale*, или кантовским практическим разумом, она была гласом Божиим» (Арендт, 2015а: 188).

В урбанизированном обществе мы имеем дело именно с таким раздвоенным, беспочвенным и мятущимся человеком. Он явно в большинстве, в каждом из нас, так как сила жить по своему трансцендирующему «естеству» настоятельнее чаяний трансцендентально проектировать себя как «искусственного» существа. И, похоже, такое соотношение константно, хотя никуда не исчезнет и *потенциальная* возможность приумножения индивидуального типа сознания, социально уже заявившего и закрепившего себя в европейской культуре.

Отчужденный человек-массы до поры до времени принимает и осваивает идеологию такого сознания. Он умело приспосабливается ее использовать, чтобы при любом удобном случае подчеркнуть ценность и уникальность своей «личности», доводя эту логику до того, что он ни с кем и ни с чем может не считаться. Будучи внешне усвоенной, она таковой для него и остается — эффективным инструментом для реализации своих узкоутилитарных интересов. Внутренне же она его тяготит, поэтому без всякого сожаления от этого груза можно с легкостью избавляться, растворяясь в утробном тепле массы, влекущей к себе утопической мечтой о беззаботности и полном произволе.

Современное массовое общество, оставаясь симптомом тоски по родовому, предстает *симуляцией* родового тела, собираемого теперь из псевдоавтономных субъектов, беспокоящихся только о комфорте своей частной жизни. Однако изначально пребывающая в подобной социальной среде идеология трансцендентального индивидуального сознания в своем положительном смысле, как и родовое начало, становится подобной вирусу, действие которого не может оставаться незамеченным. А это означает, что неосознание своей моральной нечистоплотности, которую готово было бы списать массовое сознание (а им всегда можно прикрыться — «так делали все», — как верно показала Х. Арендт), становится почти невозможным.

## Литература

Арендт Х. (1996). Истоки тоталитаризма / Пер. с англ. И. В. Борисовой, Ю. А. Кимелева, А. Д. Ковалева, Ю. Б. Мишкенене, Л. А. Седова. М.: ЦентрКом.

Арендт Х. (2000). *Vita activa*, или О деятельности жизни / Пер. с нем. и англ. В. В. Бибихина. СПб.: Алетейя.

Арендт Х. (2003). Люди в темные времена / Пер. с англ. и нем. Г. Дащевского и Б. Дубина. М.: Московская школа политических исследований.

Арендт Х. (2008). Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме / Пер. с англ. С. Кастальского и Н. Рудницкой. М.: Европа.

Арендт Х. (2011). О революции / Пер. с англ. И. Косич. М.: Европа.

Арендт Х. (2012). Лекции по политической философии Канта / Пер. с англ. А. Глухова. СПб.: Наука.

Арендт Х. (2014а). Между прошлым и будущим: восемь упражнений в политической мысли / Пер. с англ. и нем. Д. Аронсона. М.: Изд-во Института Гайдара.

Арендт Х. (2014). О насилии / Пер. с англ. Г. Дашевского. М.: Новое издательство.

Арендт Х. (2015а). Жизнь ума / Пер. с англ. А. В. Говорунова. СПб.: Наука.

Арендт Х. (2015б). Личная ответственность при диктатуре // Арендт Х. Ответственность и суждение / Пер. с англ. Д. Аронсона, С. Бардиной, Р. Гуляева. М.: Изд-во Института Гайдара. С. 47–82.

Арендт Х. (2015в). «Наместник»: вина — в безмолвии? // Арендт Х. Ответственность и суждение / Пер. с англ. Д. Аронсона, С. Бардиной, Р. Гуляева. М.: Изд-во Института Гайдара. С. 282–295.

Арендт Х. (2015г). Некоторые вопросы моральной философии // Арендт Х. Ответственность и суждение / Пер. с англ. Д. Аронсона, С. Бардиной, Р. Гуляева. М.: Издательство Института Гайдара. С. 83–204.

Бадью А. (2005). Краткий трактат по метаполитике // Бадью А. Мета/Политика: можно ли мыслить политику? Краткий трактат по метаполитике / Пер. с франц. Б. Скуратова, К. Голубович. М.: Логос». С. 93–239.

Бейнер Р. (2012). Ханна Арендт о суждении // Арендт Х. Лекции по политической философии Канта / Пер. с англ. А. Глухова. СПб.: Наука. С. 147–255.

Гадамер Х.-Г. (1988). Истина и метод: основы философской герменевтики / Пер. с нем. М. А. Журинской и др. М.: Прогресс.

Гвардини Р. (1993). Конец Нового времени / Пер. с нем. Т. Ю. Бородай // Гуревич П. С. (ред.). Феномен человека. М.: Высшая школа. С. 240–296.

Гусейнов А. А. (1992). Этика ненасилия // Вопросы философии. № 3. С. 72–81.

Дlugач Т. Б. (1986). Проблема единства теории и практики в немецкой классической философии (И. Кант, И. Г. Фихте). М.: Наука.

Ерохов И. А. (2009). Человеческое и политическое: философия Ханны Арендт // Алексеева Т. А. (ред.). Политическое как проблема: очерки политической философии XX века. М.: Идея-Пресс. С. 72–92.

Жижек С. (2014). Щекотливый субъект: отсутствующий центр политической онтологии / Пер. с англ. С. Щукиной. М.: Дело.

Зенкин С. Н. (2011). Ложное сознание: теория, история, эстетика // Зенкин С. Н. (ред.). Интеллектуальный язык эпохи: история идей, история слов. М.: Новое литературное обозрение. С. 7–23.

Золотов А. А. (1999). Культура и власть в философии Х. Арендт // Губман Б. Л. (ред.). Культура и власть. Тверь: ТвГУ. С. 61–66.

Илон А. (2001). Возвращение Ханны Арендт // Интеллектуальный форум. № 4. С. 35–57.

Кант И. (1964). Критика чистого разума / Пер. с нем. Н. Лосского // Кант И. Сочинения. Т. 3. М.: Мысль. С. 69–756.

Кант И. (1965). Основы метафизики нравственности / Пер. с нем. Л. Д. Б. под ред. В. М. Хвостова // Кант И. Сочинения. Т. 4. Часть 1. М.: Мысль. С. 219–310.

Кант И. (1966). Первое введение в критику способности суждения // Кант И. Сочинения. Т. 5 / Пер. с нем. Ю. Н. Попова. М.: Мысль. С. 99–160.

Капустин Б. Г. (2004). Моральный выбор в политике. М.: КДУ.

Капустин Б. Г. (2010). Критика политической философии: избранные эссе. М.: Территория будущего.

Кузин И. В. (2018). Амбивалентно-учреждающая сила веры (к феномену «слепого пятна» мышления) // Вопросы философии (в печати).

Левинас Э. (1998). Время и Другой // Левинас Э. Время и другой. Гуманизм другого человека / Пер. с франц. А.В. Парибка. СПб.: ВРФШ. С. 19–103.

Лооплер Д. (1997). Этика, политика и суждения вкуса: Арендт против Канта // Вестник Московского университета. Сер. 7: Философия. № 2. С. 16–33.

Магун А. В. (1998). Понятие суждения в философии Ханны Арендт // Вопросы философии. № 11. С. 102–115.

Мадиевский С. (2008). Ханна и её редактор // Зарубежные записки. № 14. С. 185–189.

Малышев М. А. (2010). Концепция тоталитаризма в творчестве Ханны Арендт // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Российской академии наук. № 10. С. 297–328.

Мерло-Понти М. (2006). Видимое и невидимое / Пер. с фрагц. О. Н. Шпааги. Мн.: Логвинов.

Мотрошилова Н. В. (2013). Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт: бытие — время — любовь. М.: Академический проект.

Подорога В. А. (2006). Мимесис: материалы по аналитической антропологии литературы в двух томах. Т. 1: Н. Гоголь, Ф. Достоевский. М.: Культурная революция, Логос, Logos-alter.

Подорога В. А. (2011). Мимесис: материалы по аналитической антропологии литературы в двух томах. Т. 2, Ч. 1: Идея произведения. Experimentum crucis в литературе XX века. А. Белый, А. Платонов, группа ОБЭРИУ. М.: Культурная революция.

Подорога В. А. (2004). Проект и опыт (Г. Щедровицкий и М. Мамардашвили: сравнительный анализ стилей мышления) // Кузнецова Н. И. (ред.). Познающее мышление и социальное действие: наследие Г. П. Щедровицкого в контексте отечественной и мировой философской мысли. М.: Ф.А.С.-медиа. С. 429–523.

Прокофьев А. В. (2004). Подвижная ткань межчеловеческих связей: дисциплинарный и перфекционистский элементы морали через призму политической философии Х. Арендт // Этическая мысль. Вып. 5. М.: ИФРАН. С. 53–73.

Рогожа М. М. (2015). Этические импликации смыслов тоталитаризма в исследованиях Ханны Арендт // Этическая мысль. Т. 15. № 1. С. 221–244.

Рыклин М. (2009). Коммунизм как религия: интеллектуалы и Октябрьская революция. М.: Новое литературное обозрение.

Саликов А. Н. (2008а). Рецепция кантовского понятия *Sensus Communis* в теории способности суждения Ханны Арендт // Кантовский сборник. № 1. Калининград: РГУ им. И. Канта. С. 31–39.

Саликов А. Н. (2008б). Способность суждения как политическая проблема в философии Ханны Арендт // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Гуманитарные науки. Вып. 6. С. 34–40.

Сидорова М. (2016). Прощение как опыт возможного: подходы Х. Арендт и П. Рикера // Социологическое обозрение. Т. 15. № 2. С. 192–207.

Трубина Е. Г. (1998). Идентичность в мире множественности: прозрение Ханны Арендт // Вопросы философии. № 11. С. 116–130.

Хайдеггер М. (1993). Учение Платона об истине // Хайдеггер М. Время и бытие / Пер. с нем. В. В. Бибихина. М.: Республика. С. 345–361.

Хойер В. (2015). Чудо действия — но кто именно действует? Размышление о значении личности / Пер. с нем. С. Колбанёвой // Саликов А. Н., Дементьев И. О. (ред.). Современное значение идей Ханны Арендт: материалы международной конференции. Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта. С. 66–85.

Файн Р. (1999). Фетишизм политики: критический анализ работ Ханны Арендт / Пер. с англ. М. Добряковой // Рубеж. Сыктывкар. № 13–14. С. 36–64.

Филиппов А. Ф. (2013). Мышление и смерть: «Жизнь ума» в философской антропологии Ханны Арендт // Вопросы философии. № 11. С. 155–167.

Шестаг Т. (2004). Непреодоленный язык: теория поэзии Ханны Арендт // Новое литературное обозрение. № 67. С. 106–126.

Эткинд А. (2000). Из измов в демократию: Айн Ранд и Ханна Арендт // Знамя. № 12. С. 161–181.

Ямпольская А. (2014). Речевой акт как событие: Деррида между Остином и Арендт // Социологическое обозрение. Т. 13. № 2. С. 9–24.

Ямпольский М. (2010). Сообщество одиночек: Арендт, Беньямин, Шолем, Кафка // Ямпольский М. «Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о неопределенности. М.: Новое литературное обозрение. С. 167–204.

Allen W. (2000). Hannah Arendt's Foundation for a Metaphysics of Evil // Southern Journal of Philosophy. Vol. 38. № 2. P. 183–206.

Aschheim S. E. (ed.). (2001). Hannah Arendt in Jerusalem. Berkeley: University of California Press.

Baehr P. (2010). Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences. Stanford: Stanford University Press.

Beiner R., Nedelsky J. (eds.). (2001). Judgment, Imagination, and Politics: Themes from Kant and Arendt. Lanham: Rowman & Littlefield.

Benhabib S. (2003). The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. Lanham: Rowman & Littlefield.

Bernstein R. J. (1986). Judging — the Actor and the Spectator // Philosophical Profiles: Essays in a Pragmatic Mode. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. P. 221–237.

Bernstein R. J. (2002). Radical Evil: A Philosophical Interrogation. Cambridge: Polity Press.

Canovan M. (1997). Hannah Arendt as a Conservative Thinker // May L., Kohn L. (eds.). Hannah Arendt: Twenty Years Later. Cambridge: MIT Press, pp. 11–32.

Chattopadhyaya D. P. (2007). Environment, Evolution and Values: Studies in Man, Society, and Science. New Delhi: Concept.

*Curthoys N.* (2013). *The Legacy of Liberal Judaism. Ernst Cassirer and Hannah Arendt's Hidden Conversation.* New York: Berghahn Books.

*Dennett D. C.* (1992). *Consciousness Explained.* New York: Back Bay Books.

*Deutscher M.* (2012). In *Sensible Judgment // Symposium.* Vol. 16. № 1. P. 203–225.

*Horowitz I. L.* (2012). *Hannah Arendt: Radical Conservative.* New Jersey: Transaction.

*Fine R.* (2008). Judgment and the Reification of the Faculties: A Reconstructive Reading of Arendt's *Life of the Mind // Philosophy and Social Criticism.* Vol. 34. № 1–2. P. 157–176.

*Kateb G.* (1984). *Hannah Arendt: Politics, Conscience, Evil.* Totowa: Rowman & Allanheld.

*Keladu Y.* (2015). Ethics of Worldliness: The Ethical Character of Arendt's Political Thought // *Kritike.* Vol. 9. № 1. P. 68–85.

*Kristeva J.* (2001). *Hannah Arendt: Life is a Narrative.* Toronto: University of Toronto Press.

*Lasch C.* (1983). Introduction // *Salmagundi.* № 60. P. iv–xvi.

*Lloyd M.* (1995). In *Tocqueville's Shadow: Hannah Arendt's Liberal Republicanism // Review of Politics.* Vol. 57. № 1. P. 31–58.

*MacLachlan A.* (2006). An Ethic of Plurality: Reconciling Politics and Morality in Hannah Arendt // *MacLachlan A., Torsen I. (eds.). History and Judgement.* Vienna: Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

*Mukerjee M.* (2010). *Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II.* New York: Basic Books.

*Ricœur P.* (1986). *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II.* Paris: Seuil.

*Schaap A., Celermajer D., Karalis V. (eds.).* (2010). *Power, Judgment and Political Evil: In Conversation with Hannah Arendt.* Farnham: Aschgate.

*Vogel L.* (2008). The Responsibility of Thinking in Dark Times: Hannah Arendt Versus Hans Jonas // *Graduate Faculty Philosophy Journal.* Vol. 29. № 1. P. 253–293.

*Wiese C.* (2007). *The Life and Thought of Hans Jonas: Jewish Dimensions.* Waltham: Brandeis University Press.

*Wiley T. A.* (2014). *Angelic Troublemakers: Religion and Anarchism in America.* London: Bloomsbury Academic.

*Williams G.* (2007). Ethics and Human Relationality: Between Arendt's Accounts of Morality // *HannahArendt.net.* Vol. 3. № 1.

*Young-Bruehl E.* (2006). *Why Arendt Matters.* New Haven: Yale University Press.

## The “Blind Spot” of the Political Thinking of Hannah Arendt

Ivan Kuzin

PhD, Assistant Professor, Institute of Philosophy, Saint Petersburg State University

Address: Mendeleevskaya Liniya, 5, Saint Petersburg, Russian Federation 199034

E-mail: iaffet@mail.ru

The research is devoted to the constructive analysis of the phenomenon of a «blind spot» in the context of a political reflection of social-historical events and which is part of the thinking. It has a dual nature which influences the formation of our judgments. In the article, it is shown that the action of a “blind spot” belongs to belief. On the one hand, it provides a possibility of the removal of historical judgment, while on the other hand, the nature of the arising doubts about the objectivity of historical knowledge is cleared up. Some of the writings of Hannah Arendt are used as examples in the analytical interpretation of the theory of the ability of judgment. The “blind spot” will paralyze critical thinking since it is a result of the absolutization of theoretical reason, and is also reflected in the political and moral estimates of history. In this research, the investigation of several political appraisals of which Arendt gave of a number of tragedies of the 20th century uncovers the specifics of the results of the “blind spot” in her thinking. The recognition and the understanding of this phenomena promotes an increasingly-sensitive relationship of the particulars of those lives in related history. This recognition softens the ideological commitment for the sake of a more equal relationship between cultures, and averts an involuntary, unintentional cultural arrogance. As a result, it is shown that the intension of the ability of judgment is reflected in the “socialization” of theoretical reason, that the phenomenon of a “blind spot” of thinking exerts an impact on an assessment of historical and political realities and allows for the realization of the value of the restriction of reason, and that the fair, humanistic conclusions of Arendt in a latent form by themselves bear a paradoxical danger of an opposition of various cultural identities.

**Keywords:** “blind spot”, Hannah Arendt, Immanuel Kant, political, ability of judgment, general identity, masses

### References

Allen W. (2000) Hannah Arendt’s Foundation for a Metaphysics of Evil. *Southern Journal of Philosophy*, vol. 38, no 2, pp. 183–206.

Arendt H. (1996) *Istoki totalitarizma* [The Origins of Totalitarianism], Moscow: CentrKom.

Arendt H. (2000) *Vita activa, ili O dejatel’noj zhizni* [The Human Condition], Saint Petersburg: Aleteija.

Arendt H. (2003) *Ljudi v temnye vremena* [Men in Dark Times], Moscow: Moskovskaja shkola politicheskikh issledovanij.

Arendt H. (2008) *Banal’nost’ zla: Jejhman v Ierusalime* [Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil], Moscow: Evropa.

Arendt H. (2011) *O revoljucii* [On Revolution], Moscow: Evropa.

Arendt H. (2012) *Lektsii po politicheskoi filosofii Kanta* [Lectures on Kant’s Political Philosophy], Saint Petersburg: Nauka.

Arendt H. (2014) *Mezdu proshlym i budushhim: vosem’ upravlenij v politicheskoi mysli* [Between Past and Future: Eight Exercises in Political Thought], Moscow: Gaidar Institute Press.

Arendt H. (2014) *O nasiliu* [On Violence], Moscow: Novoe izdatelstvo.

Arendt H. (2015) *Zhizn’ uma* [The Life of the Mind], Saint Petersburg: Nauka.

Arendt H. (2015) *Lichnaja otvetstvennost’ pri diktature* [Personal Responsibility Under Dictatorship]. *Otvetstvennost’ i suzhdenie* [Responsibility and Judgement], Moscow: Gaidar Institute Press, pp. 47–82.

Arendt H. (2015) “Namestnik”: vina — v bezmolvii? [The Deputy: Guilt by Silence?]. *Otvetstvennost’ i suzhdenie* [Responsibility and Judgement], Moscow: Gaidar Institute Press, pp. 282–295.

Arendt H. (2015) Nekotorye voprosy moral'noj filosofii [Some Questions of Moral Philosophy]. *Otvetstvennost' i suzhdenie* [Responsibility and Judgement], Moscow: Gaidar Institute Press, pp. 83–204.

Aschheim S. E. (ed.) (2001) *Hannah Arendt in Jerusalem*, Berkeley: University of California Press.

Badiou A. (2005) Kratkii traktat po metapolitike [The Short Treatise on Metapolitics]. *Meta/Politika: Mozhno li myslit' politiku? Kratkii traktat po metapolitike* [Metapolitics: The Short Treatise on Metapolitics], Moscow: Logos, pp. 93–239.

Baehr P. (2010) *Hannah Arendt, Totalitarianism, and the Social Sciences*, Stanford: Stanford University Press.

Beiner R. (2012) Hanna Arendt o suzhdennii [Hannah Arendt about Judgment]. Arendt H., *Lekcii po politicheskoi filosofii Kanta* [Lectures on Kant's Political Philosophy], Saint Petersburg: Nauka, pp. 147–255.

Beiner R., Nedelsky J. (eds.) (2001) *Judgment, Imagination, and Politics: Themes from Kant and Arendt*, Lanham: Rowman & Littlefield.

Benhabib S. (2003) *The Reluctant Modernism of Hannah Arendt*, Lanham: Rowman & Littlefield.

Bernstein R. J. (1986) Judging — the Actor and the Spectator. *Philosophical Profiles: Essays in a Pragmatic Mode*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 221–237.

Bernstein R. J. (2002) *Radical Evil: A Philosophical Interrogation*, Cambridge: Polity Press.

Canovan M. (1997) Hannah Arendt as a Conservative Thinker. *Hannah Arendt: Twenty Years Later* (eds. by J. Kohn, L. May), Cambridge: MIT Press, pp. 11–32.

Chattopadhyaya D. P. (2007) *Environment, Evolution and Values: Studies in Man, Society, and Science*, New Delhi: Concept.

Curthoys N. (2013) *The Legacy of Liberal Judaism. Ernst Cassirer and Hannah Arendt's Hidden Conversation*, New York: Berghahn Books.

Deutscher M. (2012) In Sensible Judgment. *Symposium*, vol. 16, no 1, pp. 203–225.

Dennett D. C. (1992) *Consciousness Explained*, New York: Back Bay Books.

Dlugach T. B. (1986) *Problema edinstva teorii i praktiki v nemetskoi klassicheskoi filosofii* (I. Kant, I. G. Fichte) [Problem of Unity of the Theory and Practice in the German Classical Philosophy (I. Kant, J. G. Fichte)], Moscow: Nauka.

Etkind A. (2000) Iz izmov v demokratiju: Ayn Rand i Hannah Arendt [From "isms" into Democracy: Ayn Rand and Hannah Arendt]. *Znamia*, no 12, pp. 161–181.

Erokhov I. (2009) Chelovecheskoe i politicheskoe: filosofia Hannah Arendt [Human and Political: Hanna Arendt's Philosophy]. *Politicheskoe kak problema: ocherki politicheskoi filosofii XX veka* [Political as a Problem: Sketches of Political Philosophy of the 20th Century] (ed. T. Alekseeva), Moscow: Idea-Press, pp. 72–92.

Gadamer H.-G. (1988) *Istina i metod: osnovy filosofskoi germenevtiki* [Truth and Method: Foundations of Philosophical Hermeneutics], Moscow: Progress.

Gvardini R. (1993) Konets Novogo vremeni [The End of the Modern World]. *Fenomen cheloveka* [Phenomenon of the Person] (ed. P. Gurevitch), Moscow: Vysshaja shkola, pp. 240–296.

Guseinov A. (1992) Jetika nenasilija [Ethics of Nonviolence]. *Problems of Philosophy*, no 3, pp. 72–81.

Filippov A. (2013) Myshlenie i smert': "Zhizn' uma" v filosofskoj antropologii Hanny Arendt [Thinking and Death: *The Life of the Mind* in Philosophical Anthropology of Hanna Arendt]. *Problems of Philosophy*, no 11, pp. 155–167.

Fine R. (1999) Fetishizm politiki: kriticheskii analiz rabot Hannah Arendt [Fetishism of Policy: Critical Analysis of Works of Hanna Arendt]. *Rubezh*, no 13–14, pp. 36–64.

Fine R. (2008) Judgment and the Reification of the Faculties: A Reconstructive Reading of Arendt's Life of the Mind. *Philosophy and Social Criticism*, no 34, pp. 157–176.

Heidegger M. (1993) Uchenie Platona ob istine [Plato's Doctrine of Truth]. *Vremia i bytie* [Time and Being], Moscow: Respublika, pp. 345–361.

Heuer W. (2015) Chudo dejstvija — no kto imenno dejstvuet? Razmyshlenie o znachenii lichnosti [Action Miracle — But Who Exactly Acts? Reflection about Value of the Personality]. *Sovremennoe znachenie idej Hannah Arendt: materialy mezhdunarodnoj konferencii* [Modern Value of the Ideas of Hanna Arendt: Proceedings of the International Conference] (eds. A. Salikov, I. Dementiev), Kaliningrad: IKBFU, pp. 66–85.

Horowitz I. L. (2012) *Hannah Arendt: Radical Conservative*, New Jersey: Transaction.

Ilon A. (2001) *Vozvrashhenie Hannah Arendt* [The Case of Hannah Arendt]. *Intellectual Forum*, no 4, pp. 35–57.

Kant I. (1964) *Kritika chistogo razuma* [Critique of Pure Reason]. *Sochineniia. T. 3* [Works, Vol. 3], Moscow: Mysl, pp. 69–756.

Kant I. (1965) *Osnovy metafiziki nравственности* [Groundwork of the Metaphysics of Morals]. *Sochineniia. T. 4. Part 1* [Works, Vol. 4, Part 1], Moscow: Mysl, pp. 219–310.

Kant I. (1966) *Pervoe vvedenie v kritiku sposobnosti suzhdennia* [First Introduction to the Critique of Judgement]. *Sochineniia. T. 5* [Works, Vol. 5], Moscow: Mysl, pp. 99–160.

Kapustin B. (2004) *Moral'nyj vybor v politike* [The Moral Choice in Politics], Moscow: KDU.

Kapustin B. (2010) *Kritika politicheskoy filosofii: izbrannye jesse* [Criticism of Political Philosophy: Selected Essays], Moscow: Territorija budushhego.

Kuzin I. (2018) Ambivalentno-uchrezhdajushhaja sila very (k fenomenu "slepogo pjatna" myshlenija) [The Ambivalent-Establishing Power of Belief (a Phenomenon of "a Blind Spot" of Thinking)]. *Problems of Philosophy* (in print).

Kateb G. (1984) *Hannah Arendt: Politics, Conscience, Evil*, Totowa: Rowman & Allanheld.

Keladu Y. (2015) Ethics of Worldliness: The Ethical Character of Arendt's Political Thought. *Kritike*, vol. 9, no 1, pp. 68–85.

Kristeva J. (2001) *Hannah Arendt: Life is a Narrative*, Toronto: University of Toronto Press.

Lasch C. (1983) Introduction. *Salmagundi*, no. 60, pp. iv–xvi.

Levinas E. (1998) *Vremia i Drugoi* [Time and the Other]. *Vremia i drugoi. Gumanizm drugogo cheloveka* [Time and the Other. Humanism of the Other], Saint Petersburg: VRFSh, pp. 19–103.

Lloyd M. (1995) In Tocqueville's Shadow: Hannah Arendt's Liberal Republicanism. *Review of Politics*, vol. 57, no 1, pp. 31–58.

MacLachlan A. (2006) An Ethic of Plurality: Reconciling Politics and Morality in Hannah Arendt. *History and Judgement* (eds. A. MacLachlan, I. Torsen), Vienna: Institut für die Wissenschaften vom Menschen.

Magun A. (1998) Poniatie suzhdennia v filosofii Hannah Arendt [Concept of Judgement of Hannah Arendt's Philosophy]. *Problems of Philosophy*, no 11, pp. 102–115.

Malyshev M. (2010) Kontseptsiiia totalitarizma v tvorchestve Hannah Arendt [Concept of Totalitarianism in the Works of Hannah Arendt]. *Scientific Yearbook of the Institute of Philosophy and Law of the Ural Office of the Russian Academy of Sciences*, no 10, pp. 297–328.

Merleau-Ponty M. (2006) *Vidimoe i nevidimoe* [The Visible and the Invisible], Minsk: Logvinov.

Motroshilova N. (2013) *Martin Heidegger i Hannah Arendt: bytie — vremia — liubov'* [Hannah Arendt and Martin Heidegger: Being — Time — Love], Moscow: Akademichesky proekt.

Mukerjee M. (2010) *Churchill's Secret War: The British Empire and the Ravaging of India during World War II*, New York: Basic Books.

Podoroga V. (2006) *Mimesis: materialy po analiticheskoy antropologii literatury. T. 1* [Mimesis: Materials on Analytical Anthropology of Literature, Vol. 1], Moscow: Kulturnaya revoljuciya.

Podoroga V. (2011) *Mimesis: materialy po analiticheskoy antropologii literatury. T. 2. Part 1* [Mimesis: Materials on Analytical Anthropology of Literature, Vol. 2, Part 1], Moscow: Kulturnaya revoljuciya.

Podoroga V. (2004) Proekt i opyt (G. Shchedrovitskij i M. Mamardashvili: sravnitel'nyj analiz stilej myshlenija) [Project and Experience (G. Schedrovitsky and M. Mamardashvili: the Comparative Analysis of Styles of Thinking)]. *Poznajushhee myshlenie i social'noe dejstvie: nasledie G. P. Shchedrovickogo v kontekste otechestvennoj i mirovoj filosofskoj mysli* [The Cognizing Thinking and Social Action: G. Schedrovitsky's Heritage in the Context of Russian and World Philosophical Thought] (ed. N. Kuznecova), Moscow: F.A.S.-media, pp. 429–523.

Prokofiev A. (2004) *Podvizhnaja tkan' mezhhelovecheskikh svjazej: disciplinarnyj i perfekcionistskij jelementy morali cherez prizmu politicheskoy filosofii H. Arendt* [Mobile Fabric of Interhuman Communications: Disciplinary and Perfectionistic Elements of Morals through the Prism of H. Arendt's Political Philosophy]. *Ethical Thought*, vol. 5, pp. 53–73.

Ricœur P. (1986) *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*, Paris: Seuil.

Rogozha M. (2015) Eticheskie implikatsii smyslov totalitarizma v issledovaniakh Hannah Arendt [Ethical Implications of Hannah Arendt's Studies of Totalitarianism]. *Ethical Thought*, vol. 15, no 1, pp. 221–244.

Ryklin M. (2009) *Kommunizm kak religija: intellektualy i Oktjabr'skaja revoljucija* [Communism as Religion: Intellectuals and October Revolution], Moscow: New Literary Observer.

Salikov A. (2008) Retseptsiiia kantovskogo ponatiia Sensus Communis v teorii sposobnosti suzhdennia Hannah Arendt [Reception of the Kant's Concept Sensus Communis in Hannah Arendt's Theory of Judgment]. *Kantovsky Sbornik*, no 1, pp. 31–39.

Salikov A. (2008) Sposobnost' suzhdennia kak politicheskaiia problema v filosofii Hannah Arendt [Judgement as a Political Problem in Hanna Arendt's Philosophy]. *IKBFU's Vestnik. Series: The Humanities and Social Science*, no 6, pp. 34–40.

Schaap A., Celermajer D., Karalis V. (eds.) (2010) *Power, Judgment and Political Evil: In Conversation with Hannah Arendt*, Farnham: Aschgate.

Schestag T. (2004). Nepreodolennyj jazyk: teorija pojazii Hannah Arendt [Not Overcome Language: Theory of Poetry of Hannah Arendt]. *New Literary Observer*, no 67, pp. 106–126.

Sidorova M. (2016) Proshhenie kak opyt vozmozhnogo: podhody H. Arendt i P. Ricoeur [Forgiveness as a Possibility: The Approaches of H. Arendt and P. Ricoeur]. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 2, pp. 192–207.

Trubina E. (1998) Identichnost' v mire mnozhestvennosti: prozrenie Hannah Arendt [Identity in the World of Plurality: Hannah Arendt's Enlightenment]. *Problems of Philosophy*, no 11, pp. 116–130.

Wiese C. (2007) *The Life and Thought of Hans Jonas: Jewish Dimensions*, Waltham: Brandeis University Press.

Wiley T. A. (2014) *Angelic Troublemakers: Religion and Anarchism in America*, London: Bloomsbury Academic.

Williams G. (2007) Ethics and Human Relationality: Between Arendt's Accounts of Morality. *HannahArendt.net*, vol. 3, no 1.

Vogel L. (2008) The Responsibility of Thinking in Dark Times: Hannah Arendt Versus Hans Jonas. *Graduate Faculty Philosophy Journal*, vol. 29, no 1, pp. 253–293.

Yampolskaya A. (2014) Rechevoi akt kak sobutie: Derrida mezhdu Ostinom i Arendt [Speech Act as an Event: Derrida Between Austin and Arendt]. *Russian Sociological Review*, vol. 13, no 2, pp. 9–24.

Yampolsky M. (2010) Soobshhestvo odinochek: Arendt, Ben'jamin, Scholem, Kafka [Community of Loners: Arendt, Benjamin, Scholem, Kafka]. *"Skvoz' tuskloje steklo": 20 glav o neopredelennosti* ["Through Dim Glass": 20 Chapters about Uncertainty], Moscow: New Literary Observer, pp. 167–204.

Young-Bruehl E. (2006) *Why Arendt Matters*, New Haven: Yale University Press.

Zenkin S. (2011) Lozhnoe soznanie: teorija, istorija, jestetika [False Consciousness: Theory, History, Esthetics]. *Intellektual'nyj jazyk jepohi: istorija idej, istorija slov* [Intellectual Language of an Era: History of the Ideas, History of Words] (ed. S. Zenkin), Moscow: New Literary Observer, pp. 7–23.

Žižek S. (2014) *Shchekotlivyi subjekt: otsutstvuiushchii tsentr politicheskoi ontologii* [The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology], Moscow: Delo.

Zolotov A. (1999) *Kul'tura i vlast'* v filosofii H. Arendt [Culture and Power in H. Arendt's Philosophy]. *Kul'tura i vlast'* [Culture and Power] (ed. B. Gubman), Tver: Tvsu, pp. 61–66.

# Модерный традиционализм против модерна: критика прогресса в России второй половины XIX в. (случай архиепископа Никанора [Бровковича] и К. Н. Леонтьева)\*

Артем Соловьев

Кандидат философских наук, доцент кафедры политологии, социологии и философии  
Академии государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан  
Адрес: ул. Заки Валиди, д. 40, г. Уфа, Российская Федерация 450008  
E-mail: [artstudium@yandex.ru](mailto:artstudium@yandex.ru)

Архиепископ Никанор (Бровкович) (1826–1890) и Константин Николаевич Леонтьев (1831–1891) — представители русского консерватизма второй половины XIX века, чьи идеи часто рассматриваются как тождественные. Их воззрения можно отнести к культуркритическому направлению традиционалистского типа, которое видит в модернизационных процессах угрозу для существования естественной среды обитания человека и самого человека. Аргументами против прогресса у этих мыслителей являются утверждения о том, что модернизация гомогенизирует культуру и разрушает традиционные ценности. Для выявления различий между воззрениями архиепископа Никанора и Леонтьева автор обращается к теории «компенсации» И. Риттера, Г. Люббе и О. Маркварда, по которой модерн вырабатывает способы компенсации собственной рациональной гомогенности. Среди этих способов — интерес к иррациональному и уникальному, к индивидуальной «истории происхождения», к традиции. Таким образом, и сама культуркритика оказывается способом компенсации унифицирующих последствий модернизации. Леонтьев обращается к «византизму» как традиционному типу культуры для противопоставления его модерну, а архиепископ Никанор — к идеалу личностной православной святости. Это вскрывает некоторое различие между ними, несмотря на то что их традиционализм оказывается одинаково модерным, выполняя функцию компенсации. Но если Леонтьев проектирует способы разрушения модерна, связывая это с прогнозируемой им в рамках политического авангарда победой социализма, приводящего к новому феодализму, то архиепископ Никанор считает прогресс неизбежным, предлагая компенсировать его негативные последствия обращением к иррациональному и уникальному аспектам традиционной религиозности.

*Ключевые слова:* Никанор (Бровкович), Леонтьев, культуркритика, модерн, компенсация, авангард, традиционализм

---

© Соловьев А. П., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: [10.17323/1728-192X-2017-2-253-274](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-2-253-274)

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-исследовательского проекта «Философия в Казанской духовной академии (1842–1921 гг.) в контексте истории русской мысли XIX — начала XX в.», проект № 16-03-50237а(ф).

## Железные дороги как символ модерна в оценке архиеп. Никанора (Бровковича) (1826–1890) и К. Н. Леонтьева (1831–1891)

Железные дороги всегда были наиболее ярким символом общества модерна, ускоряющегося по мере распространения путей быстрого сообщения. По сравнению с самолетами, телефоном, телевидением и прочими благами, приносящими комфортное сокращение пространства и времени, железнодорожное сообщение дает большую наглядность увеличения скоростей. Проезд на скоростном поезде позволяет увидеть медлительность не только пешеходов, гужевого и автомобильного транспорта, но и других поездов. Этот момент соревновательности не столь впечатляет при авиаперелетах, потрясающая скорость которых скорее осознается, чем воспринимается чувственно.

Контраст между скоростями традиционных и модерных средств перемещения переживался в XIX веке на заре железнодорожного строительства особенно сильно в России, где проблема преодоления пространства имеет значение не только для экономики, но и для государственного управления. Это, конечно, только одна сторона противоречий, присущих модерну, о которых пишет Ф. Б. Шенк, анализируя социокультурные последствия развития железнодорожного строительства в Российской империи (Шенк, 2016). Другая сторона — это критика распространения железных дорог. Однако при рассмотрении этого аспекта, Шенк уделяет значительное внимание бюрократической оппозиции, взглядам некоторых славянофилов и, например, Л. Н. Толстого<sup>1</sup>, совершенно обходя вниманием таких активных критиков идеи прогресса, как архиепископ Никанор (Бровкович) и Константин Николаевич Леонтьев.

Между тем сравнение архиеп. Никанором железных дорог со «всемирной патиной», в центре которой «плавает только отощалый всеядный человек, как голодный паук, не имый кого и что поглотити, так как сам же он пожрал, побил, истерзal все живое на поверхности всей земли» (Никанор, 1884б: 339), можно назвать наиболее апокалиптическим образом прогресса в России XIX века. Этот образ получил высокую оценку мыслителя-консерватора, философа и публициста Константина Леонтьева<sup>2</sup>.

Обвинения архиепископа, несомненно, масштабнее тех инвектив, которые в адрес железнодорожного транспорта высказывал Лев Толстой. Но справедливоosti ради нужно признать, что великий русский писатель впервые отмечал противоестественность передвижения с помощью поездов еще в 1857 году. В письме И. С. Тургеневу из Женевы он писал: «Железная дорога к путешествию то, что

1. Об исследованиях, посвященных отражению социокультурных последствий железнодорожного строительства в Российской империи, см. работу Ф. Б. Шенка (Шенк, 2016: 23–41). Об образе железной дороги в русской литературе см. обзорную статью Н. А. Непомнящих (Непомнящих, 2012: 92–105).

2. В статье «Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни», впервые опубликованной во втором томе сборника работ Леонтьева «Воссток, Россия и Славянство» (Леонтьев, 1886: 387–394).

бордель к любви — так же удобно, но так же нечеловечески машинально и убийственно однообразно» (Толстой, 1949: 170).

В этой оценке, несомненно, просвечивает толстовский руссоизм. Как отмечает В. В. Зеньковский уже с 16 лет «от Руссо Толстой воспринял тот культ всего „естественного“, то подозрительное и недоверчивое отношение к современности, которое постепенно перешло в придиличную критику всякой культуры» (Зеньковский, 2001: 378). Исследователь готов выводить все воззрения Толстого из его руссоизма. Аспект руссоистской культуркритики с элементами апокалиптики нельзя не заметить и у владыки Никанора, и у Леонтьева.

Именно это встраивает их воззрения в контекст общеевропейского философского «зеленого» движения в том его понимании, о котором Одо Марквард в 1984 году говорил:

...тезис, согласно которому рост техники и распространение цивилизации свидетельствуют об ущербе и упадке, выходит на сцену также в середине XVIII столетия: и здесь точкой отсчета можно считать 1750 год, когда Руссо — первый «зеленый» — в сочинении «Рассуждение о науках и искусствах» ответил «нет» на вопрос о том, является ли для людей благом научно-технический прогресс, и во имя природы произнес обвинительную речь против прогресса. С тех пор это «нет» повторяется снова и снова: романтиками — например, Новалисом — в начале и в философии жизни — например, у Ницше — в конце XIX столетия. В настоящий же момент — после Шпенглера, Клагеса и Хайдеггера — налицо волна «зеленого» движения, актуально повторяющего интерпретацию прогресса как упадка и мнимого пути в рай как пути к катастрофе. (Марквард, 2003)

У архиеп. Никанора и Леонтьева можно прямо найти «зеленые» строки: о загрязнении природы в результате распространения железных дорог, об исчезновении поэтичности в прогрессистском мировосприятии, о природных катаклизмах, об обезличивании человека в результате гонки за скоростями. Леонтьев в 1883 году писал:

Многим, очень многим людям, может быть, это вовсе невыгодно и неприятно. Но одни из них еще не поняли этого, не взвесили еще на весах разума и чувства, насколько вред от этого извращения всего естественного на земном шаре превышает пользу и выгоды, доставляемые бешенством индустрии и умственным распутством всех этих уродующих жизнь изобретений; это — одни, это многие, это те, которые еще не поняли и младенческие радуются... (Леонтьев, 2007а: 137)<sup>3</sup>

Спустя год ему вторил архиеп. Никанор: «Польза их очевидна. Но нет ли от них и вреда? Остановимся главным образом на этом. О вреде, и весьма важном, воз-

3. Впервые опубликовано в газете «Гражданин» в 1883 г. и подписано псевдонимом: В. К-в (Леонтьев, 1883: 8–12).

можном и действительном, явном и безошибочно предусматриваемом вреде такого многополезного дела, как железные пути, не смеет говорить никто» (Никанор, 2015б: 392)<sup>4</sup>.

Можно предположить, что архиеп. Никанор читал статьи Леонтьева в «Гражданине» и идеи последнего вдохновили его на столь серьезную критику железнодорожного строительства во время открытия нового здания вокзала в Одессе. При этом критика прозвучала публично и в присутствии должностных лиц, включая одесского генерал-губернатора Х. Х. Роопа. Этот момент особенно важен, поскольку Одесса была одним из значительнейших городов России не только по числу жителей, но и по той экономической и политической роли, которую играл этот город на юге России. И именно тут глава Одесской епархии публично возглашал:

Где земля преображеня оголяющими окрестность прямыми линиями железных дорог, там поэзия должна исчезнуть и исчезает; там улетает куда-то в неведомые страны всякая поэтическая талантливость, там становится гладко и ясно, как прямая линия. Там начинается и уравнение умов, которое кончится непременно понижением, принижением, измельчанием духа подобно тому, как воды многоводной некогда реки должны измельчать, разливвшись по широким полянам. (Никанор, 1884а: 775)

Одновременно с этим руссоистским пассажем, совершенно в духе «зеленой» критики прогресса, архиеп. Никанор говорит о том, что железные дороги уничтожают леса:

...для человека истощение лесных чащ гибельно и тем, что эти массы самой цветущей зелени производили массу живительного кислорода и озона, которые так необходимы нам для здорового дыхания, которые, оживляя и укрепляя силы человека, наоборот, губительно действуют на незримые массы вибрионов, подрывающих в самом корне человеческую жизнь и порождающих повальная болезни. (Никанор, 2015б: 396)

Чуть ранее Леонтьев, собирая все обвинения в адрес технического прогресса, так же скорбел о лесах и людях: «Железные дороги и фабрики, работающие паром, нещадно истребляют леса; от истребления лесов меняется климат, мелеют реки, учащаются неурожаи, изменяется самый характер жителей к худшему. Они душевно мельчают от излишнего общения, как доказывает Риль в своих прекрасных книгах...» (Леонтьев, 2007а: 138).

Леонтьеву наиболее страшным последствием прогресса, символом которого является железная дорога, представляется именно «душевное измельчание» человека и уменьшение культурного разнообразия, являющееся также результатом воздействия технических приспособлений, сокращающих пространство и время.

4. Впервые «Почтение при освящении новых зданий вокзала железной дороги в Одессе» опубликовано в журнале «Православное обозрение» в 1884 г. (Никанор, 1884б: 326–343).

Однако прежде чем перейти к этому наиболее существенному пункту леонтьевско-никаноровской критики прогресса, надо отметить два момента. Во-первых, может показаться, что подход архиеп. Никанора не является самостоятельным, что он как бы развивает то восприятие технического прогресса, которое Леонтьев изложил в своей статье в «Гражданине» годом ранее. Но эта зависимость лишь гипотетическая. Скорее следует говорить о том, что архиеп. Никанор благодаря Леонтьеву усиливает руссоизм своих оценок идеи прогресса, которые формируются у него уже в конце 1850-х годов. Так, в конце 1859 года в качестве ректора Саратовской семинарии он произносит проповедь о прогрессистском мировоззрении, в котором выявляет его антихристианский характер.

В этом поучении можно обнаружить интересное высказывание, которое имеет большое значение для исследования отношения культуркритики в России XIX века к сокращению времени в цивилизации модерна. Архиеп. Никанор писал о прогрессизме, драматизируя процесс модерного ускорения:

Не говорим о том, что это химерическое учение учит презирать все прошедшее, громить укорами настоящее, нетерпеливо рваться к будущему, — что превращает оно Богоустановленный испоконный порядок отношений: смотрите, как высоко молодежь начинает поднимать голову, клеймит, позорит власти, отцов и наставников, огорчается тем, что не мы тащимся за ними, а их вести за собою свое право предъявляем, придерживаясь векового седой народной мудрости пресловия об известной домашней птице с ее произведениями; что грозит оно крутыми переворотами; что, смотря глубже, хочет заставить Россию поспешно изжить предопределенную ей долю жизни, пребежать предназначенный нашему народу круг существования подобно тому, как рука шаловливой неопытности может спустить пружину часов, и часы опишут в несколько секунд все те круги, которые правильным ходом должно было совершить в сутки и более, и затем станут: так как это безбожное и бездушное антихристианское учение о прогрессе есть тот крайний вывод растления мысли и нравов, к которому человечество в массе, и то без сомнения не все, может прийти не ранее как через 1000 лет. (Никанор, 2015а: 378)

Апокалиптизм ускорения архиеп. Никанор драматизирует сильнее, чем Леонтьев, для которого главный негативный аспект прогресса — уничтожение культурного разнообразия. Но при этом они единодушны в признании некоторой необходимости технического прогресса и особенно развития железнодорожного транспорта в России. Леонтьев в 1883 году писал: «Надо, чтобы Россия была могущественна и богата; надо, чтобы западные соперники не могли легко побеждать русские войска; поэтому нужно иметь все то, что имеют эти соперники... Нужно иметь, к несчастию, и железные пути...» (Леонтьев, 2007а: 139). То же — у архиеп. Никанора:

Тут никакой народ, рассчитывающий на историческое бытие и независимость от других, не имеет права отставать от других в технических способах вести эту борьбу успешно. Это указали и нам наши две последние восточные войны. А между такими способами успешного выдерживания этой борьбы первое место занимают самые последние технические усовершенствования в путях и других способах сообщения. (Никанор, 2015б: 392)

И, по мнению Леонтьева, именно противники, которые навязывают России технический прогресс, несут вместе с ним унификацию, уменьшение культурного разнообразия, гомогенизируют, уравнивают культурные различия, распространяют эгалитаризм, характерный особенно для Европы XIX века. Все эти характеристики относятся к той стадии существования отдельного культурно-исторического типа, которая носит у Леонтьева наименование «вторичного упрощения» или «европеизма». Для того чтобы выяснить связь «упрощения» с «европеизмом» и «эгалитаризмом», необходимо обратиться к концепции «триединого процесса» Леонтьева.

С его точки зрения, процесс развития представляет собой усложнение структуры явления, увеличение внутреннего разнообразия этого явления, его индивидуализацию и обособление, после чего начинается деградация данного явления. Для обоснования такого подхода Леонтьев рассматривает этот процесс на примере как организмов, так и явлений культуры. Но его цель — обосновать максимально широкое применение своей концепции: «Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты, 2) цветущей сложности и 3) вторичного смесительного упрощения» (Леонтьев, 2005: 382).

Именно на третьей стадии происходят демократическое уравнивание, эмансипация, уничтожение сословного и классового разнообразия, гомогенизация бытовых условий вплоть до стандартизации стиля одежды. Эти процессы Леонтьев считает признаками разложения культуры:

Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее воды свободного, ограниченного кристаллизацией); они сходны с явлениями, например, холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно почти схожие (равенство) остатки и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д. (Леонтьев, 2005: 384)

Леонтьев показывает, как страны Западной, Южной и Центральной Европы гомогенизируются, устранивая различия между отдельными социальными слоями и этносами, и стремятся к устраниению своих собственных отличительных черт. Европейский прогресс, по Леонтьеву, привел Европу от «цветущей сложности» к «вторичному упрощению», которое неизбежно и для России.

Близок к такой оценке и архиеп. Никанор, который не подводит под критику модерна определенную социально-философскую теорию, но опирается на проводимое им своеобразное гносеологическое различие рассудка и разума. При этом если архиеп. Никанор понимает рассудок вполне в кантинском духе как способность к обобщению и анализу данных, полученных посредством «физиологических чувств», то разум для него — способность непосредственной интуиции подлинного уникального смысла явлений. На основании такого различия он и обвиняет модерну цивилизацию в игнорировании разума как «внутреннего душевного чувства истины» и в одностороннем развитии знания на основе рассудочности (Никанор, 1888б: 340).

Критика прогресса в целом и железных дорог в частности со стороны архиеп. Никанора и Леонтьева может быть вкратце описана так: неизбежный, с точки зрения обороноспособности России, прогресс уничтожает традиционный образ жизни, естественную среду обитания человека, богоустановленный порядок, ускоряя темпы жизни и уничтожая культурное разнообразие.

И даже если можно поставить под вопрос объективность таких концептов, как «богоустановленный порядок» и «традиционный образ жизни», то ускорение и унификация являются действительными и единственными особенностями модерного общества. Увеличение комфорта, а также сокращение пространства и времени, которое производится модерными унификацией и ускорением, отсылает к вопросам о том, что архиеп. Никанор и Леонтьев противопоставляют модерну, и о том, как сам модерн справляется с этими проблемами.

### **Компенсация модерного ускорения и эгалитаризма как механизм самосохранения модерна**

Сторонники идеи прогресса преследуют вполне благие намерения совершенствовать условия обитания человека. Конечно, чисто практически и архиеп. Никанор, и Леонтьев пользовались благами, приносимыми цивилизацией модерна<sup>5</sup>. Первый более охотно, второй — менее. При этом архиеп. Никанор показывал антихристианские интенции прогрессистов, объясняя их тем, что они предлагают земной рай как альтернативу христианской идеи неотмирности Царства Божьего. Архиерей-философ пишет, что, с точки зрения сторонников идеи прогресса, человек будущего «привыкнет прилагать новоизобретенные средства наслаждения к жизни; опояшет Землю телеграфами, железными дорогами, летучими пароходами; рассечет воздух коврами-самолетами; обуздает и оседляет зигзаги молний; наблюдательным глазом проникнет до центра Земли и за пределы тверди небесной; отыщет простейшие формулы мироздания, которые сделают для человеческого ума творение Вселенной ясным, как день; о том и говорить нечего, что разольется на

---

5. См. об этом в работах А. П. Соловьева (Соловьев, 2014, 2015а, 2015б).

Земле райская чистота нравов, райская свобода, равенство, братство» (Никанор, 2015а: 374).

Но модерный рай болен тем, что в нем исчезают разнообразие и неспешность, исчезает само христианство. И в этом смысле архиеп. Никанор и Леонтьев предлагаю варианты преодоления модерна. Они как правые критики стремятся устраниТЬ унификацию, обезличивание человека, характерные для модерна. Тогда как левые критики устремлены к преодолению той непоследовательности, которая присутствует в модерне и не дает реализоваться идеалам Просвещения в полной мере. Однако тут представляется возможным обратиться к иной оптике, выйдя неким образом за рамки противостояния «правых» и «левых». Речь идет о взгляде от рубежа XX–XXI веков, который знает не только теоретическую, но и практическую (как «правую», так и «левую») борьбу с модерной культурой. Ведь, несмотря на все попытки культуркритиков, модерн продолжает развиваться сейчас столь же противоречиво, сколь и успешно, как и в XIX веке. И в этом смысле можно сказать, что цивилизация модерна выработала определенные механизмы компенсации тех односторонностей и противоречий, в которых ее обвиняют культуркритики.

Такую теорию компенсации можно обнаружить в работах И. Риттера (1904–1974) и его последователей — О. Маркварда (1928–2015) и Г. Люббе (1926 г.р.)<sup>6</sup>. Еще в 1950-е годы Риттер акцентирует исследовательское внимание на «раздвоении» как наиболее важной характеристике цивилизации модерна. При анализе «раздвоения» выявляется, что оно «имеет множество аспектов, однако они сходятся в том, что во всех случаях речь идет о специфическом разрыве между историческим „происхождением“ (Herkunft) общества модерна и его настоящим и будущим (Zukunft)» (Куренной, Румянцева, 2016: XVI).

Среди этих аспектов Риттер, следуя Гегелю, выделяет, во-первых, правовой, который раскрывает этот разрыв как противоречие между всеобщностью права и уникальностью исторического «происхождения». Второй аспект связан с функционированием гражданского общества, в котором универсальная рациональность экономических отношений сочетается с оторванными от них субъективными интересами семейных отношений. Третий аспект, на котором делают акцент Риттер и Люббе, предполагает конфликт между универсальной технической стороной модерной цивилизации и возрастающим в ее рамках интересом к наукам о духе (Куренной, Румянцева, 2016: XVII).

Именно в связи с последним у Риттера появляется понятие «компенсация», которое становится ключевым для Люббе, его объясняющего таким образом:

Риттер говорит здесь, употребляя понятие компенсации скорее попутно, о том, что «принадлежность наук о духе» к обществу модерна обоснована во «внутренне присущих и неустранимых» для этого общества «абстрактности и историчности», и науки о духе развивались как ответ на вызов этой не-

6. О Г. Люббе, О. Маркварде и школе И. Риттера см. исследования В. А. Куренного и М. В. Румянцевой (Куренной, Румянцева, 2016: VII–XXIV; Румянцева, 2014).

историчности, поскольку общество обязательно нуждается в органе, «который компенсирует его неисторичность и поддерживает для него исторический и духовный мир людей открытым и современным». (Люббе, 2016: 267)

«Раздвоения» модерной цивилизации сводятся к тому, что можно определить как раздвоенность между универсализмом будущего и уникальностью прошлого. Люббе в этом смысле демонстрирует раздвоение между ускорением в модерной цивилизации и увеличивающимся замедлением скоростей, между стандартизацией, свойственной для технического развития, и возрастающим наряду с этим интересом к разнообразию исторического прошлого: «...комплементарно к этому [гомогенизации. — А. С.] одновременно растет наш интерес к культурам происхождения, поверх которых все это простирается, и если мы последуем за этим интересом, то мы компенсируем опыт неисторичности культуры модерна актуализацией той или иной культуры происхождения» (Люббе, 2016: 271). Риттер и Люббе рассматривают тенденции, противоположные рационализирующими идеалам Просвещения не в качестве разрушающих модерн, но обеспечивающих его функционирование. И при этом даже — выполняющих функцию компенсации увеличивающегося ускорения и унификации.

Люббе отмечает: «...вместе с динамикой модерна растет интенсивность нашего обращения к прошлому» (Люббе, 2016: 86). Прошлое разнообразно, тогда как настоящее и будущее прогресса гомогенно, универсально, стандартно и неисторично: «Присутствие эволюционно успешных элементов культуры, которые индифферентно относятся к различным особенностям культур, из которых мы происходим, — вот что Риттер называет неисторичностью культуры модерна» (Люббе, 2016: 270).

И в этом смысле верна мысль Леонтьева о «вторичном упрощении», предлагающем однообразие в сфере культуры при ускорении прогресса. Но Леонтьев отсылает мысль о преодолении этого однообразия в будущее, тогда как Люббе полагает, что гомогенность цивилизации модерна преодолевается внутри нее, в ее настоящем: «Наша история говорит, кто мы, и настоящая потребность дать ей возможность говорить это со всей определенностью возрастает вместе с успешным распространением цивилизационной модернизации, в которую мы все включены» (Люббе, 2016: 87).

Модерн, согласно Люббе, компенсирует не только свою неисторичность, но и нарастание скоростей: «Верно, что и при методологически осмысленном сравнении темпов эволюции различных эпох нашей цивилизации для нашей современности обнаруживается не только возрастание темпа, но комплементарно этому также и его замедление» (Люббе, 2016: 259). Замедление связано и с увеличением транспорта при перегруженности дорог, и с увеличением пассажиропотока при ограниченности ресурсов перемещения, и со многими другими аспектами функционирования цивилизации модерна. Но это неожиданное раздвоение-компенсация может казаться преодолимой, тогда как интерес к «культурам происхождения»

неотъемлемо принадлежит модерну, а устранение этого интереса чревато «прогрессивным» террором (Люббе, 2016: 135–150).

В связи с характеристикой цивилизации модерна через понятие «вторичного упрощения» у Леонтьева надо остановиться на вопросе о том, какие именно формы компенсации неисторичности и гомогенности модерна обнаруживает в нем Люббе. В одной из своих бесед на вопрос: «Почему Вы все-таки полагаете, что религия — это компенсатор модернизации? Есть же и другие способы компенсации, которые могут скрасить нашу жизнь: изобразительное искусство, музыка...» — Люббе отвечал: «...любого рода искусство относится к ней [к разновидности компенсации. — А. С.]: наши музеи, памятники, хорошо отреставрированные исторические центры города, наша подводная археология. В самом деле, заурядность цивилизационного прогресса усиливает и сублимирует наши эстетические требования и одновременно делает их более широкими» (Lübbe, 2010: 21)<sup>7</sup>.

Религия, несомненно, выполняет в современном мире функцию компенсации. Этот аспект будет очень важен далее: как уже было показано выше, критика модерна у архиеп. Никанора и Леонтьева строится не только на социально-философских и гносеологических, но и на религиозных аргументах. Модерн, предлагающий рационализацию, комплементарно компенсирует ее ростом интереса к иррациональному. Следуя теории компенсации Люббе и Маркварда, В. А. Куренной отмечает:

Обращение к традиционной по своим историческим корням религиозности как способа ориентации в мире связано также с тем, что традиционная мораль противостоит тем масштабным и по форме рациональным концепциям, которыми руководствовались в своей практике античеловеческие режимы XX века (коммунизм и расовая теория считались научными доктринаами). Поэтому в плане практической философии выбор в пользу традиционной религиозности имеет под собой веские основания, тем более что только здесь поддерживаются такие размечтающие жизнь человека ритуалы, которые, по крайней мере, не вызывают неловкого ощущения безвкусного новодела. (Куренной, 2013)

Таким образом, на роль компенсирующих видов деятельности, отсылающих к «культурам происхождения», выдвигаются: религия, искусство, музеи как места хранения предметов искусства и исторических памятников, экстремальные способы поиска артефактов для музеев. В работе «В ногу со временем. Сокращенное пребывание в настоящем» Люббе к ним добавляет кладбища (Люббе, 2016: 43–57), архивы (Люббе, 2016: 151–218), экстремальные виды спорта (Люббе, 2016: 323), любительское садоводство (Люббе, 2016: 323–324). То есть все то, что, с од-

7. «Warum glauben Sie ausgerechnet an die Religion als Gewinner der Modernisierung? Es gibt auch andere Kompensationen, die uns das Leben verschonern können: Kunst, Musik... Verschönerungen aller Art, unsere Museen, Denkmalsszenen, wohlrestaurierte Altstädte, unsere maritime Archäologie, das alles gehört dazu. In der Tat: Die Trivialität des zivilisatorischen Fortschritts intensiviert und sublimiert unsere ästhetischen Ansprüche und macht sie zugleich breitenwirksam» (Lübbe, 2010: 21).

ной стороны, отсылает модерного человека и модерное общество к историческим «культурам происхождения», дает возможность идентифицировать себя с уникальной «культурой происхождения» в условиях национальной гомогенизации, а с другой — делает жизнь уникальным образом осмысленно-целесообразной и одновременно занимает увеличивающееся время, свободное от выполнения стандартных национально-производственных функций. Все эти виды компенсации представляют собой способ реализации потребности сознания в стабильности и своеобразии при высоких скоростях цивилизационных изменений и культурной гомогенизации.

Различные формы компенсации не представляют собой некий паллиатив, это выявляется в том, что устранение либо компенсирующего феномена, либо самого компенсируемого прогресса приводит и к устранению модерна как такового. Люббе полагает, что эта борьба с противоречиями модерна «в случае успешной и последовательной реализации этого отрицания приводит не к его предполагаемому улучшению, а к ликвидации его принципиальных оснований» (Куренной, Румянцева 2016: XV). И по всей видимости, культурокритика и, возможно, даже научно-популярная апокалиптика, связанная с науками о духе, также выполняет функцию компенсаторную. Но только к разрушению может вести более-менее успешная попытка реализации культуркритической программы — будь то «правой» или «левой» (прогрессистско-утопической, ориентированной на устранение аспектов культуры, выполняющих компенсаторную функцию). А это приводит к необходимости различать несколько возможных вариантов отношения к этим компенсаторным явлениям в цивилизации модерна.

Во-первых, это отношение утопическое, предполагающее попытку устраниить как бы мешающие прогрессу якобы устаревающие явления культуры. Именно в этом стремлении подозревает прогрессистов архиеп. Никанор. В чистом виде это отношение никогда не встречалось, но заявлялось на уровне лозунгов и политической программы. Понятно, что полное устранение устаревшего и компенсирующего невозможно — интерес к классическому всегда будет сохраняться. Компенсацию как реализацию интереса к исторической «культуре происхождения» будет выполнять для «левых» обращение к «славному революционному прошлому».

«Классическое» будет выделено из того устаревающего, что ранее считалось прогрессивным: «старые ленинцы», «классика соцреализма» и т. п. Это будет «левая классика», если следовать тому пониманию классического, которое дает Люббе:

...культурные и социальные процессы развития суть интерактивные процессы с самой различной динамикой. Именно благодаря этому в культурном, а в конце концов также и в политическом отношении — под давлением опыта навязчиво разросшегося культурно-революционного движения — обостряется чувствительность к таким элементам и состояниям, которые преобладают в относительной неизменности, демонстрируют преимущество сопротивляемости устареванию, которые, следовательно, являются старыми, но,

тем не менее, не устаревшими. <...> Культурное значение классических, т. е. в указанном смысле устойчивых к старению ресурсов возрастает, а не снижается вместе с динамикой цивилизационных эволюций... (Люббе, 2016: 266)

Во втором случае, который оказывается оппозицией как первому («левому»), так и третьему («правому»), предполагается сочетание неизбежного ускорения с неизбежным же обращением к «культурам происхождения», компенсирующим однообразие ускоряющейся культурной гомогенности. Третий вариант отношения к компенсаторным явлениям модерной цивилизации — это как раз отношение радикально-антипрогрессистское, консервативное, апокалиптическое, «зеленое» (по Маркварду), которое предлагает замедление и остановку технического прогресса.

Это отношение, гипертрофирующее значение исторических «культур происхождения», в чистом виде так же не существовало, как и чисто «левое». Но если «левое» чревато формированием собственного обращения к историческому и возврату к нормальному функционированию компенсаторных явлений культуры, то «правое» — чисто историцистское — устремлено к устраниению с помощью компенсаторных явлений культуры того, что они компенсируют.

То есть можно было бы формально сделать вывод о том, что это «консервативное» отношение, отрицая прогресс, отрицает и самое себя. Но нельзя забывать, что именно оно и концентрирует в общественно-политической сфере внимание на исторических «культурах происхождения». А следовательно, не все так просто. И это очень хорошо заметно в случае с такими столь близкими, но все же разными, «правыми» — архиеп. Никанором и Леонтьевым. Эта сложность с различием возврений на преодоление прогрессизма касается почти всей русской философии XIX–XX веков, которую можно рассматривать как попытку подвести онтологическую и эпистемологическую основу под «левую» и «правую» критику того варианта модернизации, который обрушился на Россию в XIX веке.

### **Модерный традиционализм и политический авангард и как варианты антимодерна у архиеп. Никанора и Леонтьева**

В качестве альтернативы модерной цивилизации Леонтьев, развивая концепцию «трех стадий развития», видит «византизм» или «гептстилизм». Если цивилизация модерна со своим стремлением к однообразию и ускорению определяется им как «европеизм», то «византизм» — это, по сути, состояние любой культуры на пике ее развития, «цветущая сложность». Ближайшим образом «византизм» — это характеристика культуры России на уже завершившемся (по Леонтьеву) в XVIII веке пике своего «цветения». «Гептстилизм» как производное от греческого словосочетания, которое переводится как «семь столпов»<sup>8</sup>, это учение Леонтьева, обрисовывающее основные признаки «Новой Восточной Культуры» (Леонтьев, 2012:

8. С отсылкой к библейскому ветхозаветному пророчеству о Боговоплощении: «Премудрость созида Себе Дом и утверди столпов седмь» (Примч. 9:1–2).

123). К «семи столпам» автор относит своеобразные комплексы идей и установок в семи сферах: религиозной, политической, юридической, научно-философской, бытовой, художественной и экономической (Леонтьев, 2007в: 50).

При этом в сфере религиозной, как отмечает О. Л. Фетисенко, Леонтьевым предполагается следующее: «Централизация церковного управления... утверждение святоотеческого христианства и отпор его подменам, прежде всего сентиментальному „полулиберальному“ христианству. <...> Сильное духовенство, независимая и властная иерархия. <...> Оптимистический пессимизм мировоззрения. <...> на первое место ставится мысль о спасении души» (Фетисенко, 2012: 85).

В сфере политической и юридической идеал разнообразия связан с самодержанием при развитии местного самоуправления и его регионального своеобразия, а также с корпоративным закрепощением сословий и милитаризацией государства (Фетисенко, 2012: 86–87). В отношении науки и философии Леонтьев требует их существования не в пользу прогресса, но для служения религиозным идеям. А вот в бытовом плане предлагается сохранять «барские предания, дворянские привычки, аристократические положения и рыцарские вкусы» (Фетисенко, 2012: 87) и отказаться от однообразия, то есть от «европеизма». Практически то же — в искусстве и экономике, которая строится на принципах сословности и госконтроля.

Этот проект явно направлен на ограничение процесса рациональной гомогенизации, предполагаемой модерном. По сути, рациональность здесь вытеснена в сферу политического администрирования, социального проектирования и военно-промышленного комплекса. Рациональность и гомогенность характеризует меньшинство институтов, предполагаемых леонтьевским «гептастилизмом». Доминирующими в таком идеальном обществе становятся принципы уникальности, разнообразия и сословности, что и позволяет отнести «гептастилизм» к «правым», консервативным культуркритическим проектам.

Консерватизм Леонтьева очевиден. И именно это делает для многих исследователей его идейного наследия необъяснимым обращение Леонтьева к социализму как союзнику в критике и преодолении «европеизма» и модернизации. Попытки объяснить это прозрением и пророчеством, случайностью, отчаяньем, безнадежностью, ожиданием того, что социалистическое движение окажется более эффективным для борьбы с эгалитаризмом, чем консервативное, — оказываются лишь способом обойти необходимость ответа на вопрос о причинах надежды консерватора на социалистов<sup>9</sup>.

Конечно же, понятно, что Леонтьев различает социализм как идею равенства и как вид общественных отношений. Для Леонтьева социализм как идеал эгалитарный — итог либерализма. Но реальные отношения при социализме он понимает иначе. В 1885 году в статье «Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения» Леонтьев писал:

9. Критику таких объяснений см. в статье С. М. Сергеева «„Окончательное смешение“ или „новое созидание“? Проблема социализма в мировоззрении К. Н. Леонтьева» (Сергеев, 2003).

...социализм, понятый как следует, есть не что иное, как новый феодализм уже вовсе недалекого будущего. Разумея при этом слово феодализм, конечно, не в тесном и специальном его значении Романо-Германского рыцарства или общественного строя именно времени этого рыцарства; а в самом широком его смысле, т. е. в смысле глубокой неравноправности классов и групп, в смысле разнообразной децентрализации и группировки социальных сил, объединенных в каком-нибудь живом центре духовном или государственном; в смысле нового закрепощения лиц другими лицами и учреждениями, подчинения одних общин другим общинам, несравненно сильнейшим или чем-нибудь облагороженным (так, например, как были подчинены у нас в старину рабочие селения монастырям). (Леонтьев, 2007г: 215)

Здесь очевидно, что только в таком понимании социализм оказывается невольным союзником проекта «правой» культуркритики в борьбе с модернизационной рациональной гомогенизацией. При этом можно подумать, что Леонтьев здесь предлагает подождать, пока социализм сам победит либерализм и преобразуется в феодализм. Нет, он предлагает активно насаждать такой «реальный социализм»: «Чувство мое пророчит мне, что славянский православный царь возьмет когда-нибудь в руки социалистическое движение (так, как Константин Византийский взял в руки движение религиозное) и с благословения Церкви учредит социалистическую форму жизни на место буржуазно-либеральной. И будет этот социализм новым и суровым трояким рабством: общинам, Церкви и Царю» (Леонтьев, 1993: 473). Именно этого рабства, порождающего разнообразие и уничтожающего гомогенизацию, чает Леонтьев и строит свой неофеодальный социальный проект, отсылая его в будущее.

И именно это проецирование идеала в будущее выводит Леонтьева за рамки простого консервативного традиционализма. Он не предлагает вернуть «славное прошлое», он говорит об ином, внemодерном будущем, в котором рациональная и эгалитаристская социалистическая теория, реализуясь на практике, перерождается в свою иррационально-сословную противоположность. Это позволяет определить Леонтьева как модерного традиционалиста. Но в этом контексте интересна оговорка Сергеева, который мельком упоминает о том, что этот монархический социализм Леонтьева больше похож на идеал итальянских фашистов (Сергеев, 2003: 204). А это уже заявка на то, чтобы увидеть Леонтьева как представителя авангардного мировоззрения.

Одним из важнейших аспектов политического авангарда, к которому можно отнести «монархически-социалистический» проект Леонтьева, является положительная оценка «того, что ожидается в будущем» (Люббе, 2016: 145). Спасение от модернизационных тенденций для Леонтьева именно в будущем, которое уничтожит либерализм и переродит социализм. Люббе отмечает следующие черты политического авангарда в отношении проектирования будущего:

Во-первых, попытка преобразовать историю происхождения в историю будущего и тем самым увидеть в будущем нечто лучшее, чем настоящее, становится отныне принудительной. Во-вторых, в целях конкретного определения места современных событий нужно расчленить путь истории от происхождения к будущему на эпохи и в их последовательности фиксировать эфемерную эпоху настоящего. В-третьих, из этой высокой моральной и политической оценки будущего вытекает обязанность ускорить движение к нему. (Люббе, 2016: 145)

И если еще можно ставить под вопрос возможность вписать в авангардизм (как направление в литературе) Леонтьева с его вниманием к стилю и форме, то черты политического авангарда вполне можно разглядеть в его мировоззрении.

Конечно, необходимо множество оговорок относительно наличия лишь элементов авангардного мировоззрения у Леонтьева. Но при этом нельзя не обратить внимание на то, что отсылка к православной монашеской традиции как к образцу для будущего «гептстилистического» общества у Леонтьева, выводит эту традицию за рамки традиционного ее восприятия. Ведь для самих монахов их традиции — это не просто нечто стабильно воспроизводящееся и классическое, это рутинное и во многом объяснимое. Рационально тут выводимо все — образ жизни монаха, устройство богослужения, быт и мораль, если изначально принять и согласиться с иррациональными, мистическими предпосылками всего этого.

Но Леонтьев воспринимает религию не в качестве чего-то рутинного и, следовательно, гомогенного. Он выдвигает на первый план то разнообразие, которое обеспечивает религия и которое в ней есть. То есть русский культуркритик рассматривает религию в качестве чего-то уникального, оригинального и иррационального, противопоставляя ее модерному обществу как обществу рациональному и унифицированному. А это означает, что его восприятие религии (а также самодержавия, крепостничества, аристократизма и т. п.) может быть названо мондальным.

Леонтьев препарирует модерн для того, чтобы критиковать его. Он выделяет в нем эгалитаризм, рационализм и прогрессизм, не замечая того, что модерн включает в себя различные формы компенсации своих основных тенденций. И точно так же Леонтьев противопоставляет подготовленному для критики модерну препарированную традицию, из образа которой устраниено все, что мешает воспринимать ее как нечто исключительно уникальное. Это и не позволяет говорить о Леонтьеве как о чистом традиционалисте, но дает возможность определить его мировоззрение как модерный традиционализм с элементами политического авангарда.

На фоне Леонтьева архиеп. Никанор может показаться вполне традиционалистски настроенным мыслителем. Его критика прогресса основывается, как было показано выше, на выявлении угрозы православному мировоззрению со стороны сторонников тотального прогресса. Он критикует бессмысленность и бесцель-

ность любопытствующего рассудка в трактате «Позитивная философия и сверхчувственное бытие»:

Много ли пользы принесло человечеству открытие, что луна изрыта потухшими вулканами, а у полюсов на Марсе громоздятся льды, как и на земле? Или что масса солнца весит столько-то пудов, а плотность земли у центра земного шара достигает такой-то величины? Но усилие, хотя и бесплодное, современной философской, ученой и дилетантской интеллигенции отрешить умы всего человечества от внушений внутреннего чувства и идеального разума — оно не только превратно, но и гибельно. Оно отнимет у человечества то счастье, которым люди до сих пор пользовались, и не даст взамен никакого. Оно изгонит, как и изгоняет из мира всякую возвышенную любовь и самоотвержение, всякую надежду, всякую поэзию, всякие идеалы жизни. Оно понизит не только общий душевный, но и умственный уровень. Оно приведет род людской до одичания, до сознательного оскотинения. (Никанор, 1886б: 340)

В этом пассаже он демонизирует основу модерна — научную рациональность. Те же обвинения получают железные дороги. Но при этом архиеп. Никанор сам пишет трехтомный философский трактат, в котором, опираясь на последние философские работы модерных мыслителей, пытается показать, что позитивисты при расширении понятия о чувственности вполне могут признать существование и познаваемость сверхчувственного. Тут архиеп. Никанор явно пытается вписать иррациональное в качестве аспекта модерной философии. И то же происходит с железными дорогами — он признает их неизбежность. А в качестве инструмента компенсации последствий негативного для христианства прогресса архиерей-философ предлагает распространение христианского образования и усиление личной религиозности, которые также являются модерными явлениями.

Одним из образцов религиозности, компенсирующих модерную рациональность и гомогенизацию, для архиеп. Никанора был его современник о. Иоанн Сергиев, о котором архиерей-философ писал:

Поразительнейшее знамение времени — о. Иоанн Кронштадтский. Ведь его ждут принять везде, от подвалов до раззолоченных палат. <...> Его молитвенной помощи ждут и просят не только во всех концах России, но и за границею. И молитвенная помощь его, всегда с его стороны простая, ничего чудесно прямо не обещающая, бывает иногда поразительно-чудесною. Истинно-поразительна, даже чудесна сама вера в о. Иоанна Кронштадтского всех сословий Петербурга, да и всех концов России. А такой простой, безыскусственный человек, но истинно-верующий в действительность силы Божией, и в наши дни священник. «Чудотворна та икона, — выразился глубоко-мудрый первосвятитель Российской Церкви, 90-летний старец<sup>10</sup>, — которая сильна возбудить веру в свою чудотворность». Силу этого глубокомыслен-

10. Имеется в виду Высокопреосвященнейший Исидор (Никольский; 1799–1892), митрополит Новгородский, Санкт-Петербургский и Финляндский, первенствующий член Святейшего Синода.

ного изречения можно применить и к о. Иоанну Кронштадтскому. Да, чудотворец он уже потому самому, что возбудил крепкую веру в чудотворную силу Божию, содеевающуюся в человеческой немоши и в наши неверные дни. (Никанор, 1888б: 725–726)

Как видно, Леонтьев и архиеп. Никанор выборочно выделяют из традиции то, что делало ее отличной от их современности, то есть нечто уникальное. Мыслители как бы закрывают глаза на то, что традиция сама невозможна без унификации, без стандартного воспроизведения поведенческих практик, которые делают жизнь архаических обществ менее рискованной. Владыка Никанор, как и было сказано выше, даже обращается к уникальности природных объектов — к «поэзии природы» (а точнее — к поэтизации, конструированию поэзии природы). Он как бы не замечает закономерности природных процессов, рутинности воспроизводящихся природных циклов.

Но, несмотря на то сходство, которое проявляется в негативных оценках прогресса у Леонтьева и архиеп. Никанора и в конструировании уникальности традиции, именно положение о том, что модерн предполагает не только рациональность и прогресс, но и компенсирующий их интерес к иррациональному и «культурам происхождения» позволяет вскрыть различие между этими двумя мыслителями. Архиеп. Никанор принимает прогресс и комфорт как неизбежный недостаток, и потому предлагает молиться о том, чтобы железные дороги принесли именно пользу, а не вред. Тем самым он соединяет историческую и иррациональную (религиозную) тенденцию с неисторической и рациональной тенденцией модерна. Тогда как Леонтьев оказывается в отдельных случаях еще большим модернистом, чем те сторонники модернизации, которых он критикует. И в этом смысле архиеп. Никанор действует вполне в рамках формирования компенсаторных аспектов модерна, тогда как Леонтьев жаждет тотального устранения модерна в будущем. При этом «опрокинутость» леонтьевского традиционалистского революционизма в будущее как раз и позволяет считать его мыслителем вполне модерным.

## Литература

Зеньковский В. В. (2001). История русской философии. М.: Академический Проект, Раритет.

Куренной В. А. (2013). Иррациональная сторона рационального. URL: <http://www.strana-oz.ru/2013/1/irrationalnaya-storona-racionalnogo> (дата доступа: 13.02.2017).

Куренной В. А., Румянцева М. В. (2016). Философия культуры Германа Люббе // Люббе Г. В ногу со временем: сокращенное пребывание в настоящем / Пер. с нем. А. Б. Григорьева и В. А. Куренного под науч. ред. В. А. Куренного. М.: НИУ ВШЭ. С. VII–XXIV.

[Леонтьев К. Н.] (1883). Прежние встречи и знакомства за границей и в России. (Отрывки и размышления). I. Два буржуа // Гражданин. № 12. С. 8–12.

Леонтьев К. Н. (1886). Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство. СПб. С. 387–394.

Леонтьев К. Н. (1993). Избранные письма (1854–1891) / Публ. Д. Соловьева. СПб.: Пушкинский фонд.

Леонтьев К. Н. (2005). Византизм и Славянство // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем. Т. 7 (1) / Под ред. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль. С. 300–443.

Леонтьев К. Н. (2007а). Два представителя индустрии // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем. Т. 8 (1) / Под ред. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль. С. 131–141.

Леонтьев К. Н. (2007б). Епископ Никанор о вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем. Т. 8 (1) / Под ред. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль. С. 149–158.

Леонтьев К. Н. (2007в). Письма о Восточных делах // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем. Т. 8 (1) / Под ред. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль. С. 43–130.

Леонтьев К. Н. (2007г). Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем. Т. 8 (1) / Под ред. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб.: Владимир Даль. С. 159–233.

Леонтьев К. Н. (2012). Эптасилизм, или Учение о семи столпах Новой Восточной Культуры // Фетисенко О. Л. Гептасилисты: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX — первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский Дом. С. 123–133.

Люббе Г. (2016). В ногу со временем: сокращенное пребывание в настоящем / Пер. с нем. А. Б. Григорьева и В. А. Куренного под науч. ред. В. А. Куренного. М.: НИУ ВШЭ.

Марквард О. (2003). Эпоха чуждости миру? URL: <http://www.strana-oz.ru/2003/6/epoha-chuzhdosti-miru> (дата доступа: 25.11.2016).

Непомнящих Н. А. (2012). Железная дорога как комплекс мотивов в русской лирике и эпике // Ромодановская Е. (ред.). Сюжетно-мотивные комплексы русской литературы. Новосибирск: Гео. С. 92–105.

Никанор (Бровкович), архиеп. (1884а). [Черновик:] Поучение при освящении новых зданий вокзала железной дороги в Одессе // Государственный архив Одесской области. Ф. 196. Оп. 1. Д. 63. Л. 712–724, 754–783.

Никанор (Бровкович), архиеп. (1884б). Поучение при освящении новых зданий вокзала железной дороги в Одессе // Православное Обозрение. Т. 3. Октябрь. С. 326–343.

Никанор (Бровкович), архиеп. (1888а). Беседа по возвращении к пастве // Прибавление к «Церковным Ведомостям». № 27. С. 725–726.

Никанор (Бровкович), архиеп. (1888б). Позитивная философия и сверхчувственное бытие. Т. III. СПб.

Никанор (Бровкович), архиеп. (2015а). На новый (1860) год. Христианство и прогресс // Соловьев А. П. «Согласить философию с православной религией»: идейное наследие архиепископа Никанора (Бровковича) в истории русской мысли XIX–XX веков. Уфа: Изд. А. А. Словохотов. С. 371–385.

Никанор (Бровкович), архиеп. (2015б). Поучение при освящении новых зданий вокзала железной дороги в Одессе // Соловьев А. П. «Согласить философию с православной религией»: идейное наследие архиепископа Никанора (Бровковича) в истории русской мысли XIX–XX веков. Уфа: Изд. А. А. Словохотов. С. 386–405.

Румянцева М. В. (2014). Компенсаторная теория в работах Германа Люббе и Одо Маркварда. М.: НИУ ВШЭ.

Сергеев С. М. (2003). «Окончательное смещение» или «новое созидание»? Проблема социализма в мировоззрении К. Н. Леонтьева // Роман-журнал XXI век. № 7. С. 100–104.

Соловьев А. П. (2014). Архиепископ Никанор (Бровкович) о вреде идеи прогресса и вероятной пользе железных дорог // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Философия. № 4. С. 29–45.

Соловьев А. П. (2015а). «Согласить философию с православной религией»: идейное наследие архиепископа Никанора (Бровковича) в истории русской мысли XIX–XX веков. Уфа: Изд. А. А. Словохотов.

Соловьев А. П. (2015б). Архиепископ Никанор (Бровкович) о прогрессе и конце всемирной истории // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 4. С. 247–255.

Толстой Л. Н. (1949). Полное собрание сочинений. Т. 60: Письма 1856–1862. М.: Гослитиздат.

Фетисенко О. Л. (2012). Гептастилисты: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики (идеи русского консерватизма в литературно-художественных и публицистических практиках второй половины XIX — первой четверти XX века). СПб.: Пушкинский Дом.

Шенк Ф. Б. (2016). Поезд в современность: мобильность и социальное пространство России в век железных дорог. М.: Новое литературное обозрение.

Lübbe H. (2010). Hermann Lübbe im Gespräch. München: Wilhelm Fink.

## Modernist Traditionalism against Modernity: Criticism of Progress in Russia in the Second Half of the 19th Century (the Case of Archbishop Nikanor [Brovkovich] and K. N. Leontiev)

*Artem Soloviev*

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Department of Political Sciences, Sociology and Philosophy, The Bashkir Academy of State Service and Management under the Head of the Republic of Bashkortostan

Address: Zaki Validi st., 40, Ufa, Russian Federation

E-mail: artstudium@yandex.ru

Archbishop Nikanor (Brovkovich) (1826–1890), and Konstantin Nikolaevich Leontiev (1831–1891), whose ideas are often considered as identical, are representatives of the Russian conservatism of the second half of the XIX century. Their views can be attributed to the culture-critical direction of the traditionalist type which interprets modernization as a threat to the existence of both the natural habitat of man and man himself. These thinkers oppose progress, as they believe that modernization is homogenizing culture and destroying traditions. To identify the differences between the views of Archbishop Nikanor and Leontiev, it seems necessary to turn to the theory of "compensation" by I. Ritter, G. Lubbe, and O. Marquard. According to this theory, modernity produces ways of compensation of its own rational homogeneity. Among these ways of compensation, we can find the interest of irrational and unique phenomena, and of individual "stories of origin". Thus, culture-criticism itself is revealed as a way of a compensation of the standardizing aspects of modernization. Thus, Leont'ev contrasts modernity with "Byzantium" as a traditional culture, while Archbishop Nikanor does so with the ideal of individual Orthodox holiness. This demonstrates the difference between them, despite the fact that their traditionalism turns out to be equally modern, performing the compensation. However, Leontiev was sketching out the ways of destroying modernity, linking it with the victory of socialism which he predicted within the political avant-garde, leading to a new feudalism. In contrast, Archbishop Nikanor considered progress as inevitable, offering to compensate for its negative consequences by maintaining the irrational and unique aspects of traditional religiosity.

**Keywords:** Nikanor (Brovkovich), Konstantin Leontiev, culture-criticism, modernity, compensation, avant-garde, traditionalism

### References

Fetisenko O. (2012) *Geptastilisty: Konstantin Leont'ev, ego sobesedniki i ucheniki (idei russkogo konservativizma v literaturno-hudozhestvennyh i publicisticheskikh praktikah vtoroj poloviny XIX — pervoj chetverti XX veka)* [Heptastilists: Konstantin Leontiev, His Interlocutors and Students (the Ideas of Russian Conservatism in the Literary and Journalistic Practices of the Second Half of the 19th and the First Quarter of the 20th Century)], Saint Petersburg: Pushkinsky Dom.

Kurennoy V. (2013) *Irracional'naja storona racional'nogo* [The Irrational Side of Rational]. Available at: <http://www.strana-oz.ru/2013/1/irrationalnaya-storona-racionalnogo> (accessed 13 February 2017).

Kurennoy V., Rumyantseva M. (2016) *Filosofija kul'tury Germana Ljubbe* [The Philosophy of Culture of Herman Lubbe]. Lübbe G., *V nogu so vremenem: sokrashchennoe prebyvanie v nastojashhem* [Keep Up with the Times: Shortened Presence in the Present] (ed. V. Kurennoy), Moscow: HSE, pp. VII–XXIV.

Leontiev K. (1883) *Prezhnie vstrechi i znakomstva za granicej i v Rossii (Otryvki i razmyshlenija).* I. Dva burzhua [Former Meetings and Acquaintances Abroad and in Russia (Excerpts and reflections). I. Two Bourgeois]. *Grazhdanin*, no 12, pp. 8–12.

Leontiev K. (1886) *Episkop Nikanor o vrede zheleznyh dorog, para i voobshhe ob opasnostyah slishkom bystrogo dvizhenija zhizni* [Bishop Nikanor about the Dangers of Railways, Steam and

Generally the Dangers of Too High Speed of Life]. *Vostok, Rossija i Slavjanstvo* [The East, Russia and the Slavdom], Saint Petersburg, pp. 387–394.

Leontiev K. (1993) *Izbrannye pis'ma (1854–1891)* [Selected Letters (1854–1891)] (ed. D. Soloviev), Saint Petersburg: Pushkinsky fond.

Leontiev K. (2005) *Vizantizm i Slavjanstvo* [Byzantinism and the Slavdom]. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem. T. 7 (1)* [Complete Works and Letters, Vol. 7 (1)] (eds. V. Kotelnikov, O. Fetisenko), Saint Petersburg: Vladimir Dal, pp. 300–443.

Leontiev K. (2007a) *Dva predstavitelej industrii* [Two Representatives of the Industry]. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem. T. 8 (1)* [Complete Works and Letters, Vol. 8 (1)] (eds. V. Kotelnikov, O. Fetisenko), Saint Petersburg: Vladimir Dal, pp. 131–141.

Leontiev K. (2007b) *Episkop Nikanor o vrede zheleznyh dorog, para i voobshhe ob opasnostjah slishkom bystrogo dvizhenija zhizni* [Bishop Nikanor about the Dangers of Railways, Steam and Generally the Dangers of Too High Speed of Life]. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem. T. 8 (1)* [Complete Works and Letters, Vol. 8 (1)] (eds. V. Kotelnikov, O. Fetisenko), Saint Petersburg: Vladimir Dal, pp. 149–158.

Leontiev K. (2007c) *Pis'ma o Vostochnyh delah* [Letters on Eastern Affairs]. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem. T. 8 (1)* [Complete Works and Letters, Vol. 8 (1)] (eds. V. Kotelnikov, O. Fetisenko), Saint Petersburg: Vladimir Dal, pp. 43–130.

Leontiev K. (2007d) *Srednij evropeec kak ideal i orudie vsemirnogo razrushenija* [The Average European as an Ideal and an Instrument of World Destruction]. *Polnoe sobranie sochinenij i pisem. T. 8 (1)* [Complete Works and Letters, Vol. 8 (1)] (eds. V. Kotelnikov, O. Fetisenko), Saint Petersburg: Vladimir Dal, pp. 159–233.

Leontiev K. (2012) *Jeptasilizm, ili Uchenie o semi stolpah Novoj Vostochnoj Kul'tury* [Eptasilism, or the Doctrine of the Seven Pillars of New Eastern Culture]. Fetisenko O., *Geptastilisty: Konstantin Leont'ev, ego sobesedniki i ucheniki (idei russkogo konservativizma v literaturno-hudozhestvennyh i publicisticheskikh praktikah vtoroj poloviny XIX — pervoj chetverti XX veka)* [Heptastilists: Konstantin Leontiev, His Interlocutors and Students (the Ideas of Russian Conservatism in the Literary and Journalistic Practices of the Second Half of the 19th and the First Quarter of the 20th Century)], Saint Petersburg: Pushkinsky dom, pp. 123–133.

Lübbe H. (2010) *Hermann Lübbe im Gespräch*, München: Wilhelm Fink Verlag.

Lübbe H. (2016) *V nogu so vremenem: sokrashchennoe prebyvanie v nastojashchem* [Keep Up with the Times: Shortened Presence in the Present] (ed. V. Kurennoy), Moscow: HSE.

Marquard O. (2003) *Jepoha chuzhdosti miru?* [The Era of Estrangement from the World?]. Available at: <http://www.strana-oz.ru/2003/6/epoha-chuzhdosti-miru> (accessed 25 November 2016).

Nepomniashchikh N. (2012) *Zheleznaja doroga kak kompleks motivov v russkoj lirike i jepike* [The Railway as a Complex of Motifs in Russian Lyrics and Epic]. *Sjuzhetno-motivnye kompleksy russkoj literatury* [Plot-Motive Complexes of Russian Literature] (ed. E. Romodanovskaya), Novosibirsk: Geo, pp. 92–105.

Nikanor (Brovkovich), archbishop (1884) <Chernovik:> Pouchenie pri osvjashchenii novyh zdaniy vokzala zheleznoj dorogi v Odesse [<Draft:> Homily at the Consecration of the New Building of the Railway Station in Odessa]. State Archives of Odessa region, f. 196, inv. 1, no 63, pp. 712–724, 754–783.

Nikanor (Brovkovich), archbishop (1884) Pouchenie pri osvjashchenii novyh zdaniy vokzala zheleznoj dorogi v Odesse [Homily at the Consecration of the New Building of the Railway Station in Odessa]. *Pravoslavnoe obozrenie*, vol. 3, pp. 326–343.

Nikanor (Brovkovich), archbishop (1888) Beseda po vozvrashchenii k pastve [Conversation on the Return to the Flock]. *Pribavlenie k "Cerkovnym Vedomostjam"*, no 27, pp. 725–726.

Nikanor (Brovkovich), archbishop (1888) *Pozitivnaja filosofija i sverhchuvstvennoe bytie. T. III* [Positivistic Philosophy and Supernatural Being. Vol. III], Saint Petersburg.

Nikanor (Brovkovich), archbishop (2015) Na novyj (1860) god. Hristianstvo i progress [On the New (1860) Year. Christianity and Progress]. Soloviev A., "Soglasit' filosofiju s pravoslavnoj religiej": idejnoe nasledie arhiepiskopa Nikanora (Brovkovicha) v istorii russkoj mysli XIX–XX vekov ["To Agree Philosophy with the Orthodox Religion": The Intellectual Heritage of Archbishop

Nikanor (Brovkovich) in the History of Russian Thought of the 19th — 20th Centuries], Ufa: A. Slovokhotov, pp. 371–385.

Nikanor (Brovkovich), archbishop (2015) Pouchenie pri osvjashhenii novyh zdanij vokzala zheleznoj dorogi v Odesse [Homily at the Consecration of the New Building of the Railway Station in Odessa]. Soloviev A., "Soglasit' filosofiju s pravoslavnoj religiej": idejnoe nasledie arhiepiskopa Nikanora (Brovkovicha) v istorii russkoj mysli XIX–XX vekov ["To Agree Philosophy with the Orthodox Religion": The Intellectual Heritage of Archbishop Nikanor (Brovkovich) in the History of Russian Thought of the 19th — 20th Centuries], Ufa: A. Slovokhotov, pp. 386–405.

Rumyantseva M. (2014) Kompensatornaja teorija v rabotah Germana Ljubbe i Odo Markvarda [Compensatory Theory in the works of Herman Lübbe and Odo Marquard], Moscow: HSE.

Sergeev S. (2003) "Okonchatel'noe smeshenie" ili "novoe sozidanie"? Problema socializma v mirovozzrenii K. N. Leont'eva ["Final Mixing" or "New Creation"? The Problem of Socialism in the K. Leontiev's Worldview]. *Roman-zhurnal XXI vek*, no 7, pp. 100–104.

Shenk F. B. (2016) Poezd v sovremennosti: mobil'nost' i social'noe prostranstvo Rossii v vek zheleznyh dorog [Train to Modernity: Mobility and Social Space of Russia at the Age of Railways], Moscow: New Literary Observer.

Soloviev A. (2014) Arhiepiskop Nikanor (Brovkovich) o vrede idei progressa i verojatnoj pol'ze zheleznyh dorog [Archbishop Nikanor (Brovkovic) on the Harm of the Idea of Progress and the Probable Benefits of Railways]. *St Tikhon's University Review. Series I: Theology. Philosophy*, no 4, pp. 29–45.

Soloviev A. (2015) "Soglasit' filosofiju s pravoslavnoj religiej": idejnoe nasledie arhiepiskopa Nikanora (Brovkovicha) v istorii russkoj mysli XIX–XX vekov ["To Agree Philosophy with the Orthodox Religion": The Intellectual Heritage of Archbishop Nikanor (Brovkovich) in the History of Russian Thought of the 19th — 20th Centuries], Ufa: A. Slovokhotov.

Soloviev A. (2015) Arhiepiskop Nikanor (Brovkovich) o progresse i konce vsemirnoj istorii [Archbishop Nikanor (Brovkovich) on the progress and end of world history]. *State, Religion and Church in Russia and Worldwide*, no 4, pp. 247–255.

Tolstoy L. (1949) *Polnoe sobranie sochinenij. T. 60: Pisma 1856–1862* [Complete Works, Vol. 60: Letters 1856–1862], Moscow: Goslitizdat.

Zenkovsky V. (2001) *Istorija russkoj filosofii* [History of Russian Philosophy], Moscow: Akademichesky proekt, Raritet.

## Спорт помогает ответить на фундаментальные вопросы\* *Интервью с Робертом Эдельманом*

*Роберт Эдельман*

Профессор русской истории и истории спорта Калифорнийского университета в Сан-Диего  
Адрес: Gilman Dr, 9500, San Diego, CA, USA 92161  
E-mail: [redelman@ucsd.edu](mailto:redelman@ucsd.edu)

*Сергей Бондаренко*

Научный сотрудник Международного «Мемориала»  
Адрес: ул. Картеный Ряд, д. 5/10, г. Москва, Российская Федерация 127006  
E-mail: [bond57@rambler.ru](mailto:bond57@rambler.ru)

*Олег Кильдюшов*

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [kildyushov@mail.ru](mailto:kildyushov@mail.ru)

Интервью с Робертом Эдельманом, известным американским исследователем советского спорта, профессором русской истории и истории спорта Калифорнийского университета в Сан-Диего, посвящено эвристическим вопросам изучения современных телесных практик. Вначале ученый рассказывает о своем пути в историческую науку, о появлении у него интереса к русской истории вообще и советским формам работы с телом в частности. Особенно ценные с точки зрения социально-теоретического интереса воспоминания Р. Эдельмана о ситуации в американском академическом сообществе в 1960–1970-е годы, в том числе о влиянии на молодое поколение ученых ведущих теоретиков Франкфуртской школы Т. Адорно и Г. Маркузе. Красной нитью через все интервью проходит мысль о неадекватности подходов многих интеллектуалов, особенно левых, к спорту как некой вторичной сфере, в лучшем случае отвлекающей людей от подлинных проблем. Далее речь идет собственно об эвристике социально-теоретических, культурологических и исторических исследований спорта, связанных с именами ведущих представителей Бирмингемской, Лестерской школ и других направлений гуманитарного знания. Называются конкретные исследования, помещающие спорт в широкий социокультурный контекст. Затем исследователь рассказывает о своих методологических подходах к феномену советского спорта, позволивших ему проанализировать массовые телесные практики из перспективы самих участников, т. е. снизу, а не из распространенной перспективы «сверху». В заключение Эдельман высказывает о проблеме академического признания дисциплин, эксплицитно занимающихся изучением спорта и других культурных практик, традиционно считающихся «низкими».

*Ключевые слова:* история спорта, СССР, «Спартак», исследования культуры, Теодор Адорно, Бирмингемская школа

© Edelman R., 2017

© Бондаренко С. А., 2017

© Кильдюшов О. А., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

\* Редакция благодарит за содействие Юрия Дудя и Ивана Калашникова (портал sports.ru).

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-2-275-283

**Вы начинали свою академическую карьеру как исследователь предреволюционной ситуации в России начала XX века. Как у Вас возник интерес к русской истории?**

В конце 1950-х — начале 1960-х годов мои родители, хотя и не были коммунистами, тем не менее симпатизировали Советскому Союзу. В то время в Америке было совсем немного специалистов по России, по ситуации в СССР. Я хотел заниматься именно этим и собирался стать журналистом. Уже в колледже стал подумывать о радиожурналистике, выбрал для себя междисциплинарный курс, социальные науки и историю. Тогда я был левым социал-демократом и определенно считал, что Маркс — хорошая точка отсчета для того, чтобы думать об устройстве мира.

Все время обучения в колледже — в 1962–1966 годах — моей мечтой было стать московским корреспондентом, работать на большую телерадиосеть. В СССР я впервые приехал в 1965-м, встретился здесь с репортерами ABC, NBC, CBS и был шокирован тем, что они, оказывается, не знают ни языка, ни местной культуры. Я к тому моменту провел уже много времени, изучая и то и другое. А они были просто отправлены в Москву, чтобы передавать новости. Так я выяснил, что можно получить назначение сюда, не будучи специалистом в вопросе.

Тем временем началась война во Вьетнаме. И многие люди, которых я очень уважал (включая моих родителей) считали ее ужасной ошибкой, преступлением. Мне стало очевидно, что большие компании не будут иметь дела с критикой этой войны, а альтернативы им тогда не было — ни National Public Radio, ни других крупных независимых медиа, которые есть сейчас. Возможно, случись все это сегодня, я бы все-таки стал журналистом, устроившись в одно из этих оппозиционных изданий.

А тогда я решил: что ж, буду изучать политические науки. Меня приняли в Колумбийский университет на соответствующий факультет. Но люди левых убеждений, которые были мне тогда интересны, были склонны больше изучать историю, нежели просто политологию. И с 1917 годом была ровно та же проблема — мы не хотели изучать то, как они облажались со своей революцией (то, чем занимались политологи), — мы хотели как историки изучать ситуацию непосредственно перед революцией. В то время у меня был прекрасный профессор, левак, который говорил: «Они все время изучают нас, ищут способы противостоять нам своей левой риторикой. Что должны делать мы — так это учиться и изучать их». Мои первые исследования были посвящены дореволюционной политике<sup>1</sup>, они были вполне марксистские по духу, но это была социальная история. Мы работали в традиции, которая подразумевала взгляд снизу вверх, а не сверху вниз, и искали в этой политике не обязательно «марксистский», но, что называется, «прогрессивный» элемент.

1. Edelman R. (1980). *Gentry Politics on the Eve of the Russian Revolution: The Nationalist Party, 1905–1917*. New Brunswick: Rutgers University Press.

Следующим этапом было изучение крестьянства<sup>2</sup>, в тех же местах на Украине, о которых я писал до того, применительно к политике. О крестьянах можно было говорить двумя способами — «ленинским», с точки зрения политической экономии, как о социальном классе, или через культуроцентрическое обоснование, где речь шла о моральной экономике в духе Александра Чаянова, который верил, что существует специфическая «крестьянская экономика», не похожая на ту, о которой писал Адам Смит. В моем исследовании я пытался как-то совместить два этих подхода, выработать свой взгляд.

Конвенциональный марксизм не слишком хорош в том, что касается соприкосновения с проблемами культуры, из него сразу вылезают все эти формулы о том, что «этот роман демонстрирует определенное отношение буржуазии...» и так далее. Но мое время было уже временем новых левых. Они уже учитывали и социологию, и психологию. Прежде всего — Герберт Маркузе.

### **Сильно ли на Вас повлиял Маркузе?**

И да и нет. Я ходил к нему на занятия в 1972-м, восхищался им. Он был невероятно умен, политически активен, выступал с прекрасными публичными речами. Мы все его обожали.

Вместе с тем он был классическим немецким профессором. Для него культура не имела ничего общего с популярной, массовой культурой: забудьте о своем Бобе Марли! И уж тем более забудьте о спорте! Помню, мы как-то звали его пойти с нами на баскетбол, посмотреть в деле Доктора Джая<sup>3</sup>, который был очень хорош в то время. «Категорически нет, — ответил он. — А кто этот доктор Джей? Что он написал? Где преподает?» И, уж конечно, Маркузе никогда не пробовал курить траву.

Вторым значимым ученым из новых левых, известным своим уничтожительным отношением к американской поп-культуре, был Адорно. Так он писал, например, о джазе. И даже те новые левые, что любили рок, траву и кино, все равно были очень подозрительны по отношению к спорту. Очевидным противоречием было то, что они, социалисты в теории, на практике были элитой. В политическом смысле это — чистое самоубийство. Во многих отношениях это было похоже на взгляды левых перед Первой мировой: «Что такое спорт? Зачем тратить на него время? Рабочим нужно тратить свои силы на классовую борьбу» и т. д. Они сами отваживали от себя возможную поддержку, когда писали о том, что люди, занимающиеся спортом, подавляют свою сексуальность, энергию — вместо того чтобы свободно ее использовать. В общем, я даже не буду продолжать. Им не нравились ни те, кто занимается спортом, ни те, кто смотрит спорт.

2. Edelman R. (1987). *Proletarian Peasants: The Revolution of 1905 in Russia's Southwest*. Ithaca: Cornell University Press.

3. Доктор Джей (Dr. J) — спортивное прозвище баскетболиста Джюлиуса Винифилда Ирвинга II.

**Вы стали посещать СССР начиная с середины 1960-х. Когда именно у Вас возникла идея написать книгу о советском спорте?**

Все то время, что я жил здесь студентом, ходил на футбол, на другие соревнования, у меня не было мыслей о том, что это могло быть стать предметом моей научной карьеры. Не то чтобы я был как-то против этого. Я просто не мог себе этого представить. Сейчас я понимаю, что если бы думал тогда как антрополог — сидел бы, записывал, делал — моя книга могла бы быть гораздо богаче. Но я тогда этого не понимал.

Я помню советское время, когда приезжал сюда, когда у вас была «официальная культура» и «настоящая культура» (то есть диссидентская). Мы со стороны просто не понимали, что панорама еще шире. Я жил здесь, затем писал и думал об этом — и пришел к тому, что о советской эпохе можно думать и иначе. Для меня стало открытием, что существует такое понятие, как «советская массовая культура». Раньше мы считали, что в тоталитарном обществе такое невозможно. Что здесь Сталин просто перманентно показывает всем вам фильм об урожае, и вам это нравится. Я увидел другое — массовую культуру, полную противоречий. В свое время меня потрясло, что самыми популярными фильмами при Сталине были комедии: «Веселые ребята» и «Волга-Волга».

Конечно, была разница между капиталистической и социалистической массовыми культурами. Наша, западная массовая культура не несла в себе никакого политического урока, по крайней мере — прямого. Она не была дидактичной. А при коммунистах культура всегда должна чему-то учить. Отсюда возникает следующая проблема — если культура будет чересчур нравоучительна, то (*изображает хран*) — все уснут. Великая сила скуки. Таков был сложный баланс: если у тебя нет публики, твое политическое дело не будет успешным. Чтобы убедить человека в чем-то, его надо в этом заинтересовать.

И вот мы переносимся в 1980-е, когда я готовлюсь сделать этот шаг, думаю о том, чтобы стать «историком спорта». У меня все еще было много опасений, я считал это академическим самоубийством. Написать книгу о спорте — безумие! И я стал писать эссе на одну конференцию.

Как раз в это время я получил подпиську на «Советский спорт», который приходил в США примерно с двухнедельным опозданием, а университет только-только установил огромную спутниковую тарелку ценой в 200 тысяч долларов. Она показывала советское телевидение, Первую программу. Для меня записывали игры, я забирал кассеты домой, ставил в видеомагнитофон, открывал блок пива и приступал к исследованию. Вот это было отлично. Единственное, что меня смущало, — я боялся, что какой-нибудь советский шпион следит за тем, как я все время таскаю домой кассеты с записями советского телевидения. И он наверняка не поверил бы мне, если бы я сказал, что просто смотрел хоккей!

В 1989 году я прочитал доклад о своей работе в Университете Мичигана. Меня стали убеждать, что нужно делать из этого книгу. Тогда я решил для себя, что нуж-

но изучить всю проблему в целом, через историю. Когда эта культура в СССР по-настоящему проявила себя? Моя гипотеза заключалась в том, что это случилось в 1930-е. В ходе исследования стало понятно, что скорее нужно говорить о конце 1940-х и 1950-х годах. Но и в 1930-е годы во всем этом была масса сложных политических оттенков.

Я искал систему, внутри которой эта картина будет иметь смысл, и обнаружил ее для себя в Бирмингемской школе культурных исследований.

### Стюарт Холл до сих пор не переведен на русский язык...

Холл сам сказал именно то, что было необходимо услышать новым левым: «Как мы можем называть себя социалистами и при этом отрицать популярные культурные практики?» Они создали новые идеи вокруг народной культуры, в которой (даже в спорте) им удалось разыскать основы для некоторого сопротивления. Я использовал эти теории в своей работе.

Бирмингемская школа интересовалась идеями Грамши о культурной гегемонии. Это открыло для нас, специалистов в области спорта, какое-то окно (или дверь), через которое мы могли ходить. Нашей задачей было убедить других специалистов в важности спорта. И единственный маршрут лежал через архив. Нужно было использовать серьезные теории и доказать, что спорт помогает нам ответить на фундаментальные вопросы. И, надо сказать, он помог.

Многое в этом смысле для меня объясняет книга Виктории Де Грациа «Культура согласия: массовая организация досуга в фашистской Италии»<sup>4</sup>. Как раз то, о чем писал Грамши, — как авторитарный режим, не боявшийся использовать насилие, вовсе не испытывал необходимости постоянно его использовать. Он мог порождать и поддержку, и согласие.

### На кого Вы ориентировались, когда взялись заниматься историей спорта? Какие книги были для Вас образцом?

Великими пионерами здесь были англичане. Первая по степени важности книга — «Спорт и британская культура» Ричарда Холта<sup>5</sup>. Он очень точно пишет, в том числе о гендерной стороне вопроса: «История спорта в Британии — это история мужчин». Речь идет о создании образа мужчины, о том, как женщин не пускали в спортивный мир. Как спорт внедрился в школы в середине XIX века и к чему впоследствии это привело.

Вторая важная книга — «Association Football and English Society» Тони Мэйсона<sup>6</sup>. Очень практическая, очень четкая история самой игры. Также для меня были

4. *De Grazia V.* (1981). *The Culture of Consent: Mass Organization of Leisure in Fascist Italy*. New York: Cambridge University Press.

5. *Holt R.* (1989). *Sport and the British: A Modern History*. Oxford: Clarendon Press.

6. *Mason T.* (1980). *Association Football and English Society: 1863–1915*. Brighton: Harvester Press.

важны главы из книги Рэймонда Уильямса о телевидении<sup>7</sup>, посвященные спорту. И, конечно, Пьер Бурдье, в той его части, где он писал про спорт<sup>8</sup>. Он определенно принимал его всерьез и был среди тех интеллектуалов, что уделяли достойное внимание жизни тела с точки зрения социологии и культуры. Аллена Гуттмана я тоже читал, но он был скорее отрицательным примером<sup>9</sup>. Для меня он не историк в настоящем смысле слова. Тем не менее он написал, кажется, обо всех существующих видах спорта.

Нужно упомянуть Джима Риордана с его книгой «Спорт в советском обществе»<sup>10</sup>. Он был коммунистом, писал больше о политических институтах, нежели о спортивной культуре. Книга в целом мне не очень нравится. Даже странно, ведь у него была хорошая литературная подготовка, и писать он умел!

Из представителей Лейстерской школы я с большим уважением отношусь к Норберту Элиасу<sup>11</sup>, я цитировал его замечания о разнице между спортом и войной в предисловии к своей первой спортивной книге «Серьезная забава: история зрелищного спорта в СССР»<sup>12</sup>.

Конечно, много для меня значил Саймон Купер, написавший книгу «Футбол и его враги»<sup>13</sup>. Даже несмотря на то, что он не историк. Те, кого я читаю сейчас и кем восхищаюсь, — это определенно Дэвид Голдблatt<sup>14</sup>, Крис Янг<sup>15</sup>, Лоран Дюбуа<sup>16</sup> и Николаус Катцер<sup>17</sup>.

**В предисловии к книге о московском «Спартаке»<sup>18</sup> Вы вспоминаете о символической антропологии Клиффорда Гирца, его известном рассуждении о том, что петушиные бои на Бали дают возможность их зрителям «рассказывать друг**

7. *Williams R.* (1974). *Television: Technology and Cultural Form*. London: Collins.

8. См. например: *Бурдье П.* (1994). Программа для социологии спорта // *Бурдье П.* Начала / Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos.

9. *Гуттман А.* (2016). От ритуала к рекорду: природа современного спорта. М.: Изд-во Ин-та Гайдара. См. рецензию О. В. Кильдюшова: Классика социальной теории спорта по-русски // Социологическое обозрение. Т. 15. № 1. С. 164–169.

10. *Riordan J.* (1980). *Sport in Soviet Society: Development of Sport and Physical Education in Russia and the USSR*. New York: Cambridge University Press.

11. *Elias N., Dunning E.* (2008). *Sport and Leisure in the Civilising Process*. Dublin: University College Dublin Press.

12. Эдельман Р. (2008). Серьезная забава: история зрелищного спорта в СССР / Пер. с англ. И. С. Давидян. М.: Советский спорт, АИРО-XXI.

13. *Kupfer C.* (2009). *Футбол и его враги*. СПб.: Амфора.

14. *Goldblatt D.* (2016). *The Games: A Global History of the Olympics*. London: Macmillan; *Goldblatt D.* (2006). *The Ball is Round: A Global History of Football*. London: Viking.

15. *Schiller K., Young Ch.* (2010). *The 1972 Olympics and the Making of Modern Germany*. Berkeley: University of California Press.

16. *Dubois L.* (2010). *Soccer Empire: The World Cup and the Future of France*. Berkeley: University of California Press.

17. *Katzer N., Budy S., Köhring A., Zeller M. (eds.)*. (2010). *Euphoria and Exhaustion: Modern Sport in Soviet Culture and Society*. Frankfurt: Campus.

18. *Edelman R.* (2009). *Spartak Moscow: A History of the People's Team in the Worker's State*. Ithaca: Cornell University Press.

**другу истории о самих себе». Каким образом эта мысль преломляется в Вашей работе?**

Когда я только начал заниматься спортивной темой, я думал в категориях «мы» и «они». «Спартак» и «Динамо». В процессе исследования я понял, что ситуация гораздо сложнее и не стоит искать слишком простого объяснения.

В 1950-е, в Нью-Йорке, точнее, в Бруклине, у нас была своя бейсбольная команда — «Доджерс». Сейчас они в Лос-Анджелесе. Вот, к слову, когда я стал социалистом, моя команда ушла из Бруклина искать большие деньги в Калифорнию в 1957 году! У нас было представление, что это команда «простых людей» из не очень богатого района. Они всегда были плохой командой, результатов у них не было. Но они первыми пригласили в команду афроамериканца, Джеки Робинсона, что было чрезвычайно важно для Америки того времени (как-то раз я пробовал сравнить Джеки Робинсона в «Доджерс» с Никитой Симоняном в «Спартаке» — первым форвардом неславянского происхождения в главной советской команде).

С другой стороны, были «Нью-Йорк Янкиз», команда для богатых. Если ты за «Янкиз» — значит, ты за General Motors. Хотя это и упрощение, конечно. Нужно уходить от бинарности. «Хорошие» и «плохие», «государство» и «общество». Что такое общество? У него очень много форм. И государство также не монолитно. Путь никогда не был единым. Много было способов быть советским, если говорить о людях вокруг футбола. Николай Старостин был советский человек. И Лаврентий Берия тоже. Хотя они были очень разными.

Но говоря об истории команд и их болельщиков, мы действительно можем говорить о мифах, о легендах, которые их окружают. «Истории о самих себе» — это как раз то, что было важно для Гирца. И важно для меня — какие истории окружают московский «Спартак»? Как воспринимают себя по отношению к команде болельщики «Динамо»? Такой я вижу символическую функцию спорта.

Конечно, очень сложно одновременно принимать во внимание научные результаты своих исследований и то, что курсирует в среде медиа, пишется или ре-транслируется в среду болельщиков (или, наоборот, исходит от них — источник практически невозможно проследить). По сути, здесь мы имеем дело с ретроспективной этнографией. И зачастую мы сталкиваемся с необходимостью «проинтерпретировать» человека, который уже мертв, — а это довольно сложная задача. Но это как раз примерно то, что мы пытаемся делать.

**Какая методология лучше всего подходит для занятия такими вещами — если принять во внимание, что иногда пива и кассеты в видеомагнитофоне недостаточно?**

Я уже говорил об Эдуардо Аркетти? К сожалению, он уже умер, совсем не старым, ему было чуть за 50. Он был социологом, антропологом, главная его книга

называется «Стереотипы мужественности: футбол, поло и танго в Аргентине»<sup>19</sup>. Большую часть своего исследования Аркетти провел, сидя в кафе и разговаривая с людьми. Он был практиком. Каким в каком-то смысле был и Лев Филатов<sup>20</sup>.

Чтобы разобраться в теоретических вопросах, хороша книжка Джона Хобермана «Спорт и политическая идеология»<sup>21</sup>. Она погружает во все основные перипетии истории вопроса, в том числе методологические.

**Вам никогда не казалось странным, что Вы, американец, стали главным в мире специалистом по истории советского спорта?**

А я вовсе не главный. Главный — Михаил Прозуменщиков. Он издал, по сути, единственную русскоязычную книгу по истории вопроса<sup>22</sup>.

**Как Вы думаете, почему в России есть проблемы с признанием дисциплин, занимающихся социально-теоретическими исследованиями спорта, — таких как философия или социология спорта?**

Такие проблемы есть далеко не только в России. Один социолог как-то сформулировал это так: «Социолог спорта не интересен социологам, потому что они не интересуются спортом. А спортсмены не интересуются социологией». Так что, конечно, мы зачастую сидим между двумя стульями.

Что касается именно России, то я вижу в этом влияние традиционной русской интеллигенции, которая всегда была подчеркнуто равнодушна к жизни тела. Многим из этих прекрасных людей для коммуникации между мозгом и туловищем нужен был как минимум звонок по межгороду.

## Sport Helps to Answer Fundamental Questions: Interview with Robert Edelman

*Robert Edelman*

Professor of Russian history and the history of sport at the University of California, San Diego

Address: Gilman Dr, 9500, San Diego, CA, USA 92161

E-mail: redelman@ucsd.edu

*Sergey Bondarenko*

Research Fellow, International “Memorial”

Address: Karetny Ryad str., 5/10, Moscow, Russian Federation 127006

E-mail: bond57@rambler.ru

19. Archetti E. P. (1999). *Masculinities: Football, Polo and the Tango in Argentina*. Oxford: Berg.

20. Филатов, Л. И. (2009). Работа — футбол. М.: Книга по требованию.

21. Hoberman J. M. (1984). *Sport and Political Ideology*. Austin: University of Texas Press.

22. Прозумеников М. Ю. (2004). Большой спорт и большая политика. М.: РОССПЭН.

*Oleg Kildyushov*

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str. 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

The interview with Robert Edelmann, the renown American scholar of Soviet sport, Professor of Russian history and history of sport at California University in San Diego, is dedicated to the heuristic questions of study of contemporary bodily practices. In the beginning, the scientist tells about his way into the historical science, on the emergence of his interest to Russian history, in general, and to contemporary forms of work with the body, in particular. R. Edelmann's reminiscences regarding the situation with American academic community in 1960–1970s, especially the influence of the leading theoreticians of the Frankfurt School such as T. Adorno and H. Marcuse, are of special value from the standpoint of social-theoretical interest. The common thread of the whole interview is the claim on the inadequacy of many, especially the left-wing, intellectuals' approach towards sport as some secondary sphere, at best distracting the people from real problems. It is further said about the heuristics of social-theoretical, cultural and historical studies of sport related to the names of leading representatives of Birmingham, Lester schools, and other branches of the humanities. Several investigations putting sport in the wide sociocultural context, are specified. Then Edelmann explicates his methodological approaches to the phenomenon of Soviet sport, which allowed him to analyze the mass bodily practices from the perspective of the participants themselves, i.e. "from below", instead of the widespread standpoint "from above". In conclusion, Edelmann remarks on the problem of academic acceptance of the disciplines explicitly investigating sport and other cultural practices, which were traditionally evaluated as "low".

*Keywords:* history of sport, USSR, "Spartak", cultural studies, Theodor Adorno, Birmingham School

# Советская социология спорта: старт и... еще раз старт (субъективные заметки с претензией на объективность)

*Ирина Быховская*

Доктор философских наук, профессор кафедры культурологии, социокультурной антропологии и социальных коммуникаций Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма  
Адрес: Сиреневый бул., д. 4, Москва, Российская Федерация 105122  
E-mail: [bykirina@gmail.com](mailto:bykirina@gmail.com)

*Олег Мильштейн*

Кандидат педагогических наук, профессор, независимый исследователь  
Адрес: ул. Профсоюзная, д. 144, кв. 131, г. Москва, Российской Федерации 127321  
E-mail: [bykirina@gmail.com](mailto:bykirina@gmail.com)

В статье рассматриваются два основных этапа становления и развития советской социологии спорта: первый, охватывающий 1920-е — начало 1930-х годов и второй — 1960–1980-е годы. Во вводной части отмечается, что, обладая интересной предысторией в ранние советские годы и богатой историей развития в середине прошлого столетия, социология спорта как одно из отраслевых направлений в рамках отечественной социологической науки не получила пока адекватного освещения в трудах по истории развития последней. По мнению авторов, одной из причин сложившейся ситуации является традиционное противопоставление высокого (духовного) и низкого (телесного), при котором все связанное с телесными практиками причисляется к проблемам «второсортным». Этот факт находит отражение как в различных формах массового сознания, так и нередко в научно-профессиональной среде. Проведенный авторами краткий анализ советского этапа развития социологии спорта был ориентирован на ликвидацию существующего пробела. Авторы статьи опирались на публикации, посвященные характерной для каждого периода тематике, а также на некоторые «живые воспоминания» — как собственные, так и других участников событий, что добавило некоторый элемент субъективизма. Рассмотрены особенности каждого из этапов (основные векторы развития отечественной социологии спорта, доминанты и их трансформации) в их соотнесении со спецификой контекста. Так, социальный запрос 20–30-х годов определил высокий уровень пропагандистско-идеологической окраски исследований; показана также «размытость» социологической проблематики в этот период. Произошедший в 1960–1970-е годы «второй старт» социологии спорта рассмотрен в контексте бурного развития советской социологии в целом. Проанализированы особенности вхождения социологии спорта в пространство более традиционных спортивных наук, дана краткая характеристика основным направлениям и институциям социологии спорта на этом этапе.

*Ключевые слова:* социология, советская социология, социологические исследования, социология спорта, спорт, физическая культура, телесные практики

---

© Быховская И. М., 2017

© Мильштейн О. А., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-2-284-319

Начнем с грустного — с маленькой фразы из большого коллективного труда, обобщающего к очередному юбилею этапы развития отечественной социологии (Ядов, 1998: 21): в подразделе вводной части, обозначенной «Что остается за пределами этой работы», читаем: «Некоторые исследовательские направления, которые были представлены в секциях Советской социологической ассоциации... в данной работе не рассматриваются. Это — социология спорта (Н. Валентинова)...», и далее — еще несколько направлений. Соответственно, и в предметном указателе этого издания «спорт», «физическая культура» и всё с ними связанное полностью отсутствует среди проблемных полей некогда проведенных социологических исследований. Не удалось обнаружить упоминаний об истории социологического изучения этих, столь заметных ныне, социально-культурных феноменов (спорта, телесной культуры, рекреации) и в других работах, носящих в отношении отечественной социологии ретроспективно-обобщающий характер (Тощенко, Романовский, 2010; Фирсов, 2012 и др.).

Конечно, ничего без причин не бывает — а среди них, вероятно, и собственная избыточная «скромность» тех, кто ведет исследования в области социологии физической культуры и спорта (далее — ФКиС); и фактор субъективный, связанный с уходом (в разных значениях — профессиональном, физическом) тех, кто активно создавал и продвигал это направление... На наш взгляд, свою роль в этой ситуации (проявляющейся в разных формах и на протяжении долгого времени) играет и устойчивый фактор отнесения всего связанного с телесными практиками к проблемам второстепенным, если не сказать «второсортным». Ну что-то вроде: поговорим о серьезных проблемах — политике, экономике, образовании, возможно, еще и об искусстве, ну а в конце — «спорт и погода»... Конечно, мы несколько утрируем ситуацию, однако это та самая шутка, в которой, как нам представляется, есть достаточно большая доля истины. Противопоставление высокого (духовного) и низкого (телесного), имеющее глубокие исторические корни, «просвечивает» сквозь века, проецируясь как на массовое, так и на научно-профессиональное сознание, включая положение «телесной проблематики» на аксиологической научно-тематической шкале.

Ситуация в силу социокультурных трансформаций разного толка понемногу меняется, однако маргинальная дислокация всего, что связано с социологическим анализом «телесной» проблематики, в общеначальном пространстве пока сохраняется достаточно явно. Такого же рода сюжет, но применительно отнюдь не к советской социологии, обсуждал со своими слушателями еще в начале 1980-х годов П. Бурдье, говоря о сложностях в определении статуса социологии спорта (отметим, что за прошедшие десятилетия ситуация *там* сильно с этим вопросом изменилась — но это тема отдельного разговора). «Часть препятствий на пути научной социологии спорта, — размышлял Бурдье, — связана с тем, что социологи, исследующие спорт, оказываются как бы в двойной зависимости: и в социологическом мире, и в спортивном. Поскольку раскрытие этого несколько резкого положения может быть слишком долгим, то, по образу пророков, я буду действовать «по па-

раболе». Из беседы с одним из моих старых друзей, американским социологом Аароном Сикурелем, я понял, что великие черные атлеты, которые в Соединенных Штатах слишком часто «прикованы» к большим университетам, например Университету Стэнфорда, живут в своего рода позолоченных гетто: правые не очень охотно разговаривают с черными, а левые не желают говорить со спортсменами. Если поразмысльить по этому поводу, раскрывая далее формулу, то, может быть, здесь мы найдем исток тех особых трудностей, которые встречает социология спорта, т. е. пренебрежительного отношения со стороны социологов и презрения со стороны спортсменов» (Бурдье, 1994: 257–258).

К проблеме позиционирования социологии и социологов спорта мы еще по ходу дела вернем, но уже в контексте не сегодняшнего, а выбранного для рассмотрения — советского — времени. Пока же лишь повторим ощущение от ситуации с представленностью отечественной социологии спорта в актуальном научном пространстве — грустно... Но такова реальность, и именно исходя из нее особенно хочется заполнить (хотя бы в какой-то мере) лакуну, связанную с обозначенной тематикой; построить своего рода «дополненную реальность» (да простится нам метафорическое использование этого совсем негуманитарного термина!) путем описания некоторых страниц истории советской социологии спорта как небольшого дополнения к уже устоявшейся структуре и «канонам жизнеописания» отечественной социологической науки.

К вводным, ситуативно окрашенным размышлениям, добавим еще несколько важных, на наш взгляд, ремарок, касающихся уже собственно представленного ниже аналитического материала. Во-первых, отметим, что попытка систематизировать, обобщить, представить картину становления отечественной социологии спорта — не первая, и мы с большой благодарностью относимся к тем, кто уже (до нас и наряду с нами) проводил такого рода работу — в списке литературы, эти немногочисленные усилия, естественно, нашли отражение. Наиболее полно, как нам кажется, процесс формирования этой области знания нашел отражение в двух публикациях, авторы которых, кроме всего прочего, — непосредственные участники и, не побоимся этого слова, борцы за «указование» отечественной социологии спорта.

Прежде всего это «Социология физической культуры и спорта в СССР. Обзор основных направлений и аннотированный указатель литературы (1918–1974 гг.)» (Мильштейн, 1974). Наряду с вводно-аналитической частью под названием «Советская социология физической культуры и спорта: пути развития, проблемы и перспективы» в книге представлена максимально полная библиография за указанный период, что позволяет, независимо от личных вкусов и пристрастий, любви или отсутствия таковой к тому или иному автору, достаточно *объективно* представить тематическое поле, исследовательские направления, список персонажей — словом, то, что, собственно, и характеризует ландшафт отечественной социологии спорта до середины 1970-х годов.

Вторая «опорная» работа — это «Хрестоматия по социологии физической культуры и спорта» (Столяров, 2005), где автор представил свою систематизацию важнейших направлений в развитии социологии спорта как самостоятельного научного направления. В работе В. И. Столярова проанализированы публикации не только советского, но и постсоветского периода, однако в соответствии с задачами, поставленными в настоящей статье, мы обращались лишь к релевантным им данным.

Предполагаем, что при всём стремлении к объективному взгляду на рассматриваемый предмет, вероятно, определенной толики субъективизма избежать все-таки было невозможно — ведь кроме первостепенной по значимости «документалистики» к ней естественным порядком добавлялись живые картинки из собственной практики, а они — хотим мы того или нет — всегда ограничены временем, пространством, коммуникативным ареалом... Важным подспорьем при подготовке статьи были также личные воспоминания, которыми (наряду с авторами вышеуказанных сборников) поделились участники процесса становления отечественной социологии спорта в 60–80-е годы XX века — д.ф.н., проф. М. Я. Сараф, к.п.н., проф. В. П. Моченов. Также было использовано то, что когда-то (к сожалению, сейчас связь оказалась невозможной) вспоминала о том периоде одна из «пионерок» отечественной социологии спорта, к.ф.н., доц. Н. Г. Валентинова (именно ее имя как руководителя исследовательского комитета ССА названо В. А. Ядовым в цитированном выше фрагменте). Отмечаем всё это с благодарностью.

Мы стремились не просто перечислить имена, названия публикаций — что, несомненно, является важнейшим компонентом, своего рода оствором для формирования представлений о векторах развития рассматриваемого научного направления, о доминирующей на том или ином этапе тематике и ее трансформациях — но и соотнести эту информацию с особенностями социально-политического, социально-культурного, аксиологического контекста, в котором протекал каждый из периодов рассматриваемого процесса. Как известно, для общественных наук в советской метагалактике это был немаловажный фактор.

Важно, вероятно, с самого начала отметить и тот факт, к которому придется еще не раз возвращаться, — что научный сегмент, который можно обозначить как собственно социологию спорта, вызревал длительное время в *близлежащих научно-дисциплинарных* пространствах, где возникали и развивались исследовательские направления, связанные с изучением социальной природы физической культуры и спорта, их социальных функций и т. п. Релевантные тематике социально-философские, историко-культурные, некоторые социально-педагогические работы добавляют важные штрихи к абрису рассматриваемого процесса, что также определило их упоминание нами.

Еще одно, необходимое, на наш взгляд, предварительное замечание касается сквозного для нашего текста словосочетания «физическая культура и спорт»: «проблемы ФКиС», «социальные аспекты ФКиС» и т. п. Такого рода объедини-

тельный принцип (физической культуры и спорта) разделяется далеко не всеми специалистами (в том числе и нами), поскольку эти феномены характеризуются совершенно разными параметрами, имеют различную систему детерминации, целеориентированности и т. д. (специальное рассмотрение этого вопроса выходит за рамки нашей статьи, поэтому интересующихся можно адресовать к соответствующим публикациям, свидетельствующим о том, что тема не закрыта и по сей день). Однако осознавая многолетнюю дискуссионность проблемы и недостаточную корректность использования терминологии по принципу «два в одном», мы всё же будем в основном воспроизводить именно эту формулировку (в варианте оговоренной выше аббревиатуры «ФКиС») как типичную для лексики отечественной науки о спорте не только на предыдущих, но и на нынешнем этапе.

Ну и, наконец, о двух разделах представленного ниже текста, отражающих ситуацию «двух стартов», разделенных многоточием в общем названии статьи. Как и в других областях социологического знания, история отечественной науки является очевидным обрывом в развитии социально-дисциплинарных исследований спорта (и связанных с ним феноменов) с середины 1930-х до начала 1960-х годов. Здесь, как и применительно ко многим другим предметным областям социологии, правомерен активно обсуждавшийся историками науки вопрос о преемственности между исследованиями и наработками эпохи становления советского общества и тем этапом, который обозначается как возрождение отечественной социологии во второй половине XX века. Не ставя в качестве задачи целенаправленный анализ этой проблемы, ограничимся кратким ответом на этот вопрос: содержание публикаций каждого из рассмотренных периодов дает не слишком много оснований для признания их серьезной сопряженности между собою. Конечно, как говорил один академик, «лишних знаний не бывает», и кое-что из трудов 1920–1930-х годов оказалось «не лишним» при возвращении к активным социальным исследованиям спорта и физической культуры в 1960-е, однако, скорее всего, такого рода оценкой и ограничивается эта связь. Хотя, возможно, познакомившись с представленным ниже материалом, кто-то из читателей вынесет и иной вердикт...

### **«Околосоциология» спорта раннесоветской эпохи: практико-ориентированное теоретизирование в контексте социального запроса времени**

Банально, но факт — формирование всего блока социального знания о спорте, физической/телесной культуре, физическом воспитании, которое относится к первым десятилетиям советской власти, подобно всем другим сферам деятельности этого времени, густо окрашено революционными тонами и красками, насыщено призывами и декларациями. Плотная сопряженность теоретизирования по физкультурно-спортивной проблематике, сопровождаемого ориентированными на практику разработками, с идеологическими, социально-политическими установками ярко-демонстративно присутствует в текстах публикаций, выступлений,

агитационных материалов, причем тематика эта присутствует в социально-теоретической продукции того времени достаточно широко.

Контекст эпохи весьма жестко задавал векторы и доминанты развития социальных исследований в рассматриваемой сфере. Ключевыми, по вполне понятной логике, провозглашались задачи, связанные с разработкой *особого, нового* спорта, *особой, новой* физической культуры для *нового же* человека, откуда проистекала необходимость: научно-теоретического (а по факту, прежде всего идейно-политического) обоснования этой *особости*; выдвижения системы аргументов и показателей для *различения* «правильного» пролетарского спорта и прежнего, «неправильного», буржуазного; выявление и обоснование принципиально новых *социально-культурных* смыслов и общественно-значимых *функций* спорта, адекватных провозглашаемым ценностным ориентирам; масштабное описание тех *возможностей*, которые самый совершенный социально-политический строй дает для энергичного движения вперед в сфере спорта и физического воспитания. Решение такого рода социально-теоретических задач шло бок о бок с работой специалистов-практиков (педагогов, гигиенистов, медиков), разрабатывавших соответствующие программы, методики, нормативы и т. п., в *разной степени* сопрягающиеся с новаторскими теоретическими изысканиями<sup>1</sup>.

Характеризуя рассматриваемый этап как время формирования «околосоциологии» спорта, мы хотели подчеркнуть, что применительно к раннесоветской эпохе говорить о формировании собственно *социологического сегмента* знания о спорте и физической культуре в строгом смысле слова можно лишь с большой долей условности. Однако и игнорировать этот отрезок при рассмотрении процесса становления отечественной социологии спорта в целом тоже было бы, на наш взгляд, неправильно — ведь многие публикации 1918-го — середины 1930-х годов представляют несомненный интерес и как отражение особенностей социально-гуманитарного осмысления ФКиС, включая элементы собственно социологической рефлексии, и как некоторый дополнительный и недостаточно описанный штрих к ретропортрету развития отечественного социального познания в целом.

Встроенность социологической компоненты анализа ФКиС, как правило, в работы «дисциплинарно размытого» социально-научного жанра (и собственно исследовательские, и, что чаще, идейно-пропагандистские) определила необходимость нашего обращения к корпусу текстов весьма широкого профиля, многие из которых сохранились прежде всего в специализированных библиотеках (например, в богатом архивном подразделении Центральной отраслевой библиотеки по физической культуре и спорту). Серьезным подспорьем при анализе развития социального знания о ФКиС в раннесоветскую эпоху стало фундаментальное исследование Александра Борисовича Суника (Суник, 2010), блестящего историографа

1. Поскольку этот сюжет не входит в предмет нашего рассмотрения, мы ограничимся лишь констатацией существования небезынтересной (для любой области знания, проходящей через переломные этапы) проблематики, связанной с характером и степенью «сцепки» между теоретико-аналитическими основаниями и их методико-практическими имплементациями в конкретный период.

в сфере истории физической культуры и спорта досоветского и советского периодов. Этот труд, суммировавший его многолетний кропотливый сбор и анализ огромного массива информации (в том числе и посредством личных интервью в течение многих десятилетий), — богатейший источник, из которого еще черпать и черпать... И хотя название книги относит ее вроде бы исключительно к области исторического знания, на деле — как в силу значительной интегрированности научных направлений того времени, так и в силу высокой эрудиции автора — эта работа является значимой для изучения основных этапов формирования *всего* блока социально ориентированных исследований ФКиС.

Предваряя собственно содержательный анализ того, что непосредственно или «по касательной» характеризует первые шаги в формировании отечественной социологии спорта, пусть даже в ее изначально «размытом» варианте, обратимся к некоторым позициям, связанным с *институционализацией* этого научного направления — созданием соответствующих учебно-научных подразделений, а также профильной периодики, позволившей обозначать значимые приоритеты, представлять результаты исследований и оставить важные свидетельства для последующих ретроспектив.

Что касается учебных заведений, то для начала упомянем один любопытный факт, пусть и не очень содержательно значимый для анализа проблемы, но являющийся своего рода предметом гордости коллег-гуманитариев из Национального госуниверситета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта (С.-Петербург). Этот университет, ранее называвшийся Государственным институтом физического образования (ТИФО), получил имя Петра Францевича Лесгафта, всемирно признанного дареволюционного классика в области физвоспитания<sup>2</sup> в 1920-е годы, а в еще более ранние времена он вырос из Высших курсов воспитательниц и руководительниц физического образования, которые сам Лесгафт и создал (1896 г.) и которыми после его смерти руководил (1910–1911 гг.) классик отечественной социологии, М. М. Ковалевский<sup>3</sup>. Конечно, такого рода «сопричастность» мало чем обогащает даже предысторию рассматриваемой науки, но всё же при отсутствии возможности упомянуть какую-то звёздную общесоциологическую персону по сути вопроса мы не избежали соблазна сказать хотя бы о таком «боковом факте».

Говоря о развитии системы научно-образовательной деятельности в области ФКиС, важно отметить, что традиционно она включала значительный блок дисциплин медико-биологического характера и учебных курсов педагогического профиля. Изучение отдельных аспектов, связанных с анализом социальной природы, социально-культурных факторов трансформации этих феноменов и т. д., в некоторой мере было представлено именно в этом втором блоке. Из него, в свою очередь, в 1930-х годах выделилось как относительно самостоятельное направление

2. Сам П. Ф. Лесгафт всегда употреблял лишь термин «физическое образование».

3. Сайт НГУ им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, раздел «История НГУ им. П. Ф. Лесгафта»: <http://lesgaft.spb.ru/ru> (дата доступа: 18.05.2017).

«Теория и методика физического воспитания», и в этом же лоне в последующем шел процесс постепенного отпочкования отдельных социально-гуманитарных ветвей — исторической, социально-философской/«околосоциологической», политологической (в современной терминологии) и др.<sup>4</sup> Что касается институционализации собственно социологического вектора изучения ФКиС, то фактом, выпадающим из общей магистрали развития спортивно-педагогической науки в рассматриваемый период, было появление в 1927 году в Ленинградском институте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта на кафедре, возглавляемой проф. Е. Ю. Зеликсоном, курса *социологических основ физической культуры* (и даже, возможно, «социологического» наименования всей этой кафедры (Мильштейн, 1974: 16). Подобный курс читался в конце 1920-х — начале 1930-х годов и в Центральном институте физической культуры в Москве (Там же). «Социологические основы...» предполагали достаточно широкий спектр проблем, относящихся к отдельным аспектам *социального анализа* ФКиС, а само название позволяло «отстроить» этот блок от медико-биологического и собственно педагогического. Однако просуществовало это направление как самостоятельное недолго... В числе причин — известная ситуация со сворачиванием в 1930-е годы отечественной социологии в целом, а также печальные зигзаги в профессиональных (и жизненных) судьбах тех, кто начинал строить здание отечественной социально-гуманитарной науки о ФКиС (Суник, 2010: 290–312).

Значимым для процесса институционализации наук о ФКиС стало создание корпуса научной и научно-популярной периодики, в частности журнала «Теория и практика физической культуры» (далее — «ТиПФК») в 1925 году. В силу как ориентации на решение практических задач в области физвоспитания, так и, вероятно, вследствие действия фактора отв. редактора (а им был назначен проф. Н. А. Семашко, занимавший тогда и пост наркома здравоохранения, и пост председателя Высшего Совета физической культуры) в издании было заметно несомненное преобладание публикаций медико-биологического профиля (Суник, 2010: 386), однако в некоторых материалах (прежде всего связанных с решением актуальных задач общественного развития) затрагивались и отдельные социальные аспекты ФКиС. Их содержание, естественно, в гораздо большей мере, чем тексты естественников, определялось идеологическими ориентирами, которые четко прописывались в программе действий печатного органа. Вот пример из редакционной статьи журнала с установками на 1930 год: «...редколлегия утвердила... следующие программные темы: а) пятилетний план по физкультуре ВСФК и входящих в него ведомств; б) пути советской физкультуры в период социалистической реконструкции; в) социалистическое [выделено нами. — И. Б., О. М.] и биологическое обо-

4. На ранних этапах (как и далее) движение противоположного характера — от представителей общих социально-гуманитарных научных отраслей (истории, социальной философии, социологии) к заинтересованному изучению феноменов ФКиС происходило в значительно меньшей мере, хотя пламенные тексты «красных идеологов» 1920–1930-х годов весьма широко включали физкультурно-спортивную проблематику.

снование советской системы физкультуры...» (цит. по: Суник, 2010: 454). Понятно, что «социалистическое обоснование» (особенно в паре с «биологическим») — это соответствующее духу времени обозначение всего связанного с подведением социально-научной базы под теорию и практику ФКиС. Правда, как известно, и с «биологическими обоснованиями» ситуация тоже была непростая, в том числе и в рассматриваемой сфере. А. А. Зикмунд, ректор ЦИФК, при обсуждении Программы Государственного ученого совета по физической культуре 1929 года, в соответствии с общими установками, утверждал: «Заменить диалектическое понимание науки, и в т.ч. физкультуры, схоластикой... мы не собираемся. Мы используем западноевропейские ценности, пропуская их через диалектическое сито. Решительно будем отклонять всякую попытку внедрений в наше хозяйство или культуру, в том числе и физкультуру, буржуазных рецептов. Биологию мы ценим, уважаем, но только в социалистическом освещении» (цит. по: Карпушко, 1992: 18–19).

Сопрягая социально ориентированные исследования ФКиС той поры с запросом эпохи, выделим ключевые векторы их развития, отправной точкой которых, естественно, была доминанта в виде утверждения (развертываемого далее в разных направлениях) о гуманистической политике Советского государства как основе развития ФКиС и ее принципиальном отличии от политики в этой области царской России и иных буржуазных стран. Преимущественно анализ строился, как уже отмечалось, на уровне теоретико-идеологического дискурса с подверстыванием (в нужных, по мнению автора, слушаев) некоторого количества фактов. Поскольку индивид (в том числе и «телесный») не представлял большого интереса — его задачей было соответствовать предписанному *общественному* идеалу, решать *общественные* задачи и т. п. — то и выяснение его, индивида, интересов, потребностей, склонностей в поле зрения исследователей попасть не должно было «по определению» (хотя случались, конечно, и исключения). Базовыми ориентациями при проведении социального анализа ФКиС было выявление, обоснование, прогнозирование возможностей использования физического потенциала человека и соответствующих телесных практик для достижения целей, значимых для государства<sup>5</sup>.

Вполне понятно, что одним из важнейших направлений стало подведение социально-теоретических оснований под анализ массового спорта как средства «улучшения» человека-производительной силы, как фактора воспитания человека, *практически полезного* обществу, — «готового к труду и обороне», здорового, работоспособного. «Физическая культура, — отмечал А. А. Зикмунд, — есть биосоциальная наука, имеющая целью совершенствование природы человека в смысле повышения его жизнедеятельности в целях увеличения продуктивности труда» (цит. по: Карпушко, 1992: 18).

5. Красноречивые свидетели времени — советские социальные плакаты. Скажем, плакат А. Дайнеки 1933 года, содержащий такие строки: «Работать, строить и не ныть! Нам к новой жизни путь указан. Атлетом можешь ты не быть, но физкультурником — обязан!»

В этом контексте понятно стремление не только призывать к формированию *совершенного человека*, но и провозглашать необходимость развития научных основ для его создания. В частности, разработка вопросов ФКиС непосредственно соприкасалась с решением проблем евгеники. В редакционном обращении журнала «ТиПФК» (1931, № 1) отмечалось: «редакция... ставит на 1931 г. две главных ведущих темы, подлежащих освещению на страницах журнала: 1. Физкультура как фактор повышения производительности труда и борьбы с профвредностями и 2. Физкультура как социально-евгенический фактор. Редакция призывает всех научно-практических работников в области физической культуры сконцентрировать свое внимание и силы на разрешении этих важнейших проблем. Страницы журнала для материалов по этим вопросам будут предоставляться редакцией в первую очередь...» (цит. по: Суник, 2010: 457). Рядом с призывами такого рода, естественно, находились и призывы к разработке социально-гигиенических проблем, а также к обоснованию массового спорта как социального инструмента оздоровления населения, что выступает как задача «не только... узко медицинская, узко физкультурная — это основная задача нашего советского правительства, основное условие успешности социалистического строительства...» (Семашко, 1926: 14). Очевидно, что акцент на разработку проблем оздоровительной физической культуры, на ее развитие для получения необходимого эффекта в сфере производства и, конечно, для укрепления армии<sup>6</sup> определял и востребованность соответствующих научно-практических исследований — то, что было обозначено как своего рода «гигиенизация» физической культуры, было лишь релевантным ответом на поступивший запрос.

Однако наряду с развитием прикладных работ, обеспечивающих медико-биологические основания ФКиС, развивающих систему физвоспитания и т. п., продвигались и исследования социального характера, среди которых важное место заняли работы, посвященные проблеме «спорт и культура», обоснованию физической культуры как одной из новых *форм культуры* пролетариата. К этому звали с самых высоких трибун (цитируем вновь Н. А. Семашко): «Физическую культуру он [Ленин] понимал в широком смысле слова. Он понимал, что страна наша, которая так отстала в отношении способности трудиться и умения отдыхать, должна иметь физическое воспитание основной задачей культурного строительства. Он понимал, что истинная культура в нашей стране будет проложена через физкультуру» (цит. по: Суник, 2010: 397). В развитие идеи о роли ФКиС как инструмента *культурного строительства* появлялись работы, направленные на обоснование возможностей *нового спорта* в формировании «человека культурного», в отличие от спорта буржуазного — и, в частности, воспитания такого важнейшего качества

6. Этому аспекту уделял весьма серьезное внимание Л. Д. Троцкий. «Когда человек будущего оглядится на прошлое, — говорил он в одной из речей, — он с благодарностью вспомнит работу организаций физической культуры, которые подготовили пришествие этого будущего человека. [Но]... на ближайший период, который, вероятно, затянется на очень значительное количество лет, нам необходимо величайшее содружество организаций физкультуры с организацией Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (Известия физической культуры. 1924. № 10. С. 9–11).

личности, как коллективизм. Уже в 1918 году в Декларации «Основные принципы единой трудовой школы» было записано: «Гимнастика и спорт должны развивать не только силу и ловкость, но и способствовать к отчетливым коллективным действиям...» (цит. по: Карпушко, 1992: 20).

Борьба за новую, пролетарскую культуру, за формирование «правильных» людей без негативных характеристик вела, например, к запрету на первых этапах некоторых, стимулирующих «индивидуализм», видов спорта — бокса, футбола, что требовало и соответствующего «научного» обоснования. В 1925 г. проф. ГЦИФК И. П. Кулжинский опубликовал статью о футболе как изобретении английской буржуазии. «Что такое финт в английском футболе? Финт — это обман. Таким образом, чему мы учим нашу молодежь? Обманывать друг друга» (цит. по: Столбов, 2001: 194).

Один из образцов социального анализа, основанного на сопоставлении спорта пролетарского и буржуазного, — «Мысли о спорте» А. В. Луначарского (1930 г.). Две главы — «На Западе» и «У нас» — это вариант своего рода социально-культурной компаративистики на материале ФКиС. Скажем, разоблачая неправильный американский спорт (который, как известно, в основном — спорт университетский), автор пишет: «Когда знакомишься с тем, какое огромное место занимает спорт в жизни американского студента, то невольно спрашиваешь себя — когда же, собственно, американский студент успевает получить нужные ему знания, а тем более общее развитие... Американский студент действительно до крайности равнодушен к окружающей общественной жизни, совершенно пуст в отношении философском, очень часто просто тупо-религиозен... он весьма формально выполняет свои академические обязанности и, по-видимому, умеет потом... выполнять свои специальные функции... только потому, что вся американская жизнь построена очень крепко и располагает необъятными материальными ресурсами» (Луначарский, 1930: 6). Автор стремится соотнести особенности развития спорта с характеристиками образа жизни в отдельных странах (США, Англия, Германия), подмечая не только изъяны, но и тот позитив, который бы неплохо скопировать в молодом советском государстве. Однако общий вывод все же — это «нездоровый культ спорта как чисто «телесной» культуры, который мы наблюдаем сейчас на Западе» (Луначарский, 1930: 40). Строительство подлинной культуры (несмотря на то что «мы, материалисты, — люди светлой жизнерадостности, мы... признаем гигантское значение физкультуры») все же предполагает, что «сторону культуры, которую мы называем не «духовной», а общественной», — мы должны ставить выше физкультуры...» (Там же: 39).

Свое развитие в публикациях, посвященных социальному значению спорта, получили в 1920–1930-е годы такие позиции, как его компенсаторная функция в условиях буржуазного общества («буржуазия сделала из спорта, путем очень ловкого приема, одно из центральных оправданий существования капитализма, даже как бы материальную опору целого нового миросозерцания» (Там же: 16), а также рассмотрение большого интегративного потенциала спортивных зелищ (Жолдак,

1932 и др.). В рамках социально-теоретического анализа начали разрабатываться и такие проблемы, как спорт и искусство (Милеев, 1931), спорт и религия (Милеев, 1932), однако серьезного развития они в тот период не получили.

Безусловное преобладание социально-теоретического и агитационно-пропагандистского вектора анализа спорта лишь в очень небольшой степени было «разбавлено» попытками эмпирического подхода к изучению ФКиС, прежде всего в связи с изучением *бюджетов времени* (С. Г. Струмилин и др.). Это было, пожалуй, единственное направление, связанное с обращением к фактору индивидуального поведения в данной сфере. Однако два обстоятельства затрудняют извлечение полноценной информации из результатов этих исследований: не всегда четкое обозначение социальной принадлежности респондентов — специалисты, промышленные рабочие и др. (Эдельман, 2008: 51), и отсутствие артикулированного различия между занятиями ФКиС и посещением спортивных зелищ (Артемов, 1963: 59).

Наконец, отметим еще и такое стартовавшее в те годы направление, как попытка составить *социальный портрет спортсмена* нового общества, для чего была использована весьма детальная статистика первых крупных спортивных мероприятий — прежде всего Всесоюзных спартакиад. Так, уже в 1928 году в отчетах по итогам Первой из них присутствует раздел «Социальное лицо Спартакиады», включивший данные о числе участников по национальности («украинцы — 240, белорусы — 100, евреи — 172, армяне — 127» и т. д.), профессиям («рабочих от станка — 23,7%...»), полу («женщин — 21%»), стажу в спорте («спортивный стаж участников Спартакиады начался после Октябрьской революции у 74,8%» и т. д. (цит. по: Суник, 2010: 409–412).

Резюмируем: изучение ФКиС с точки зрения их социальной природы, функций, взаимодействия с другими сегментами общественной жизни заняло свое место в палитре развития советской науки первых двух десятилетий, будучи ярко окрашено особенностями этой эпохи. Однако серьезного продолжения тогда не последовало — судьба этой ветви социологии оказалась после середины 1930-х годов столь же печальной, как и отечественной социологии в целом...

### **Советская социология спорта 1960–1980-х годов: векторы развития в эпоху «бури и натиска» социологического знания**

Два значимых контекста, в которых заново и уже более близко к параметрам собственно социологического научного канона происходило становление рассматриваемого отраслевого направления, — это, как и в любой дисциплине социально-гуманитарного профиля: а) пространство социально-культурных процессов эпохи, включая — в данном случае — развитие всего связанного с советским спортом и физической культурой, и б) пространство бурного развития социально-гуманитарного познания и, в частности, социологических практик, институтов и иных атрибутов данного научно-дисциплинарного поля. Каждый из этих кон-

текстов, очевидно, был не просто системой координат, в которой шло «прорастание» и довольно быстрое вызревание плодов новой для советской социологии научной отрасли, но и содержал в себе объективные катализаторы, необходимые стимуляторы роста для этих процессов. В значительной мере это происходило как ответ на запрос, исходивший из социума и как бы «разлитый» в нем, нередко — как выполнение конкретного социального заказа, но также и вследствие развертывания логики собственно научного движения, требующей максимально полного постижения социальной реальности, включая все ее сегменты и формы презентации. Спорт как одна из наиболее ярких форм телесных практик (хотя сама эта терминология была и уже, и еще не в ходу) и все связанные с ней реалии неизбежно должны были стать предметом целенаправленного социально-гуманистического исследования, что и произошло с очевидной непреложностью, хотя и со столь же очевидной степенью изрядной последующей маргинализации. Опишем в основных чертах оба этих контекста, чтобы затем представить наиболее значимые векторы развития отечественной социологии спорта этого периода.

### *Советский спорт в социально-культурно-политическом времени 1960–1970-х годов*

Начнем, как и полагалось в те времена, с главного документа, ссылка на который была важным, а нередко просто «проходным» условием для публикации текстов хоть о сельском хозяйстве, хоть о спортивных достижениях, — с Программы КПСС. Здесь содержался ряд принципиальных для исследователей ФКиС положений, задававших направления как для их мыследеятельности (воспользуемся терминологией щедровитян), так и для практико-ориентированных разработок. Среди них — обязательная к употреблению характеристика человека — строителя коммунизма, который должен обладать, наряду с духовным богатством и моральной чистотой, еще и непременно «физическими совершенством»<sup>7</sup>; положение о необходимости внедрения физической культуры и спорта в быт и повседневную жизнь каждого советского человека, о важности обеспечить переход советского физкультурного движения из массового во всенародное и т. п. Всё это задавало типичную для того времени «рамку соотнесения», с ориентацией на которую соответствующие идеи получали своё продвижение в виде, говоря современным языком, некоторой «дорожной карты» — руководства к действию. Это относилось, естественно, и к только формировавшейся тогда социологии спорта — например: «Признано необходимым сосредоточить усилия научных учреждений на изучении важнейших социологических, педагогических, психологических, медико-биологи-

7. К сожалению, история свидетельствует не только о благородном смысле такого рода императива, и вспоминать приходится не только времена далекие (жестокие нравы Спарты и пр.), но и советские — скажем, историю с отправкой большого числа «физически несовершенных», в том числе покалеченных войной, на удаленные острова (Валаам и др.). Для интересующихся: Ю. Нагибин, «Терпение», и немалое число других источников.

ческих и организационных проблем массового физкультурного движения и роста спортивного мастерства» (ЦК КПСС, Совет Министров СССР, 1966). Нельзя не обратить внимание, что в приведенном перечислении «социологическое» оказалось впереди самых устоявшихся, общепризнанных, доминантных направлений в рассматриваемой области (по советской же традиции читаем «между строк») — вероятно, в силу стремления к демонстрации новаторства и уже возникшей тогда своего рода «моды на социологию». Такого рода постановлений и предписаний было немало, и в определенной мере они задавали вектор развития новой отраслевой социологии, поддерживая соответствующие исследования организационно и финансово.

Формирование этого направления социологических исследований обеспечивалось не только директивами, но и имело в качестве базы реальные практики популяризации спорта и физического совершенствования. На уровне повседневности это, скажем, была ежедневная утренняя гимнастика, транслируемая по радио; производственная гимнастика, входившая в систему НОТ на предприятиях<sup>8</sup>; весьма масштабные по охвату детско-юношеские спортивные соревнования («Золотая шайба», «Веселые старты» и др.); создание совершенно новых по жанру телевизионных программ — «Папа, мама и я — спортивная семья», «Веселые старты», «Спортландия», приобретшая огромную популярность в Белоруссии, и др. Массовой формой досуга стал просмотр трансляций хоккейных и футбольных матчей, соревнований по фигурному катанию и легкой атлетике, рассказы о достижениях советских спортсменов на Олимпийских играх, чемпионатах разных уровней. Всё это делало спорт одной из важных составляющих жизни советского человека, привлекало к нему внимание, формировало целый сонм кумиров для молодых людей. Не чужды были организаторам советского спорта этого периода и масштабные спортивные праздники, популярные еще с 1920-х годов, — Спартакиады народов СССР, начинавшиеся с уровня отдельного города/села, и затем через уровень республики — к финальным соревнованиям в Москве (1 раз в 4 года).

Однако идея достижения массовости (в чем вполне можно увидеть своего рода «перекличку» физкультурно-спортивной проблематики 1960-х с той же тематикой 1920–1930-х годов), не утрачивая своего высокого декларативно-призывного статуса, постепенно получала все больше осложнений с точки зрения возможностей реализации и полноформатного воплощения. В конце 1970–1980-х годах всё больше проявляется дисбаланс, разрыв между массовым, повседневным спортом, с одной стороны, и спортом высших достижений — с другой; всё более очевидным становилось снижение уровня *реальной* вовлеченности (иногда существовавшей уже лишь в отчетах) разных групп населения в активные занятия физической культурой; все больше доминировало пассивное потребление спорта как

8. На одной из больших конференций по спортивной тематике уже в 1990-е годы у одного из выступающих спросили: «А почему Вы ничего не говорите о производственной гимнастике, про которую столько раньше писали?» Ответ был предельно лаконичный: «Нет производства — нет и производственной гимнастики...»

зрелища — на трибунах, но еще более часто как «спорт на диване». На ухудшении ситуации сказывались и особенности организационно-управленческой системы в сфере ФКиС — например, фактическое руководство и контроль в этой сфере осуществлял Отдел пропаганды ЦК КПСС, финансирование же (всё более по остаточному принципу) шло через Госплан по статье «Здравоохранение и физическая культура». Выделяемые ресурсы шли при этом прежде всего на сферу «большого спорта».

Организация массового спорта, его досуговых форм всё более отодвигалась на периферию, что находило отражение и в публикациях, радио- и телепередачах. Важнейшим критерием оценки становилось число завоеванных первых мест, золотых медалей на международных соревнованиях, что определяло по формуле «голы — очки — секунды» главный интерес и к сфере в целом, и к разработке теоретических и прикладных исследований в этой области. В такой «системе координат», при доминировании сильно политически окрашенного<sup>9</sup> прагматично-технократического подхода, нетрудно понять и основные векторы развития спортивной науки того времени — прежде всего это были проблемы спортивной тренировки, методика и технологии достижения высокого спортивного результата.

Что же касается социально ориентированных исследований, то в указанном контексте они в большой мере были востребованы в связи с разработкой проблем типа «Спорт — посол мира», «Спорт и межгосударственные контакты» и т. п. Говоря современным языком, осознание возможностей спорта (наряду с искусством) как эффективного «мягкого оружия» в эпоху жесткой идеологической борьбы, как средства формирования позитивного имиджа страны объясняет определенную заинтересованность власти в развитии и такого, социально-гуманитарного, направления в спортивной науке.

Параллельно этим реалиям, серьезно переориентировавшим интерес в сторону элитного спорта и его научного обеспечения, сохранялась необходимость в пропагандистских декларациях и «правильных» отчетах об успехах страны в создании того самого массового «физически совершенного человека» (наряду с олимпийскими чемпионами) как демонстрации преимуществ советского строя. Никаких иных показателей роста уровня вовлеченности населения в массовый спорт, в занятия физической культурой, в активные/здоровые формы досуга, кроме позитивных, не могло быть по определению: поскольку провозглашенным официальным ориентиром был уровень не менее  $\frac{1}{3}$  населения, то именно такой показатель фигурировал во всех «потолочных» отчетах<sup>10</sup>. Правильная «статистика» достигалась отчитывающимися структурами разными способами — например, один и тот

9. В рецензии (от 03.08.2009) на книгу М. Прозуменщикова «Большой спорт и большая политика», С. Бондаренко цитирует Андрея Синявского, назвавшего спортивную составляющую в жизни СССР — одной из формообразующих черт советской жизни в целом, характеризующейся «уклоном в техницизм, спорт, учёт и контроль» (цит. по: Уроки истории. XX век [<http://urokiistorii.ru/>]).

10. В то же время до 70% сельских школ не имели даже просто спортивных залов, не говоря уже об инвентаре; крайне ограниченным было число специалистов не только с высшим, но даже и со средним специальным образованием.

же ученик, имевший в школе два урока физкультуры в неделю, считался и членом спортивной секции, и участником спортклуба, а потому эта «единица» превращалась в значительно более серьезное число, фигурируя и в отчетах, полученных от учебных заведений (суммировало соответствующее министерство), и в отчетах территориальных спортивных организаций (сумма получалась уже в другом ведомстве), и в достижениях профсоюзных организаций и т. п. Таким образом, в итоговых государственных отчетах про развитие массового спорта, дела шли всё лучше и лучше...

Описывая ситуацию с развитием ФКиС в 60–70-е годы прошлого века, вряд ли возьмемся утверждать, что именно все более существенные «ножницы» между реальными процессами в этой области и формальными их показателями заставили специалистов-гуманитариев серьезно заняться социологическим анализом проблем в данной области. Однако в определенной мере процессы, объективно (но с субъективным привкусом), протекавшие в 60–80-е годы в сфере ФКиС, весьма уже сложной по своим структурно-функциональным параметрам и заметной по социальному позиционированию, являются обстоятельствами, немаловажными для понимания особенностей социального запроса на социологическое изучение данной области, как, впрочем, и для объяснения (в какой-то части) возникновения личностно-профессионального интереса к такому направлению деятельности у тех, кто его в тот период и обеспечил.

#### *«Рывок» советской социологии как катализатор становления отечественной социологии спорта и ее институционализации (1960–1970-е годы)*

Несомненно, мощным стимулом и благоприятным полем для формирования социологии спорта в СССР стало бурное развитие социологического знания в целом, выход значимых публикаций по теории и методологии социологии, инструментарию социологических исследований, начавшийся процесс институционализации социологии как самостоятельной науки, в том числе и создание Советской социологической ассоциации, один из комитетов которой работал на развитие социологии спорта. Немаловажной составляющей этого процесса стала также начавшаяся в те годы подготовка специалистов-социологов с некоторым количеством специализаций. И хотя такого профиля, как социология спорта, среди них не было, и вообще происходило это изначально не на базе собственно социологических факультетов или даже отделений (отсутствовавших тогда «в природе»), а в рамках, например, отделения научного коммунизма философского факультета МГУ<sup>11</sup>, это был серьезный сдвиг в формировании кадровой инфраструктуры не только общей, но и отраслевой социологии. Правда, на протяжении довольно длительного времени специалисты, занявшиеся социально-гуманитарными исследованиями

11. Именно там находилась одна из первых социологических кафедр (на которой посчастливилось учиться одному из авторов статьи. — И. Б.) — кафедра «методики конкретных социальных исследований», руководимая тогда проф. Г. М. Андреевой, навсегда читимой и с благодарностью вспоминаемой.

спорта и всего проблемного блока, связанного с ним, были выходцами из смежных научных областей, что объясняет значительный крен в разрабатываемой проблематике к социально-философскому, социально-историческому, социально-политологическому характеру: изначальная профессиональная подготовка и ориентированность не могли быть легко и просто нивелированы. Однако благодаря именно таким «смежникам» и стартовала отечественная социология спорта<sup>12</sup>. Скажем, в начале 1960-х годов в НИИ физической культуры пришел выпускник философского факультета МГУ А. А. Френкин, который активно публиковал работы по социально-философским проблемам спорта как в специализированных изданиях («Теория и практика физической культуры», «Спорт за рубежом»), так и в философской периодике («Вопросы философии», «Философские науки» и др.). В те же годы на кафедру философии Государственного центрального ордена Ленина института физической культуры (ГЦОЛИФК) пришла к.ф.н. Наталья Григорьевна Валентинова (до этого работавшая в отделе социальных исследований Института философии АН СССР), которая позже возглавила комитет социологии спорта в Советской социологической ассоциации.

В 1972 году кафедру общественных наук в ГЦОЛИФКе возглавил перешедший сюда из Института философии молодой доктор философских наук Владислав Иванович Столяров, усилиями которого через какое-то время здесь стала возвращаться социология спорта и как исследовательское направление, и как учебный курс. Вероятно, не только к проф. Столярову можно применить классическое «роль личности в истории», продолжив — «в истории становления советской социологии спорта», но к нему это относится точно, по крайней мере, так это видится нам «изнутри» как участникам тех процессов. Приход в Институт физкультуры на общественную кафедру (формата тех-то времен!) 35-летнего, энергичного, полного идей (прежде всего связанных с развитием именно социологии спорта) энтузиаста позволил создать площадку — а возможно, более точно, «делянку» — для засевания уже «просыпавшихся» в почву семенами, а затем и для сбора первых, пусть изначально и весьма скромных, урожаев на ниве этой новой для советской гуманитарной науки области.

Совершенно нетипичный для тех времен заведующий обществоведческой кафедрой<sup>13</sup> — ни по возрасту, ни по энергетике, ни по задумкам, если не сказать, мечтам, — он стал некоторым «центром притяжения» для представителей как

12. Вопрос о том, как «правильно» должна развиваться отраслевая наука, в частности отраслевая социология, по варианту: а) сначала глубоко знай предмет (спорт, труд, искусство и т. д.), а потом уже добирай «социологическую оптику» для соответствующего анализа, или б) овладей в полной мере собственно социологическим знанием, методами и т. д., а потом можешь применять это к любому предметному полю, «добраив» некоторое знание о нем, — не перестает периодически возникать в дискуссиях и сегодня. Эффективность того или иного варианта — отдельная тема, поэтому здесь ограничимся лишь упоминанием об этой «вечнозеленой» проблеме.

13. Вспоминаю (И. Б.) слова Г. М. Андреевой (тогда уже вынужденной перейти на факультет психологии, но продолжавшей опекать своих бывших студентов-социологов): «Ко мне обратился один молодой доктор наук, ищет людей, чтобы развивать совсем новое направление в социологии (речь шла о Столярове). ... и главное — смотри всегда не на вывески, а на конкретного человека: попробуй

минимум двух групп специалистов социально-гуманитарного профиля. С одной стороны, это были люди с профильным спортивно-педагогическим образованием (например, специалисты в области теории спорта и физического воспитания, историки спорта и т. п.), но имевшие склонность и стремление, выйдя за рамки своей традиционной науки, посмотреть на тот же предмет в более *широком социально-культурном* контексте. С другой стороны, новый вектор исследований вызвал интерес и у тех, кто (как уже упоминалось), принадлежал по своему образованию и интересам к более широкой области социально-гуманитарного знания (философы, «общие» историки, первые социологи и др.), увидел здесь возможность заняться *менее идеологически нагруженной* проблематикой, чем во многих других областях; не уходя из профессиональной сферы, хоть в какой-то мере уйти от достаточно жестких политico-идеологических предписаний, неизбежных в определенных науках в определенное время. Сфера спортивной и «около-спортивной» науки стала одной из такого рода привлекательных « заводей» для тех, кто, говоря словами поэта, полагал, что «Если выпало в империи родиться, / лучше жить в глухой провинции у моря. / И от Цезаря далеко, и от выюги. / Лебезить не нужно, трусить, торопиться...»<sup>14</sup>.

Не будем утверждать, что предполагаемые нами варианты мотивации «обращения» в социологов спорта у всех субъектов этого действия были именно такими (видимо, было и просто: люблю спорт, хочу этим заняться), но и первый, и второй варианты нам хорошо фактологически известны из живой практики тех времен<sup>15</sup>. Не будем скрывать также и то, что один из авторов этой статьи принадлежит к первой, а другой — ко второй «мотивировочной» группе. Но, конечно же, такой уровень «репрезентативности» не дал бы оснований для высказанных предположений, если бы, повторимся, не знание о линиях научной судьбы многих коллег; авторы же — скорее, просто небольшая иллюстрация.

Приток специалистов с базовым социально-гуманитарным образованием (кроме уже названных, были еще и М. Я. Сараф, Б. Б. Левин, Л. А. Верховина и

---

найти еще на общественных кафедрах таких энтузиастов, с такими замыслами. Новое — это же всегда интересно!»

14. Иосиф Бродский. «Письма римскому другу».

15. Вообще проблема выбора (конечно, когда он есть) исследователем поля собственной деятельности — крайне интересная научноведческая история, особенно когда речь идет о формировании той или иной новой области научной практики. Один из авторов, имея опыт, связанный со становлением и продвижением такой, пока еще далеко не всеми признаваемой науки — культурологии, может смело утверждать, что внешний абрис процесса приобщения того или иного исследователя к этой сфере, далеко не всегда достаточен для понимания сущности происходящего. Так, скажем, нередко высказываемое мнение, что, мол, эта культурология возникла как необходимость куда-то девять представителей «отмененного марксизма» (с кафедр истории КПСС, научного коммунизма и пр.) — позиция, весьма далекая от истины, если принимать во внимание не только внешние фабулы (исходя из принципа *post hoc ergo propter hoc*), но и всерьез заниматься анализом логики движения социально-гуманитарного знания, ролью социального запроса в формировании исследовательских траекторий и т. п. Делаем эту ремарку в данном случае, чтобы подчеркнуть небезинтересность этого аспекта для любой научной области, в том числе и для социологии спорта, хотя более детальное его рассмотрение не входит в число наших задач.

др.) позволял вести разработку новых для спортивной науки исследовательских программ, связанных с выявлением социально-философских оснований спортивной деятельности, с анализом ее социально-культурных факторов, детерминант и функций. Именно в этом лоне постепенно складывалось то направление, которое затем оформилось как социология спорта.

Понятно, что кадровое обеспечение и «кадровый энтузиазм» нарождающейся социологии спорта были важным, но недостаточным условием для институционализации социологии спорта — необходимы были еще и *опорные площадки* в виде вузовских кафедр, подразделений в научных институтах, ассоциаций и т. п. Важной вехой в процессе институционализации нового направления стало создание в 1968 году секции (затем — комитета) социологических проблем физической культуры и спорта Советской социологической ассоциации, первым председателем которой стал профессор А. Д. Новиков (ученый секретарь — Н. И. Рутберг). С 1972 года, на протяжении почти двух десятилетий, этот пост занимала к.ф.н. Н. Г. Валентинова (сначала функции ученого секретаря продолжал выполнять Н. И. Рутберг, а в 1980-е годы — И. М. Быховская). Большое количество интереснейших конференций, проектов, активное международное сотрудничество — всё это обеспечило весьма достойное «портфолио» этого подразделения, сейчас, увы, воспоминаемого как прекрасное далёко... Будучи важной «точкой роста» социологии спорта в СССР и «точкой сборки» всего, что способствовало продвижению этого направления, комитет, естественно, мог продуктивно работать, лишь опираясь на набирающие силу институции, широко разбросанные по стране. Еще раз отметим, что на протяжении довольно долгого времени слово «социология» никак не могло пробиться «на вывеску» многих из тех подразделений, где *по факту* уже вовсю развивалась спортивная ветвь социологии, поэтому реальная практика была намного более представительной, чем число подразделений, у которых де-юре существовал такого рода титул. Однако и последних тоже становилось всё больше. Назовем некоторые из тех площадок, где активно шло строительство здания социологии спорта в 1960–1980-х годах.

В 1963 году в ЦНИИФКе был создан сектор социологических проблем физкультурного движения и системы физического воспитания (рук. — проф. Г. И. Кукушкин), в центре внимания которого находились разработки по двум основным темам — «Физическая культура и труд» (лаборатория В. И. Жолдака) и «Физическая культура по месту жительства» (исследования М. Д. Рипы, Х. А. Фаткуллина, И. И. Переверзина и др.).

Активная работа шла в спортивных вузах и на спортивных факультетах некоторых педагогических институтов: как правило, сначала «пробивался» учебный курс социологии спорта, а затем это направление закреплялось в названии соответствующего подразделения (как правило, в сочетании с другими, смежными и более традиционными составляющими спортивной науки, чаще всего «историей» или «организацией и управлением»). Нередко это происходило с большим интервалом — например, в ГЦОЛИФКе курс социологии спорта начали читать в 1982

году, а в названии кафедры «социология» появилась лишь через 10 лет<sup>16</sup> (Столбов, 2003: 180). Процесс оформления социологии спорта в виде учебного курса, а затем и наименования соответствующего подразделения, интенсивно развивался также в Ленинграде (ГДОИФК, проф. Н. И. Пономарев и др.), Красноярске (А. М. Гендин, М. И. Сергеев, А. Н. Фалалеев), в Московском областном ИФК, с давних времен располагающемся в Малаховке (Ю. А. Фомин).

Заметную роль в становлении социологии спорта сыграли сибирские города — Новосибирск, Омск, Красноярск, где, как и в республиках Прибалтики, серьезным фактором ее развития стало активное «движение навстречу» с двух сторон — со стороны представителей общей социологии и исследователей из научно-образовательных центров спортивного профиля. Более того, вопрос о необходимости развития социологии ФКиС в нашей стране одним из первых публично поставил В. А. Артемов, работавший в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения АН СССР. Позволим себе дать большую выписку (поскольку это — одна из первых постановок вопроса) из его статьи 1963 года, которая была опубликована в специализированном журнале «Теория и практика физической культуры», хотя и в разделе (!) «Трибуна читателя»:

В физической культуре есть две стороны, неразрывно связанные между собой: биологическая и общественная... В изучении первого вопроса у нас имеются определенные успехи, достигнутые благодаря значительной работе... Хуже обстоит дело с изучением социологического аспекта физической культуры, приобретающего всё более важное значение. Настоящих научных исследований в области социологии физической культуры у нас нет... Оживление советской социологической мысли не коснулось теории физической культуры. Правда, на всесоюзном совещании по теории физического воспитания в ноябре 1961 года неоднократно подчеркивалось значение разработки социологических вопросов ФКиС. Но существенных сдвигов... не произошло. ...Статей по философским и социологическим аспектам ФК не было и в «Философских науках», и в «Вопросах философии», кроме статьи А. А. Френкина [Френкин, 1962. — И. Б., О. М.]... Журнал «ТиПФК» совершенно не информирует читателя о социологических исследованиях в области ФКиС, которые ведутся в ГДР, Польше, Чехословакии, где уже достигнуты определенные результаты. *Создать физическую культуру коммунизма* — именно так стоит задача — можно лишь на основе естественных и общественных наук. Последние должны исследовать место и роль ФК в обществе, строящем коммунизм, взаимодействие с другими общественными явлениями. Ключ к решению этой задачи — в развертывании конкретно социологических исследований... Исследования должны быть комплексными, проводиться учеными различных специальностей... Ведь много данных, касающихся ФКиС, осталось неизвестными теоретикам ФК. С другой стороны, в исследовани-

16. Попытка внести слово «социология» в название соответствующей кафедры была предпринята в ГЦОЛИФКе еще в 1982 году (ученый совет изначально поддержал появление нового названия — «кафедра истории и социологии физической культуры и спорта»), но вышестоящему начальству это категорически не понравилось, и «социология» была удалена в ожидании лучших времен. При этом курс социологии ФКиС все же читался.

ях [«бюджета времени», что было предметом научных интересов автора. — И. Б., О. М.] либо слабо освещаются, либо вовсе выпадают вопросы ФКиС... это время включается в очень общий термин «активный отдых». В других случаях вообще не ясно, что понимают исследователи под занятиями ФКиС. А ведь это, во-первых, вид активного отдыха, во-вторых, средство и метод всестороннего развития личности, в-третьих, способ культурного использования свободного времени... Видимо, целесообразно создать сектор социологии ФКиС в ЦНИИФКе или при НМС... (Артемов, 1963: 58–59)

В последующие годы В. А. Артемов вместе с коллегами провел большое число исследований, где в качестве обязательной компоненты при изучении структуры и видов затрат свободного времени присутствовали позиции, связанные с конкретными формами ФКиС (см., напр., Артемов, 1964)<sup>17</sup>.

Среди других сибирских центров развития социологии спорта можно назвать группу, сформировавшуюся в Омском институте физкультуры, где в 1968 году, по воспоминаниям О. А. Мильштейна, впервые в стране стали читать курс «Социология физической культуры и спорта». Важной особенностью работы группы было тесное взаимодействие с «неспортивными» социологическими институциями — с социологами из Сибирского отделения АН СССР, Уральского филиала Академии наук и др. (Мильштейн, 1974: 20).

В Тартуском университете, где в начале 1970-х годов также уже читался курс по социологии ФКиС, под руководством Майта Арвисто было разработано и проведено одно из первых в этой области масштабных исследований: «Конкретно-социологическое исследование некоторых субъективных аспектов участия в спортивной деятельности». Среди республиканских «точек роста» нельзя не назвать институты физкультуры в Киеве (С. С. Гурвич, А. С. Тихоход, Ю. Г. Крюков и др.); в Минске, где с 1971 года начали читать курс по социологии спорта и проводить эмпирические исследования (К. А. Кулинкович, О. А. Мильштейн, С. Молчанов); в Ереване (социологическая лаборатория — с 1968 года); в Кишиневе (блестящие, неординарные разработки социально-философских и теоретико-социологических проблем ФКиС — Н. Н. Визитей).

Усилиями названных и многих других специалистов (добавим к уже упомянутым выше такие значимые для периода становления имена, как С. Н. Аджемян, П. А. Виноградов, С. П. Дулинскас, Д. К. Жвания, В. С. Родиченко, Н. И. Рутберг, В. И. Усаков, М. А. Якобсон и др.) постепенно «пробивалась» стена непонимания и непризнания такой науки о спорте, как социология, а также шаг за шагом среди «несоциологического» сообщества формировалось понимание необходимости введения курса «Социология спорта» хотя бы в учебные планы профильных

17. В его работах появился термин — «занимаемость» — для обозначения доли людей, которые в той или иной изучаемой группе (трудящиеся, учащиеся, женщины и др.) занимаются ФКиС. Например, в указанной работе 1964 года приведена таблица, озаглавленная «Зависимость занимаемости физической культурой и спортом от материально-бытовых условий» (Артемов, 1964: 59).

институтов<sup>18</sup>. Называя здесь лишь отдельные имена, подразумеваем, что вокруг этих «центровых» (используем спортивную терминологию!) возникали целые исследовательские коллективы, обеспечивавшие становление и продвижение новой научной отрасли.

Говоря о процессе становления социологии спорта как научной и учебной дисциплины, нельзя, как нам кажется, обойти один немаловажный момент. Понятно, что новые специалисты, со своими новыми же задумками, новыми подходами, предполагающими новые векторы движения, приходили не в «пустыню», а в сложившиеся образовательные и научные коллективы. Как это бывает, вероятно, всегда, становление нового научного сегмента, процесс его вхождения в «плотные слои атмосферы» уже устоявшегося научного поля, поделенного между традиционными для той или иной области дисциплинами (и что важно — их представителями), оказался совсем непростым. С одной стороны, специалисты в теоретических сегментах спортивной науки, весьма уже продвинутой в те годы, могли рассматриваться как *потенциальные* соратники, знания которых были чрезвычайно ценные, а имеющиеся данные просто необходимы для реализации идеи нового взгляда на старые проблемы. Это относилось прежде всего к таким смежным дисциплинам, как история ФКиС, психология спорта, управленческим наукам, теории ФКиС; в меньшей мере к двум другим блокам дисциплин, традиционным для спортивных вузов, — естественнонаучному и спортивно-педагогическому. И практика обнаруживала готовность некоторого числа спортивных специалистов к такому взаимодействию, что облегчало, стимулировало, корректировало еще только нащупываемые векторы движения.

С другой стороны, появление «околоспортивных неофитов» со своими социально-гуманитарными подходами в прежде «чисто спортивном» пространстве расценивалось многими из тех же «смежников» как покушение на их, дотоле незыблемый, статус «полноисчерпывающих» наук, в том числе и применительно к изучению социальных аспектов ФКиС. Стремление обосновать значимость иного, социально-культурного и собственно социологического подходов, включить их на равных правах в полидисциплинарный исследовательский контекст вызывало нередко сопротивление и оценку происходящего как «вражескую» (по смыслу, без произнесения слова) попытку разрушения структуры пространства, «до вас» прекрасно выстроенного и не требующего каких-то корректировок. Предлагаемые программы, новые разработки, не говоря уже об институциональных решениях, отнюдь не всегда встречались доброжелательно, нередко порождали весьма острую полемику, в центре которой оказывались сакримальные вопросы: а зачем это нашему спорту? А какой практический толк от ваших исследований? А не размывают ли эти социально-гуманитарные «размышилизмы» границы нашей «строгой спортивной науки»? Ну а если собственной аргументации для «правиль-

18. Дорога эта была, правда, не так уж коротка — программа такого курса как обязательного для профильных вузов была официально утверждена предметной комиссией Учебно-методического совета Спорткомитета СССР только в 1990 году!

ных» ответов на такого рода вопросы у нападающей стороны в итоге не хватало, то в ход шли (не раз сами тому были свидетели) доводы типа: «Да что вообще может про спорт и его проблемы сказать человек, который и сам-то в трусах на беговой дорожке не стоял??!!»

Общение с коллегами, работающими в сфере социологии спорта во многих странах, позволяет утверждать, что такого рода ситуации были довольно типичны не только для отечественной версии формирования этой науки. Собственно, о проблеме, близкой к рассмотренному сюжету, который можно было бы обозначить как «свой среди чужих, чужой среди своих», говорил в своих лекциях П. Бурдье: «Логика социального разделения труда стремится воспроизвестись в разделении научного труда. Таким образом, мы имеем, с одной стороны, людей, очень хорошо знакомых со спортом на практике, но не умеющих говорить о нем, а с другой — людей очень плохо знакомых со спортом практически, которые могут говорить о нем, но пренебрегают им заниматься или делают это кое-как» (Бурдье, 1994: 258).

Конечно, такого рода сложности и проблемы не уникальны, они неизбежно возникают (обратимся к истории науки вообще и «локальных» наук в частности) при появлении отпочковывающихся научных направлений, стремящихся институционализироваться и занять своё место в научном и образовательном пространстве. Понятно, что в разных областях этот процесс имеет свою профилизацию, но уклониться от него, вероятно, никому и никогда не удавалось... Сложности в становлении отечественной социологии спорта были порождены, однако, не только неизбежной реакцией со стороны «законных представителей» традиционных наук о спорте, но и особенностями восприятия спорта как «второстепенного», если не маргинального, предметно-проблемного поля по оценке многих представителей «большой науки», в данном случае социально-философского и собственно социологического знания. И, пожалуй, это было важной составляющей «профилязации» рассматриваемого процесса, не позволяющей провести полную аналогию с «отпочкованием» других отраслевых социологических направлений в отечественном организационно-научном контексте, хотя и имеющую, как уже упоминалось, общие «родовые травмы» с зарубежными социологиями спорта.

#### *Основные проблемно-тематические блоки отечественной социологии спорта в 1960–1980-е годы*

Справедливости ради еще раз отметим, что анализ спорта как социального явления присутствовал в определённой мере и до стадии институционализации социологии спорта, и до этапа существенного расширения его социально-философского рассмотрения. Предшественниками этого постепенно оформлявшегося исследовательского пространства были авторы отдельных работ, которые по своему содержанию, по тематической направленности были весьма близки к теоретико-социологическому анализу спорта, физической культуры, досуговых форм

рекреации и т. п. Однако при отсутствии соответствующих научных сегментов принадлежность этих исследований обозначалась в традиционных полях — истории ФКиС, теории физической культуры и физического воспитания и др. Понятно, что идеологическая окрашенность этих работ была своего рода необходимостью и неизбежностью тех времен, однако при элиминации этой компоненты далеко не все работы теряют свой смысл и научную значимость — естественно, оценивая их с пониманием контекста времени их написания (см., напр.: Пономарев, 1951; Столбов, 1966).

Однако стремление выделить социологическое направление в изучении ФКиС как относительно самостоятельное диктовало необходимость обоснования его постепенного «отстраивания» от смежных дисциплин, где также присутствовали элементы социального анализа этих феноменов. Это было особенно важно, поскольку, как уже было отмечено, формирование социологии ФКиС шло *изначально*, скорее, не как «отпочковывание» от общего ствола отечественного социологического древа (и специализированные кадры, и реальное научное взаимодействие с собственно социологическими институциями пришли несколько позже), а из лона спортивной науки. Понятно, что одной из проблемных зон стало прежде всего обсуждение самой социологии спорта с точки зрения ее специфики, статуса, целевых ориентаций и т. п. Масштабная дискуссия по понятным причинам развернулась вокруг *предмета социологии ФКиС*. Не слишком развернутый, но достаточно представительный анализ дискуссий по этому поводу, проведенный О. А. Мильштейном (Мильштейн, 1974: 25–27) и В. И. Столяровым (Столяров, 2005: 11–13) позволяет нам, отослав заинтересованных лиц к этим источникам, прокомментировать лишь те значимые позиции, которые способствуют, на наш взгляд, пониманию особенностей рассматриваемого этапа. Вот одно из первых и достаточно типичных определений: «Марксистская социология спорта — это область общественных знаний о физической культуре и спорте, физическом воспитании, их значении в жизни общества, социальной роли и общественных функциях» (Степовой, 1972: 67). Очевидно, что процесс «отстраивания», обретения самостоятельного статуса со всеми атрибутами, необходимыми для такового, был пока еще скорее желаемой перспективой, чем актуализированной реальностью.

Более развернутое, нацеленное на более явную специфику новой научной области определение предложено М. А. Якобсоном, выделившим 4 основных направления социологического изучения физической культуры, позволяющих в сумме описать искомую предметную область: 1) «*Интраспективное*» направление — изучение структурных элементов или подсистем физической культуры (таковыми названы спорт, физическое воспитание, физическая рекреация) в их взаимодействии для обеспечения функционирования всей системы. 2) «*Интерспективное*» направление — исследование функций и связей физической культуры (или ее подсистем) с другими социальными явлениями: физическая культура и искусство, физическая культура и научно-технический прогресс и т. д. 3) «*Ретроспективное*» направление, к которому автор отнес всю социологическую про-

блематику физической культуры, связанную с различными периодами ее истории. 4) «Перспективное» направление — выявление тенденций изменения физической культуры, включая «обоснования перспективного социального планирования» (Якобсон, 1971: 128–129). Одна из наиболее заметных фигур эпохи становления социологии спорта, Н. И. Пономарев, наряду с изначально общепринятой ее характеристикой как науки о социальной природе, месте и роли физической культуры и спорта, обратил внимание на еще одну принципиальную именно для социологического анализа позицию, которая в последующем получила существенное развитие посредством эмпирических исследований: «Важнейшей стороной социологии физической культуры и спорта является изучение социальных отношений людей в жизни этого общественного явления, т. е. отношения различных по положению в обществе людей и отношения по поводу социальных ценностей» (Пономарев, 1974: 6).

Ограничимся этой небольшой информацией по поводу больших дискуссий о специфике социологии спорта, поскольку всё же лик этой науки пропускает преимущественно не через результаты научоведческо-методологических изысканий, а через описание основных *предметно-тематических* блоков проведенных исследований, включающих как работы социально-теоретического характера, так и представляющих продукты реализации тотального интереса к сбору и анализу эмпирической информации в 1960–1970-е годы. Выделим из них несколько наиболее значимых — как с точки зрения *тогдашней* их социальной востребованности, так и с учетом масштаба представленности в реальной практике и в публикациях, ее отражающих.

Если дать общую характеристику основных полей, в которых шло развитие социологических исследований ФКиС в рассматриваемый период, и выделить здесь некоторые доминанты, то таковыми будут прежде всего исследования проблем *массового спорта и физической культуры*, хотя и некоторые аспекты спорта высших достижений уже попадали в зону интересов социологов (серьезно «массовка» была потеснена ими уже после 1980-х). Тематика, которую можно подвести под общую вывеску (с некоторыми вариациями в течение всего рассматриваемого периода) «ФКиС в образе жизни советских людей», охватывала множество исследовательских направлений, включая: выявление и обоснование социально-экономического эффекта от развития массового спорта и физической культуры, с акцентом на ее оздоровительное значение; получение и обобщение информации об интересах и запросах различных групп населения к этим практикам<sup>19</sup> (это принципиально отличает этап 1960–1970-х от рассмотренного выше первого этапа с его однозначным интересом к анализу запросов *государства*); анализ особенностей этих запросов у представителей отдельных социальных групп (гендерных, профессиональных, социально-территориальных и др.) и обоснование путей их

19. Оставляем за скобками вопрос о реальном учете результатов этих исследований в официальной социальной политике и в конкретных практиках: вопрос о внедрении научных результатов — это вопрос для отечественной науки, как известно, отдельный.

реального включения в «физкультурную активность», как и увеличения доли этой активности в структуре свободного времени.

Интенсивно росло число исследований, связанных с изучением ФКиС как средства социализации личности (с акцентом на «формирование всесторонне, гармонично развитой личности»), а также с построением социального портрета спортсмена как представителя особого вида деятельности (хотя, конечно, до признания спорта как профессиональной практики — как и использования соответствующих терминов — было еще далеко). Начинает формироваться блок исследований о спорте как социальном институте; ведется социологически окрашенная разработка вопросов, связанных с использованием спорта как «мягкого оружия» («Спорт — посол мира», «Спорт и политика» и т. п.). Неувядающим вектором все эти десятилетия остается изучение вопросов физического воспитания в трудах классиков марксизма-ленинизма как теоретико-методологической основы для всех вышеперечисленных направлений.

Начинает набирать обороты направление (позже ставшее одним из доминирующих), связанное с анализом идеологии и практики олимпизма. В условиях холодной войны сохраняют свою значимость работы, направленные на «развенчание» буржуазного спорта и его идеологов<sup>20</sup>.

При анализе этого списка становится вполне очевидным то утверждение, которое нами было высказано в начале этой статьи: *серьезных оснований для рассмотрения социологии спорта 1960–1970-х годов как возрождения и продолжения* того, что было сделано в этой области в раннесоветский период, пожалуй, нет. Лишь поиск социально-экономического эффекта от развития массового спорта да еще разоблачение буржуазного спорта на базе марксистско-ленинского учения более или менее соприкасаются с тематическим полем «околосоциологии» спорта 1920–1930-х годов. Но даже и это пересечение — относительно, уже хотя бы в силу принципиально разных контекстов актуализации проблемы, в рамках которых одни и те же слова превращаются в паронимы. Не имея возможности подробно рассмотреть каждый из названных тематических блоков, дадим лишь некоторые комментарии к ним, вновь адресуя желающих к соответствующему реферативно-библиографическому анализу (Мильштейн, 1974) и к хрестоматии, выстроенной по проблемно-тематическому принципу (Столяров, 2005).

Отметим прежде всего то известное обстоятельство, что разработка проблем, имеющих ценность для государства в социально-экономическом смысле, всегда является достаточно сильным аргументом для утверждения соответствующего научного направления, а стало быть, и соответствующей финансово-организацион-

20. Но, как известно, такого рода работы, по необходимости начинавшиеся со слова «Критика...» (той или иной «буржуазной» науки, немарксистского учения и пр.), были в то время иногда единственной возможностью познакомиться с этими самыми современными «буржуазными» школами, течениями, именами... С каким интересом слушались, например, высокоинформационные лекции Г. М. Андреевой под общей вывеской «Критика современной буржуазной социологии», или читались книги вроде «Социологии личности» И. С. Коня, содержащие «критическую» ссылку к важнейшим работам зарубежных, недоступных простому студенту/аспиранту, авторов.

ной поддержки. И развитие социологических исследований, связанных с физической культурой населения, со сферой массового спорта, не явилось исключением. В частности, уже упомянутый сектор ЦНИИФКа в 1965–1966 годах провел масштабное изучение возможных (а где-то уже достигнутых) социально-экономических эффектов от развития физической культуры, решая одновременно задачу по определению, как это тогда формулировалось, «основных тенденций и перспектив развития и совершенствования физкультурного движения». Такого рода исследования путем массовых социологических опросов (В. И. Жолдак, И. И. Переверзин, Л. Н. Нифонтова и др.) проводились во второй половине 1960-х в разных городах и регионах страны: Северодонецке, Стерлитамаке и др. (Столяров, 2005: 18). В их числе, например, проект «ФКиС и их влияние на труд в различных сферах производства» (рук. Г. И. Кукушкин).

Существенноширился сбор социологической информации о месте ФКиС в структуре временных затрат (В. А. Артемов, Ю. В. Борисов, В. И. Жолдак, Б. Расин и др.) — главным образом в связи с изучением особенностей досуговых занятий у представителей разных социально-демографических групп, что позволило бы «определить величину, структуру, содержание и использование свободного времени для решения задач физического воспитания» (Пономарев, 1962: 17).

Наряду с проблемами «массовки», досуга, оздоровления все более активно изучаются проблемы, связанные с соревновательным спортом: исследования М. Арвисто о ценностных ориентациях юных спортсменов (70-е гг.); Д. К. Жвания — о социальных факторах жизненного пути спортсмена; А. М. Максименко — о связи уровня спортивных достижений с социально-экономическими факторами и др. Большое исследование 70-х годов «Образ жизни, спортивная карьера и направленность личности советских спортсменов — участников Олимпийских игр 1952–1972 годов» (с охватом 816 чел.) получило отражение в монографии «Советский олимпиец: социальный портрет» (Мильштейн, Кулинкович, 1979).

Важным показателем (и стимулирующим фактором) в этот период стал рост числа, масштабов и интенсивности проведения конференций, симпозиумов, семинаров разного уровня, а также активное участие советских социологов спорта в международных научных мероприятиях. Поскольку серьезная работа по восстановлению хронологии научных мероприятий, связанных с темой нашего анализа, была проделана авторами уже упомянутых ранее двух трудов, носящих систематизирующе-обобщающий характер (Мильштейн, 1974; Столяров, 2005), мы, отсылая заинтересованных читателей к этим публикациям, ограничимся здесь лишь небольшим перечислением значимых мероприятий, содержание выступлений на которых отражало все основные тематические направления развития советской социологии спорта. Некоторые из этих научных событий (в виде изданных по их итогам материалов) нашли отражение в прилагаемой к статье библиографии.

Уже начиная с середины 1960-х годов стали проводиться Всесоюзные конференции по социологическим проблемам ФКиС (Москва, 1966; Уфа, 1974; Цахкадзор, 1977 и т. д.). Особое внимание, как уже отмечалось, уделялось проведению

исследований (и, соответственно, обсуждению на встречах их результатов), связанных с вопросами вовлечения различных групп населения в различные формы активного досуга, занятия физической культурой и т. п., о чем свидетельствуют и названия многих конференций, например: «Физическая культура и свободное время» (Ленинград, 1972); «Физическая культура и спорта на селе» (Москва, 1974); «Женщина и физическая культура» (Москва, 1975); «Методологические и социальные проблемы развития массовой ФК» (Красноярск, 1982).

Заметной составляющей в деятельности этого периода стало активное взаимодействие с коллегами — социологами спорта из стран социалистического лагеря, где эта социологическая ветвь нередко была существенно более продвинутой (прежде всего это относилось к Польше, Венгрии, Германии). Один из наиболее крупных проектов, продолжавшийся не один год (с 1978 года) и опирающийся на конкретные социологические исследования в 6 соцстранах, — «Спорт, образ жизни, культура» (страна-координатор исследования — СССР, руководитель — В. И. Столяров). Сотрудничество социологов спорта из социалистических стран активизировало как знакомство с их работами (Krawczyk, 1970, 1974, 1983; Wohl, 1966, 1970 и др.), так и подготовку немалого числа совместных публикаций (Столяров, Кравчик, 1979; и др.). Международное сотрудничество отечественных социологов спорта, однако, даже в тот период не ограничивалось «внутрисоциалистическим» сообществом, хотя назвать его масштабным (по количеству «игроков») в широком международном смысле тоже вряд ли можно. Тем не менее уже с середины 1960-х годов стала активно продвигаться работа по налаживанию взаимодействия отечественных социологов спорта с соответствующими международными структурами. Так, в 1964 году в Международный комитет социологии спорта Всемирного совета по физическому воспитанию и спорту при ЮНЕСКО вошел А. Д. Новиков; затем на протяжении многих лет активное участие в его работе принимали Н. И. Пономарев, О. А. Мильштейн, В. С. Родиченко, В. И. Столяров. Впервые самостоятельная рабочая группа «Социология спорта» в рамках Всемирных социологических конгрессов появилась в 1970 году (Варна), и в ее рамках были представлены доклады целой группы советских исследователей, что стало регулярной практикой и в последующем. Несомненно, крупные международные конференции и конгрессы были мощным стимулятором научной активности. Масштабные, полидисциплинарные форумы по спортивно-физкультурной тематике, начиная с этих времен, всегда включали в себя секции по социологическим (чаще — философско-социологическим) проблемам ФКиС. Одним из значимых для старта стал Всемирный конгресс «Спорт в современном обществе» (Москва, 1974 год), который уже многочисленностью участников свидетельствовал о завоеванной советскими социологами спорта репутации. Докладчики — «полпреды» из СССР были всегда представлены в программах социологических секций на Предолимпийских научных конгрессах (Мюнхен, 1972; Квебек, 1976; Тбилиси — перед московской Олимпиадой-1980 и т. д.).

Главный международный журнал по социологии спорта «International Review for the Sociology of Sport» (IRSS), который в 2015 году отметил свое 50-летие, — тоже стал полем приложения сил для отечественных исследователей. Среди его авторов в 1970-е — начале 1990-х годов (перечисляем не хронологически, а по алфавиту) — М. Арвисто, В. Артемов, И. Быховская, Н. Валентинова, А. Максименко, О. Мильштейн, С. Молчанов, А.Д. Новиков, Н. И. Пономарев, М. Д. Рипа, В. С. Родиченко, В. И. Столяров и др., а О. А. Мильштейн в 1972–2002 годах входил в его редколлегию. Отметим еще один любопытный факт: в 1960-е — начале 1980-х годов резюме к статьям в журнале IRSS публиковалось, наряду с немецким и французским (позже — и испанским) языками, еще и на русском. К сожалению, с конца 1990-х эта практика исчезла.

Характеризуя в юбилейно-обзорном номере журнала развитие социологии спорта в бывших соцстранах, наша коллега из Словении ссылается на данные польского социолога А. Воля: взрыв публикаций в рассматриваемой области произошел в начале 1960-х, когда вышло более 800 публикаций по социальным аспектам спорта; за период между 1960-ми и 1980-ми число публикаций удвоилось. Однако, как отмечает автор, большинство из этих и многих последующих публикаций не стали известными за пределами каждой отдельной страны прежде всего из-за языкового барьера — большинство из них были написаны на «локальных», не имеющих широкого международного использования, языках (польском, венгерском, сербском, добавим — русском и др.). Кроме того, многие публикации имели политico-философский характер, что не всегда, отмечает автор, представляло интерес для международных социологических журналов. К тому же, пишет она, «в отличие от западных социологов спорта, многие из которых ставили и критически обсуждали различные *внутренние* проблемы развития спорта, исследователи в соцстранах фокусировали внимание преимущественно на позитивных сторонах и игнорировали существование проблем, связанных с насилием и другими девиантными аспектами» (Doupona Topić, 2015: 424–425).

Конечно, эта оценка, касающаяся тематики социологических исследований спорта, сегодня имеет лишь ретроспективный смысл — современное проблемное поле в этой области познания за последние десятилетия претерпело существенные изменения, как, впрочем, и то, что является объектами изучения в этой сфере, — спорт и его болельщики, телесная культура и формы активного досуга; взаимодействие «старых» и «новых» медиа с пространством спорта; влияние межкультурных коммуникаций на сферу ФКиС в современном мире... Однако это уже сюжет для другого романа.

Закольцовывая же наше эссе, вернемся вновь в начало века, но уже не в отечественное, а в мировое пространство, поскольку слова классика европейской философии М. Шелера, сказанные в 1921 году, похоже, даже еще весомее звучат сегодня: «Вряд ли какой другой феномен в мире заслуживает сегодня в такой же степени глубокого социально-философского и психологического изучения, как спорт. Спорт безмерно вырос в своем значении, но изучению смысла спорта не уделяется должного внимания» (Scheler, 1921:19). А к классикам надо прислушиваться!

## Литература

Андреева И. С. (ред.). (1980). Социология спорта (Навстречу Олимпиаде-80): Реферативный сборник. М.: ИНИОН.

Артемов В. А. (1963). Об изучении социологического аспекта физической культуры // Теория и практика физической культуры. № 4. С. 58–60.

Артемов В. А. (1964). Результаты обследования бюджетов времени // Теория и практика физической культуры. № 10. С. 58–61.

Бурдье П. (1994). Программа для социологии спорта // Бурдье П. Начала / Пер. с франц. Н. А. Шматко. М.: Socio-Logos. С. 257–275.

Быховская И. М., Столяров В. И. (1983). Социалистический образ жизни и физическая культура // Информ. материалы Философского общества СССР. № 3. М.: ФО АН СССР. С. 11–18.

Быховская И. М. (1988). Социологический анализ массовой физической культуры и спорта // Осипов Г. В., Иванов В. Н. (ред.). Марксистско-ленинская социология. М.: Наука. С. 107–112.

Валентинова Н. Г., Пономарев Н. И. (1972). Социология и спорт // Теория и практика физической культуры. № 2. С. 76–79.

Визитей Н. Н. (1979). Социальная природа современного спорта. Кишинев: Штиинца.

Визитей Н. Н. (2006). Курс лекций по социологии спорта. М.: Физическая культура.

Виноградов П. А., Жолдак В. И. (1979). Организация пропаганды физической культуры и спорта с учетом интересов населения. М.: Физкультура и спорт.

Гисин С. Л., Рутберг Н. И. (1963). Вопросы физического воспитания в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса // Теория и практика физической культуры. № 3. С. 7–15.

Голощапов Б.Р. (2009). История физической культуры и спорта. М.: Академия.

Гурвич С. С., Морозов В. А. (1973). Методологические основы социологии физической культуры и спорта // Социальные основы физической культуры и спорта. Киев: КГИФК. С. 8–24.

Гуськов С. И. (1983). Обзор социологических исследований спорта в США // Теория и практика физической культуры. № 1. С. 45–47.

Жолдак И. (1932). Мировая спартакиада. М.: ОГИЗ, Физкультура и туризм.

Карпушико Н. А. (1992). Историко-теоретический анализ школьных программ по физической культуре. М.: ГЦОЛИФК.

Киселев Р. М. (1978). США: спорт и общество. М.: Физкультура и спорт.

Кукушкин Г. И. (1967). Состояние и задачи социологических исследований в области физической культуры и спорта // Доклады итоговой сессии Научно-методического совета. Т. 1. М.: Физкультура и спорт. С. 30–49.

Луначарский А. В. (1930). Мысли о спорте. М.: Огонек.

Малова В. А. (1972). Основные направления в развитии социологических исследований в области физической культуры и спорта // Сборник науч.-метод. работ по организации физкультурного движения и формам массовой физкультурной работы. Л.: ЛНИИФК. С. 106–125.

Манько Ю. В. (ред.). (1985). Философско-социологические проблемы физической культуры и спорта. Л.: ВИФК.

Милеев С. (1931). Искусство и физическая культура. М., Л.: Физкультура и туризм.

Милеев С. (1932). Физкультура и религия. М., Л.: ОГИЗ, Московский рабочий.

Мильштейн О. А. (1973). О предмете социологии спорта и ее развитии в СССР // Социальные основы физической культуры и спорта. Киев: КГИФК. С. 25–40.

Мильштейн О. А. (1974). Социология физической культуры и спорта в СССР: обзор основных направлений и аннотированный указатель литературы (1918–1974 гг.). М.: Физкультура и спорт.

Мильштейн О. А., Кулинкович К. А. (1979). Советский олимпиец: социальный портрет. М.: Физкультура и спорт.

Новиков А. Д., Рутберг Н. И. (1972). Об основных направлениях научных исследований марксистских социологических проблем физической культуры и спорта // Теория и практика физической культуры. № 3. С. 68–69.

Пономарев Н. И. (1951). Классовая сущность профессионализма и «любительства» в буржуазном спорте. Дисс. ... канд. пед. наук. М.: ГЦОЛИФК.

Пономарев Н. И. (1962). Труд, свободное время и физическое воспитание // Теория и практика физической культуры. № 11. С. 17–21.

Пономарев Н. И. (1974). Социальные функции физической культуры и спорта. М.: Физкультура и спорт.

Прозумеников М. (2004). Большой спорт в большой политике. М.: РОССПЭН.

Рутберг Н. И. (1973). Социология физической культуры и спорта: библиография советской литературы (1960–1972). М.: ГЦОЛИФК.

Семашко Н. А. (1926). Пути советской физкультуры. М.: Физкультиздат.

Семашко Н. А. (ред.), Чесноков Б. М. (сост.). (1928). Энциклопедический словарь по физической культуре. М., Л.: Госиздат.

Серебряков А. В., Пономарев Н. И. (1987). Социология спорта США на службе капитализма. М.: Физкультура и спорт.

Степовой П. С. (1972). Спорт и общество: некоторые методологические и социальные проблемы. Тарту.

Столбов В. В. (1966). Социальная сущность современного олимпизма // Материалы 1-й Всесоюзной конференции по социологическим проблемам физической культуры и спорта. Ленинград. С. 53–57.

Столбов В. В. (ред.). (2001). История физической культуры и спорта. М.: Физкультура и спорт.

Столбов В. В. (ред.) (2003). История Российской государственной академии физической культуры. М.: Физкультура и спорт.

Столяров В. И., Кравчик З. (сост.) (1979). Спорт и образ жизни. М.: Физкультура и спорт.

Столяров В. И. (1981). Философские и социологические проблемы физической культуры и спорта // Вопросы философии. № 2. С. 168–173.

Столяров В. И. (ред.) (1988). Философско-социологические исследования физической культуры и спорта. Ежегодник. Вып. 1. М.: Советский спорт.

Столяров В. И. (ред.), Чесноков Н. Н., Столникова Е. В. (сост.) (2005). Хрестоматия по социологии физической культуры и спорта. Часть 1. М.: Физическая культура.

Суник А. (2010). Очерки отечественной историографии истории физической культуры и спорта. М.: Советский спорт.

Тоиценко Ж. Т., Романовский Н. В. (ред.). (2010). Вехи российской социологии. 1950–2000-е годы. СПб.: Алетейя.

Фирсов Б. М. (2012). История советской социологии: 1950–1980-е годы: очерки. СПб.: Изд-во ЕУСПб.

Френкин А. А. (1962). Всестороннее развитие личности и вопросы физического воспитания // Вопросы философии. № 3. С. 87–91.

Френкин А. А. (ред.). (1965). Критика буржуазной «социологии спорта». М.: Физкультура и спорт.

ЦК КПСС, Совет Министров СССР. (1966). О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР // Правда. 25 августа.

Эдельман Р. (2008). Серьезная забава: история зрелищного спорта в СССР / Пер. с англ. И. С. Давидян. М.: Советский спорт, АИРО-XXI.

Ядов В. А. (ред.). (1998). Социология в России. М.: Ин-т социологии РАН.

Якобсон М. А. (1971). Социологические проблемы физической культуры // Социальные исследования. Вып. 7. М.: Наука. С. 128–136.

Bykholovskaya I. (1991). Sports, New Way of Thinking and Human Values // International Review for the Sociology of Sport. Vol. 26. № 3. P. 193–201.

Bykholovskaya I. (1997). Athletics and Sports. Health and Beauty Care // Boutenko I., Razlogov K. (eds.). Recent Social Trends in Russia, 1960–1995. Quebec: McGill-Queen's University Press. P. 281–284; 243–245.

Douprava Topič M. (2015). Assessing the Sociology of Sport: On Sport and the Challenges of Post-socialist Countries // International Review for the Sociology of Sport. Vol. 50. № 4–5. P. 424–429.

Edelman R., Wilson W. (eds.). (2017). The Oxford Handbook of Sports History. Oxford: Oxford University Press.

Hartmann D. (2017). Sport and Social Theory // Edelman R., Wilson W. (eds.). The Oxford Handbook of Sports History. Oxford: Oxford Univ.Press. P. 15–28.

Krawczyk Z. (1970). Florian Znaniecki's Humanist Approach to Physical Culture // International Review for the Sociology of Sport. Vol. 5. № 1. P. 131–161.

Krawczyk Z. (1974). Filozofia i sociologia kultury fizycznej. Warszawa: PWN.

*Ponomarev N. I. (1974). The Social Phenomenon of Game and Sports // International Review for the Sociology of Sport. Vol. 9. № 1. P. 117–126.*

*Ponomaryov N. I. (1981). Sport and Society. M.: Progress.*

*Riordan J. (1977). Sport in Soviet Society. Cambridge: Cambridge University Press.*

*Scheler M. (1921). Vom Ewigen im Menschen. Leipzig: Der neue Geist.*

*Wohl A. (1966). Conception and Range of Sport Sociology // International Review of Sport Sociology. Vol. 1. P. 5–17.*

*Wohl A. (1970). Competitive Sport and Its Social Functions // International Review for the Sociology of Sport. Vol. 5. № 1. P. 117–130.*

*Wohl A. (1979). Socjologia kultury fizycznej: zarys problematyki. T. I. Warszawa: PWN.*

*Wohl A. (1981). Soziologie des Sports: Allgemeine theoretische Grundlagen. Köln: Pahl-Rugenstein.*

## The Soviet Sociology of Sport: Start and . . . Start Once Again (Subjective Notes with a Claim to Objectivity)

*Irina Bykhovskaya*

Doctor of Philosophy, Professor, Department of Cultural Research, Sociocultural Anthropology and Social Communications, Russian State University of Sport, Physical Education, and Tourism

Address: Sirenevy ave., 4, Moscow, Russian Federation 105122

E-mail: bykirina@gmail.com

*Oleg Milstein*

Professor, PhD (Pedagogy), Independent Researcher

Address: Profsoyuznaya str. 144-131, Moscow, Russian Federation 127321

E-mail: bykirina@gmail.com

The two main stages of the formation and development of the Soviet sociology of sport, the first, covering the 1920s and the beginning of the 1930s, and the second covering the 1960–1980s, are considered in the paper. It is noted in the introduction that although the Soviet sociology of sport as one of the branches within sociological science of that time in general has an interesting prehistory in the early Soviet years and a rich history of development in the middle of the last century, it has not yet received adequate coverage in the works on the history of the development of this science. The reason may be that in the traditional opposition between "the high" (spiritual) and "the low" (corporeal), the body practices are classified as "second-rate". The authors sought to eliminate the existing "lacuna" by conducting a brief analysis of the Soviet stage of the development of the sociology of sport. The features of each of the stages (the main vectors of development of the national sociology of sports, dominants, and their transformations) are considered in the context of the time. The authors based their research on sources such as the relative publications reflecting the theme characteristic for each period, as well as some "living memories", both of their own and of some other participants in the events. These sources could give birth to a certain element of subjectivism, already reflected in the subtitle of the article.

**Keywords:** sociology, Soviet sociology, sociological research, sociology of sport, sport, physical culture, body practices

## References

Andreeva I. (ed.) (1980) *Sociologija sporta (Navstrechu Olimpiade-80): referativnyj sbornik* [Sociology of Sport (Towards the Olympic Games-80): Abstracts Collection], Moscow: INION.

Artemov V. (1963) Ob izuchenii sociologicheskogo aspekta fizicheskoy kul'tury [On Sociological Study of Physical Culture]. *Theory and Practice of Physical Culture*, no 4, pp. 58–60.

Artemov V. (1964) Rezul'taty obsledovanija bjudzhetov vremeni [Results of the Survey of Time Budgets]. *Theory and Practice of Physical Culture*, no 10, pp. 58–61.

Bourdieu P. (1994) Programma dlja sociologii sporta [Program for Sociology of Sports]. *Natchala* [Beginnings], Moscow: Socio-Logos, pp. 257–275.

Bykhovskaya I. (1988) Sociologicheskij analiz massovoj fizicheskoy kul'tury i sporta [Sociological Analysis of Mass Physical Culture and Sports]. *Marksistsko-leninskaja sociologija* [Marxist-Leninist Sociology] (eds. G. Osipov, V. Ivanov), Moscow: Nauka, pp. 107–112.

Bykhovskaya I. (1991) Sports, New Way of Thinking and Human Values. *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 26, no 3, pp. 194–201.

Bykhovskaya I. (1997) Athletics and Sports. Health and Beauty Care // Recent Social Trends in Russia, 1960–1995 (eds. I. Boutenko, K. Razlogov), Quebec: McGill-Queen's University Press, pp. 281–284, 243–245.

Bykhovskaya I., Stolyarov V. (1983) Socialisticheskij obraz zhizni i fizicheskaja kul'tura [Socialist Way of Life and Physical Culture]. *Information Bulletin of the Philosophical Society of the USSR*, no 3, pp. 11–18.

Central Committee of the CPSU, the Council of Ministers of the USSR (1966) O merah po dal'nejshemu razvitiyu fizicheskoy kul'tury i sporta. Postanovlenie CK KPSS i Soveta Ministrov SSSR [On Measures for the Development of Physical Culture and Sport. Resolution of the Central Committee of the CPSU and the Council of Ministers of the USSR]. *Pravda*, August 25.

Douporna Topič M. (2015) Assessing the Sociology of Sport: On Sport and the Challenges of Post-socialist Countries. *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 50, no 4–5, pp. 424–429.

Edelman R. (2008) Ser'eznaja zabava: istorija zrelihhnogo sporta v SSSR [Serious Fun: The History of Spectator Sports in the USSR], Moscow: Sovetsky sport, AIRO-XXI.

Edelman R., Wilson W. (eds.) (2017) *The Oxford Handbook of Sports History*, New York: Oxford University Press.

Firsov B. (2012) *Istorija sovetskoy sociologii: 1950–1980: ocherki* [The History of Soviet Sociology, 1950–1980s: Essays], Saint Petersburg: EUSPb.

Frenkin A. (1962) Vsestoronnee razvitiye lichnosti i voprosy fizicheskogo vospitanija [The All-round Personality Development and Physical Education Issues]. *Problems of Philosophy*, no 3, pp. 87–91.

Frenkin A. (ed.) (1965) *Kritika burzhuaznoj "sociologii sporta"* [Criticism of the Bourgeois "Sociology of Sport"], Moscow: Fizkultura i sport.

Gisin S., Rutberg N. (1963) Voprosy fizicheskogo vospitanija v trudah K. Marksа i F. Jengel'sa [The Problems of Physical Education in the Works of K. Marx and F. Engels]. *Theory and Practice of Physical Culture*, no 3, pp. 7–15.

Goloschapov B. (2009) *Istorija fizicheskoy kul'tury i sporta* [History of Physical Culture and Sports], Moscow: Akademiа.

Gurvich S., Morozov V. (1973) Metodologicheskie osnovy sociologii fizicheskoy kul'tury i sporta [Methodological Basics of Sociology of Physical Culture and Sport]. *Social'nye osnovy fizicheskoy kul'tury i sporta* [Social Basics of Physical Culture and Sport], Kiev: KGIFK, pp. 8–24.

Guskov S. (1983) Obzor sociologicheskikh issledovanij sporta v SShA [Survey of Sociological Researches of Sports in USA]. *Theory and Practice of Physical Culture*, no 1, pp. 45–47.

Hartmann D. (2017) Sport and Social Theory. *The Oxford Handbook of Sports History* (eds. R. Edelman, W. Wilson), New York: Oxford University Press, pp. 15–28.

Jacobson M. (1971) Sociologicheskie problemy fizicheskoy kul'tury sporta [Sociological Problems of Physical Culture]. *Social'nye issledovaniya. Vyp. 7* [Social Studies, Issue 7], Moscow: Nauka, pp. 128–136.

Karpushko N. (1992) *Istoriko-teoreticheskij analiz shkol'nyh programm po fizicheskoj kul'ture* [Historical and Theoretical Analysis of School Programs in Physical Education], Moscow: GCOLIFK.

Kiselev R. M. (1978) *SShA: sport i obshhestvo* [USA: Sport and Society], Moscow: Fizkultura i sport.

Krawczyk Z. (1970) Florian Znaniecki's Humanist Approach to Physical Culture. *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 5, no 1, pp. 131–161.

Krawczyk Z. (1974) *Filozofia i sociologia kultury fizycznej*, Warszawa: PWN.

Kukushkin G. (1967) *Sostojanie i zadachi sociologicheskikh issledovanij v oblasti fizicheskoy kul'tury i sporta* [Status and Tasks of Sociological Researches in the Field of Physical Culture and Sport]. *Doklady itogovoj sessii Nauchno-metodicheskogo soveta. T. 1* [Reports of the Final Session of the Scientific and Methodological Council, Vol. 1], Moscow: Fizkultura i sport, pp. 30–49.

Lunacharsky A. (1930) *Mysli o sporte* [Thoughts on sports], Moscow: Ogonek.

Malova V. (1972) *Osnovnye napravlenija v razvitiu sociologicheskikh issledovanij v oblasti fizicheskoy kul'tury i sporta* [The Main Directions in the Development of Sociological Researches in the Field of Physical Culture and Sport]. *Sbornik nauch.-metod. rabot po organizacii fizkul'turnogo dvizhenija i formam massovoj fizkul'turnoj raboty* [Collection of Scientific-Methodical Works on the Organization of Physical Culture and the Forms of Physical Education], Leningrad: LNIIFK, pp. 106–125.

Manko Y. (ed.) (1985) *Filosofsko-sociologicheskie problemy fizicheskoy kul'tury i sporta* [Philosophical and Sociological Problems of Physical Culture and Sport], Leningrad: VIFK.

Mileev S. (1931) *Iskusstvo i fizicheskaja kul'tura* [Art and Physical Culture], Moscow, Leningrad: Fizkultura i turizm.

Mileev S. (1932) *Fizkul'tura i religija* [Physical Culture and Religion], Moscow: OGIZ.

Milshtein O. (1973) *O predmete sociologii sporta i ee razvitiu v SSSR* [On the Subject of Sociology of Sport and its Development in the USSR]. *Social'nye osnovy fizicheskoy kul'tury i sporta* [Social Basics of Physical Culture and Sport], Kiev: KGIFK, pp. 25–40.

Milshtein O. (1974) *Sociologija fizicheskoy kul'tury i sporta v SSSR: obzor osnovnyh napravlenij i annotirovannyj ukazatel' literatury (1918–1974)* [Sociology of Physical Culture and Sport in the USSR. A Review of the Main Directions and an Annotated Index of Literature, 1918–1974], Moscow: Fizkultura i sport.

Milshtein O., Kulinkovich K. (1979) *Sovetskij olimpiec: social'nyj portret* [Soviet Olympian: A Social Portrait], Moscow: Fizkultura i sport.

Novikov A., Rutberg N. (1972) *Ob osnovnyh napravlenijah nauchnyh issledovanij marksistskikh sociologicheskikh problem fizicheskoy kul'tury i sporta* [On the Main Directions of Scientific Researches of Marxist Sociological Problems of Physical Culture and Sport]. *Theory and Practice of Physical Culture*, no 3, pp. 68–69.

Ponomarev N. (1951) *Klassovaja sushhnost' professionalizma i "ljubitel'stva" v burzhuaznom sporte* [The Class Essence of Professionalism and "Amateurism" in Bourgeois Sport] (PhD Thesis), Moscow: GCOLIFK.

Ponomarev N. (1962). Trud, svobodnoe vremja i fizicheskoe vospitanie [Work, Free Time and Physical Education]. *Theory and Practice of Physical Culture*, no 11, pp. 17–21.

Ponomarev N. (1974) *Social'nye funktsii fizicheskoy kul'tury i sporta* [Social Functions of Physical Culture and Sport], Moscow: Fizkultura i sport.

Prozumenshchikov M. (2004) *Bol'shoj sport v bol'shoj politike* [Great Sport in Great Politics], Moscow: ROSSPEN.

Riordan J. (1977) *Sport in Soviet Society*, Cambridge: Cambridge University Press.

Rutberg N.I. (1973) *Sociologija fizicheskoy kul'tury i sporta: Bibliografija sovetskoy literatury (1960–1972)* [Sociology of Physical Culture and Sports: Bibliography of Soviet Literature (1960–1972)], Moscow: GCOLIFK.

Scheler M. (1921) *Vom Ewigen im Menschen*, Leipzig: Der neuer Geist.

Semashko N. (1926) *Puti sovetskoy fizkul'tury* [Ways of Soviet Physical Culture], Moscow: Fizkultizdat.

Semashko N., Chesnokov B. (eds.) (1928) *Jencikopedicheskij slovar' po fizicheskoy kul'ture* [Encyclopedic Dictionary of Physical Culture], Moscow, Leningrad: Gosizdat.

Serebryakov A., Ponomarev N. (1987) *Sociologija sporta SShA na sluzhbe kapitalizma* [Sociology of Sport in the Service of Capitalism], Moscow: Fizkultura i sport.

Stepovoy P.S. (1972) *Sport i obshhestvo: Nekotorye metodologicheskie i social'nye problem* [Sport and Society: Some Methodological and Social Problems], Tartu.

Stolbov V. (1966) *Social'naja sushhnost' sovremennoj olimpizma* [The Social Essence of Modern Olympism]. *Materialy 1-j Vsesojuznoj konferencii po sociologicheskim problemam fizicheskoy kul'tury i sporta* [Proceedings of the 1st All-Union Conference on Sociological Problems of Physical Culture and Sports], Leningrad, pp. 53–57.

Stolbov V. (ed.) (2001) *Istoriya fizicheskoy kul'tury i sporta* [History of Physical Culture and Sports], Moscow: Fizkultura i sport.

Stolbov V. (ed.) (2003) *Istoriya Rossijskoj gosudarstvennoj akademii fizicheskoy kul'tury* [History of the Russian State Academy of Physical Culture], Moscow: Fizkultura i sport.

Stolyarov V. (1981) *Filosofskie i sociologicheskie problemy fizicheskoy kul'tury i sporta* [Philosophical and Sociological Problems of Physical Culture and Sport]. *Problems of Philosophy*, no 2, pp. 168–173.

Stolyarov V. (ed.) (1988) *Filosofsko-sociologicheskie issledovaniya fizicheskoy kul'tury i sporta*. *Ezhegodnik. Vyp. 1* [Philosophical and Sociological Researches of Physical Culture and Sport. Yearbook. Issue 1], Moscow: Sovetsky sport.

Stolyarov V., Kravchik Z. (eds.) (1979) *Sport i obraz zhizni* [Sport and the Way of Life], Moscow: Fizkultura i sport.

Stolyarov V., Chesnokov N., Stopnikova E. (eds.) (2005) *Hrestomatija po sociologii fizicheskoy kul'tury i sporta. Chast' 1* [Reader in Sociology of Physical Culture and Sport, Part 1], Moscow: Fizicheskaya kul'tura.

Sunik A. (2010) *Ocherki otechestvennoj istoriografii istorii fizicheskoy kul'tury i sporta* [Essays on the Domestic Historiography of the History of Physical Culture and Sport], Moscow: Sovetsky sport.

Toshchenko Zh., Romanovsky N. (eds.) (2010) *Vehi rossijskoj sociologii. 1950–2000* [Milestones of the Russian Sociology, 1950–2000], Saint Petersburg: Aleteija.

Valentinova N., Ponomarev N. (1972) *Sociologija i sport* [The Sociology and Sport]. *Theory and Practice of Physical Culture*, no 2, pp. 76–79.

Vinogradov P., Zholdak V. (1979) *Organizacija propagandy fizicheskoy kul'tury i sporta s uchetom interesov naselenija* [Organization of the Propaganda of Physical Culture and Sport Considering the Population Interests], Moscow: Fizkultura i sport.

Vizitej N. (1979) *Social'naja priroda sovremennoj sporta* [The Social Nature of Modern Sport], Kishinev: Shtiinca.

Vizitej N. (2006) *Kurs lekcij po sociologii sporta* [Lectures on the Sociology of Sport], Moscow: Fizicheskaya kultura.

Wohl A. (1966) Conception and Range of Sport Sociology. *International Review of Sport Sociology*, vol. 1, pp. 5–17.

Wohl A. (1970) Competitive Sport and Its Social Functions. *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 5, no 1, pp. 117–130.

Wohl A. (1979) *Socjologia kultury fizycznej: zarys problematyki*. Vol. I, Warszawa: PWN.

Wohl A. (1981) *Soziologie des Sports: Allgemeine theoretische Grundlagen*, Köln: Pahl-Rugenstein.

Yadov V. (ed.) (1998) *Sociologija v Rossii* [Sociology in Russia], Moscow: Institute of Sociology.

# Национальные модели физического воспитания и сокольская гимнастика в России

*Ирина Сироткина*

Кандидат психологических наук, PhD, ведущий научный сотрудник  
Института истории естествознания и техники РАН  
Адрес: ул. Балтийская, д. 14б, Москва, Российская Федерация 125315  
E-mail: [isiro1@yandex.ru](mailto:isiro1@yandex.ru)

В статье рассматривается вопрос о соотношении глобального и национального в спорте и физическом воспитании и дается попытка определить то место, которое дореволюционная Россия занимала на мировой карте физического образования. Эпоха создания в Европе национальных государств отмечена возникновением национальных систем военной и/или физической подготовки, включая немецкую гимнастику (Turnen), шведскую и так называемую сокольскую гимнастику. Последняя была создана в Праге на волне освободительной борьбы против Австро-Венгрии и подъема панславизма. В дореволюционной России до начала XX века использовались немецкая и шведская системы. С углублением антигерманских настроений немецкая гимнастика стала вытесняться сокольской, а после Октябрьской революции все прежние спортивно-гимнастические общества поддали под подозрение новой власти и так или иначе были ликвидированы. Сокольские общества в особенности были обвинены в национализме, их члены подверглись репрессиям, а имущество конфисковано. Элементы сокольской гимнастики были использованы при создании советских комплексов физических упражнений и вошли в новые виды спорта, такие как художественная, ритмическая и эстетическая гимнастика. В наши дни некоторые современные военно-патриотические клубы пытаются возродить сокольскую гимнастику как национальный «русский» вид нравственно-патриотического воспитания. В заключение делается вывод о том, что, несмотря на глобализацию физического воспитания и спорта, вопрос о «национальных» моделях еще не потерял своей актуальности.

*Ключевые слова:* физическое образование, национальные модели, гимнастические системы, сокольское движение, панславизм

Социология спорта — дисциплина относительно молодая, возрастом примерно с полвека, и началась она, как утверждается, с рефлексии над практиками спорта и физического образования (Loy, 1980). Отправным пунктом стал вопрос о *социализации* в самом широком смысле слова и роль в этом процессе половых, гендерных, национальных, «расовых» и прочих различий (Donnelly, 2003: 20). Однако вопрос о *национальном* в спорте и физическом образовании вставал и раньше, в связи с проблемой национальных государств (nation-states) и национальной идентичности (Maguire, 1999). Забегая вперед, скажем, что современные (модерные) гим-

настики возникли на волне создания национальных государств — как системы военно-патриотической подготовки и физической тренировки молодых людей, готовых за эти новые государства бороться. Немецкая гимнастика Turnen появилась в то же самое время, когда Г. Гегель и И. Фихте формулировали идеи «немецкой нации», а сокольская гимнастика возникла с началом борьбы чехов против имперского правления Австрии. Встает вопрос: как национальные аспекты физического воспитания сочетаются с глобальным и универсалистским характером спорта? И если в этой статье мы не найдем на него ответа, то хотя бы поближе познакомимся с идеей национального в физвоспитании и спорте.

Итак, хотя тело у людей более или менее одинаковое — руки, ноги, голова — представления о *физическом образовании* различаются от одной культуры к другой. Считается само собой разумеющимся, что не только в «западной» и «восточной» цивилизациях, но и в разных странах Запада к воспитанию тела относятся по-разному и применяют разные методы его совершенствования. Во-первых, различается терминология: в Британии, Италии, Испании и Португалии говорят о «физическом образовании» (*«physical education»*), во Франции принят термин *«l'éducation physique et sportive»* (*«физическое и спортивное образование или воспитание»*), в Швеции идет речь об образовании в области *«idrott i hälsa»* (*«спорта и здоровья»*), в Германии — о *«Sportunterricht»* (*«обучении спорту»*) (Naul, 2003), в России — о преподавании «физической культуры» (на школьном жаргоне — «физры»). Кроме этого, в разных европейских странах традиционно сложились свои *системы воспитания тела*, или *гимнастики*. Чаще всего называют три гимнастические системы: немецкую систему Turnen (Turnen означает «ловкость», «изворотливость»), шведскую гимнастику и английские спортивные игры. Разные концепции физического образования и три (или больше) гимнастические системы не совпадают, а накладываются друг на друга. Создается сложная картина: система Turnen ассирирована не только в Германии, но и на западе (Бельгия и Нидерланды), севере (Финляндия) и юге (Италия и Греция) от нее. В Греции, например, Turnen привился уже в 1830-е годы. Спортивная модель, сложившаяся в конце XIX века из публичных школ Англии, распространена в средних учебных заведениях Франции, Германии, Дании, Швеции и Нидерландов, а также ряда южноевропейских стран (Греции, Испании, Португалии) (Naul, 2003: 37). В некоторых странах разные модели сосуществуют: так, в Дании использовались английская и шведская модели, а также создан собственный вариант — «датская система», которая, в свою очередь, в 1920-е годы импортировалась в другие страны, включая Швецию и Германию.

В России с 1830-х годов были известны немецкая система Turnen, начало которой положил Фридрих Людвиг Ян, и шведская гимнастика, созданная Пером Хенриком Лингом. Если в первой ценились точность, прямые линии и углы, а целью упражнений считалось воспитание силы и выносливости и укрепление воли, то гимнастика Линга во главу угла ставила гармоническое развитие тела и была более терапевтической, медицински обоснованной. Однако в начале XX века на волне

антинемецких настроений за основу физического воспитания в армии и школе взяли совсем иную модель, пришедшую из Праги «сокольскую гимнастику»<sup>1</sup>. Ниже мы рассмотрим, что такое сокольство и по какой причине созданная им гимнастическая система не вошла в современные программы физического образования.

### Первые гимнастические общества и их историческая модель

По мнению историков Средневековья Жака Ле Гоффа и Николя Трюона, физические упражнения в ту эпоху отличались как от античных состязаний, так и современного спорта. Рыцарские игры, считают они, не имели ничего общего с народными играми, а организация турнира была не похожа на организацию спортивного матча. Целью рыцарских турниров являлась военная подготовка и демонстрация отличий высших слоев общества, тогда как физические упражнения простонародья происходили из практики самозащиты. Чаще всего основой таких упражнений являлась борьба, однако существовали и коллективные игры, которые с возникновением соревнований и оформлением правил превращались в «спорт» (Ле Гоф, Трюон, 2016: 148). Возникновение современного спорта в XIX веке авторы объясняют глубокими социальными и культурными переменами — вызванной промышленной революцией конкуренцией и новой, индивидуалистической культурой тела. Эта последняя основывалась на принципах гигиены и сопровождалась развитием гимнастики и практик демонстрации тела, включая моду на атлетизм (Ле Гоф, Трюон, 2016: 150).

Что касается телесного образования, то оно также имеет корни как в занятиях благородного сословия, так и простонародья. На протяжении Средних веков, пишет историк телесности Жорж Вигарелло, рыцарские турниры эволюционируют. Глубинные изменения связаны с отказом от доспехов в поединках и запретом «общего боя». Бой очищается до полного исчезновения конфликта. Если раньше турниры оканчивались кровавыми побоищами, то теперь рыцари соревнуются в скачках за кольцом или мишенью. В них недостаточно демонстрировать только силу и ловкость: рыцарь должен выказать манеры, а его действия — отвечать условиям (например, оставаться в пределах скаковой дорожки; наконечником копья прочертить как можно более прямую линию; не позволять скакуну делать резкие движения; держать осанку). В XVII веке военные достоинства уступают место придворным практикам: в театрализованных военных играх участвуют, чтобы блеснуть, показать себя и свою принадлежность к элите (Корбен, Куртин, Вигарелло, 2012: 172–175). Возникает искусство быть придворным: в трактате Бальдасаре Кастильоне «Придворный» превозносится не только сила, но и проворство, ловкость, грация. Скачки за целью сменяет «конный балет» — выездка, вместо боя на мечах приходит фехтование на шпагах; на балах исполняют выстроенный, «ге-

1. Краткую библиографию см. в: Качулина, 1997.

метрический» танец. Владение оружием, танец, верховая езда входят в программу обучения в академиях, а с XVII века — и в колледже. Осанке и грации обучаются с малых лет и у лучших мастеров. Цель телесной тренировки — «придавать благородную дерзость», подготовить к жизни в обществе репрезентационного типа, строго предписывающего правила благопристойности и нормы поведения (Корбен, Куртин, Вигарелло, 2012: 189–190).

Другой источник современного физического воспитания — это городские смотры и «состязания в ловкости», которые устраивают уже не рыцари, а буржуа. Горожане подражают в них аристократии: на первом месте опять-таки не техническое обучение, а внимание к физическим знакам: костюму, манере держать себя. Во многих городах Европы существует городское ополчение, «состоящее из лучших представителей буржуазии и городских жителей» (Корбен, Куртин, Вигарелло, 2012: 191–192). Это — гражданское объединение, которому для обучения своих членов дано право на владение постройками и в особенности просторным «садом» с мишенями для стрельбы. Когда в XVII веке королевская власть окончательно возвращает себе функции защиты и надзора, эти «привилегированные» объединения не исчезают. Их военная роль, отмечает Вигарелло, сходит на нет, но сохраняется общественная, поддерживающая традицию шествий, празднеств и символическую систему ценностей. В первую очередь это участие в светских и религиозных торжествах и призовые состязания, привлекавшие толпы участников и зрителей. В этих буржуазных корпорациях адвокаты, нотариусы, прокуроры, различные чиновники примеряют на себя благородную модель, приобщаясь к рыцарскому мифу. Вигарелло подчеркивает отличия корпораций от спорта: члены корпораций не могут присоединяться к ним по собственной инициативе — их кооптируют; они обязаны уплачивать вступительный взнос; участников вполне официально отбирают по критериям, не имеющим отношения к соревновательным качествам; вхождение в корпорацию предполагает только определенную религиозную и социальную принадлежность. «Корпорации стрелков из лука, арбалета и аркебузы не были предшественниками современных клубов, — заключает автор. — Они остались неравноправными, хотя благодаря им чиновничья буржуазия в момент своего восхождения получила доступ к системе героических (военных) референций и к определенному способу моделирования тела» (Корбен, Куртин, Вигарелло, 2012: 194). Но даже если согласиться с тем, что к современному спорту корпорации прямого отношения не имеют, сходство их с ранними гимнастическими обществами очевидно.

Первые гимнастические общества создаются с целью подготовить мужчин страны к возможной вооруженной борьбе за те ценности, которые они разделяют, — чаще всего патриотические и/или националистские. В немецких землях это была военная кампания против завоевательных походов Наполеона и политическая борьба за объединение Германии. Именно в этот период Фридрих Людвиг Ян основывает первый гимнастический союз — *Turnverein*. Ян создал и систематизировал физические упражнения, с помощью которых его последователи-«турнеры»

готовили себя к защите отечества. Он же бросил и популяризировал лозунг «Frisch, Fromm, Fröhlich, Frei» («Отважный/закаленный, набожный, веселый, свободный») (Dixon, 1950). Движение Turnen организовалось вокруг традиционных ценностей, за возрождение отваги древних германцев. Яну приписывается создание таких гимнастических снарядов, как бревно, перекладина, параллельные брусья и — как напоминание о рыцарских доблестях — гимнастический конь.

И во Франции, признает Вигарелло, гимнастические общества создавались, чтобы служить «общему делу», вставать на защиту «нации», то есть преследовали военно-образовательные цели (Корбен, Куртин, Вигарелло, 2012: 302). Их возникновению способствовало противостояние с усиливающейся Германией. В 1830-е годы положение о гимнастике включили в военный устав, а в 1869 году гимнастические занятия стали обязательными для всех учебных заведений. По своим целям и содержанию гимнастика армейская и школьная были близки: в школе преобладала практика военного характера, состоявшая из строевой подготовки и обучения обращению с оружием. Работа с оружием была в некотором смысле призвана разнообразить шаблонные гимнастические движения: «Стоит дать им ружье в руки — и все преображается», — говорили о детях преподаватели. Вплоть до конца XIX века во Франции существовали «школьные батальоны» из учеников. Гимнасты стали ролевыми моделями республиканской риторики; их называли «мускулы Марианны» (Корбен, Куртин, Вигарелло, 2012: 303–306).

Гимнастические общества продолжили и традицию корпоративных празднеств. Во Франции в 1880-е годы гимнасты учредили собственные праздники, а также участвовали в республиканских праздниках — демонстрировали своеобразные гимнастические упражнения с размахиванием национальными флагами и знаменами. На одном из гимнастических празднеств в 1882 году было принято решение создать Лигу патриотов, призванную заниматься «организацией и распространением военного и патриотического воспитания через книги, гимнастику, стрельбу» (Корбен, Куртин, Вигарелло, 2012: 307). На ежегодном празднике Союза гимнастических обществ непременно присутствовал президент республики. Приглашались иностранные делегации — они чествовались как братья по оружию в борьбе против пангерманизма. После войны с Германией и захватов Эльзаса и Лотарингии почетным гостем на празднествах стало общество «Сокол», возникшее в Праге и распространившееся в областях, где жили славянские народы.

Подобно немецким и французским обществам, «Сокол» возник в начале 1860-х годов как смесь средневековой корпорации, современного военно-патриотического общества и спортивного клуба. Создано оно было на волне подъема освободительных националистических настроений у чехов Австро-Венгерской империи. Непосредственным поводом стало то, что в Turnen-клубы чехов либо не принимали, либо они сами не хотели туда идти из-за снобизма руководивших там немцев и монополии немецкого языка. Видя перед собой угрозу онемечивания, националистски настроенные Мирослав Тырш и Индрих Фигнер придумали «Сокол» как форму самоорганизации, которая бы стала основой нравственного и физического

воспитания молодёжи (Domorázec, 1920). За короткое время по всей Чехии образовалось множество сокольских обществ, в которых общение велось на чешском языке. Со временем «Сокол» стал позиционироваться как общеславянское движение. Освободительная война в Болгарии в 1877–1878 годах сильно повлияла на самосознание славянства в целом; возникло политическое течение «панславизм». В 1882 году в Праге прошел первый «всесокольский слет» — массовая гимнастическая манифестация единения славянства (Gąsior, Karl, Troebst, 2014; Glanc, Voß, 2016). Россия присоединилась к этому движению, когда ее отношения с Германией и Австро-Венгрией вконец испортились — около 1907–1908 годов.

Чем же, кроме своей политической направленности, сокольская система отличалась от гимнастики немецкой или шведской? Знаток античности Мирослав Тырш преподавал в университете историю искусств и в физических упражнениях особенно ценил эстетику, красоту движений. Соколы перерабатывали муштрующие вольные движения Шписса в духе «античности», подражая трудовым движениям, стилизовали движения народных и бальных танцев. В отличие от немецкой системы, многочисленные повторения не приветствовались — предпочтение отдавалось отдельному красиво выполненному движению. В сокольской гимнастике, как в балете, требовалось тянуть носок, «оформлять» пальцы рук и делать плавные переходы между движениями. Занятия шли под музыку. Соколы также придумали нарядный гимнастический костюм для занятий и парадный костюм — конечно, с соколиным пером на шляпе. В качестве снарядов использовались палки, булавы, фляжки, шарфы, палицы, пики (Фейгин, 1940: 27). Практиковались групповые упражнения на синхронность и построение гимнастических пирамид. Сообщая о подготовке к слету, сокольский начальник советовал: «Тех, кто не разучит упражнение так, чтобы доставить зрителю удовольствие, оставьте дома!» (Хроника, 1923: 105). У соколов был свой язык: общество называлось «гнездом», собрание — не съездом, а «слетом». Соколы разработали специальную гимнастическую терминологию на основе славянских корней: «сун», «присун», «поскок» и др. (Организация, 1948). Женщины также могли принять участие в занятиях и смотрах-состязаниях: для них были созданы специальные упражнения, близкие к танцу, и упражнения с шарфами или «снежками».

## Сокольское движение в России

На исходе лета, 29 августа 1912 года, на Сенатскую площадь в Петербурге стройно вышли двести пятьдесят учениц из двенадцати гимназий и школ, предводительствуемые учителем. Одеты они были в форменные платья с белыми передниками и вязаные белые шапочки, а в руках держали трехцветные кокарды. Это был Высочайший смотр средних учебных заведений, который принимал император со свитой (Сироткина, 2013). Под августейшими взглядами девочки дружно проделали несложные сокольские упражнения. Всего за пять лет до этого на сокольство в Российской империи распространялся негласный запрет, хотя существовали



Рис. 1. Всесокольский слёт в Праге. Плакат, 1907 г.

общества, в которых сокольская гимнастика практиковалась. Однако называться «сокольскими» этим обществам не позволялось из-за антиавстрийской референции этого слова. Но прошло несколько лет, и в стране уже существовали десятки обществ, были выстроены стадионы-«сокольни», сокольская гимнастика вводилась в школе и армии.

Первые в Российской империи гимнастические общества были созданы живущими здесь немцами и шведами. В 1832 году великий князь Михаил ввел в кадетских корпусах шведскую гимнастику. В других учебных заведениях физических упражнений не существовало, и лишь в 1871 году они были прописаны в Уставе гимназий и прогимназий (Зеликсон, 1940). Однако дело тормозилось из-за отсутствия штатной единицы преподавателя гимнастики и подготовленных инструкторов. В результате во многих гражданских учебных заведениях гимнастику или не преподавали вообще, или же ее вели отставныеunter-офицеры — и, конечно, на военный лад, в виде строевой подготовки. После катастрофической войны с Японией и революционных событий 1905–1907 годов ветер в России переменился. Премьер-министр П.А. Столыпин выдвинул лозунг «Революции — отпор, стране — реформы». Одной из этих реформ стало введение сокольской гимнастики. Начиная с 1907–1908 годов сокольство предстало в новом свете — не как антиавстрийская затея чехов, а как новое движение, на которое возлагается миссия

остановить, пользуясь словами А.И. Солженицына, «красное колесо» революции. Стали появляться сокольские общества, и в одно из них записались сам Столыпин с сыном.

К тому моменту сокольские общества де-факто существовали в России почти полвека (Sirotkina, 2016). Еще в 1881 году директор Первой Тифлисской гимназии Л. П. Марков выписал себе на должность преподавателя одного из лучших чешских соколов — Ю. Грумлика. Вслед за ним в Россию преподавать гимнастическую систему Тырша отправились соколы Скотак, Потучек и Лукеш. С 1889 по 1914 год в 386 учебных заведениях страны работали около двухсот чешских инструкторов-соколов, в том числе 36 женщин. В 1882 году в Москве открылось Русское гимнастическое общество (устав его был утвержден годом позже). Среди членов-учредителей числились генерал-губернатор князь П. Г. Волконский, писатели В. А. Гиляровский, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой. Цели общества, помимо укрепления и восстановления здоровья, свободного управления организмом, красоты и пластики, включали и политические, в патриотическом духе: «Любовь к народу, каждый — малая частичка огромного целого; отдельный человек ничто, целое — всё» (Беляев, 1909). Занимались в обществе разными видами гимнастики, включая сокольскую (ее преподавали чехи Франтишек Ольшаник и Фердинанд Шнепп). С момента основания в обществе существовал детский класс, с 1892-го — женский, а в 1903 году общество взяло в аренду известный на всю Москву каток на Патриарших прудах — сюда привозил кататься своих дочерей член РГО Лев Толстой.

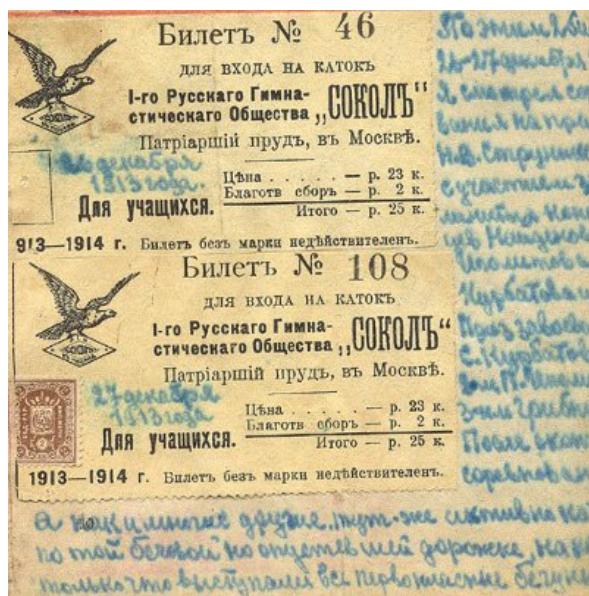


Рис. 2. Билет на каток 1-го Русского гимнастического общества «Сокол». Патриарший пруд, Москва, сезон 1913–14 гг.

Одной из причин открытия «русских» и «сокольских» обществ стала и неприязнь, реальная или воображаемая, с которой в немецких обществах «Turnverein» и «Пальма» встречали не-немцев. Актер Игорь Ильинский вспоминал, как мать привела его, пятилетнего, в гимнастическое общество «Турнфераин» на Цветном бульваре:

В «Турнфераин» меня не приняли. Во-первых, я был мал, не хватало по крайней мере еще трех лет; во-вторых, не приняли потому, что и я и мои родители не годились и не отвечали тем требованиям, которые предъявлялись там для поступающих детей.

Помню, что мать была крайне обижена сухостью и резкостью руководителя-немца, который ей об этом сообщил. В общем, дали от ворот поворот. Причинами, кажется, были и возраст, и мое несовершенное знание языка (я только еще начинал говорить по-немецки), и происхождение.

В этом было что-то очень обидное. Мальчики в красивых синих гимнастических костюмах с красными лаковыми поясами весело болтая по-немецки, пробегали мимо меня, а я стоял отверженный. Они были для меня недоступны. Я не был принят в их общество. Я чувствовал себя опозоренным, здесь, у себя, в родной Москве, маленьkim мальчиком.

Тогда мать повела меня в другое общество. Это было уже не немецкое, а русско-чешское гимнастическое общество «Сокол». Помещение было хуже. «Турнфераин» помещался рядом с цирком в настоящем большом манеже на Цветном бульваре, а «Сокол» — в реальном училище на Кудринской-Садовой.

Но главный учитель Фердинанд Фердинандович Шнепп так симпатично и радушно нас принял, так искрение обрадовался и посмеялся тому, что у него будет скоро пятилетний гимнаст, что тут же я и остался на первых занятиях.

Форма «Сокола» мне еще больше понравилась. Белые, открытые майки с красными кантиками, синие, обтягивающие ноги трико и красный вязаный поясок с белыми полосками.

Я с увлечением ходил на занятия, дома появились трапеция и кольца, и в эту же зиму я участвовал, замыкая колонну, на слете гимнастов-«соколов» в Московском городском манеже. (Ильинский, 1984: 89–90)

В 1900 году в Санкт-Петербурге и в Киеве возникают Чешские гимнастические кружки; три года спустя они переименовываются, соответственно, в Общество Север и Общество Юг. В том же 1903 году основано и утверждено властями Гимнастическое общество в Ташкенте. В 1905 году это общество и Общество Север в Санкт-Петербурге проводят гимнастические праздники, а еще через три года Общество Север разделяется на три: «Сокол-1», «Сокол-2» и «Сокол-3». Наряду с ним в столице действует Гимнастическое общество «Польский Сокол»<sup>2</sup>. Обвалом происходит переименование этих и других гимнастических обществ в «сокольские»: Русское гимнастическое общество в Москве теперь называется «первым обществом Сокол»; у него существует несколько отделений. В Москве же возника-

2. Я благодарю Ирину Богдановну Хмельницкую за указание на источник: Весь Петербург, 1911: 132.

ет близкое по духу «Всеславянское общество „Славия“ — вместе с гимнастикой здесь преподают славянские языки (Вся Москва, 1911: 929). Начинают выходить журналы: «Вестник русского сокольства», «Российский сокол» и «Сокол», с чешского языка переводятся учебники и руководства по гимнастике (Оченашек, 1911).

В 1908–1910 годах по поручению Военного министерства были подготовлены два варианта гимнастики для армии — шведской и сокольской. Изданний в 1910 году циркуляр «Наставление для обучения войск гимнастике» утвердил второй — за основу физических упражнений в армии была принята сокольская гимнастика (Зуев, 2002). Тогда же из Чехии были приглашены специалисты-соколы, доставлено значительное количество гимнастических снарядов и оборудования для организации учебных занятий. Большини тиражами издавались учебные пособия. В Главной гимнастическо-фехтовальной школе преподавал сокол Франтишек Эрбен (в эту школу чехов-инструкторов приглашали и раньше, начиная с 1889 года). После Высочайшего смотра этой школы в 1911 году Эрбену был пожалован орден Станислава II степени. Николай Второй любил посещать школу и наблюдать за занятиями. Так, 14 февраля 1913 года он записал в своем дневнике: «В 10 час. поехал в Петербург в Глав[ную]. Гимнаст[ически].-фехтовальную офицерскую школу. Прогулялся в ней два часа с большим интересом. Дело поставлено правильно иочно. Гимнастика производится лихо и отчетливо» [цит. по: (Sirotkina, 2014: 180)]. В 1912 году сокольская гимнастика преподавалась уже в 855 средних учебных заведениях, немецкая — в 415, шведская — в 296. Кружки сокольской гимнастики создавались в высших и средних учебных заведениях ведомства (Хмельницкая, 2011: 88–89).

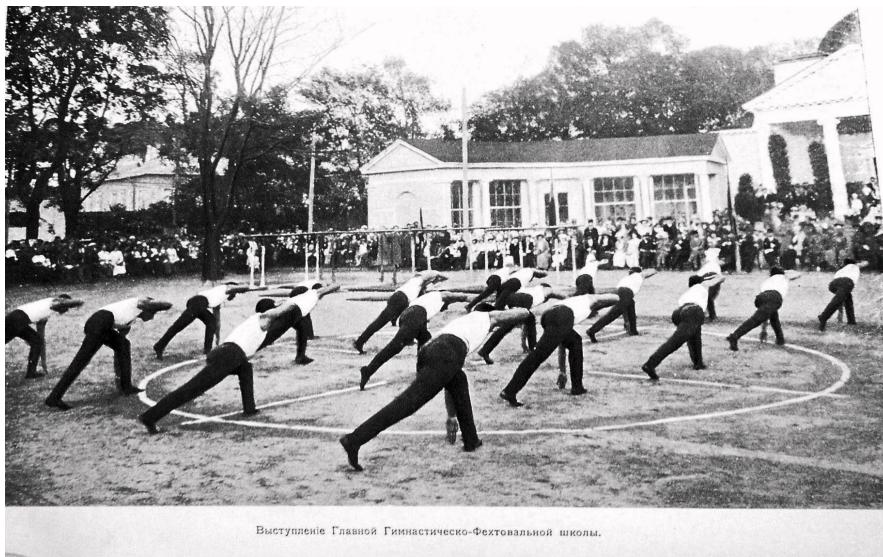


Рис. 3. Выступление Главной Гимнастическо-Фехтовальной школы.  
Петербург, около 1910 г.

В июне 1910 года Министерство народного просвещения утвердило Устав Союза Русского Сокольства. Союз провозглашал своей целью «распространять телесные упражнения для подъема физических и нравственных сил русского народа» (Примерный устав, 1913: 38). Менее чем через год в Москве, в здании Первого Реального училища, состоялся первый общий съезд Союза, на котором присутствовали представители пятнадцати обществ из одиннадцати городов. На этом съезде российское сокольство оформилось и как движение идейное — славянского национализма. Съезд постановил «принять в полном объеме сокольскую идею славянских братьев, как благородное стремление к физическому, моральному и духовному оздоровлению и совершенствованию личности и народа». В то же время не были забыты и имперские цели: говорилось, что «сокольство в России должно служить одним из элементов спаяния племен Российской империи во имя блага и могущества России» (Рылов, 2010). Принципы «демократизма, любви к ближнему, сознания гражданского и общественного долга и альтруизма» стояли на третьем месте.

Несмотря на то что сокольство было названо «культурным институтом, чуждым всяких политических замыслов» (Бобринский, 1909: 4), председателем Союза избрали А. С. Гижицкого, депутата Государственной Думы от Подольской губернии, известного своей националистической позицией. Вторым лицом в Союзе был граф В. А. Бобринский, член фракции русских националистов в Третьей Думе и лидер неославянского движения. Этот потомок Екатерины II поддерживал русское движение в Прикарпатской Руси, субсидировал русскую прессу в Австро-Венгрии, участвовал в Славянском конгрессе в Праге в 1908 году. О националистической опасности предупреждали либеральные политики, такие как депутат Первой и Второй Государственной Думы В. Д. Кузьмин-Караваев: «В России нет давящего русскую народность врага, потому одна и та же по содержанию национальная славянская идея обращает борьбу во имя ее в преследование» (Кузьмин-Караваев, 1912). Председатель одного из сокольских обществ Франтишек Эрбен напоминал своим российским коллегам, что одной антинемецкой идеи недостаточно: «Сокольство создавалось вовсе не исключительно в противовес нашествию германцев, оно имеет также просветительские и человеколюбивые задачи» (Эбер, 1913: 68).

И все же антинемецкая направленность Русского Сокола была очевидна. Из зала Думы эта тенденция распространилась в гимнастический зал. Участники Первого съезда заявили: «Мы считаем немецкие гимнастические общества национальными обществами и в союзы с ними не вступаем». Соколы призывали «учиться... не у чужих, не у врагов, а у своих, у братьев наших (чтобы в Русской державе заниматься гимнастикой, надо было быть немцем или же приписаться в немцы)» (Бобринский, 1909: 5). Один из первых пропагандистов физической культуры и спорта в нашей стране Георгий (Жорж) Дюперрон жаловался, что все существовавшие к тому времени в Петрограде гимнастические общества созданы немцами, финнами или эстонцами и обслуживаются только представителей этих национальностей. Государственную же гимнастику для России, по его мнению, могут создать

только соколы: «славянская организация сокольских обществ, а главное — сокольская гимнастика более пригодна для нас, нежели гимнастика немецкой школы» (Дюперрон, 1914: 149–151).

Союз русского сокольства намеревался открыть школы для подготовки преподавателей гимнастики и, в частности, обратился к академику В. М. Бехтереву, основателю Психоневрологического института в Петербурге. Еще студентом-медиком Бехтерев участвовал в Русско-Турецкой войне, служил врачом в действующей армии, присутствовал при осаде Плевны. Еще с той поры он симпатизировал славянскому движению, и когда оно было в России легализовано, стал его активным участником. Так, он возглавил петербургское общество Сокол-3, а в 1912 году вместе с Гижицким и товарищем министра народного просвещения Шевяковым присутствовал на слёте в Праге. В 1915 году (с некоторым опозданием, по причине начавшейся войны) вышел его рассказ об этом — «Юбилейные дни в Праге». Бехтерев приобщил к сокольству и свою дочь Екатерину: она была членом Технического комитета СРС, входила в руководство Обществом Сокола-1, ездила на слёты. Стоит отдельного упоминания, что женщины — «соколки» или «соколицы» — активно участвовали в движении, которое много послужило эмансипации. Когда в 1910 году в Москве впервые проводился «праздник легкой атлетики», в состязаниях участвовали и женщины — все они были соколками (Мягкова, 2002).

Первый общий слёт русского сокольства наметили провести в 1914 году в Москве. Для его подготовки представители 22 сокольских обществ собрались в 1913 году в Киеве. Там представили эскиз значка — силуэт птицы-сокола с раскрытыми крыльями и штангой в когтях, обсуждали правила состязаний и демонстрации упражнений мужчин и женщин, встал и вопрос об отношении сокольства к спорту. Гимнасты в целом смотрели на спорт — в особенности профессиональный — с большим подозрением, считая, и не без основания, что в спорте страдают принципы гармонического развития и коллективизма<sup>3</sup>. Один из соколов даже разразился стихотворной критикой спорта, сетуя на то, что спортсмены используют сокольские организации для своих целей:

Под крылом могучим «Сокола»  
Много «Спорт» нашел тепла,  
Хорошо, уютно около  
Соколиного крыла,

— так начиналось стихотворение анонимного автора. А кончалось оно призывом к Соколу порвать со Спортом:

Ну и рвись гнилая ниточка,  
Обратись скорее в тлен,

3. В XIX веке «профессиональным» назывались спортивные игры, где делались денежные ставки, — скачки и бои, в том числе петушиные (Vamplew, 2004).

Отворяйся дверь-калиточка,  
 Уходи-ка, брат-спортсмен!  
 Уходи без слез, без жалобы.  
 Сокол, знай: на грудь свою  
 Принимать не надлежало бы  
 Ядовитую змею...  
 (Хроника, 1914: 14–15)

В заключение киевского слета «увеселительная комиссия» устроила бал-маскарад, где была прочитана лекция-пародия «Наша система», показаны карикатурные упражнения и сокольские танцы. Из-за начала войны общероссийский слёт так и не состоялся. Соколы почти в полном составе отправились добровольцами на фронт, и очень многие не вернулись обратно.



Участники II-го Съезда руководителей С. Р. С. въ Киевъ (17 и 18 апрѣля 1913 г.).

Рис. 4. Участники сокольского слета в Киеве, 1913 г.

Февральская революция 1917 года встряхнула уцелевших соколов. Председатель Союза Владимир Горчин напоминал, что «в широкой демократичности заключался весь смысл сокольства», и советовал «каждому соколу» заново осмыслить «все, что он делает в сокольне по привычке», — и приветственный клич «наздарь», и лозунг «свобода, равенство, братство» (Горчин, 1918: 91). В России же в сентябре 1918 года было избрано Временное правительство и образован Первый округ «Союза Русского Сокольства». Правление Союза представило А.В. Луначарскому доклад

о задачах и направлениях деятельности сокольства и взялось сотрудничать с Всевобучем (Лях-Породько, 2009). Но советские власти смотрели с подозрением на любые общественные организации, тем более военно-патриотические, видя в них очаг контрреволюции. Оказавшиеся в эмиграции соколы пытались возродить сокольские общества, теперь уже с новой целью — сохранять национальную идею за рубежом и готовиться к возможной борьбе с большевиками. Эмигрантские издания перепечатывают текст «Сокольского завета»: «Обязуюсь быть верным Русскому Сокольскому Знамени как символу моего народа и Русского Сокольства. Да поможет мне в этом Всемогущий Бог!» (Ткачев, 1934). В самом начале 1920-х годов, вместе с другими дореволюционными спортивными и гимнастическими обществами, сокольство было запрещено, а немногие уцелевшие его участники репрессированы. Имущество Союза, как и имущество других спортивных обществ, перешло к Всевобучу (Парфёнов, 2009). В СССР о сокольстве можно было говорить только критически, обязательно упоминая о его национализме. «В условиях жандармской России, — утверждал один автор, — сокольство выступало как контрреволюционная организация, ставящая своей целью порабощение и угнетение многочисленных национальностей во славу русского царизма... отвлечение трудящихся от революционной борьбы» (Фейгин, 1940: 25).

После распада Советского Союза предпринимались попытки сокольство возродить — но уже не в контексте физического образования, которое за советское время превратилось в монополию государства, — а в виде военно-патриотического общества или клуба. Так архаическая модель физического воспитания, пришедшая к нам из глубины Средневековья, вновь оказалась востребованной — правда, пока в довольно скромных масштабах (Sirotkina, 2014: 191–193). И еще: хотя сокольская гимнастика тщательно изгонялась из советской физкультуры, следы ее можно найти, например, в любви советских физкультурников к построению пирамид или в упражнениях нового вида спорта, появившегося в середине XX века, — художественной гимнастики, где женщины выступают с лентами, обручами и булавами, как это бывало на сокольских слетах.

Подведем итоги. Домодерное физическое образование было подчинено задачам воспитания воинской доблести и служило знаком высокого, часто аристократического статуса. Эпоха создания в Европе национальных государств отмечена возникновением национальных систем физической подготовки — немецкой гимнастики (Turnen), шведской и сокольской гимнастик. В дореволюционной России первые гимнастические общества создавались приезжими немцами или немецкоязычными подданными. В тех редких случаях в XIX веке, когда физическое воспитание преподавалось в школе (в кадетских корпусах и некоторых гимназиях), использовались немецкая и шведская системы. Однако в начале XX века на волне антигерманской политики немецкая гимнастика по идеологическим причинам стала вытесняться сокольской, рождение которой было связано с освободительной борьбой славянских народов против Австро-Венгерской империи. Сокольство быстро распространилось в России, но на очень короткое время. После Ок-



Рис. 5. А. Родченко. Пирамида общества «Динамо»

тябрьской революции все прежние спортивно-гимнастические общества подпали под подозрение новой власти и были ликвидированы. Сокольские общества к тому же обвинили в национализме и монархизме, их членов репрессировали, а имущество обществ конфисковали. Элементы сокольской гимнастики были использованы при создании советских комплексов физических упражнений и вошли в новые виды спорта — художественную и эстетическую гимнастику. Некоторые современные военно-патриотические клубы пытаются возродить сокольскую гимнастику как национальный «русский» вид физического и нравственно-патриотического воспитания. На наш взгляд, эта история еще раз подтверждает, что глобализация спорта — лишь часть общей картины и что вопрос о национальном в физическом воспитании еще рано снимать с повестки дня социологии спорта.

## Литература

Беляев И. С. (1909). Двадцатилетие Русского Гимнастического Общества в Москве (1883–1908 годы). М.

Бобринский В. А. (1909). Россия и сокольство. Доклад на Сокольском празднике 2 мая 1909 г. в Зале Дворянского собрания в Пб. СПб.: Тип. Аwigдона.

Весь Петербург. Адресная и справочная книга (1911). СПб.: Изд. А. С. Суворина.

Вся Москва. Адресная и справочная книга (1911). М.

Горчин В. (1918). Письма к братьям и сестрам // Вестник русского сокольства. № 6. С. 87–92.

Дюперрон Г. А. (1914). О лиге, о соколах и о шведах // Вестник русского сокольства. № 9. С. 149–151.

Зеликсон Е. Ю. (1940). Очерки по истории физической культуры в СССР от отмены крепостного права и развития промышленного капитализма в России до Великой Октябрьской социалистической революции (1861–1917). М., Л.: Физкультура и спорт.

Зуев В. Н. (2002). Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm> (дата доступа: 05.04.2017).

Ильинский И. В. (1984). Сам о себе. М.: Искусство.

Качулина Н. Н. (1997). Сокольская гимнастика // Юбилейный сборник трудов научных РГАФК, посвященный 80-летию академии. Т. 1. М.: РГАФК. С. 15–18.

Корбен А., Куртин Ж.-Ж., Вигарелло Ж. (ред.). (2012). История тела. Т. 1: От Ренессанса до эпохи Просвещения. М.: Новое литературное обозрение.

Кузьмин-Караваев В. Д. (1912). Сокольство и идея славянского единения. СПб.

Ле Гоф Ж., Трюон Н. (2016). История тела в Средние века / Пер. с франц. Е. Лебедевой. М.: Текст.

Лях-Породько А. А. (2009). Гимнастико-спортивная и общественно-патриотическая деятельность «Союза Русского Сокольства» в Российской империи в начале XX века // Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. № 2. С. 94–100.

Мягкова С. Н. (2002). Физическое воспитание и спортивная деятельность женщин на рубеже XIX–XX вв. (по материалам педагогической и спортивной периодики). URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N6/p6-13.htm> (дата доступа: 05.04.2017).

Организация общества «Русский Сокол» (1948). Мюнхен: Златоуст.

Оченашек А. (1911). Краткий обзор истории гимнастики: руководство для преп. гимнастики в учеб. заведениях и для руководителей в гимнаст. о-вах «Сокол» / Пер. с чеш. А. Лукеш. Тифлис: Прогресс.

Парфёнов Р. А. (2009). Военно-физкультурное движение в Нижнем Новгороде в 1918–1923 годах // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Вып. 118. С. 58–62.

Примерный устав гимнастического общества «Сокол» (1914). СПб.

Проект нового устава Союза Русского Сокольства (1913) // Вестник Русского сокольства. № 2. С. 38–40.

Рылов В. Ю. (2010). Патриотические и военно-спортивные организации в общественно-политической жизни России начала XX века // Научные ведомости

Белгородского государственного университета. Сер.: История. Политология. Экономика. Информатика. Т. 7. № 14. С. 150–158.

*Сироткина И. Е. (2013). Взлет и падение Русского Сокола // Русское слово (Прага). № 7–8. С. 17–21.*

*Ткачев В. М. (1934). Памятка Русского Сокола. Белград: Просветительский комитет Союза Русского Сокольства.*

*Фейгин С. Л. (1940). Развитие систем гимнастики в Новое время. М., Л.: Физкультура и спорт.*

*Хмельницкая И. Б. (2011). Спортивные общества и досуг в столичном городе начала XX века: Петербург и Москва. М.: Новый хронограф.*

*Хроника (1913) // Вестник русского сокольства. № 3. С. 105.*

*Хроника (1914) // Сокол. № 1–2. С. 14–15.*

*Эбер Фр. (1913). Нужно ли России сокольство? // Вестник русского сокольства. № 3. С. 68–70.*

*Dixon J. G. (2007). Prussia, Politics and Physical Education // Dixon J. G. et al. (ed.). Landmarks in the History of Physical Education. London: Routledge. P. 107–148.*

*Domorázeč K. (1920). Dr. Miroslav Tyrš: The Founder of the Sokol-Union. Prague: Czecho-Slovakian Foreign Office.*

*Donnelly P. (2003). Sport and Social Theory // Houlihan B. (ed.) Sport and Society: A Student Introduction. London: SAGE. P. 11–27.*

*Gąsior A., Karl L., Troebst S. (eds.). (2014). Post-Panslavismus: Slavizität, Slavische Idee und Antislavismus im 20. und 21. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein.*

*Glanc T., Voß C. (eds.). (2016). Konzepte des Slawischen. Leipzig: Biblion Media.*

*Loy J. (1980). The Emergence and Development of the Sociology of Sport as an Academic Specialty // Research Quarterly for Exercise and Sport. Vol. 51. № 1. P. 91–109.*

*Maguire J. (1999). Global Sport: Identities, Societies, Civilizations. Oxford: Polity.*

*Naul R. (2003). Concepts of Physical Education in Europe // Hardman K. (ed.). Physical Education: Deconstruction and Reconstruction — Issues and Directions. Schorndorf: Hofmann. P. 35–52.*

*Sirotkina I. (2014). The Sokol Movement in Russia: History and Contemporary Revival // Gąsior A., Karl L., Troebst S. (eds.). Post-Panslavismus: Slavizität, Slavische Idee und Antislavismus im 20. und 21. Jahrhundert. Göttingen: Wallstein. P. 178–193.*

*Sirotkina I. (2016). Cultivating the Slavic Body: The Rugged Flight of the Russian Sokol // Glanc T., Voß C. (eds.). Konzepte des Slawischen. Leipzig: Biblion Media. P. 143–159.*

*Vamplew W. (2004). Pay Up and Play the Gate: Professional Sport in Britain, 1875–1914. Cambridge: Cambridge University Press.*

## National Models of Physical Education and the Sokol Gymnastics in Russia

*Irina Sirotkina*

PhD, Research Fellow, Institute for the History of Science and Technology, of the Russian Academy of Sciences  
Address: Baltiyskaya str, 14, Moscow, Russian Federation 125315  
E-mail: isiro1@yandex.ru

The article examines the issue of national models in physical education, which stands in an apparent opposition to the globalizing tendency in sport. It also describes the place of pre-Revolutionary Russia on the world map of physical education. The emergence of nation-states in Europe in the eighteenth and nineteenth centuries was marked by the creation of national models of paramilitary and/or physical training, including the German Turnen, the Swedish Gymnastics, and the Sokol Gymnastics. The last was invented in Prague in 1860's with the beginning of the Czech national revival against Austrian rule. The movement united Slavic peoples across Central and Eastern Europe; at the beginning of the twentieth century, Russia joined in. The nationalists developed a special system of exercises named "Sokol", (after the bird, "falcon"), destined to train Slavic youth. The Sokol gymnastics system quickly replaced the German system in the Russian Army and military schools. In the first decade of the twentieth century, the Russian Sokol Union, a voluntary organization promoting paramilitary physical education, was founded. After the Revolution, the Sokols suffered repression on the basis of their monarchism and nationalism. Yet some elements of physical training survived as part of artistic gymnastics. After the collapse of the Soviet Union, there were attempts to revive the Sokol physical training as "truly Russian". The case demonstrates that the issue of nationalism in physical education has not entirely vanished amidst the globalization of sport.

**Keywords:** physical education, national models, gymnastic systems, the Sokol Movement, Panslavism

### References

Belyaev I. (1909) *Dvadcatiletie Russkogo Gimnasticheskogo Obshhestva v Moskve (1883–1908 gody)* [Twenty Years of Russian Gymnastic Society in Moscow, 1883–1903], Moscow.

Bobrinsky V. (1909) *Rossija i sokol'stvo* [Russian and the Sokol Movement], Saint Petersburg: Avigdon.

Dixon J. G. (2007) Prussia, Politics and Physical Education. *Landmarks in the History of Physical Education* (eds. J. G. Dixon et al.), London: Routledge, pp. 107–148.

Domorázeč K. (1920) *Dr. Miroslav Tyrš: The Founder of the Sokol-Union*, Prague: Czecho-Slovakian Foreign Office.

Donnelly P. (2003) Sport and Social Theory. *Sport and Society: A Student Introduction* (ed. B. Houlihan), London: SAGE, pp. 11–27.

Duperron G.A. (1914) O lige, o sokolah i o shvedah [On the Ligue, on the Sokols, and on the Swedes]. *Vestnik russkogo sokol'stva*, no 9, pp. 149–151.

Feigin S. (1940) *Razvitiye sistem gimnastiki v Novoe vremja* [Evolution of Gymnastic Systems in Modernity], Moscow: Fizkultura i sport.

Gąsior A., Karl L., Troebst S. (eds.) (2014) *Post-Panslavismus: Slavizität, Slavische Idee und Antislavismus im 20. und 21. Jahrhundert*, Göttingen: Wallstein Verlag.

Glanc T., Voß C. (eds.) (2016) *Konzepte des Slawischen*, Leipzig: Biblion Media.

Gorchin V. (1918) Pis'ma k brat'jam i sestram [Lettres to Brothers and Sisters]. *Vestnik russkogo sokol'stva*, no 6, pp. 87–92.

Khmelnitsaya I. (2011) *Sportivnye obshhestva i dosug v stolichnom gorode nachala XX veka* [Sport Societies and Leisure in a Capital City in the Early Twentieth Century], Moscow: Novy hronograf.

Hronika (1913) [Chronicle]. *Vestnik russkogo sokol'stva*, no 3, pp. 105–106.

Hronika (1914) [Chronicle]. *Sokol*, no 1–2, pp. 14–15.

Ilinsky I. (1984) *Sam o sebe* [Me on Myself], Moscow: Iskusstvo.

Eber Fr. (1913) *Nuzhno li Rossii sokol'stvo?* [Does Russia Need the Sokol Movement?]. *Vestnik russkogo sokol'stva*, no 3, pp. 68–70.

Kachulina N.N. (1997) *Sokol'skaja gimnastika* [The Sokol Gymnastic]. *Jubilejnyj sbornik trudov uchenyh RGAKF. T. 1* [The Anniversary Works of RGAKF Researchers], Moscow: RGAKF, pp. 15–18.

Korben A., Kurtin Zh.-Zh., Vigarello Zh. (ed.) (2012) *Istoriya Tela. T. 1* [History of the Body, Vol. 1], Moscow: New Literary Observer.

Kuzmin-Karavaev V. (1912) *Sokol'stvo i ideja slavjanskogo edinenija* [The Sokol Movement and the Idea of Slavic Unity], Saint Petersburg.

Le Goff J., Truong N. (2016) *Istoriya Tela v Srednie veka* [History of the Body in Middle Ages], Moscow: Tekst.

Lyakh-Porodko A. (2009) *Gimnasticheskoe-sportivnaja i obshhestvenno-patrioticheskaja dejatel'nost' "Sojuza Russkogo Sokol'stva"* [Gymnastic, Educational, Social and Patriotic Activity of the Russian Sokol Union]. *Pedagogika, psichologija i mediko-biologicheskie problemy fizicheskogo vospitanija i sporta*, no 2, pp. 94–100.

Loy J. (1980) The Emergence and Development of the Sociology of Sport as an Academic Specialty. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, vol. 51, no 1, pp. 91–109.

Maguire J. (1999) *Global Sport: Identities, Societies, Civilizations*, Oxford: Polity.

Myagkova S. (2002) *Fizicheskoe vospitanie i sportivnaja dejatel'nost' zhenshhin na rubezhe XIX i XX vv.* [Female Physical Education and Sport at the Turn of the 19th and 20th Centuries]. Available at: <http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2002N6/p6-13.htm> (accessed 5 April 2017).

Naul R. (2003) Concepts of Physical Education in Europe. *Physical Education: Deconstruction and Reconstruction — Issues and Directions* (ed. K. Hardman), Schorndorf: Hofmann, pp. 35–52.

Organizacija obshhestva "Russkij Sokol" (1948) [The Organisation of the Russian Sokol Society], Munich: Zlatoust.

Ochenashek A. (1911) *Kratkij obzor istorii gimnastiki* [Brief Account of the History of Gymnastics], Tiflis: Progress.

Pamjatka Russkogo sokola (1934) [Memoir of the Russian Sokol]. Available at: <http://morz.bfrz.ru/html/dokuments.html> (accessed 5 April 2017).

Parfyonov R. (2009) Voenno-fizkul'turnoe dvizhenie v Nizhnem Novgorode v 1918–1923 godah [Military and Physical Culture Movement in Nizhni Novgorod, 1918–1923]. *Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Science*, vol. 118, pp. 58–62.

Primernyj ustav gimnasticheskogo obshhestva "Sokol" (1914) [Exemplary Charter of the Sokol Gymnastic Sociey], Saint Petersburg.

Proekt novogo ustava Sojuza Russkogo Sokol'stva (1913) [A Project of the Russian Sokol Union Charter]. *Vestnik russkogo sokol'stva*, no 2, pp. 38–40.

Rylov V. (2010) Patrioticeskie i voenno-sportivnye organizacii v obshhestvenno-politicheskoy zhizni Rossii nachala XX veka [Patriotic and Sport Organisations in the Social and Political Life of Russia at the early twentieth century]. *Belgorod State University Scientific Bulletin*, vol. 7, no 14, pp. 150–158.

Sirotkina I. (2013) Vzlet i padenie Russkogo Sokola [A Rise and Fall of the Russian Sokol]. *Russkoe slovo*, no 7–8, pp. 17–21.

Sirotkina I. (2014) The Sokol Movement in Russia: History and contemporary revival. *Post-Panslavismus: Slavizität, Slavische Idee und Antislavismus im 20. und 21. Jahrhundert* (eds. A. Gąsior, L. Karl, S. Troebst), Göttingen: Wallstein, pp. 178–193.

Sirotkina I. (2016) Cultivating the Slavic Body: The Rugged Flight of the Russian Sokol. Konzepte des Slawischen (eds. T. Glanc, C. Voß), Leipzig: Biblion Media, pp. 143–159.

Tkachev V. (1934) *Pamjatka Russkogo sokola* (1934) [Memoir of the Russian Sokol], Belgrad: Prosvetitel'skij komitet Sojuza Russkogo Sokol'stva.

Vamplew W. (2004) *Pay up and Play the Gate: Professional Sport in Britain, 1875–1914*, Cambridge: Cambridge University Press.

Ves' Peterburg (1911) [All Petersburg], Saint Petersburg: Suvorin.

Vsja Moskva (1911) [All Moscow], Moscow.

Zelikson E. (1940) *Ocherki po istorii fizicheskoy kul'tury v SSSR (1861–1917)* [Essays on the History of Physical Culture in the USSR, 1861–1917], Moscow: Fizkultura i sport.

Zuev V. (2002) *Normativno-pravovye akty v reguljacii upravlenija otechestvennoj sferoj fizicheskoy kul'tury i sporta* [Normative and Legal Acts in Regulation of National Physical Culture and Sport]. Available at: <http://lib.sportedu.ru/press/tpfk/2002N7/p51-61.htm> (accessed 5 April 2017).

## Гендер, нация и класс как ресурсы социальной мобильности\*

ГАПОВА Е. КЛАССЫ НАЦИЙ: ФЕМИНИСТСКАЯ КРИТИКА НАЦИОСТРОИТЕЛЬСТВА. М.: НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ, 2016. 368 с. (БИБЛИОТЕКА ЖУРНАЛА «НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ ЗАПАС»). ISBN 978-5-4448-0584-8

*Ирина Тартаковская*

Кандидат социологических наук, доцент социологического факультета  
Государственного академического университета гуманитарных наук,

старший научный сотрудник Института социологии РАН

Адрес: ул. Кржижановского, д. 24/35, корп. 5, г. Москва, Российская Федерация 117259  
E-mail: [lucia.richardson@gmail.com](mailto:lucia.richardson@gmail.com)

«Классы наций» представляют собой сборник статей известного в русскоязычном пространстве специалиста в области гендерных исследований и феминистской теории Елены Гаповой, основательницы Центра гендерных исследований минского Европейского гуманитарного университета, в силу политических причин продолжившего потом свою деятельность в Вильнюсе (а сама Елена — в Western Michigan University в США). Эти биографические детали в данном случае важны, потому что рецензируемая книга носит не только академический, но и достаточно личный характер. Это не означает, что автор много рассказывает о себе, но практически все тексты написаны так, что можно почувствовать и личную интонацию, и постоянную рефлексию своей эпистемологической позиции, которая всегда является и политической позицией — в том смысле, в котором об этом писала Сандра Хардинг и многие другие авторы<sup>1</sup>. Нациестроительство в новых постсоветских государствах, обострение классовых противоречий, взлет и политизация темы гендерных отношений, возникновение и развитие гендерных и феминистских исследований представляют собой не только сферу ее научных интересов, но и реальный контекст жизни и академической деятельности.

Возможно, благодаря этому книга написана очень живым языком и населена не только теориями и концептами, но и конкретными героями (чаще героинями) — историческими фигурами, медийными персонажами, участницами различных

© Тартаковская И. Н., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: [10.17323/1728-192X-2017-2-340-347](https://doi.org/10.17323/1728-192X-2017-2-340-347)

\* Текст подготовлен в рамках проекта «Межпоколенная социальная мобильность от XX века к XXI: четыре генерации российской истории», поддержанного Российским научным фондом (грант № 14-28-00217-П).

1. Harding S. (1994). Science is «Good to Think with» // Ross A. (ed.). The Science Wars. Durham: Duke University Press. P. 17–21.

конфликтов и жертвами социальных и культурных разломов. Объектами социологического и феминистского анализа становятся участницы группы Pussy Riot и юная невеста чеченского силовика Хеда Гойлабиева, Светлана Алексиевич и студентки МГУ, снявшиеся в белье, чтобы порадовать своего и нашего президента, забытая героиня борьбы за независимую Беларусь и коллеги — гендерные исследователи. Все это происходит не в ущерб академической значимости сборника, но делает его очень читабельным, притом не только для социальных ученых, но для любых читателей, которым эти темы могут быть интересны. Этот сборник очень удобно, наверное, использовать в дидактическом плане, разбирать со студентами — что я и собираюсь сделать в ближайшем учебном семестре.

Все эти тексты в той или иной версии были уже опубликованы ранее, а некоторые достаточно хорошо известны в профессиональном сообществе, но будучи собранными вместе, они приобретают дополнительный смысл и производят эффект взаимной интерференции: получается своего рода эпопея, в которой гендер, нация и класс становятся полноценными персонажами наряду с людьми из плоти и крови, взаимодействуют и соперничают между собой, а иногда подавляют и поглощают друг друга.

Главным героем в этой «драме с несколькими актерами», как определяет свое творение сама автор, несомненно, является класс. На различных примерах, в разном историческом контексте Гапова обнаруживает свидетельства работы классовых механизмов, борьбы социальных групп за экономические, социальные и культурные ресурсы. Так, например, в первом, программном тексте «О гендере, нации и классе в посткоммунизме», открывающем сборник, она анализирует формирование «гендерной риторики» деятелей национально-ориентированной белорусской оппозиции, и находит, что эта риторика не только глубоко патриархальна — женские тела, женские судьбы оказываются собственностью нации и ареной политической борьбы, что всегда характерно для националистических движений, как показала Н. Ювал-Дэвис<sup>2</sup>, — но и опосредована классовыми интересами. «Владение женщинами и их потребление есть классовый маркер, который выполняет функцию наделения маскулинностью как атрибутом «западного», т. е. капиталистического — в смысле обладания ресурсами, возможностей получения дохода и способов потребления — класса», — пишет Гапова (с. 41). Это очень характерная цитата, позволяющая хорошо представить теоретическую оптику автора: она показывает здесь пересечение гендерного, национального и классового неравенства в виде некой формулы, в которой доминирующий класс оказывается не только мужским, «потребляющим женщин», но и «западным» — не в буквальном смысле, но подражающим западным способам получения дохода и стилям потребления. Применительно к постсоветской Беларуси «западное» (скорее, западническое, ориентированное на Запад и заодно провозглашающее своей целью национальную независимость) оказывается заодно и капиталистическим. Собственно, и вся

2. Yuval-Davis N. (1997). Gender and Nation. London: SAGE. P. 39–67.

национальная идея сводится, с ее точки зрения, к тому, чтобы «оправдать систему классового и гендерного неравенства, прикрывая ее истинные значения более «благородным» национальным интересом» (с. 33), — «невозможно было позвать людей на баррикады, сказав: «Мы тут строим экономическое неравенство — присоединяйтесь к нам!» (с. 25). Таким образом, нация оказывается не просто «выдуманным сообществом», но совсем уж простой, жульнической выдумкой, прикрывающей желание быстро присвоить пока еще свободные ресурсы, оставшиеся от советского прошлого. Собственно, тема нации в сборнике, несмотря на название, довольно быстро уходит на второй план, точнее, полностью поглощается классовой: вынесенное в заголовок выражение «классы наций» можно понимать практически буквально, потому что национальное имеет смысл лишь как нехитрая (но почему-то эффективная) маскировка классовых интересов.

Примерно так же обстоит дело и с гендерной иерархией — по мнению автора книги, «дискуссии о гендерном равенстве могут быть способом обсуждения предпочтаемого общественного устройства: социализма и капитализма» (с. 115), причем за гендерное равенство, разумеется, отвечает социализм. Это предположение само по себе кажется мне большой натяжкой — в общественных дебатах чрезвычайно редко проводятся подобные сопоставления, поскольку гендерное не/равенство не ассоциируется обычно ни преимущественно с социализмом, ни с капитализмом, более того, в исследованиях советского и постсоветского гендерного порядка принято считать, что речь идет именно о разных типах патриархата, т. е. неравенства<sup>3</sup>. Гапова этого, в общем-то, не отрицает напрямую, признавая, что «критики советской модели эмансипации в западной славистике [хотя далеко не только они. — И. Т.] нередко отмечали, что большевики были озабочены не столько правами женщин, сколько получением рабочей силы, необходимой для ускоренной индустриализации страны], — но уже в следующем предложении замечает: «Однако собственно „цель“ в данном случае не так важна (хотя стремление ликвидировать гендерное неравенство, которое еще со времен „Коммунистического манифеста“ считается в марксизме продолжением классового, несомненно): женская эмансипация невозможна вне экономической независимости, получаемой на основе трудовой деятельности (но не ренты или содержания). Советский эмансипационный проект начал распадаться вместе с деиндустриализацией...» (с. 102).

«Коммунистический манифест», конечно, является авторитетным документом, но, боюсь, не самым сильным доказательством честности и успешности советского «эмансипационного проекта». Тем более что, по мнению автора, этот проект продолжал себе осуществляться не только в первые послереволюционные годы, когда действительно был принят целый пакет законов, направленных на установ-

3. Ашвин С. (2000). Влияние советского гендерного порядка на современное поведение в сфере занятости // Социологические исследования. № 11. С. 63–72; Здравомыслова Е., Темкина А. (2007). Советский элакратический гендерный порядок // Здравомыслова Е., Темкина А. (ред.). Российский гендерный порядок: социологический подход. СПб.: Изд-во ЕУСПб. С. 96–137.

ление гендерного равенства, но и все советские годы, вплоть до деиндустриализации 1990-х: включая, видимо, сюда и сталинский запрет абортов, и ЧСИРовские женские лагеря, и красноречивое отсутствие женщин на всех сколько-нибудь значимых уровнях власти вплоть до последних советских лет... Конечно, если понимать его буквально в качестве вовлечения женщин в трудовую деятельность, то тут трудно поспорить: здесь был достигнут значительный успех, которому особенно способствовал закон о тунеядстве. Но назвать всю эту политику «эмансипацией» лично у меня язык бы все-таки не повернулся.

Не удержусь от еще одной цитаты: вышеупомянутые рассуждения включены в статью «Предложение, от которого невозможно отказаться...», в которой, собственно, речь идет о «неравном браке» 17-летней Хеды Гойлабиевой и немолодого чеченского силовика. Это событие служит для автора поводом для анализа гендерных отношений в Чечне, которые деградировали до «моральной экономики деревни» (по сравнению с куда более продвинутыми советскими, когда подобный брак, видимо, был бы невозможен). Я не хочу сейчас оспаривать эту гипотетическую возможность/невозможность, меня просто «зацепила» одна чисто стилистическая деталь: понятие «моральная экономика деревни» было предложено экономистом А. Чаяновым, на которого автор статьи честно ссылается, кратко оговорив: «впоследствии погибшим» (с. 104). Ну как погибшим — расстрелянным в 1937 году, в ходе самой что ни на есть индустриализации... Я не то чтобы считаю, что об этом факте обязательно упоминать в данном контексте, но если уж упоминать — стоит договорить до конца. Что, правда, немного эмоционально подорвет критический пафос описания последствий деиндустриализации...

Рецензируемый сборник при этом не стоит упрекать в апологетике советского прошлого, эти примеры и стилистические ходы нужны автору для совершенно определенной теоретической цели, а именно для того, чтобы показать, что за любыми видами неравенств, иерархий и исключений всегда стоят именно классовые отношения. С этим тезисом, вообще говоря, довольно трудно спорить: экономическое неравенство, описанное хоть в терминах классов, хоть социальных капиталов, является одним из важнейших измерений социальной матрицы. Но для автора оно становится не просто важнейшим из важнейших, а практически единственным: Гапова видит классовые противоречия не только источником гендерного неравенства, по отношению к которому собственно гендерные иерархии всегда вторичны, но и причиной идеологических споров и в постсоветской академии, и в феминистской среде. Одна из ранее опубликованных статей автора буквально так и называлась: «Классовый вопрос постсоветского феминизма, или Об отвлечении угнетенных от революционной борьбы»<sup>4</sup>. Постсоветский феминизм позиционировался в ней именно как вредное заблуждение, а скорее всего, даже и идеологическая диверсия, отвлекающая трудящихся от верного пути на баррикады. Конечно, прибегая к столь суровой лексике раннего марксизма, автор слегка иронизирует,

4. Гапова Е. (2007). Классовый вопрос постсоветского феминизма, или Об отвлечении угнетенных от революционной борьбы // Гендерные исследования. № 15. С. 144–164.

привлекая внимание к своей позиции с помощью интеллектуальной провокации, или, говоря современным языком, троллинга. Но только слегка...

Снова и снова Е. Гапова присоединяется к аргументам влиятельного феминистского автора Нэнси Фрэзер, противопоставившей борьбу за «распределение» материальных ресурсов (применительно к гендерному порядку это могут быть материнские пособия, доступные детские сады и т. п.) борьбе за «признание» — автономию и достоинство, характерной для второй волны феминизма<sup>5</sup>. Это не означает, конечно, что Гапова что-то имеет против борьбы за достоинство, но в постсоветских условиях неолиберальных экономик — или даже протекционистских, белорусского типа — отдает первому виду борьбы безусловный приоритет. И даже более того: в том, что большинство постсоветских феминистских авторов пишут, скорее, с позиций борьбы за «признание», чем за «перераспределение», она видит не просто их заблуждение, но классовую позицию. Этой теме посвящена статья «Национальное знание и международное признание: постсоветская академия в борьбе за символические рынки» (с. 249–291). С самим очерком, описывающим функционирование постсоветской академии — глубоко расколотой, ориентирующейся на разные авторитеты и референтные группы, зависящей от различных внешних ресурсов, не согласиться сложно, это очевидные вещи. Но здесь любопытны детали: позиция социальных ученых-«западников», ориентирующихся на нормы международного академического сообщества, стремящихся печататься в престижных западных научных журналах и работать в независимых университетах и исследовательских центрах, оказывается тоже «классовой», или, по крайней мере, имеющей классовые корни. Для того чтобы этот факт стал наглядным, автор статьи специально вводит понятие эпистемологического капитала, являющегося частным случаем культурного капитала в терминах Бурдье<sup>6</sup>. В качестве такого капитала выступает «особое», элитарное знание, которым владеют ученые такого типа (в отличие от «традиционных» вузовских и научных работников, которые, по мнению Гаповой, до сих пор ориентируются на советские академические нормы) — западные теории, знание иностранных языков... Более того, по мнению автора, этот капитал был в какой-то степени получен ими по наследству: все они позаканчивали в свое время английские спецшколы, жили в столицах и еще в советское время имели доступ в спецхраны библиотек, куда обычных людей не пускали. Там, в спецхранах, они и находили правильные книги ключевых международных авторов, которые позволили им потом с лету вписаться в западные академические дискурсы и капитализировать свое «особое знание». Капитализировать — потому что, с точки зрения Гаповой, они и поныне имеют привилегированный статус: зарабатывают в своих независимых университетах, как в западных, в любой момент могут пропустить семестр, чтобы поработать за границей, и т. п. Короче говоря, нужды обычных трудящихся им не близки, в ре-

5. Fraser N. (1995) From Redistribution to Recognition? Dilemmas of Justice in a 'Post-Socialist' Age // New Left Review. Vol. 212. P. 68–93.

6. Bourdieu P. (1988). *Homo Academicus*. Stanford: Stanford University Press.

зультате чего они и предлагают им такие теории и такую публичную позицию, которая только отвлекает их от классовой борьбы... В полной мере это относится и к постсоветским специалистам по гендерным исследованиям.

Здесь трудно, конечно, не сбиться на ернический тон, потому что в памяти всплывают шаблоны газеты «Правда», если не «Завтра», или даже можно вспомнить прослушанный в юности курс научного коммунизма и обозвать всю эту систему аргументации «вульгарным марксизмом» — было, помнится, такое меткое выражение в адрес тех, кто применял идеи классиков слишком линейно: даже с точки зрения очень ортодоксального марксизма идеологический аппарат работает несколько сложнее. Но если все же удержаться от этой терминологии, стоит заметить, что значительное большинство гендерных исследователей и феминистски ориентированных авторов в России работает не в независимых исследовательских центрах, а в обычных провинциальных университетах, знание иностранного языка очень недолго было исключительной привилегией столичных «мажоров», не говоря уже о доступе к другим видам «эпистемологического капитала». Кстати, о спецхране — просто из личного опыта хорошо помню, что работы того же Бурдье, Дерриды и, например, Фуко в позднесоветское время были в открытом доступе в Ленинской библиотеке, там же я без всяких препятствий познакомилась когда-то с первыми в своей жизни феминистскими книгами. Ну да, Российская государственная библиотека, она же бывшая «Ленинка», находилась и по сей день находится в Москве, но, например, из моей родной, вполне себе провинциальной Самары не одна я, а большинство аспирантов-гуманитариев (а часто и дипломников) ездили туда для работы над диссертацией. «Эпистемологический капитал» лежал перед нами свободными грудами еще до массового внедрения в нашу жизнь Интернета, а сейчас о феминизме как об «особом знании» и вовсе странно говорить...

Если же перейти от личных историй на более теоретический уровень, то, не разворачивая сейчас критические аргументы по поводу подхода Н. Фрэзер<sup>7</sup>, поскольку подробное освещение этой дискуссии выходит за пределы задач данной рецензии, хочу все же отметить, что здесь мы имеем еще одну попытку несчастливого брака между марксизмом и феминизмом: как явствует из хрестоматийной статьи Хайди Хартманн<sup>8</sup>, феминизм в таком союзе обычно не выживает, а растворяется без остатка...

На примере большого исследовательского проекта «Межпоколенная социальная мобильность...», в котором я сейчас работаю, мне снова и снова приходится

7. А таких аргументов выдвинуто уже немало, например: Kompridis N. (2007). Struggling Over the Meaning of Recognition: a Matter of Identity, Justice, or Freedom? // European Journal of Political Theory. Vol. 6. № 3. P. 279–281; Young I. (1997). Unruly Categories: A Critique of Nancy Fraser's Dual Systems Theory // New Left Review. Vol. 222. P. 147–160; Xu D., Hong X. (2015). Critical Reflection on Nancy Fraser's Theory of Justice // Cross-Cultural Communication. Vol. 11. № 9. P. 43–47.

8. Hartmann H. (1986). The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: Towards a More Progressive Union // Sargent L. (ed.) The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism: A Debate on Class and Patriarchy. London: Pluto Press. P. 1–41.

убеждаться в том, что единственная возможность корректно определить траектории социальной мобильности и конфигурации реального неравенства заключается в интерсекциональном подходе, который позволяет рассматривать социальные статусы, практики, идентичности как результат сложного взаимодействия множества взаимосвязанных параметров социальной дифференциации. Я полностью согласна с точкой зрения Ювал-Девис, указывающей, что их взаимодействие всегда контекстуально, и ни один из факторов не является жесткой детерминантой по отношению к другому<sup>9</sup>. Анализ буквально каждого интервью показывает, что гендер определяет жизненные шансы представителей разных социальных групп, служит барьером и горизонтом возможностей, короче говоря — имеет значение. Равно как и возраст, и, конечно же, класс. Попытка объявить только одно измерение неравенства «главным», а остальные — не столь актуальными, может оказаться полезной для построения условной модели, но попытка серьезно объяснять таким образом социальную реальность не будет выглядеть убедительной.

Так, например, в заключении к одной из статей сборника Гапова пишет: «В классовом характере происходящих на постсоветском пространстве социальных процессов скрывается и причина отсутствия здесь сколько-нибудь значимого женского движения» (с. 43). Возможно, но в этой логике мы должны наблюдать здесь значимое движение эксплуатируемых классов за перераспределение ресурсов и против социального исключения — но со всей очевидностью не наблюдаем, и вряд ли из-за того, что их отвлекают от классовой борьбы феминизмом. Более того, попытки различных политических акторов (да хоть той же КПРФ) продвигать «социальную повестку» не встречают в обществе никакого особого отклика. И хотя бы из этого простого примера можно заключить, что социальная и идеологическая система функционирует гораздо сложнее...

Все вышесказанное, конечно, не столько критика, сколько попытка включиться в дискуссию, и совершенно не отрицает несомненных достоинств книги, в которой рассматривается еще много увлекательных сюжетов, кроме классовой борьбы. Лично мне больше всего понравилась статья, посвященная расстрелянной в 1930-е годы белорусской революционерке Полуте Бодуновой, в которой автор предлагает анализ ее воспоминаний — всего нескольких сохранившихся страничек, оставшихся непонятными и невостребованными. На этом примере Гапова показывает трагизм попыток «женского письма», не имеющего в своем арсенале ни выразительных средств, ни ресурсов авторитета, гарантирующего внимание слушателей. В главе о Светлане Алексиевич она аргументированно показывает различную роль бедности и страдания в советской и постсоветской моральной идеологии, и это один из лучших прочитанных мною текстов на эту тему.

Таким образом, в ряду попыток разобраться в происходящем на постсоветском пространстве и предложить оригинальный, хотя и небесспорный, анализ текущих

9. *Yuval-Davis N. (2006). Intersectionality and Feminist Politics // European Journal of Women's Studies. Vol. 13. № 3. P. 193–210.*

событий «Классы наций» является яркой книгой и, безусловно, заслуживает самого серьезного внимания.

## Gender, Nation, and Class as Social Mobility Resources

*Irina Tartakovskaya*

Candidate of Sociological Sciences, Associate Professor, Department of Sociology, State Academic University for the Humanities

Senior Research Fellow, Institute of Sociology, Russian Academy of Sciences

Address: Krzhizhanovskogo str., 24/35, bld. 5, Moscow, Russian Federation 117259

E-mail: lucia.richardson@gmail.com

Review: Elena Gapova, *Klassy nacij: feministeskaja kritika naciostroitel'stva* [Nation's Classes: A Feminist Critique of the Nation-Building] (Moscow: New Literary Observer, 2017) (in Russian).

# От макроистории — к исторической макросоциологии

## К эвристике нового исследовательского направления

СЕРГЕЕВ С. М. (2017). РУССКАЯ НАЦИЯ, ИЛИ РАССКАЗ ОБ ИСТОРИИ ЕЕ ОТСУТСТВИЯ. М.: ЦЕНТРПОЛИГРАФ.  
575 С. ISBN 978-5-227-06623-7

*Олег Богуславский*

Научный сотрудник Центра фундаментальной социологии  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000  
E-mail: [kildyushov@mail.ru](mailto:kildyushov@mail.ru)

Рецензируемая книга завершает многолетние исследования автора в области истории русской общественной мысли, истории русского национального сознания и русского нациестроительства. В ней он подводит — безусловно, пока предварительные — итоги своих изысканий, сводя в смелой целостной макроисторической конструкции результаты предшествующих работ<sup>1</sup>. Одновременно книга является своеобразным обзором новейшей российской и зарубежной историографии русской истории, включая работы последних лет. Таким образом, помимо авторской концепции национальной истории, сочинение С. М. Сергеева открывает доступ широкой общественности к достижениям и выводам отечественных и зарубежных историков, в том числе работающих в очень специальных областях, редко вызывающих заметный интерес читающей публики, — например, исторической демографии или исторической статистике.

Видимо, из-за двойственного характера текста, соединяющего оригинально-авторский и компилятивно-обзорный элементы, книга стала просто идеальным объектом острой критики, причем с самых разных научно-историографических и общественно-идеологических позиций. Поэтому прежде чем перейти к обсуждению содержания самой книги, кажется уместным высказать несколько соображений более общего плана, формально выходящих за рамки жанра рецензии и не связанных с собственно тематикой данной работы, но имеющих отношение к нынешнему структурированию дискурсивного пространства.

Я хотел бы начать ни много ни мало с определения статуса события, каковым для современной историографии русской истории стал выход книги С. Сергеева:

© Богуславский О., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

DOI: 10.17323/1728-192X-2017-2-348-353

1. Сергеев С. М. (2004). Русский национализм и империализм начала XX века // Сергеев С. М. (ред.). Нация и империя в русской мысли начала XX века. М.: Скимень; Сергеев С. М. (2010). Пришествие нации? М.: Скимень.

судя по очень амбивалентной реакции заинтересованной публики он маркирует возникновение нового направления в отечественном научном ландшафте, которое можно с определенной осторожностью назвать «русско-национальной» или «национально-демократической школой» в российской исторической науке. И выход столь масштабной по макроисторическим амбициям книги сразу превращает автора в корифея данного направления.

При этом следует учитывать, что в существующих политических условиях единственно возможной формой публичной активности интеллектуалов является «семантическая политика», т. е. борьба за смыслы, за культурную гегемонию по Антонио Грамши. Речь идет о попытках конкурирующих интеллектуальных групп сделать свои собственные представления и образы желаемого будущего нормативными, общезначимыми, в идеале — доминирующими. Понятно, что формирующееся на наших глазах научное направление вынуждено вести ожесточенную дискурсивную борьбу во всех сегментах поля интеллектуального производства, причем не только с официальным дискурсом, но и с не менее мощными конкурентами, например, из либерального и левого лагерей. И важнейшим полем этой борьбы за определение будущего становится русская история, которая традиционно рассматривается как стратегический ресурс общественно-политической мобилизации.

Поэтому не должна удивлять та бурная дискуссия, что возникла вокруг книги Сергея Сергеева сразу после ее выхода. К тому же данное сочинение воспринимается разными критиками в качестве текста, выполненного в различных интеллектуальных жанрах: одни прочитали ее как политический памфlet, другие — как историософский трактат, третьи — как нациеведческое исследование, четвертые — как националистический манифест. Понятно, что текст, позиционируемый как образец столь гетерогенных жанров, просто был обречен стать событием интеллектуально-литературной жизни и предметом интенсивного обсуждения — при этом не всегда добросовестного с точки зрения стандартов научности. Ведь книга была воспринята не просто неоднозначно, но и вызвала у идеологически ангажированной публики ряд — совершенно необоснованных — обвинений автора в «русофобии», «очернении отечественной истории» и даже «нелюбви к имперской красоте», как выразился один из традиционалистских критиков во время ее публичного обсуждения в московском клубе «Маяк» в феврале 2017 года. Видимо, это было неизбежно именно из-за жанровой неопределенности данного труда, и автор предсказал подобную реакцию части публики во введении к нему (с. 24).

Однако если отбросить эти нелепости и перейти к предметному обсуждению предложенной концепции русской истории, то можно указать на ряд проблем содержательного и структурного свойства, которые действительно заслуживают спокойного и заинтересованного разговора. Возвращаясь к содержанию работы, сразу следует признать, что это абсолютно ревизионистский труд, сознательно рвущий со всей предшествующей традицией историописания. Более того, в нем содержится радикальная смена исследовательской оптики — Сергеев предлага-

ет посмотреть на прошлое русского народа так, как его видели не из Кремля или Зимнего дворца, а каким оно представляло из крестьянской избы, мелкопоместной усадьбы, старообрядческого скита, солдатской казармы или сибирского острога. Стоит ли говорить, что в результате смены оптики перед нами предстает радикально иная картина прошлого, почти ни в чем не совпадающая с хрестоматийными образами исторической России, знакомыми еще с детства.

Как точно заметил один западный исследователь массовых представлений о прошлом, миллионы школьных учебников не могут ошибаться. Речь идет о том, что транслируемые через систему образования в политико-дидактических целях образы героического прошлого представляют собой не просто определенную картину мира, но и тот, говоря сленгом школы Анналов, ментальный инструментарий, с помощью которого затем оперируют миром, в том числе внешним. Совместно разделяемый исторический нарратив — это не просто определенный рассказ о героических предках, но и определенная когнитивная рамка, задающая способы отношения к целым классам объектов, включая собственный и чужие народы.

В этом смысле книга С.М. Сергеева программно деконструирует устоявшийся в течение веков взгляд сверху на русское прошлое. При этом он не просто опровергает ошибки и заблуждения традиционной державнической историографии, но и показывает, как та устроена, кем и в чьих интересах: «Историй, написанных с точки зрения властителей, у нас довольно, здесь предлагаются истории с точки зрения народа, создавшего великую страну, но так и не ставшего ее хозяином» (с. 26).

По собственному опыту скажу, что освоение этой книги — трудный и болезненный процесс даже для подготовленного читателя: постоянно ловишь себя на мысли, что просто отказываешься следовать за логикой автора, лишающего тебя надежной опоры в виде давно усвоенного. Реакция многих критиков из различных идеологических лагерей подтверждает это некомфортное чувство болезненного расставания с привычной картиной глорифицированного национального прошлого...

В любом случае следует приветствовать добросовестную дискуссию, в ходе которой наверняка удастся уточнить или даже пересмотреть те или иные положения автора и его последователей. Также можно надеяться, что вслед за данной книгой последуют другие работы и самого Сергея Михайловича Сергеева (он еще по академическим меркам относительно молодой автор) и других исследователей русско-национального направления в исторической науке.

Понятно, что практически неизбежные обвинения автора в идеологических «смертных грехах» со стороны традиционалистов всех мастей, готовых исторически легитимировать любые действия деспотической власти высокими державными целями<sup>2</sup>, лишь подтверждают архаичность подобного подхода к прошлому и его политико-прагматический характер. В этом смысле демократизация и национализация русского исторического сознания является важнейшим элементом

2. Словно антиципируя подобные инвективы, автор цитирует В. В. Розанова, писавшего в этой связи о «философии выпоротого человека» (с. 16).

политической модернизации нашей страны, протагонистом которой открыто выступает новое историографическое течение.

Далее я попытаюсь обратить внимание на ряд тематических комплексов, делающих книгу Сергеева релевантной именно с точки зрения социальной теории:

1. Обсуждаемая в книге «нация» является солидарным сообществом, исторически возникающим довольно поздно — в эпоху политического модерна, когда на смену модели, в которой трансцендентально (обычно религиозно) легитимированная власть осуществляет господство над принципиально неравными подданными, приходит модель принципиально равных сограждан-компатриотов, осуществляющих имманентно рационализированную власть над самими собой.

2. В этом смысле нация — модерный вариант так называемых «мы-сообществ», то есть исторически контингентных сообществ судьбы, которые конституируются на основе единства военно-политического опыта и экономического взаимодействия их участников, обеспеченных общностью культурной традиции.

3. Подчеркивая политико-правовой статус современной нации, Сергей Сергеев указывает на принципиальное отличие данного типа «мы-групп» от этнокультурных сообществ предшествующих видов: речь идет о рефлексивном процессе самоконструирования «мы-группы», включая определение ее границ.

4. В данной конструкции нации ключевое значение получают реальные и манифестируемые шансы на участие — прежде всего участие политическое, например, посредством электоральной техники модерна, а также участие в общем богатстве, но не менее важно участие в нормативных культурных практиках, создающих корпус совместно разделяемого знания и ценностный консенсус.

5. Исходя из данной социально-теоретической перспективы, речь в книге Сергеева идет ни много ни мало о поиске в русской истории укорененных в реальной практике и легитимированных национальной культурной традицией институтов кооперации и координации индивидуальных интересов, обеспечивающих при этом возможность общего блага или общественного интереса, т. е. о традиции как условии возможности модерна.

6. При этом сама постановка вопроса автором близка к веберовской. Достаточно вспомнить, что в текстах, посвященных Русской революции, классик мировой социологии Макс Вебер прямо указывал на «внешторический» характер институтов, которые должны были появиться в Российской империи в ходе политической модернизации:

...что можно считать в сегодняшней России подлинно «историческим»? Если исключить Церковь и крестьянскую общину... не останется ничего, кроме абсолютной власти Царя, унаследованной от татарских времен; то есть системы власти, которая после распада «органической» структуры, определявшей облик России XVII–XVIII веков, буквально повисла в воздухе свободы, принесенной сюда ветром, вопреки всякой исторической логике. Страна, еще каких-то 100 лет назад напоминавшая своими наиболее укорененными в национальной традиции институтами монархию Диоклетиана, не может найти

такую формулу «реформы», которая имела бы местные «исторические» корни и была бы при этом жизнеспособной<sup>3</sup>.

7. Таким образом, поиск Сергеевым русской нации в русской истории является радикальной попыткой модернизации традиционного исторического нарратива путем его перевода из языка макроистории на язык исторической макросоциологии. Ведь в своих исследованиях он фокусируется на изучении более или менее автономных сообществ, которые потенциально могли стать основой самостоятельных и независимых от верховной власти социальных сил, функционирующих на фундаменте правых и договорных отношений — причем как между собой, так и в отношениях с верховной властью<sup>4</sup>.

8. Подобная юридизация и политизация национального дискурса<sup>5</sup> имеет множество теоретически важных последствий: например, встает вопрос о переопределении границ «мы-сообщества» политической нации в отличие от обычной этнокультурной общности. Условием включения в нацию становится фактическое участие в нормативных практиках определенного, модерного типа, а не простое совместное проживание на одной территории<sup>6</sup>.

9. Далее автоматически встает вопрос о радикальном пересмотре исторического канона и пантеона героев, ведь в этой оптике героический суворовский переход через Альпы из демонстрации непобедимости русского духа и мощи русского оружия превращается в бессмысленную геополитическую авантюру вроде позднесоветского вторжения в Афганистан или нынешнего участия РФ в сирийском конфликте. И даже Бородино из места воинской славы видится как следствие сомнительного для национальных интересов русских участия Российской империи в антифранцузских коалициях европейских монархий!

10. В целом речь идет не только о принципиально иной квалификации национальных героев, но и о поиске носителей иных, протомодерных националистических добродетелей, нежели те, что предписывались традиционным государственным дискурсом служилого патриотизма.

На наш взгляд, именно эти и ряд других содержательных моментов авторской концепции русской истории представляют интерес не только для исторического нациоведения, но и для социальной теории модерна.

3. Вебер М. (2007). К положению буржуазной демократии в России // Вебер М. О России. М.: РОССПЭН. С. 14.

4. Ср.: «В разговоре о нации важно понять, что она в идеале — не рой, не стадо, а свободное единство независимых личностей» (с. 17).

5. Сергеев ссылается на формулу известного русского политолога Павла Святенкова: «Нация — это пакет политических прав». См.: Святенков П. В. (2010). К вопросу о нации // Вопросы национализма. № 1.

6. Стоит ли говорить, что это автоматически ставит вопрос о самоисключении из сообщества принципиально равных компатриотов всех тех, кто не разделяет национально-нормативный консенсус, — например, тех же охранителей «старого порядка», т. е. приверженцев своего донационального статуса — сторонников сохранения собственного положения подданных у ног трансцендентной по своей природе верховной власти.

Конечно, как и в случае любой крупной историографической концепции, труд Сергеева вызывает массу важных вопросов структурного характера, связанных с самим жанром макроистории. Например, такие: насколько сегодня может претендовать на научность высказывание, описывающее события «национальной истории» от легендарного князя Олега до В. Путина? Можно ли в рамках научного дискурса говорить о существенном тождестве или генетической связи упоминаемой в договорах с Византией «руси» и путинских «россиян»? Насколько в рамках макроистории вообще возможно строить эвристически интересные модели, не теряя операционального характера используемых понятий и не скатываясь в давно дискредитированный жанр историософии или альтернативной истории? Насколько осмысленно говорить о «тенденциях» в действиях власти той же Российской империи применительно к XVIII и началу XX века, ведь более детальный взгляд тут же выявит различия в самой административной практике, в способах ее дискурсивной легитимации и т.д.

Следующая группа вопросов связана с компаративистским элементом концепции, в которой в качестве нормативной модели выступает некая нормативная нация западноевропейского образца: насколько можно говорить об одной-единственной версии генезиса Современности или все-таки продуктивнее говорить о плюральности путей к модерну на самом Западе (*multiple modernities*)<sup>7</sup>?

Наконец, книга Сергея Сергеева ставит перед протагонистами русской модернизации важнейший вопрос в духе М. Вебера, напрямую связанный с самим «апофатическим методом» автора: если в России отсутствуют исторически укоренившиеся институты, необходимые для образования «мы-группы» модерного типа, т.е. искомой автором русской нации, если, более того, существующие группы интересов блокируют формирование современного национального сознания, то каковы институционально обоснованные шансы на появление в наших широтах классического для буржуазной демократии вида солидарного сообщества принципиально равных в правовом смысле компатриотов, совместно определяющих свое будущее?

## From Macrohistory to Historical Macrosociology: Toward the Heuristics of the New Research Approach

*Oleg Boguslavsky*

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics  
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000  
E-mail: kildyushov@mail.ru

Review: Sergey Sergeev, *Russkaja nacija, ili Rasskaz ob istorii ee otsutstvija* [Russian Nation; or, The Narrative of the History of Its Absence] (Moscow: Centrpolygraf, 2017) (in Russian).

<sup>7</sup> Eisenstadt S. N. (2000). *Multiple Modernities* // *Daedalus*. Vol. 129. № 1. P. 1–29; Knöbl W. (2001). *Spielräume der Modernisierung: Das Ende der Eindeutigkeit*. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.

## «Екатерина III»

САФРОНОВА Ю. А. (2017). ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВСКАЯ: РОМАН В ПИСЬМАХ. СПБ.: ИЗД-ВО ЕУСПБ. 404 С.  
ISBN 978-5-94380-237-9

*Андрей Тесля*

Кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных наук  
Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта,  
доцент кафедры философии и культурологии социально-гуманитарного факультета  
Тихоокеанского государственного университета  
Адрес: ул. А. Невского, д. 14, г. Калининград, Российская Федерация 236016  
E-mail: [mestr81@gmail.com](mailto:mestr81@gmail.com)

Книга Юлии Сафоновой, доцента факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге, является первой научной биографией княжны Екатерины Михайловны Долгоруковой, многолетней любовницы и с 1880 года жены императора Александра II. Историческая ценность и важность данной работы несомненна — княжна играла большую роль в жизни императора, а в период 1880–1881 годов — и в политической жизни Российской империи; вокруг ее имени существовала и существует масса ничем не обоснованных представлений, вымыщленных историй и слухов, она — популярный персонаж исторической беллетристики разного сорта и т. д. Нас, однако, в данном случае интересует проблематика, выходящая за пределы исторического исследования в узком смысле слова, поскольку книга, с одной стороны, является опытом написания биографии, свободной от «биографизма» как ослабления требований научности, а с другой стороны, будучи биографическим исследованием, содержит не только ценный материал, но и, на наш взгляд, весьма плодотворные авторские наблюдения, относящиеся к истории придворного общества, русской эмоциональной культуры XIX столетия, сексуальности и т. п.

Биография в современной исторической научной литературе — подозрительный, сомнительный жанр — и, как отмечает сама исследовательница, жанр «не-уютный»: «Писание биографии, в отличие от чтения, способно привести в отчаяние» (с. 6). «Неуютность» эта, полагаем, связана с тем, что в биографии обнажается та природа исторического знания, которую удобнее скрыть, в том числе и от себя, в иных исторических предприятиях — история оказывается в конце концов историей людей, причем именно «историей», то есть связанным повествованием, рассказом, подчиняющимся природе повествования и претендующим рассказать нам, коллегам и просто заинтересованным читателям, нечто о прошлом. В биографии самый тонкий анализ презентаций в итоге упирается в тот вопрос, который в

иных случаях можно обойти или оставить «подвешенным»: насколько все эти презентации соотносятся с тем, что они репрезентируют? Или же, не отсылая к «реальности самой по себе», как они воздействуют на других, то есть сами по себе являются реальностью? Всякая биография претендует на возможность говорить о другом — не собирать, но восстанавливать целостность субъекта, доступ к которому осуществляется только через рассыпанные (по той или иной, иногда довольно случайной, логике) сохранившиеся источники — на *постижение индивидуальности* в ситуации, когда оба элемента поставлены под вопрос.

Напряжение, заявленное в первом абзаце работы, определяет ее в целом: некоторое портретирование, штрихи, оценки допускаются автором в отношении персонажей второго плана — несколькими словами характеризуется первый муж младшей дочери кн. Юрьевской, подробнее обрисовывается облик сына — князя Георгия Александровича и т. д. Портретное, очерковое не уходит, но ему отводится низший уровень, там, где ответственность исследователя идет на убыль: напротив, центральному лицу повествования отведен минимум прямой авторской речи — отзывы о Юрьевской, оценки и суждения — это в основном слова других лиц, функция автора здесь понимается как обозначение положения лица, выносящего суждение, помещение последнего в надлежащий контекст. Со сложившимися оценками и суждениями исследовательница спорит, сопоставляя их между собой или с другими источниками, но сама воздерживается от прямого произнесения собственного суждения, своей квалификации: исследовательская задача — сохранение дистанции при биографическом описании, свобода от домысла и предоставление собирания разнообразных деталей в «портрет» читателю. «Домысел» неизбежен, сама логика текста, его линейность, предполагает последовательную смену событий и распределение важного и малозначительного, но авторская задача заключается в том, чтобы максимально держать его под контролем.

Структура работы определяется материалами, находившимися в распоряжении исследовательницы, для каждого этапа жизни княжны Долгоруковой они отличны, с явным преобладанием того или иного типа источников. Так, для 14 лет, в течение которых она была любовницей императора, имеется огромный объем переписки между любовниками, тогда как иные материалы — вроде дневников, мемуарных или эпистолярных свидетельств наблюдателей — практически целиком отсутствуют: не только правительственные круги, но и свет «не замечали» существования многолетней любовной связи императора, его «второй семьи». После кончины императрицы Марии Александровны император вступил во второй брак — оставшийся необъявленным публично, но существенно видоизменивший придворную сферу: с 1880 года об императоре, его второй жене, их семье, об отношениях с императорской фамилией как при жизни, так и после гибели Александра II имеется масса свидетельств, но почти целиком исчезает переписка между Юрьевской и Александром II.

В результате перед биографом задача особого типа: если обычно можно двигаться на сопоставлении голосов, сравнении разнородных свидетельств, как соз-

данных целенаправленного, так и возникших непреднамеренно, но относящихся к одному и тому же предмету, то в случае с кн. Юрьевской ситуация иная. Если использовать визуальную метафору, можно сказать, что каждая фаза ее жизни оказывается видимой лишь с одного ракурса, а следующая фаза освещается уже с совсем другой стороны. И следовательно, почти нет возможности сопоставить не только разнородные свидетельства между собой, но и увидеть, как фиксировалось с одного ракурса то, что теперь дается с другого.

В основу исследования легли материалы архива княгини Юрьевской, поступившие в Государственный архив РФ (ГАРФ) в 2001 году, в первую очередь письма Александра II (3450) и кн. Е. М. Долгоруковой (1458). При всем внешнем обилии источников их содержание скорее разочаровывает — вереница писем посвящена почти исключительно личному, частному, к тому же язык писем все более ритуализируется: многолетние любовники не столько сообщают друг другу информацию, сколько совершают ожидаемые жесты, долженствующие подтвердить неизменность чувств, напомнить о былом и т. д. Вопреки всему этому исследовательница справедливо высказывает надежду, что ее «монография... развеет сложившееся... представление о „пустоте“ и „бессодержательности“ материалов архива княгини Юрьевской (с. 380): вместо того чтобы пытаться извлечь из писем событийное содержание, на которое они действительно весьма бедны, Сафонова анализирует их как единый комплекс, где повторяющееся, привычное, ритуализированное — уже не препятствие, а сам по себе заслуживающий внимания материал. Интересен сам анализ языка переписки — в отличие от ситуации полувековой давности, для императора, вводящего во французский текст русские предложения, они являются «средством большей эмоциональной выразительности. Особенно это касается обсуждения сексуальных вопросов, язык для которого пара изобретала сама. Так же русские высказывания имели характер спонтанности, а французские — ритуальности» (с. 117).

Наиболее многогранно в работе проанализирована тематика эмоциональных режимов, в которых действуют персонажи. Исследовательница обращает внимание на тот факт, что княжна Долгорукова окончила Смольный институт, восприняв хорошо известную специфическую культуру «смольянинок», с присущей им экзальтированностью, традициями «обожания» и т. п. При этом если многими в 1860-х, не говоря о позднейших годах, подобный стиль поведения расценивался как «неестественный», вызывающий критические реакции или прямое отторжение, то для Александра II, как и для многих других представителей императорской фамилии его поколения и предшествующих, он был привлекателен — собственно, именно близость к императорскому двору способствовала консервации последнего, несмотря на попытки реформировать Смольный институт (с. 58–59).

Хотя исследовательница и сближает эмоциональную модель, присущую Александру II, скорее с его дядей, Александром I, чем с отцом, из-за чего в глазах сыновей и многих других членов двора император уже в 1870-е годы выглядел статомодно, однако его склонность к романтическому жесту и т. п. не кажется нам

противостоящей тем моделям, на которые ориентировался его отец. Николая I с его сыном роднила культура бидермейера, ему были присущи стремление к разграничению публичного и частного пространств существования (образчиком чего стала петергофская «Александрия»), склонность к рыцарственному, романтическому. Иное дело, что для Александра II на передний план выходила «непосредственность», «искренность», «чистота сердца» и т. п. Как отмечал Ричард Уортман, преобладающим в царствование Александра II был «сценарий любви»: подданные должны были в первую очередь «обожать» своего государя, а он — отвечать им взаимностью, их должен был охватывать энтузиазм, непосредственное ликование, которое «невозможно сдержать».

В эти эмоциональные формы легко «попадала» княжна Долгорукова — институтка, сформировавшаяся в рамках весьма специфических эмоциональных режимов, которые и транслировала в дальнейшем и которые естественно совпали с присущими императору. Они вдвоем выстроили целую систему памятных для них двоих дат, изобретали собственные слова (особенно в сексуальной сфере, где их побуждала к этому крайняя бедность, сниженность или медикализированность русского языка), обменивались бесконечными подарками и сувенирами. Регулярно повторяющиеся ссоры, приступы ревности и т. п. были вписаны в эту систему чувств.

Конфликт делает зримым существующие противоречия, различия в интерпретации, в повседневности остающиеся непроявленными — это с особенной глубиной демонстрирует проделанный Сафоновой анализ придворной ситуации 1880–1881 годов, сначала в связи со вторым браком императора, а затем, уже в новое царствование, в связи с положением княгини Юрьевской. Исследовательница отмечает, что в конфликте между новой семьей Императора и семьей Наследника определяющую роль играла цесаревна Мария Федоровна — именно ей была присуща наибольшая острота реакций, в отличие от цесаревича Александра Александровича, занявшего осенью 1880 года примирительную позицию. Предложенная в работе убедительная интерпретация состоит в том, что имело место противоречие публичного и приватного статусов. В приватной сфере за княгиней Юрьевской никто не отрицал ее положения в качестве жены императора — однако она не являлась императрицей и не имела публичного статуса члена императорской фамилии. После кончины Марии Александровны ее место на публичной сцене принадлежало Марии Федоровне, как старшему по статусу члену женской половины императорской фамилии, тогда как фактическое помещение на него кн. Юрьевской воспринималось как оскорбление, тем более тяжкое, что княгиня Юрьевская в качестве морганатической супруги не только не была членом императорской фамилии, но ее брак с императором оставался необъявленным (по крайней мере вплоть до истечения годичного траура по Марии Александровне), так что с официальной точки зрения она являлась лишь частным лицом — любовницей государя. Позиция Александра Александровича оказывалась более компромиссной: с одной стороны, его собственному публичному статусу урон не наносился, а с дру-

гой — демонстрируя повиновение и сыновнее послушание отцу и государю, он как раз следовал логике династического подчинения, укреплявшего и его собственную позицию.

Гибель Александра II несколько изменила эту схему: новый государь относился к княгине Юрьевской как к морганатической супруге его отца, неприятной для него, но заслуживающей уважительного отношения в память умершего, и ради ее чувств ей в первые недели после 1 марта 1881 года воздавали почести, на которые она не имела права. Это в глазах двора было знаком «доброго отношения», милостью со стороны государя, тогда как княгиня считала, что имеет на них полное право. Так, княгиня претендовала на то, чтобы хотя бы часть слуг в ее новой петербургской резиденции принадлежали дворцовому ведомству, а не числились в частном услужении, однако новый государь, взяв на себя весьма щедрые финансовые обязательства (годовой пенсион в 100 тыс. руб.), в предоставлении ей в услужение дворцовых лакеев отказал. Аналогичная ситуация сложилась и по поводу права останавливаться в императорских дворцах или пользоваться царскими комнатами на вокзалах — княгиня настаивала на том, чтобы рассматриваться как публичное лицо, тогда как в глазах верховной власти она являлась исключительно частной персоной, пусть и имеющей право на особое внимание к себе.

Подробно проанализированы исследовательницей слухи, связанные с якобы готовившейся в 1881 году коронацией княгини Юрьевской и введением ее сына, светлейшего князя Георгия Александровича в число наследников российского престола. Сафонова приходит к выводу, что обоснованно говорить об изменении Учреждения об Императорской фамилии нет оснований — предполагалось оглашение брака, намеченное на май 1881 года, в декабре-январе 1880–1881 годов были утверждены без опубликования сенатские указы о вступлении государя в брак и об узаконении детей от княгини Юрьевской с присвоением им этой фамилии, однако с указанием на ограничения в правах, вытекающие из Учреждения об Императорской фамилии 1797 года. Следовательно, «по крайней мере в декабре 1880 года Александр II не планировал включать Георгия Юрьевского в число возможных наследников престола и, возможно, не думал о коронации его матери» (с. 261–262). Сложная политическая ситуация и обострение отношений в императорской фамилии (где братья императора встали на сторону кн. Юрьевской, поскольку это давало и Константину, и Николаю Николаевичам, давно создавшим «вторые семьи», надежду после кончины своих официальных супруг приемлемым образом узаконить сложившиеся связи) провоцировали разрастание слухов и предположений, в том числе и в бюрократических кругах. Однако сама княгиня Юрьевская заговорит о планах коронации уже после гибели Александра II, а, как отмечалось ранее, она в целом была склонна смешивать частное и публичное и не разграничивать статусы, к этому времени уже радикально различные во вполне институционализированной императорской фамилии, не смешиваемой ни Александром III, ни его дедом и даже отцом с системой личных отношений.

Подводя итог, отметим, что исследование Сафоновой подтверждает достигнутую на протяжении XIX века достаточно высокую степень институционализации императорской власти, превращения императорской фамилии в правовой институт не только на уровне официальных юридических актов, но и соответствующих юридических практик — чем и обуславливаются многочисленные конфликты кн. Юрьевской в 1880-м и в последующие годы: она понимала природу императорской власти как персональную, законной жене императора, по ее мнению, полагался статус императрицы, а ее детям — великих князей, тогда как для большинства членов императорской фамилии данные статусы имели юридическую, а не биологическую природу и не определялись личным усмотрением монарха. За последним не отрицалась, разумеется, абсолютная власть, но использоваться она должна была разумным, не саморазрушительным образом, а следовательно, быть свободной от произвола.

## “Catherine III”

*Andrey Teslya*

Senior Research Fellow, Institute for the Humanities, Immanuel Kant Baltic Federal University

Associate Professor, School of Social Studies and Humanities, Pacific State University

Address: A. Nevskogo str., 14, Kaliningrad, Russian Federation 236041

E-mail: mestr81@gmail.com

Review: Yulia Safronova, *Ekaterina Yurievskaya: roman v pis'mah* [Ekaterina Yurievskaya: The Novel in Letters] (Saint Petersburg: EUSPb Press, 2017) (in Russian).

ЛЮББЕ Г. (2016). В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ: СОКРАЩЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В НАСТОЯЩЕМ / ПЕР. С НЕМ. А. Б. ГРИГОРЬЕВА И В. А. КУРЕННОГО ПОД НАУЧ. РЕД. В. А. КУРЕННОГО. М.: НИУ ВШЭ. 456 С. ISBN 978-5-7598-0839-8

*Александр Сувалко*

Преподаватель школы культурологии, аналитик лаборатории исследований культуры,  
аспирант аспирантской школы по философским наукам  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российской Федерации 101000  
E-mail: [suvalko@gmail.com](mailto:suvalko@gmail.com)

В 2016 году в издательстве Высшей школы экономики вышел перевод одной из важнейших монографий философа Германа Люbbe «В ногу со временем: сокращенное пребывание в настоящем». Во время подготовки этого перевода была проделана серьезная работа по уточнению сложнейших технических терминов, которыми изобилует текст Люbbe, составлен предметно-тематический указатель и написано подробное введение. По нашему мнению, это событие знаменует начало рецепции его философии культуры на русском языке.

Герман Люbbe наряду с философом Одо Марквардом составляют ядро школы Иоахима Риттера. К сожалению, и работы исследователей школы Риттера, и их собственные практически не представлены в российской академической среде и знакомы только узкому кругу специалистов. В России же одним из главных интеллектуалов современности негласно считается Юрген Хабермас, хотя, по данным современного рейтинга Global Thought Leader Index<sup>1</sup> за 2015 год, он занимает лишь второе место среди немецких публичных философов, а первое место — Герман Люbbe.

До появления на русском языке рецензируемой книги в России выходили исключительно разрозненные переводы Люbbe. Так, в 1994 году в журнале «Вопросы философии» были опубликованы реферат книги «В ногу со временем» и работа «Историческая идентичность»<sup>2</sup>. Название последней — Identität durch Geschichten — можно перевести как «идентичность через историю». В этой работе обнаруживается влияние на Люbbe феноменолога, философа и юриста Вильгельма Шаппа, один из центральных тезисов которого звучит так: «История ручается за человека» (Die Geschichte steht für den Mann). Иными словами, за каждым человеком стоят истории, внешним свидетельством которых выступают официальные документы — CV, водительские права, различные справки и т. д. Описание соб-

---

© Сувалко А. С., 2017

© Центр фундаментальной социологии, 2017

doi: 10.17323/1728-192X-2017-2-360-365

1. <http://www.thoughtleaders.world/en/>

2. Люbbe Г. (1994). В ногу со временем: о сокращении нашего пребывания в настоящем / Пер. с нем. Н. С. Плотникова // Вопросы философии. № 4. С. 94–113; Люbbe Г. (1994). Историческая идентичность / Пер. с нем. Н. С. Плотникова // Вопросы философии. № 4. С. 108–113.

ственной биографии позволяет посмотреть на себя в зеркало и понять, что за личность стоит за этими формальными удостоверениями личности.

За последние несколько лет на русском языке вышли три работы исследовательницы исторической памяти и темпоральных режимов модерна Алейды Ассман. В книгах «Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика» (2014), «Новое недовольство мемориальной культурой» (2016) и «Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна» (2017)<sup>3</sup> для экспликации своих подходов Ассман активно использует разработанные Люббе понятия, такие, например, как «коллективное умолчание», благодаря которому немецкое послевоенное общество смогло адаптироваться к новому демократическому режиму. Суть этого умолчания заключалась в том, что антифашисты не стали преследовать миллионы бывших рядовых членов нацистской партии, воспользовавшись этим, последние приняли участие в строительстве нового государства<sup>4</sup>.

В работе «Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна» Ассман обращается к теории компенсации, разработкой которой занимались представители школы Риттера, а также подробно разбирает семь характеристик восприятия времени в эпоху модерна, которые описывает Люббе в своих работах. «Прецепция», «сокращение настоящего», «экспансия будущего» — эти и другие понятия подробно проанализированы в работе «В ногу со временем», где Ассман предлагает к ним свои развернутые комментарии в контексте социальной теории и философии.

В интеллектуальном ландшафте Германии Герман Люббе вслед за многими интеллектуалами своего времени относится к поколению, не просто пережившему Вторую мировую войну, но и прошедшему ее в качестве прямого участника боевых действий. В 17 лет он был призван на фронт во вспомогательные части противовоздушной обороны, а после войны в 1946 году успел побывать в советском плену. Это поколение принято называть поколением «помощников зенитчиков» (Flakhelfer-Generation), в 2013 году о них в Германии был снят фильм, появился ряд публикаций<sup>5</sup>. Люббе и его поколение, пережившее взлет и падение Третьего рейха, вслед за одноименной работой Гельмута Шельски также иногда называют «скептическим». Люббе писал, что если бы Шельски познакомился с участниками семинара Collegium Philosophicum в 1947 году, то у него была бы возможность скорректировать свой диагноз в отношении «скептического поколения». Его пред-

3. Ассман А. (2014). Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение; Ассман А. (2016). Новое недовольство мемориальной культурой / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение; Ассман А. (2017). Распалась связь времен? Взлет и падение темпорального режима Модерна / Пер. с нем. Б. Хлебникова и Д. Тимофеева. М.: Новое литературное обозрение.

4. Ассман А. (2016). Новое недовольство мемориальной культурой / Пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение. С. 42–49.

5. См., например, книгу: Herwig M. (2013). Die Flakhelfer: Wie Aus Hitlers Jüngsten Parteimitgliedern Deutschlands Führende Demokraten Wurden. München: Deutsche Verlags-Anstalt, а также фильм Алейды Ассман «Конец, означавший начало: поколение „помощников зенитчиков“».

ставители отказываются от любого рода идеологий, ориентируясь на функциональный pragmatism (с. 8).

Не стоит забывать и о влиянии школы Риттера на политическую культуру Федеративной Республики Германии<sup>6</sup>. Так, в 1966–1970 годах Люббе в качестве государственного секретаря по вопросам высшего образования и церкви работал в социал-демократическом Министерстве культуры, а в 1969–1970 годах занимал должность статс-секретаря премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. В 1975–1978 годах Люббе занимал пост президента Немецкого философского общества<sup>7</sup>.

В книге «В ногу со временем» Люббе не только сводит воедино свой философский аналитический инструментарий, но и применяет его для анализа ключевых институтов модерна, осуществляющих функцию сохранения памяти общества, — кладбищ и музеев, архивов и библиотек. Остановимся лишь на нескольких сюжетах рецензируемой книги.

## I

Первый сюжет связан с интересом Люббе к кладбищам.

По мнению автора, память о мертвых артикулируется только в эпоху модерна, в домодерном обществе не особо заботились о продолжении в памяти потомков, о чем явственно говорит вид сельских кладбищ. Современный городской житель, на чьей могиле наверняка будет в свое время установлена надгробная плита с указанием не только дат жизни, но и социального статуса или даже любимой футбольной команды, был бы потрясен, узнав, что еще несколько сотен лет назад могилу занимали временно. Итак, появлению современного типа кладбищ способствовало расширение кладбищенских территорий в эпоху Просвещения. Это позволило свободно передвигаться по кладбищам, в отличие от средневекового города, где период кладбищенской рекультивации был ограниченным. Новые кладбищенские уставы позволяют увеличивать кладбищенские сроки, которые зависят теперь от состояния почвы и уровня грунтовых вод.

Такая забота о сохранении памяти о мертвых позволяет говорить об индивидуально-ориентированной культуре воспоминания. Изменения, происходящие на кладбище, фиксируют широкий сдвиг в формировании индивидуальной биографии, независимой от вероисповедания, и скорее олицетворяет личную историю успеха. Венцом успешной или просто интересной биографии даже обычного человека может являться надгробная плита, из надписи на которой любой сможет узнать о профессиональной принадлежности умершего к корпорации, фирме или образовательному учреждению, а также его социальном статусе в обществе. Как пишет Люббе, «Модерновые кладбища — это места постепенной

6. Schweda M. (2013). Entzweiung und Kompensation. Joachim Ritters philosophische Theorie der modernen Welt. Freiburg: Karl Alber. S. 376.

7. Ibid. S. 392.

консервации могил с целью историзаций» (с. 49). В разделе «Настоящее мертвых. Историзированное кладбище и анонимные захоронения» немецкий философ обращается к целому ряду феноменов — от анонимных захоронений и влияния крематориев на похоронное дело до фамильных склепов и памятников неизвестному солдату. Заметим, что развитие похоронной индустрии сегодня активно осмысляется академическим сообществом, издаются авторитетные академические журналы («Mortality Journal», «Death Studies journal», «Археология русской смерти»). Активный интерес присутствует и в массовой культуре — чего только стоит сериал «Клиент всегда мертв» (2001–2005), повествующий о жизни современного американского похоронного бюро.

## II

В рецензируемой работе Герман Люbbe фиксирует сложнейшую темпоральную структуру культуры модерна. Ключевая формула описания темпоральных последствий авангардизма у Люbbe звучит так: «Тот, кто уже сегодня хочет быть завтрашним, послезавтра сам будет вчерашним» (с. 13). Если перенести это на сферу искусства, то окажется, что подобная установка обязывает художника к непрерывной творческой конкуренции. И это действительно так: только за одно десятилетие — в период 1960–1970-х годов — искусствоведами и художественными критиками было выявлено и описано в десять раз больше стилистических инноваций, чем за весь период 1850–1900-х годов.

Однако авангард был бы невозможен без существования музея и рынка (с. 99). Художественные инновации не могли бы сложиться без свободного рынка, на котором действуют художники, критики и публика. Но почему должны оставаться музеи? Люbbe фиксирует парадоксальную вещь: «Комплементарно к множеству нового, современность авангардистски динамизированной культуры наполняется устаревшим хламом» (с. 95). Известный русско-немецкий искусствовед Борис Гроис приводит схожие размышления в своем небольшом эссе «О новом»: чем сильнее современный художник желает освободиться от гнета музея, тем более сильна вероятность его попадания в музейную коллекцию<sup>8</sup>. Таким образом, музей не просто не исчезает, а, напротив, расширяется в невиданных масштабах. Несмотря на предположения ранних авангардистов, подобные утверждения без труда подтверждаются статистикой посещений крупных музеев, которая растет год от года.

Другая важная составляющая парадокса авангарда — наличие интерпретаторов художественных произведений. Уже довольно давно общим местом стало утверждение, что произведения современных художников трудно понять без внятной экспликации или специальной критики. Зачастую происходят комичные

8. Гроис Б. (1993). Утопия и обмен (Стиль Стилин. О новом. Статьи). М.: Знак.

ситуации, когда ту или иную работу технические сотрудники галереи принимают за мусор и выбрасывают, не видя в ней никакой эстетической ценности.

### III

Теоретические построения Люббе часто подкрепляются примерами из истории советской России. Раннесоветская мемориальная политика и мавзолей Ленина, марксистско-ленинское учение, сталинский террор — все это присутствует в рецензируемой книге.

Насколько актуален Герман Люббе для современной России? Ответ на этот вопрос можно найти в его рассуждениях о смысле истористской актуализации. Люббе цитирует архитектора и градостроителя Бенедикта Хубера: «В случае если в год сносится более двух-трех процентов старых построек... и их место занимают постройки новые»; «граждане чувствуют себя неуверенно и соответственно реагируют» (с. 59–60)». Как это напоминает нам борьбу вокруг программы по реновации в Москве или деятельность общественной организации «Архнадзор», занимающейся охраной исторического наследия!

Как можно узнать из «Черной книги» Архнадзора, за период с декабря 2010 года по декабрь 2016 года во время работы мэра Сергея Собянина в Москве было разрушено 115 исторических зданий. И если в Москве общественность еще в состоянии следить за охраной исторического наследия и активно препятствовать нарушениям законов, то в удаленных уголках нашей родины дело обстоит иначе.

В мае 2015 и 2017 годов во время экспедиций Школы культурологии НИУ ВШЭ в Махачкалу мы заметили, что город погружён в состояние перманентной стройки. Одновременно с этим происходит забвение прошлого, город лишается мест памяти. Практически ни у одного здания в старой части города, имеющего историческую ценность, нет даже таблички, обозначающей, что это такое. Есть опасность, что будущие поколения не смогут идентифицировать постройку как исторически значимую.

Одна из любимых метафор ускоряющейся модернизации у Люббе — фраза Маринетти: «Гоночная машина... прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской». Увы, похоже, что для Махачкалы этим символом «настоящего будущего» станет автомобиль «Лада Приора», проносящийся мимо исторического центра города.

Review: Hermann Lübbe, *V nogu so vremenem: sokrashchennoe prebyvanie v nastojashhem* [In Step with Time: The Abridged Presence in the Present] (Moscow: HSE, 2016) (in Russian)

*Alexander Suvalko*

Lecturer, School of Cultural Studies, National Research University Higher School of Economics

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Moscow, Russian Federation 105066

E-mail: suvalko@gmail.com